95 коп.

Индекс 73276

В 1989 ГОДУ «НЕВА» предполагает опубликовать:

Евгений Гнедин. Катастрофа и второе рождение. Записки дипломата.

Глеб Горбовский. Шествие. Повесть.

Анатолий Злобин. Демонтаж. Роман.

Илья Ильф. «Бал эпохи благоденствия». Из записных книжек.

Вениамин Каверин. Эпилог. Роман воспоминаний.

Виктор Конецкий. Париж без праздника. Непутевые заметки.

И. Меттер. Пятый угол. Повесть.

Алексей Ремизов. Кукха (Розанова письма).

Юлиан Семенов. Ненаписанные романы. Цикл второй.

Аркадий Стругацкий и Борис Стругацкий. Град обреченный. Вторая книга романа.

Валентин Тублин. Заключительный период. Роман.

Владислав Ходасевич. Дом искусств.

Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. 1938—1941.

Планируется публикация новых произведений **Д. Гранина, М. Чулаки, Н. Сладкова, Н. Катерли.**

На страницах «Невы» будут опубликованы также произведения зарубежных авторов: **Грэма Грина, Дафны Дюморье, Станислава Лема** и других.



«Нева», 1988, № 9, 1—208

НЕВА 9 1988

ISSN 0130-741X

НЕВА

9 | 1988



НЕВА

Выходит с апреля 1955 года

9 | 1988

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал

Орган Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации

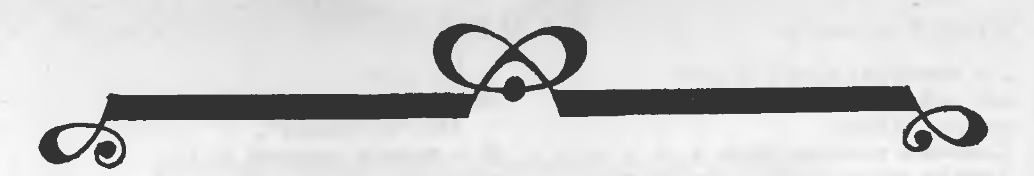


Ленинград. Издательство „Художественная литература." Ленинградское отделение



В номере цветнан вклейка: «Ленинградские этюды Игоря СУВОРОВА»

На обложке: гравюра Р. ЯХНИНА из цикла «Наш город»



Виктор МАКСИМОВ

⊡ ⊡ ⊡

Когда нам постучали в дверь,
он только брови свел.
Когда нам постучали в дверь,
он ткнул окурок в стол.

«Ну, вот и все!» — отец сказал
и китель застегнул.

«Ну, вот и все»,— он повторил
и сам к дверям шагнул.

...Уж лучше спал бы ты, где пил!
Я не шучу, поверь.
Я не шучу, я не забыл
ночного стука в дверь.

СМЕРЧ

На ущербе души,
на исходе ума,
на закате надежды на разум и волю
страшный вихорь промчался
по чистому полю,
сокрушая опоры,
шатая дома,
коровенок зашвыривая за Урал,
до орбит кругоземных вздымая опилки...
Этот смерч
народился, как джинн, из бутылки,
когда пробку зубами
детина содрал!
Точно дым над Чернобылем
встал он стоймя
и помчал,
опрокинув гранит на пригорке,
непокорных сутуля,
горбатых прямя,
из-под веры слепой
вышибая подпорки.

ЧЕГО ТЕБЕ НАДОБНО?

Совесть шепнула:
«Он враль и вор,
с ним ты беды хлебнешь!
Пока не поздно,
кричи „позор!“»...
Но я заорал: «Даешь!»

Он обокрал меня и обманул.
Совесть заныла:
«Пора!
Чего же ты медлишь?!
Кричи „караул!“»...
Но я завопил: «Ур-ра!»

Чего тебе надобно,
совесть моя?
Ведь я не краду и не лгу.
К тому же —
как жизнерадостно я
крикнуть «ур-ра»
могу!

ПРО ЧТО СЛЕЗА?

...про тебя, о правда беззаветная,
да про то, чего не передать,
про тебя, планида несусветная,
да про то, что из окна видать:
вон дымы за Охтою
облапили
в кранах долговязых окоем!
Вон береза
на электрокабеле
удавилась во дворе моем...

ХАЛВА

...и зажмурил я очи. И двое
рот мой вещий
набили халвою.
Слиплись сахарные уста.
Глянул правде в глаза, как бывало,
и гримаса мой рот
разорвала!
Кровь пошла вместо слов
изо рта.
Как немой, замычал я!..
И что же?! —
двое сморщились:
— Нет, не похоже!..
И в ладоши ударили:
— Стоп!..
— Не глаза у тебя, а гляделки!
— И не слезы из них, а подделки!
— И не кровь изо рта,
а сироп!..

ТРИ КОНЯ

...и дойду я по шпалам,
дойду и до самого края,
подожду, когда солнце красное
спустится пониже,
сяду я верхом на то солнце —
и поеду, поеду, поеду,
как на горячем коне поеду
все под горку, под горку, под горку,
где ночует конь вороной.
Будет красный конь копытами цокать,
будет черный конь уздечкою звякать,
будет белый конь далекий —
всхрапывать,
буду я тебе с дороги, как ведется,
посылать воздушные поцелуи
нижеследующего содержания:
«Все-то вижу я, все-то слышу.
На трех резвых конях к рассвету
всю-то память мою объеду,
слезу где-нибудь около Ржевки,
доберусь на тридцатке до дому.
И когда ты мне дверь откроешь,
я скажу тебе: «Ну, вот видишь!»
«Ну, вот видишь!» — шепну тебе на ухо.
«Ну, вот видишь — и вечность прошла!..»

Геннадий БЕГЛОВ

Рис. Ю. Шабанова



ДОСЬЕ НА САМОГО СЕБЯ

Повесть

Матери своей посвящаю

ЛИСТ ПЕРВЫЙ

Пятое февраля тысяча девятьсот двадцать шестого года. Ленинград. Улица Петра Лаврова. Старый дом с большим темным двором недалеко от Таврического сада.

Мое неистовое требование выпустить меня на свет божий мама ощутила глубокой ночью. За окном вьюга, мороз и никакого телефона и никаких такси... (Какие тогда такси!) Но кто-то из нас троих был невероятно везучим... Отец в одних кальсонах выбежал на улицу и наткнулся на проезжавшего мимо пьяного извозчика...

За шесть лет, что мы прожили в этом доме, наверное, произошло много событий, но память сохранила только два, совпавших во времени...

Вечером отпраздновали мой шестой день рождения, а утром мама отвела меня в «немецкую группу».

Маргарита Францевна, тощая и совершенно седая старушка, учила у себя на дому группу детей. В группу входило три девочки, мальчик с редким именем Пимен и я.

В первый день мы вырезали из цветной бумаги морковку, свеклу, репку и наклеивали все это на серый картон. Это называлось новым для меня красивым словом — аппликация.

Потом мы целый час гуляли в Таврическом саду, а когда вернулись, старушка достала из дряхлого шкафа не менее дряхлый журнал. Началось чтение. Маргарита Францевна читала на немецком — Пимен переводил на русский.

Рассказ я помню до сих пор...

...«Мальчик Макс заблудился в лесу. Появляется печальный Олень. У него пропал сын — Олененок. Олень сажает к себе на рога Макса и доставляет домой к папе. Папа Макса благодарит Оленя и приглашает в дом. Войдя в комнату, Олень видит на стене шкуру своего сына...»

После чтения мы ревели всей группой, а Маргарита Францевна поила нас кофе с молоком и плакать не мешала.

Возвращаясь домой, я еще на лестнице услышал расстроенный голос мамы. Отец тоже говорил громко и раздраженно. Квартира открыта. На площадке соседи, дворники и милиционеры.

Нас обокрали. Унесли все, даже граммофон — подарок на мой день рождения. Из рам вырезаны полотна картин. На полу валялась красная труба от граммофона и галстуки.

Я не мог понять смысла случившегося, а когда отец попытался мне объяснить, спросил:

— А почему ты у них обратно не украдешь вещи?

Вопрос вызвал общий хохот присутствующих, что окончательно запутало мое восприятие мира взрослых.

Кончилось все отцовским изречением:

— Хватит дворянствовать! Надо жить в народе.

Человек существо коммунальное!

Через неделю мы переехали.

Представьте себе коридор буквой «Г». Каждая сторона буквы — сто пятьдесят метров... (Бывшая гостиница «Москва» — на углу Невского и Владимирского проспекта.) Слева и справа двери. На дверях — их всего шестьдесят — эмалевые яички с номерами. Цифры жирные и довольные. Такие цифры остались сейчас на трамвайных вагонах. Днем и ночью горит свет. В нашей части буквы «Г» двенадцать лампочек. На этаже три кухни. Кухни просторные, как залы, с массой плит, раковин и шкафов.

Коридор постоянно гудит от голосов. Жужжат примуса. Гомонят дети, катаясь по коридору на самокатах и верхом друг на друге. Вход свободен — двери на лестницу не запираются.

Мне и отцу это все понравилось. Мама привыкала долго и болезненно.

Двенадцать ночи. Стук в дверь. В халате, накинутом на голое тело, входит тетя Зина из тридцать первого номера.

— Хотите рассольничку? Только что сварила...

Тетя Зина ушла. Входит Павел Иванович — инженер из двадцать второго.

— Антонина Тимофеевна, я вернул вам чай. В ту субботу брал две ложечки, извините, только сейчас вспомнил...

Через минуту: «Давайте Витеньку к нам. У нас детский вечер. С арбузом. Да ничего не поздно. Еще нет часа...»

Меня утаскивают к прыщавому Леньке, у которого нет приятелей. Он никого не любит, кроме меня.

Час ночи. Только легли спать.

— Александр Николаевич (это к отцу), вы читали «Правду»? Черт знает что (это о Германии)!

Засыпая, слышу шепот дяди Бори из четырнадцатого и отца. Они шелестят газетой и много чертыхаются.

Каждую неделю этаж содрогается от свадьбы.

Сегодня выходит замуж Лидия Васильевна из сорокового. У нее желтые волосы и тонкие ноги. Она поет по утрам у своего примуса вальсы Штрауса. Сегодня она не поет. Она сидит на краю стола, составленного из множества столов, протянувшихся от кухни до кухни. Из каждой ежеминутно выносят кастрюли, сковородки и графины.

Рядом с Лидией Васильевной военный. Военный много пьет и разговаривает только с невестой и почему-то на вы.

В коридоре чад. Сейчас лампочек не двенадцать, а всего четыре. Остальные где-то там, в сизом тумане.

Отец сказал тост. Пока он говорил, все молчали, кроме тети Зины. Она безостановочно хохочет и ко всем лезет целоваться, даже ко мне.

Потом столы разобрали по комнатам. Отец вынес гитару, дядя Женя из одиннадцатого — банджо, Фимкин отец выкатил пианино, и тут началось...

Даже моя мама, которая так и не признавала «коммуналки», отплясывала краковяк. Все кружилось и вертелось вокруг. Визжали девчонки-двойняшки. Им по шестнадцать. Румяные обе и в одинаковых сарафанчиках. На сарафанчиках нефтяные вышки. Зеленые.

Отец пригласил невесту на вальс, так как военного не было. Он уснул, сжав мертвой хваткой ножку стола. Отнять стол было невозможно, и отец распорядился «не травмировать офицера». Его так и унесли в комнату вместе со столом.

К утру коридор затих. А днем женщины мыли полы. Вспоминая подробности ночи, они много смеялись. Смеялись над тем, что было смешно, и просто потому, что были веселыми.

Караваев из тридцатого по субботам бил жену. Дверь настежь. У дверей собираются соседи.

Тетя Зина: «Не могу смотреть! Не могу смотреть!» (Первой прибегала и последней уходила при этом.)

Отец Фимки: «Но это же варварство!»

Лидия Васильевна (вздыхая): «Ничего вы не понимаете, Моисей Аронович. Ни в жизни, ни в любви».

Дядя Боря: «Избыток энергии и все тут. Они ж, как борцы... накопилась энергия и все тут».

Их не разнимали, не звали милицию. Тем более, что Караваевы жили всю неделю дружно. Он помогал ей стирать. Мыл на кухне пол. Она была ласкова к мужу и, по мнению этажа, была верна ему. Он не пил, не курил. Любил шашки и радио. Правда, супруг был слабый с виду, даже жалкий, и, может быть, она любила его из жалости, а он, чувствуя это, протестовал так своеобразно? Этого толком никто понять не мог.

Отец, например, пояснял так:

— Такова форма их любви. Им хорошо так. Имеем ли мы право осуждать их за это?

Маму это возмущало предельно. Она бегала из комнаты в коридор и обратно в комнату и с каждым воплем бедной женщины вздрагивала, как будто ударяли ее. При этом мама повторяла на разные лады:

— Гнусно! Гнусно! Гнусно!

Детей в доме — не пересчитать. Никто нас не обижал и даже наоборот — мы обижали взрослых.

В номере первом, в самом углу буквы «Г», жила тетя Нюра, старая, некрасивая баба. Жила одна, жила бедно. Часто мыла полы и стирала белье соседям.

Однажды она мыла пол в коридоре, а Ленька прыщавый вбежал с улицы и наследил. Нюра крикнула:

— Шпана! — и махнула его по ногам тряпкой.

Мы собрались на лестнице. Тетя Нюра была объявлена врагом номер один. Тут же, из массы предложений, как-то: подкинуть в комнату дохлую крысу, залепить замочную скважину варом, послать в конверте живых клопов,— было утверждено мое предложение. Мне же поручили его и исполнить.

Вечером того же дня на вопли тети Нюры открылись все шестьдесят дверей. Крайняя кухня не вмещала сбегающихся жильцов.

Тетя Нюра сидела на полу и истошно выкрикивала слова, что пишутся только на русских заборах. На плите стояла кастрюля. Из нее облепленная кислой капустой и луком, пропитанная наваром щей торчала старая парусиновая тапочка.

На это ЧП взрослые отреагировали крайне серьезно. Расследование возглавил отец. (Он вечно что-нибудь в доме возглавлял.)

То, что это сделали мальчики, следствие установило на месте. Но кто конкретно? Начались допросы. Коридор опустел и затих. В комнатах присту-

пили к пыткам. Одних морили голодом (не давали варенья), других истязали кошмарами («Если не скажешь, кто это сделал, все будут думать, что это сделал ты!»), третьих превращали в клятвопреступников («Я не знаю, папочка, ничего! Клянусь!»).

К концу недели следствие зашло в тупик. Среди нас не нашлось предателя, а ведь только на это и рассчитывали взрослые.

Отец, подозревая кого угодно, кроме меня, делился ходом своего мышления:

— Она шлепнула Леньку тряпкой. Ленька заправил ее щи обувью. Типичное детское мщение... Это же алфавит.

Мама: «У Леньки алиби. Он весь вечер просидел в пятьдесят втором. Это подтверждают Никитины. Их Сережа и Ленька играли в лото. Ленька из-за стола не выходил».

Отец: «Значит, все-таки выходил. Для этого надо восемь секунд. Дверь пятьдесят второго напротив кухни. Другого быть не может. Зачем, например, нашему мстить за Леньку? Ты бы стал мстить за другого? (Это уже ко мне.) Ну, что ты молчишь?»

Я смотрю на свои пальцы.

Мама (почуя что-то): «Ну, что ты пристал к нему?»

Отец (ему нужно только, чтобы я ответил: не стал бы...): «Я же тебя спрашиваю... Не стал бы ведь?»

Как я могу так сказать, если это сделал я? Поэтому окончательно ухожу в созерцание конечностей. Мама поняла все. Умная, добрая мама говорит:

— Давайте пить чай. Хватит. Надоело уже все это...

Я был спасен. Если бы отец еще раз задал свой вопрос, я бы сказал правду.

Только на одной комнате кроме номера висела медная пластинка. «Кучак Карл Карлович». «ККК». Прочитав Майн Рида, где на роковой пуле стояли эти же буквы, мы дали хозяину мрачное прозвище «Всадник без головы».

Кучак работал в авиационном институте. Я был у них в комнате много раз — относил деньги, которые мама брала взаймы.

Жена Карла Карловича, пожилая усталая женщина с большими зелеными глазами. А дочка Ванда — моя ровесница и тоже с зелеными глазами, величиной с пятак. Мы учились с ней в одной школе.

Как-то на перемене я натолкнулся на нее. Глаза ее смотрели в никуда.

— Ты что? А? Ванда?

Она перевела взгляд на меня, но продолжала смотреть сквозь, и от этого мне стало жутко.

— Да что ты? Что ты? — забормотал я, осторожно гладя ее холодные пальцы.

— Папу увезли в тюрьму,— вдруг неожиданно сказала она. Сказала буднично, как говорят: «Папа уехал в командировку».

В тот день я пришел домой раньше обычного. В коридоре было тихо, будто никого не было дома. Мама гладила мои рубашки.

— Ты чего рано?

И не дожидаясь ответа:

— Иди мойся и садись ешь. Бегает целыми днями... Вон какой худущий стал...

— А за что Карла Карловича арестовали?

Мама грохнула утюг на подставку и вышла из комнаты. Она не хотела об этом говорить. Почему?

А вечером, когда мы все сидели за столом и пили чай, на мой вопрос:

— А нас не посадят в тюрьму? Деньги-то мы у них занимали...— папа промолчал, а мама стукнула ладонью по столу, чего никогда с ней не бывало:

— Ты перестанешь болтать ерунду?! Допивай и спать!

Взрослые что-то скрывали.

ЛИСТ ВТОРОЙ

Теперь об отце.

Я не любил его. Ничем не выражая этого, тем более, не говоря об этом никому, даже маме, я не мог избавиться от ощущения, что вместе с нами постоянно жил чужой человек.

А мать его любила. Это была первая и единственная ее любовь.

Познакомило их в двадцать четвертом наводнение...

Мутная, холодная волна, бегущая от Тучкова моста, вдоль набережной, подхватила девчонку, долго кружила и била ее о стены домов, а потом вышибла ставню окна и бросила вниз, в подвал. Это был склад, где хранилась соль. Соль не в мешках, а так — навалом.

Через несколько секунд подвал заполняется разведенной солью. Девчонка барахтается в этой жиже, хватаясь за скобы, вбитые в потолок. Горят ожогом ссадины. Закричала впервые. С криком хлебнула воды — вырвало. Вода прижимает к потолку... Дальше ничего не помнит девчонка.

Во дворе склада казарма. В казарме — люди, среди них он...

Он первым услышал крик, первым бросился к складу, а когда ломами вспороли двери, принял из соленого потока безжизненное тело...

Потом было, как в старинных романах: очнулась, увидела его, поняла, что не принадлежит более себе, а через месяц, катаясь на катке Таврического сада, куда пригласил ее спаситель, сказала ему, что любит...

Спасителя описать не сложно. Шикарные американские «бегаши», в никеле ножей прыгают отраженные фонарики катка. На ножах — длинные крепкие ноги в черных рейтузах. Мягкий свитер с орнаментом на тему русских сказок. Крупная голова, обритая наголо и ничем не прикрытая. В руках без перчаток зажаты хрустящие на морозе чехлы коньков.

В первый же вечер, хохоча, он успевает рассказать о себе все.

Не узнала мама лишь одного...

Четырнадцатый год. Ночь. Залитый водою окоп. В окопе молодой гранатометчик Александр Костров наворачивает обмотки на сапог. Лег на спину, поднял ногу и в упор выстрелил из нагана. Скрипнули зубы. Полежал с минуту. Размотал обмотки. Внимательно разглядел дырку в сапоге, из которой толчком била кровь. Закопал в грязь обмотки, наган и вылез из окопа...

На рассвете на него наткнулись товарищи.

Этого мама не знала.

Мне он рассказал об этом сам в первый день войны.

Сорок первый год. Ленинград. Конец ноября.

Уже месяц, как мы не видели отца. Уходя, он сказал, что работает на военном корабле, который стоит где-то, вмерзший в лед Невы, и оттуда домой не пускают.

Поздний вечер. Я с мамой на кровати под одним одеялом.

Хлопнула дверь. Мы высунули головы и увидели его. Отец вынул из кожанки четыре свечи и запалил их разом, держа пучком. Закапал воск. В дрожащую лужицу на полу поставил свечи. Подождал, пока пристынут, сел на диван и начал разглядывать нас молча и сосредоточенно. Он был пьян. Первый раз в жизни.

Все так же молча он засунул руки в карманы и вынул одновременно два больших армейских сухаря.

Мы перестали дышать. Стало так тихо, будто все омертвело вокруг. От тишины голова стала наполняться болью.

Сухари повисели в воздухе целую вечность, потом стукнулись друг о друга два раза и легли на диван. Руки полезли в карманы, и фокус повторился: два сухаря, потом тишина, потом головная боль, сдвоенный стук, и уже четыре кирпичика лежат на диване.

И снова все сначала.

Время остановилось.

Происходило нечто, похожее на бред. Реальностью были только адская

боль в голове да стук сухарей: тыррк, тыррк — немного глуше. Тыррк — совсем еле-еле, далеко, там, где свечи, где диван, покрытый хлебными плитками...

Мать я не чувствую — не чувствую ее отдельно. У нас одна головная боль и одни глаза.

— Хтитежра?!

Мы видим, что это сказал он. Но головная боль мешает понять слово. «Хтитежра...» (???) Что он спрашивает? И вдруг простое, понятное:

— Не-е-е-т?!

Его лицо настолько перекошено удивлением, что из-под головной боли начинает всплывать забытое слово... Оно неразличаемо еще, оно размыто. Но вот слово твердеет... Боль уступает ему дорогу. Близко! Совсем близко слово... Что это? Оно раздвоилось! Это не одно, а два слова! «Хотите жрать...»

Вот, оказывается, что... Отец интересуется, хочу ли я кушать и хочет ли кушать мама... Но мы не поняли, и поэтому у него такое лицо...

А он, закуривая папиросу, говорит уже другие слова:

— Правильно, что не хотите. Меня не любите и хлеба от меня не берете. Правильно. И никогда не любили...

(Головная боль потекла к шее и стала впитываться в плечи.)

— И я — тоже... Ни тебя — ни его. Так уж вышло. Не ту вытащил... из Невы...

(Боль влезла в живот.)

— Всю жизнь жил и всю жизнь уйти собирался.

(Хлынула в грудь и обхватила сердце.)

— Так уж вышло, Антонина...

Разорвалось надвое сердце. Это выскочила из-под одеяла мать и... Раз! Два! Три! Четыре! Слева, справа, сверху! Хлестко, больно!

Слетела шапка с бритой головы, рассыпалась искрами папироса.

— Еще! — крикнул я, но мысленно. Тело не повиновалось мне.

— Еще, мама!! — удалось, наконец, прошептать мне.

— Еще!!! — ору на весь мир, барабаня кулаками по спинке кровати.

Он сидел, обхватив голову руками и качаясь со стороны в сторону.

Мать ударила его еще несколько раз наотмашь и плюнула...

— Мамочка...— задохнулся я криком. Она кинулась ко мне, схватила вместе с одеялом и вынесла из комнаты.

Бесконечный, мертвый коридор. Мелькают комнаты — провалы, пустые и заиндевелые. Поворот. Опять коридор и снова заколоченные комнаты и комнаты без дверей.

Тупик. Белое яичко с цифрой «1». Моим телом толкнула дверь. Пахнуло жаром.

— Тетя Нюра, мы у тебя переночуем,— крикнула мать, бросая меня на груду тряпья.

Хозяйка сидит у железной бочки. Вокруг штабели книг, почти до потолка. Она кладет книгу меж ног. Ахает коленкор. Обложка летит в огонь. Через палец пропустила листы. Мельком просмотрела картинки и разодрала жирный том на худосочные брошюры.

В бочке пело пламя...

Мы прожили у тети Нюры тридцать семь дней. Отец жил один. Там.

Третье января сорок второго. Утро. Позднее, морозное. Я давно проснулся и рву книги. Мама лежит рядом и смотрит в огонь. Вошла тетя Нюра.

— Антонина, выдь сюда...

Мать, накидывая одеяло, послушно выходит.

Вернулись они почти сразу.

— Умер он, да?..

— Пойди, посмотри,— сказала мать.

Это нужно ей, а не мне, но одна она не пойдет. Я это тоже понял сразу. Он лежит на диване в своей кожанке, подбитой мехом, которую носил

зимой, кажется, всю жизнь. На голове шапка. Это была первая зима, когда он закрыл голову.

Сухари, их было еще много, разложены, как и тогда, тут же на диване. Губы сомкнулись в спокойной улыбке недавнего сна. Лицо казалось молодым... И еще с этим лицом происходило что-то странное...

Я смотрел на это очень знакомое мне лицо и силился понять, что же мешает мне видеть его мертвым... Я сделал шаг к нему и нагнулся, потому что мне показалось... нет, не показалось, а я уже ясно видел, что дрогнули веки...

Мне не было страшно. Это было любопытство. Только любопытство. Я пристально посмотрел ему прямо в глаза...

Среди ресниц и вокруг век копошились черно-серые вши...

Вас интересует, что было потом?

Потом — суп с котом... Нет, нет. Не пугайтесь — кошек мы не ели. Ели клей, как и многие. А сухари отцовские — нет. Тетя Нюра их доела. Она же увезла его куда-то на санках.

Куда? Вот этого я не знаю.

Не спросил я тогда тетю Нюру из первого номера, куда увезла она его. И мама не спрашивала. И вы у меня не спрашивайте.

Наверное, в братской могиле он...

Где же еще ему быть?

ЛИСТ ТРЕТИЙ

Богов, как известно, встречаешь в жизни не часто.

Ну, а если ты живешь в городе, где можно в любой день и час войти в сад, прошагать к богам запросто, рассмотреть их со всех сторон и потрогать этих богов пальцами, даже если на пальцах обгрызаны заусеницы?..

Что тогда? Каково тебе?.. Тем более, что тебе нет и десяти лет, а боги, в большинстве своем, почему-то не одетые. В особенности, боги-тети. На них даже смотреть стыдно, когда ты не один, когда рядом с тобой стоит такая задира, как Лялька Озерова...

Лялька вертит портфелем, крутится сама волчком вокруг Дианы и в сотый раз спрашивает:

— Не нравится?..

— Вот пристала... Ничего особенного.

— Ничего особенного,— кривит губы Лялька, передразнивая,— сам ты «ничего особенного»...

— Подумаешь... «особенная»...

— Дурак. Я с тобой ходить больше не буду.

— Ну, и не надо. Подумаешь...

Отворачиваюсь, чтобы не видеть, как она убегает. Рассматриваю сандалию у богини. (Нужна мне эта сандалия! Как же...) Нагибаюсь к ноге Дианы, сам скосил глаза. Желтый бант подпрыгивает в конце аллеи у канавки. Остановилась. Смотрит в мою сторону... (Сандалия! Только сандалия!..) Слюнявлю палец и тру мраморную ногу. Из-под пыли выступило неожиданно белое, полупрозрачное, живое... Тру рядом. Снова плюю и снова тру, забыв уже обо всем. Очень заметна вымытая нога. Диана смотрит в сторону, но ласково и благодарно... Вспоминаю о Ляльке. Бегу к берегу. Она сидит у самой воды и накручивает на палец травинку. Мне становится жаль Ляльку.

— А я Диане ногу вымыл,— и тут же толкаю локтем.

— Смотри, колюшка! Смотри! Вон — у кирпича! Видишь?

— Вижу,— отвечает Лялька, не разжимая губ.

— Хочешь, поймаю? Ну, хочешь?!

Сбрасываю ботинки. Закатываю штаны.

Вода прозрачна. Хорошо видна битая бутылка с фарфоровой пробкой-замком. (Куда же она подевалась? Только что была тут...)

— Вон она,— шепчет Лялька и бросает травинку, завязанную кольцом.

Рыбка в полушаге от меня. Переступаю осторожно. Держусь на одной ноге. Нагибаюсь. Чашечку из ладоней медленно подвожу под рыбку. Не моргаю, не дышу. Она совсем близко... Зеленая с красным брюшком. Сдвинулась чуть в сторону. Ладони капельку выше... И... Оп!!!

Испуганная и обрызганная визжит Лялька. Взвываю я — проклятая бутылка впилась в ногу. А рядом горланят малыши, пытаясь схватить танцующую в траве колюшку...

Собирается толпа. Лишь после того, как Лялька перевязала мне ногу своим носовым платком, а зелено-красный трофей был водворен в бутылку с отбитым дном, мы остаемся одни.

— Больно?

— Ерунда...

Руки у Ляльки в кляксах.

— Давай, на банте горошек сделаю.

— Красный?

— Красный нечем. Фиолетовый. Давай. Знаешь, как красиво, когда в горошек.

Лялька развязывает бант. Разглаживаю на коленях желтый шелк и, ткнув химический карандаш в мокрую траву, вывожу первую горошину.

В самое ухо шумно дышит Лялька. Плещется в бутылке колюшка. Ноет нога.

Некоторые горошины кривые, но Лялька довольна. Бант завязан. Штаны высушены. Мы выходим из сада. Я несу оба портфеля. Лялька — бутылку. Прохожие оборачиваются. Нога уже не болит, но я продолжаю прихрамывать, для вида,— это же красиво, когда рядом с девчонкой идет мальчишка и прихрамывает...

— Болит еще?

— Ерунда.

Под аркой моего дома отдаю портфель. Лялька протягивает мне бутылку и безнадежно вздыхает.

— Рыбку не забудешь кормить?..

Мне очень хочется принести рыбку домой и рассказать маме, как ловко я поймал ее, и, конечно же, я не забывал бы ее кормить, но я, неожиданно для самого себя, говорю:

— Зачем она мне? Вот еще...

Лялька передразнивает: «Зачем, зачем» и уходит, держа высоко бутылку с отбитым дном.

— Па-па, тара-рам! Па-па, тара-рам! — через три ступеньки вверх... (Леньке не скажу ничего — проболтается!)

— Па-па, тара-рам!

Влетаю в коридор. На повороте сбиваю Кольку — отлетел к стенке вместе с самокатом. Не заревел. Его ежедневно сбивают — привык. Грожу ему кулаком и распахиваю дверь...

Солнце во всю комнату. А в солнце голая мама...

— Ой!

Прикрыла грудь и присела.

— Фу ты, господи, напугал как...

Выпрямилась. Только сейчас замечаю на полу таз. Хлопнул белый парус, и все исчезло. Осталось солнце и теплые пятна простыни, в которые тычусь губами. Мама гладит мои волосы и шепчет убаюкивающе:

— Что ты... Что ты...

Ищу лицом и слышу твердое, спокойное: тук-тук.

— Люблю,— срывается у меня.

— Тук-тук,— отвечает мне ее сердце.

— Люблю.

— Тук-тук.

Не удивляйтесь, что я так хорошо помню этот июньский день тридцать пятого года. Если не помните такого дня вы, когда впервые произнесли это

слово, то мне искренне жаль вас. Для чего же тогда память? Что же тогда хранить в ней? Какие дни?

Я уверен, что помним мы только одно — неповторимое.

Вот и сейчас я закрываю глаза, сдавливаю рукою виски и через тьму времени снова вижу свинец окна, ощущаю рядом маму, которая дышит на мои коченеющие ноги, и я начинаю еще раз жить в далеких днях января сорок второго года...

Отца нет. Мы одни под одним одеялом. Последние дни. Говорим слова, схожие с лаской. Часами молча смотрим в глаза друг другу и возникает тепло. Тихо молимся за близких и проклинаем врагов.

Вот день, когда мама смогла выйти на работу в госпиталь. Вернулась утром. Вышла еще раз и вернулась утром.

А вот и то утро...

...Лежу с открытыми глазами и слушаю, как стреляет в соседних комнатах мерзлый паркет. Прошуршали по коридору незнакомые шаги. Вошла и села у дверей молодая женщина. Сняла ватные рукавицы, хлопнула ими и сунула под мышку. Тут же снова надела их, встала и извиняющимся голосом сообщила:

— Антонина Тимофеевна умерла,— постояла чуть, добавила: — Она в сарае, за главным корпусом, где все...

Закрыла лицо руками и вышла.

Остановлюсь здесь.

Остановлюсь для того, мой читатель, чтобы сказать главное.

С этой минуты, когда женщина вышла — меня не стало... С этого мгновения начал двигаться, решать, говорить — короче, жить — другой человек.

Совсем другой...

...и куда я дел эту проклятую ножовку? Ищу уже полчаса. Топор здесь, у дверей...

Я должен это сделать! И никакого мороза!

Жара — нечем дышать. Только ноги перевяжу... Цинготные язвы мокнут, текут. Но боли нет. Есть не хочу. В кастрюле под крышкой лежит хлеб. Двести пятьдесят грамм. Мамин паек. Но я не хочу, так как свои сто двадцать пять съел вчера вечером.

А вот она где...

Ножовка лежит под ворохом книг, приговоренных к сожжению.

Обматываю голову вязаной шалью, выхожу в коридор.

«Иди твердо! Не качайся! Не держись за стены!»

Сейчас будет поворот и двери на черную лестницу. Дверей нет — их давно сожгли. Лестницы тоже нет.

По причудливым нагромождениям заледенелых нечистот карабкаюсь вверх, держась за перила.

Четвертый этаж дворового флигеля. Такой же коридор, как наш, только потолки пониже.

Комната номер пять в конце. Мне надо туда. Я был там много раз. Но все никак. Все не решался...

Вот... Номер пять. Дверей нет. Оконные стекла вышибло взрывной волной еще в октябре.

В полстены буфет. Старинный. Красное дерево. На дверцах резьба. Поверху толстенный резной бордюр. Кубометр дров!.. Но я ни разу близко не подходил к нему. Только глядел.

На полу у самого буфета труп...

Он здесь давно. Не меньше месяца.

Шапка-ушанка. Зеленый ватник. Валенки. Лежит на боку, чуть подогнув колени, лицом уткнувшись в буфет. Обе руки подложены под голову.

Спал человек.

Ножовку и топор бросаю на пол. Хватаюсь за ватник, тащу на себя...

Никак. Мужчина огромный — выше отца. Беру за ноги и резко в сторону... Еще на полметра... Не поднять — только волоком. Он — замороженный, он, как стеклянный, потому и скользит по паркету.

Захожу с другой стороны, снова тяну за ватник. Неожиданно он перекатывается на спину. Глаза открыты. Голубые, стеклянные. Согнутые руки локтями торчат вверх. Ладони приморожены к щеке.

Снова обхожу, чтобы взяться за ноги, и вижу кобуру. Она торчит из-под ватника.

Пуговицу не расстегнуть — смерзлось все.

Рванул.

Кобура на широком офицерском ремне. Видна черная рукоятка нагана.

Вынул его, кручу барабан с золотистыми головками пуль. От него входит в мои ладони тепло. Я чувствую, что становлюсь еще сильней, еще смелей... Я ничего не боюсь!.. Я сделаю все, что задумал!..

Обалдевший от прилива сил, выхожу в коридор. Вытягиваю руку, зажмуриваю глаза и...

Громыхнуло так, что из окна вылетели остатки стекол. И с ходу, уже прицелясь... (там — в конце коридора — немец! Фашист!) ... Тррах!!!

Грею пальцы о горячий ствол, возвращаюсь в комнату и кладу наган на пол. Беру топор. Через четверть часа буфет превращен в доски.

Боковые стенки по ширине как раз... Плечи у мамы примерно такие же. А вот в длину...

Мама маленькая. Вспоминаю, что когда целовал ее волосы — нагибался.

Ставлю доску. Прислоняюсь к ней лицом и на уровне подбородка делаю гвоздем метку. Отпиливаю лишнее... Беру вторую... Пилю.

К полудню ящик был готов.

Я хочу приколотить на крышку бордюр, но гвозди не входят, гнутся.

Наган прилаживаю за пояс и в обратный путь...

Дома привязываю веревку и прибиваю лыжи. (На лыжах я возил в бидоне воду с Фонтанки — потому они не сожжены.)

Все!

Наган подсунул под подушку. Поехали...

Госпиталь на Литейном. В трех шагах от дома. За главным корпусом сарай. Ворота настежь. На земляном полу носилки. На носилках трупы. Их много, очень много... Но маму нахожу сразу — у нее красные варежки.

Плечи оказались широки. Из-за шубки. Укладываю чуть на бок. Заколачиваю ящик.

Потащил...

Никто не остановил, не спросил, не обратил внимания. Все буднично — блокада...

На Невском не сугробы — холмы. Меж ними тропка, протоптанная редкими прохожими.

Обгоревшие скелеты троллейбусов. У «Колизея» завал битого кирпича... Это вчера угодил снаряд во второй этаж. Черная пишущая машинка хорошо видна на белом снегу...

Тащусь медленно. Мама легкая и потом — лыжи, но я берегу силы. Еще далеко.

Стемнело.

У ворот Охтинского кладбища грузовая машина с брезентовым кузовом. Тарахтит мотор, но в кабине никого.

За оградой, в шагах пятидесяти от ворот — костер. Вокруг девушки. Хлопают в ладоши, подпрыгивают, что-то поют.

Единственная тропа ведет прямо к костру. Девчонки из ПВО. Семь человек. Две пьяненькие.

Увидели меня. Притихли. Рядом с костром свежие комья земли. Лопаты, ломы.

— Откуда ты, родный?..

Молчу. Смотрю на костер. Суют кусок хлеба. Сжимаю в руке. Не ем.

Они говорят что-то — я не слышу. Я смотрю на костер.

— Садись, мальчик, садись...

На чью-то могилу кладут ватник. Я сел.

— На, глотни, глотни...

Из фляжки потекла, обжигая горло, водка. Красивая жестяная банка. Ложкой зачерпнула что-то очень душистое.

— Открывай рот, открывай шире!

— Сестренка? — спрашивает другая, кивнув на ящик.

— Мама.

Девушка прижимает меня к себе, сует банку.

— На, держи сам и ешь.

Отошла.

Я быстро хмелею. Машинально заглатываю тушенку, смотрю на огонь, который то отходит от меня далеко, то надвигается, обжигая лицо. Закрываю глаза, а открыть не могу. Никак...

Очнулся от поцелуев. Целуют в нос, в глаза, в губы.

— Домой, домой поехали!.. Тебя как зовут-то?!

Я ответил и с трудом поднялся на ноги.

Ящика не было. Пока я спал, они похоронили маму. Закопали рядом с Зиночкой. Ее убило снарядом днем на Второй линии Васильевского острова.

— Давай, давай... Помяни маму.

Храбро глотаю два раза.

В карманы суют сухари, еще что-то... Берут под руки, ведут к машине.

— Где живешь, Витенька?

— Невский. Ресторан «Москва»...

По лестнице еле-еле — ноги тяжелые, свинцовые. Ощупью, на память, в кромешной тьме двигаюсь по коридору.

Долго ищу спички. Зажигаю коптилку.

И первое, что вижу — подушку.

Падаю к ней грудью и заревел, завыл по-бабьи, сжимая под подушкой холодную сталь...

...Хочу к маме... очень хочу. Но что-то мешает, не пускает, держит и никак. Сейчас, мама...

Сейчас...

Обожгло. Ударило молотом в грудь. Откинуло к стенке. Боли нет. Жжет очень. Дымит бушлат.

Сполз с дивана. Поднялся. Качнуло к двери. Наган в руке. Кидаю его в угол, за печь.

Помню холод промерзших стен коридора. И последнее, что помню — дверь на улицу.

Я никак не мог ее открыть...

...Молодого хирурга зовут Идой Марковной. Она все время улыбается, говорит мне: «Глупышка», но пулю мне не показала.

Принесла ее санитарка Лиза.

— На свою бомбу... Держи.

— Какая маленькая,— разочарованно пискнул я.

Пуля действительно была до смешного мала: с тупым носиком и почему-то зеленоватая. Покатав между пальцами, я протянул ее обратно.

— На память не хочешь?

— Не-ка...

— Не «не-ка», а нет,— поправляет Лиза. Садится на койку и начинает тараторить.

— В «девятке» майор лежит. Я его «попрыгунчиком» зову. С койки — на койку и опять на другую. Там — дует. Там — пружина плачет. А в третьей —

клопа обнаружил. «Где клоп?» — спрашиваю. Ну, клопа никакого нет. Все врет. Ему на другую койку надо... И признание делает: «Я, Лизонька, не сердитесь — в примету верю: на какой койке приснится сон с валенками, с той и встаешь здоровым...» Я, конечно, его перетащила. Уважаю приметы. А при нем мешочек махонький с большую репу. Я его хвать, а он не берется. Ну, гиря, и все. В мешке знаешь, что? Осколки! И такие... И такие... И разные.

— А зачем ему?

— А все его. У него шрамов... Ну, места живого нет. Так и возит их с собой. Коллекция...

Лиза делает передых и начинает про то, как до войны она тоже коллекцию собирала. Ложки. В связи с этим любила в гости ходить. Ну, кто спохватится после обеда, что ложки не хватает? Хлопали ушами и официанты в ресторанах.

Голод пришел в дом Лизонькин не позднее, чем в другие дома. Коллекция ложек (более двухсот штук, размещенные в крохотной комнате по особой Лизонькиной системе) превратилась в парадокс, патологический и жуткий. Однажды утром, обливаясь слезами, она отнесла их на помойку. Оставила только одну, простую солдатскую, на которой нацарапано: «Вадик».

Вадик получил повестку двадцать третьего июня утром, а днем, на вокзале, прощаясь с ним, Лизонька взяла у него этот последний экземпляр. Из этой ложки она кормила и меня, пока не был снят гипс.

После выздоровления, только благодаря Лизонькиной неутомимости, я был принят в ремесленное училище.

Ремесленное училище занимало первый этаж огромного здания у Кировского моста. (Бывший Дом политкаторжан.) Туда свозили со всего города уцелевших от голода подростков. В общежитии было тепло — топили досками из разрушенных домов. На этих развалинах мы и работали, а по ночам, в тревожной темноте общежития, смотрели длинные эпикурейские сны. Спали много. От слабости.

В один из выходных дней я поплелся домой и по дороге вспомнил о Верочке. Девочка эта жила в нашем доме, но по другой парадной. До войны я часто канючил у нее велосипед — прокатиться по двору три круга. Она была на год моложе меня. Роста невысокого, сероглазая. Самое красивое — волосы, цвета старой бронзы.

Верочка лежала на матраце под грудой одеял и пальто. Похоронку на отца получила еще в октябре, а в ноябре умерла мама. Но она держалась еще и встретила меня с радостью.

Мы растопили паркетом «буржуйку», а потом она мне показала невероятно ценную вещь: огромный кусок хозяйственного мыла. Его можно было разрезать на крохотные кусочки и выменять на хлеб, на крупу. Но мы решили... мыться!

Первый раз за всю зиму.

Я таскал снег и вываливал в ведро, стоящее на раскаленной докрасна «буржуйке».

Потом мы близко-близко лежали под одеялами и пальто, и я читал вслух роман Густава Эмара... (Папину библиотеку она не жгла.)

Утром я ушел в училище.

Я помню эту ночь до малейших подробностей... И что все-таки странно... (сейчас странно...) Ведь ничего не было... Ни-че-го! Ни словом, ни движением, ни взглядом... Ни я, ни она не выразили желания...

Его просто не было — оно не возникало.

Объясняю я это только одним — крайним истощением и тел наших тогда, и наших душ.

— Поздравляю с Международным женским днем! — ору я на всю квартиру.

Пальто зашевелились.

— Что это? Спички?

— Это сахарный песок!

Открываю коробок. В глазах ее треснуло что-то. В трещинках улыбка. Слабая. Чуть-чуть. Лизнула край коробка. Я тоже. Снова она. Тщательно кончиком языка ищем песчинки, застрявшие в уголках. Коробок мокрый и сладкий.

Все. Молчим долго. Но вот губы дрогнули, и мне показалось...

— Ты что-то сказала?

— Дай я тебя поцелую...

Это был первый поцелуй в моей жизни.

Били меня страшно.

Особенно жестоко бил Павлуха — ногами.

— Гад! — хрипит Павлуха. Потом подпрыгивает, держась за спинку кровати, и совсем хрипло: — Ворюга!..

Я лежу на полу, свернувшись клубком. Рядом сидит Сергуня, вытянув длинные ноги. Меж ними моя голова. Сергуня бьет по алюминиевой миске, как в бубен: — Баб!..— Потом миской по голове: — ...ник!

— Баб-ник! Бабник!

Миска черная от крови, руки — тоже.

Третий — Кисанька — красивый мальчик с темными кругами вокруг глаз. Почти каждую ночь Павлуха ловил Кисаньку во время онанизма и каждый раз, когда затихал хохот и свист, он прятался под одеяло и подолгу беззвучно плакал.

Сейчас Кисанька стоит на коленях и царапает мою ногу. Он пытается дотянуться до бедра, но этому мешает Павлуха, который, прыгая, может запросто и отдавить Кисанькины пальцы.

Я совершенно голый — трусы сорвали еще вначале. Они валяются тут же, впитывая кровь с грязного линолеума.

На восьмое марта давали сахарный песок.

За песком послали меня. Вхожу на кухню. На столе тазик с песком. Рядом тетка. Лица не помню — только руки. Ложкой считает порции. Отсчитала двадцать одну мне в тарелку. Иду обратно. Коридор темный и липкий от грязи и копоти. Иду медленно. Не решаюсь еще. Дрожат ноги. (Ну же... Трус!) Достаю спичечный коробок. Зарываю в песок. Сомкнул коробок и в карман.

Бригада за столом. Все двадцать. Раздает песок староста — Павлуха. Почему — непонятно, но песка хватило на всех. Передо мной на клочке газеты бугорок: моя порция.

...Что же так долго дрожат колени?..

Всю операцию мою с песком видел один человек — Кисанька. Он же единственный, кто знал о Верочке: я как-то рассказал ему о ней.

Вечером, разбудив Павлуху, Кисанька изложил суть. Павлуха поднял остальных. Долго совещались. А потом меня спящего Павлуха спихнул с койки, Сергуня ударил миской по голове и началось:

— Баб-ник! Баб-ник!..

Последним присоединился Кисанька.

Остальные лежали под своими серыми одеялами и так же, как у Верочки, в глазах их была видна слабая улыбка...

Эта история не раз потом возникала у меня в памяти. Ведь они могли меня убить. И правильно сделали бы. И им ничего за это не было бы. Это была Справедливость тех дней. Я сам читал приказ, расклеенный по городу: ...«За кражу продовольственных карточек — расстрел на месте»...

И еще я думал: а если это сделал бы другой? Что я?...

И хорошо зная себя тогдашнего, зная состояние своего «я», отвечал: «Да. Безусловно, я был бы в числе избивавших».

Как необъяснимо, как чудовищно сплетено там, внутри человека. Как там вместе сосуществует преступник и судья, жертва и палач... Как все же это странно.

Через шесть лет в лагерной пересылке под Ташкентом я встретился с Павлухой. Он не узнал меня, а я — узнал, но не подошел.

Павлуха был «вором в законе» по кличке «Сыч».

ЛИСТ ЧЕТВЕРТЫЙ

Весна тысяча девятьсот сорок шестого года. Ленинград.

Кабинет в райкоме комсомола. За столом секретарь райкома. Чуть поодаль, в креслах, седой, с усталым лицом человек и я.

Сильно накурено, хотя курящий один — хозяин кабинета, он же единственный, который молчит.

— А в войну... Что вы делали?

— Был в ремесленном. В сорок втором эвакуировались. В мае.

— Куда?

— В Киров. Вернее, под Киров.

— А родители?

— Мама умерла. В блокаду. И отец...

— Он был член партии?

— Да.

— Так, что — под Кировом?

— Ремонтировали вагоны... Разбитые, обгоревшие... Подавал заявление, чтобы на фронт... Вернули обратно. «Здесь, мол, тоже фронт»,— и ни в какую. Кто сбежал — привезли под конвоем. Даже суд был. Как дезертиров судили.

— Вы же тоже оттуда сбежали. Когда?

— В конце сорок четвертого, в ноябре. Причем очень просто. Залез в вагон к телятам. Их в Ленинград везли. В сене и доехал. Сразу в райком, написал заявление.

— Это мы знаем. Кроме русского, никаким языком не владеете?

— Нет. В школе английский был. Сейчас ничего не помню.

— Почему вы нас интересуете, знаете?

— Да. Мне сказали.

— Кто?

— Вот... Товарищ секретарь.

— И как вы сами на это смотрите?

— Как вам объяснить... Из всех чувств у меня, пожалуй, осталась одна месть. Ведь если б не война... Она отняла у меня всё и всех. Я тут подсчитал как-то только родных: двоюродных братьев, сестер, бабушек и дедушек... Шестнадцать! Не считая родителей. И сделал это фашист. Он один. Отсюда и месть. Остался еще подпольный фашизм, предатели из наших. Всякая сволочь, которая... В общем, хочу трудного и опасного дела. Полезного.

— Зачем же вы в железнодорожный техникум поступили?

— А куда? У меня всего девять классов. Хотел на юридический в университет, на режиссерский в театральный... Даже заявление не приняли.

— У вас есть любимая девушка?

— Да. Людмила Фридман.

— С родителями ее знакомы?

— Я часто у них бываю.

— Расскажите о них. Они евреи?

— Отец. А мать русская. Елизавета Сергеевна — домохозяйка. Яков Михайлович — закройщик. В швейной мастерской работает. Сестренка есть. В школу ходит.

— А у вас из родных?

— Никого. Где-то живет тетя — мамина сестра, но я не имею с ней связи.

— Почему?

— Они не любили друг друга. Мама и она...

— Отчего?

— До войны это случилось. Мама рубила кости для студня, а рядом тетя стояла, и ей в ногу отлетел кусочек. Вот такой... Через неделю нога покрылась какими-то пятнами. Вскоре получили от тети письмо. С проклятиями.

— Вы пьете?

— Бывает... На вечеринках.

— А отец пил?

— Нет. Никогда.

— Вы, я заметил, не очень охотно говорите о нем. Не ладили?

— Да нет. Просто...

— Понимаю. Простите.

Мужчина поднялся, подошел к секретарю, что-то шепнул ему. Тот вырвал лист из большого блокнота. Положил на край стола.

— Пишите заявление, Виктор. Садитесь сюда...

Так родился первый в моей жизни серьезный документ:

«НАЧАЛЬНИКУ ЛЕНИНГРАДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СССР
от Кострова Виктора Александровича 1926 года рождения.
Урожд. г. Ленинграда. Член ВЛКСМ с 1943 года.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня в органы Государственной безопасности в качестве курсанта Оперативной школы.

Хочу посвятить свою жизнь борьбе с врагами Родины.

2 марта 1946 года. В. Костров».

ЛИСТ ПЯТЫЙ

Имя — Люся Фридман — ассоциируется у меня с ожогом...

Ленька влетел ко мне часов в пять. Я только что вернулся из техникума и жарил на плитке макароны.

— Ну, знаешь ли! Вместо поисков любви, он жарит мучные трубочки!.. В тебя влюблен экземпляр неизмеримой красоты! Богата сказочно. Монте-Кристо в сравнении с ней — жалкий бродяга и, самое главное — ее особняк в четверти лье... Точнее: трамвайная остановка от твоей берлоги!

Ленька всего месяц в Ленинграде. Его эвакуировали во второй день войны и там, в далекой и сытной Туркмении, Ленька вырос, закончил десять классов и избавился от прыщей. Сейчас сдает экзамены в Театральный и крайне успешно. Ленька очень фасонит этим и не очень искренне сочувствует мне, у которого даже заявление не приняли. Костюм на Леньке шикарный: серый с искрой. Галстук бордо и новые американские туфли с медной пряжкой.

— Быть должны мы у них в девятнадцать ноль-ноль! Но будем в девятнадцать десять. Приходить вовремя — плохой тон. Ты не реагируешь?

Я посыпаю сахарным песком макароны и думаю о другом... (Он везде и всем называет меня другом. Все время, как приехал, твердит о дружбе и жалуется, что в «изгнании» был один. Но почему все-таки он ни разу не спросил, как я жил тут, как умерла мама, что я думаю делать. Вот и сейчас... Он даже не догадывается, что мне и надеть-то нечего.)

— Нет, вы посмотрите на него! Он даже не ощущает романтического стечения обстоятельств!

Гость вырвал вилку из рук, ткнул в макароны и упал на диван.

— А ничего... Итальянцы — не дураки! Но ты... Извини меня. Итак, на днях ты шел по улице. Ковбойка, закатанные рукава. Выгоревший волос

и печальные глаза. Тебя узнают и влюбляются. Она ведь в нашей школе училась... Я дал слово, что приведу тебя сегодня. Будет папа, будет мама, очаровательная сестренка и три девочки для меня.

— Я не иду.

— Не идешь?

Ленька перестал хрустеть макаронами. Он был очень смешон с набитым ртом.

— Но она умрет,— зашептал Ленька,— за ней следом умрут ее мама и папа. За ними — сестренка. За сестренкой последую...

Ленька заморгал часто-часто и, проглотив жвачку, заплакал. У него полились слезы. Настоящие слезы. Это было уже сверхъестественное. Я тут же простил ему болтовню о дружбе, его раздражающе богатый костюм, простил ему все. Он был талантлив. Несомненно талантлив.

— Как ее имя? — спрашиваю я, словно действительно решил избавить их всех от смерти.

— Людмила. Урожденная Фридман,— отчеканивает Ленька.— Цвет волос — жженая охра. Глаза, как у всех красавиц, огромны. Карие. С небольшим налетом патины... Надеюсь, значение последнего слова известно Вашему Преосвященству... (Я киваю головой.) Длинные невесомые пальцы. Такими играют на арфах или совершают дворцовые перевороты.

— А как обстоит дело с безымянным пальцем на левой ноге? — беру я Ленькин тон.

— Жемчужный ноготок на розовой мякоти сустава.

— А мозоль?

— Фу... Циник. Одевайся.

— Во что?..

Вопрос обескураживает Леньку. Приняв позу мыслителя, Ленька стал думать. Думал он минуты две. Я приканчивал макароны.

— Покажи брюки.

Тщательно осмотрев хлопчатобумажные серенькие брюки, купленные на барахолке полгода назад, Ленька щелкает пальцами.

— Это может стать пикантным! Нужен утюг и мокрая тряпка.

Утюг грелся на плитке неправдоподобно долго. А когда я в десятый раз подошел, чтобы пощупать его, уже не надеясь, что когда-нибудь эта чертова громада нагреется... пальцы прилипли к нему. Я заорал так, что, кажется, до сих пор помню этот крик. Ленька подпрыгнул и начал скакать вокруг меня, тоже скачущего и воющего. Потом, вспоминая, Ленька утверждал, что это был настоящий туземный танец в честь бога огня.

Без пятнадцати семь выходим на Невский. Брюки стоят колом. Забинтованная рука воняет постным маслом. Вельветовый пиджак жмет в плечах. В кармане бумажка, покупательная способность которой унизительно ничтожна.

В спину дует ветер. Колет пылью затылок. Мешает говорить. Ноет рука, и хочется вернуться, лечь на диван и полистать книжонку...

Но меня несло. Несло с попутным ветром туда, где ждали красивые начала и мрачные концы, бесценные находки и безвозвратные потери...

У Екатерининского сквера приобретается букет. Сдачи у тетки нет. Вместо нее добавляется еще одна хризантема. Точность прихода близка с расчетной: Ленька ежеминутно смотрит на часы. На пятом этаже он стучит по цифре «13» и говорит ободряюще:

— Нам не сюда, Виктор! Не сюда!

Из соседнего двенадцатого слышен голос Шульженко:

«И радость приносят минуты и счастье приносят порой...»

Звоним. Ленька входит первым.

— Точность — вежливость королей! Но в семнадцатом это упразднено вместе с монархией.

В ответ рассмеялись.

— А вот и обещанное...

Ленька отходит в сторону, пропуская меня.

Залитая светом прихожая. У высоченного зеркала, прислонившись к нему, стоит она... Точнее, они, так как «ее» — две: одна в фас, другая — в профиль. И обе красивы. Очень красивы.

Протягиваю забинтованную руку с пятью хризантемами. Сейчас, при ярком свете, я вижу, какие они мятые и вялые. Начинаю краснеть. Надо что-то делать. Перевожу взгляд на ту, которая в профиль, и нахально выпаливаю:

— Это Леня для вас выбрал...

Не знаю, поняла ли она мое смущение, оценила ли нахальство или вообще не заметила жалкого вида цветов,— не знаю. Она принимает букет, подает руку.

— Людмила.

— Виктор.

— А это моя мама...

В прихожую вошла костлявая женщина с большим ртом.

— Мам, это Виктор.

— Проходите в комнаты.

Взяв Леньку под руку, хозяйка уводит его на кухню.

Информация оказалась точной: в комнате три девушки. Две сидят на диване, третья — танцует, видимо, показывая новые па. Она смело взглянула на меня, выключила патефон и села у пианино на вертящийся стулик.

— Девочки,— объявляет Люся.— Это Виктор...

Подхожу к пианино, пожимаю влажную руку.

— Тома.

— Очень приятно.

Сидящие поднимаются разом и одновременно выпаливают: «Риваммаля», что означало: Римма и Валя. Прыснули и одновременно опустились. Люся садится к ним. Показывает мне на стул. Спрашивает:

— Где это вас?.. Авиационная катастрофа?

Подруги снова прыскают. Она разглядывает меня. Она не может не видеть замухрышных брюк, пиджака, который давно мал, скороходовских ботинок, дважды побывавших у сапожника. У меня ничего нет, чем бы я мог закрыться от ее любопытства. А тут еще эти... трое. И красное дерево вокруг... Я никогда не видел так много красного дерева сразу. Диван, столик, две горки, набитые фарфором и хрусталем, почти в полстены книжный шкаф, пианино — все красное дерево старинной работы. Ковер на полу, ковер на стене, на диване.

Я понимаю, что глазею по сторонам, но я ничего не могу с собой сделать: вещи кричат, показывают себя, навязываются.

— Он онемел при этой же катастрофе? — спрашивает одна из прыскавших.

— На самолетах не летал. Не пришлось...— (Облизываю сухие губы)...— У меня утюг дома — килограммов десять. Все, что от бабушки осталось. Поставил его на плитку и, извиняюсь, брюки снял. Не на себе же отпаривать?.. Хожу по комнате. С Леней беседую о красоте, о любви... Когда о любви кончили, я его и цапнул. Думал, что холодный еще... Вот и все.

Настала такая тишина, будто только что рассказали про обезглавленный труп. Смотрят на меня, каждый по-своему, но одно общее — напряжение.

— А из вас самая красивая, знаете, кто?..

Задал вопрос и сам не знаю на него ответа и не знаю, как он возник, и почему я позволил себе сказать это вслух. Девушки переглянулись и снова уставились на меня. Кроме нее. Теперь она не смотрела. Она ждала услышать приятную для себя правду. Но я солгал. Я понимал, что она несомненно красивее остальных, но я мстил ей за цветы, за авиационную катастрофу, за обожженные пальцы и за красное дерево, которое уже однажды крушил топором.

— Вот... она.

Все повернулись к пианино. Девушка вздрогнула. Глаза стали синие-синие. Закрыла колени ладонями и отвернулась. Римма и Валя схватили Томку и стали тискать ее.

— Обольстительница!

— Колдунья!

— Пустите меня! Риммка, как не стыдно?! Пустите меня!

Но Валя обняла ее и так сильно жалась к щеке, что у Томки кривился рот, а от глаз остались одни морщинки. Я пересел к Людмиле.

— Мне лучше уйти...

Она закрыла лицо руками и тихо сказала:

— Я тебя люблю.— Поднялась и пошла к дверям, сутулая и совсем некрасивая...

«— Дуня, давай блинов с огня!..— задыхался скороговоркой хмельной баритон.— Дуня, целуй скорей меня!..»

Хлопают двери. Мелькают ноги. Гремит посуда. Прокричал Ленька: «Не задавить бы!»... Снова мелькают ноги, а незнакомый мне баритон уже поет про студенточку:

«...На берегу пруда твои очи целовал я...»

— А вы что, не танцуете?

Передо мной девочка лет десяти. Она водит себя по губам кончиком косички и покачивается в ритме мелодии.

— Я могу пригласить, если на ноги наступать не будете...

— Не буду,— пообещал я и взял ее руку.

Комната полна танцующих. Римма и Валя — задумчивые и важные. Ленька ведет Людмилу, закрыв глаза и шепча ей, вероятно, стихи. Елизавета Сергеевна показывает Томе, как танцевали танго в старину.

— Куколка моя, это делается так...

— Это смешно.

— Смешно? Это трогательно. Смотри...

Из красного футляра донеслось густое «боммм». Нас приглашают к столу.

— А почему вы на меня не смотрите? — лукаво спрашивает партнерша.

— А у меня в школе по поведению двойка была.

— Наша Люда вам нравится?

Нас разъединяют. Ее сажают рядом с матерью. Мне оставлено место между Людмилой и свободным стулом.

— Здесь сядет Яков Михайлович,— поясняет хозяйка,— но его ждать не будем. Леонид, откройте портвейн.

Просторный стол завален едой. Людмила кладет на мою тарелку ломтик осетрины, две шляпки маринованных грибов и картофелину.

— Мужчинам водку,— командует Елизавета Сергеевна.

Ленька склоняется в театральном поклоне и наполняет наши стопки.

— Мы в меньшинстве! — печально начинает Ленька.— Многие рыцарские доспехи ржавеют в оврагах. Вороны растаскивают кости лучших мужчин... Но есть великая сила любви! В ней наша надежда! Только она восстановит поредевшие ряды наши... За любовь! За пополнение мира!!

Тост понравился. Все дружно выпили и активно приступили к опустошению стола.

— Страна станет сплошным родильным домом,— продолжал развивать тему Ленька, обгладывая гусиную ногу.— Самая модная профессия — акушер! Я сам иду в акушеры на общественных началах. Виктор идет патронажным братом...

Девчонки хохочут.

— Леня, достаточно...— стучит вилкой хозяйка стола.

— Ну, а если запрещается тема рождения,— не унимается Ленька,— давайте поговорим о смерти...

Новый взрыв хохота.

— Мне недавно историю рассказали...

Но что же такое со мной? Отчего не смеюсь со всеми? Почему, как истукан, повис над тарелкой и ковыряю рыбу, которую не хочу? Я голоден. Я не ел сегодня ничего, кроме макарон. Но я ничего не хочу сейчас... Хочется домой. Остаться одному. Слушать, как за стеной плачет маленькая Катенька. Ее будут долго укладывать спать. Но ей не хочется спать. Ей хочется моргать глазками и хватать мамин нос. А потом в коридоре будут долго шептаться Николай Васильевич из четырнадцатого и рыженькая Соня из девятого. К ней нельзя — у нее больной папа. К Николаю Васильевичу тоже нельзя: что скажут люди?.. И будут стоять они в коридоре до полуночи. А потом все смолкнет, и во



всем мире останутся только ходики и я... Я буду мысленно раскладывать перед мамой гербарий. Схожу с ней в кино. В Зоологическом саду она купит мне пива. А потом я усну...

Ударило по ушам визгом и смехом. В притворном ужасе визжит Люсина сестренка. Качает головой Елизавета Сергеевна.

— Надо же! Надо же!

Остальные хохочут, как сошедшие с ума. Лишь Ленька с серьезным видом сооружает себе бутерброд.

— Хочу вам доложить, что в мировом искусстве тема смерти разработана шире, чем тема рождения.

— У Горького,— вспомнила Римма,— появление ребенка, это же...

Но ей не дают привести сравнения. Заговорили все разом.

— «Война и мир»! Целая глава! Вспомните!

— А у Пушкина?!.. «Принесла царица в ночь...»

— Я только забыла где...— вставляет Люся.

— Крохи! — кричит Ленька.— Фрагменты! Откройте любой том, читайте наугад страницу и вы наткнетесь на покойника! Высшая форма жизни — трагедия! Отнесемся к ней с юмором...

Ленька выпивает водку, целует руку Валентине и тянется к грибам. Тут он замечает меня...

— Виктор! — Обшарил глазами стол. Заполняет водкой и портвейном вместительный бокал и ставит передо мной.

— Ваш номер, маэстро!.. Прошу к рампе!

Я неуклюже встаю, упираюсь ладонями в стол. Смотрю, как носятся в бокале розовые вихри...

— Не хочу. Тошнит что-то...

Вернул меня к самому себе дующий в лицо ветер. Я подходил к дому. Переходя перекресток, почувствовал рядом чей-то локоть.

— Тамара?..

— Я иду за тобой с самого начала.

Она виновато улыбнулась.

— Ты, оказывается, косолапый немного...

И опять виноватая улыбка.

— Где твое окно?

— Оно во двор выходит.

— А с моего Исаакий виден.

— Красиво.

— Ага. По утрам солнце от купола отражается прямо в комнату...

— А ты что ушла?

— Так. Яков Михайлович, вот он мне нравится. Люсин отец. Тихий и умный старикан. А остальные...

— Что остальные?

— Давай не будем о них.

— Не будем.

— А мне только до одиннадцати разрешается...

— Строгий папа?

— Ужас. Как-то из театра пришла в полдвенадцатого. Показала билеты. Так он звонит в театр: «Когда кончился спектакль?»

— Очень тебя любит.

— Не верит. Он никому не верит.

— А ты его любишь?

— Я его боюсь...

Помолчали.

— Леня говорил, что у вас коридор длинный-предлинный, как в тюрьме.

— Могу показать.

Коридор произвел на нее гнетущее впечатление. Она сжалась в комочек. Даже походка изменилась.

Я вел ее за руку по этой бесконечной прямоугольной трубе, по которой на самокате прокатилось мое детство, по которой я пробегал отрочество, и, еле волоча от голода ноги, вполз однажды в юность...

— Еще далеко?

— Да нет... Еще три комнаты. Четвертая — моя.

Для приемов комната была готова меньше всего. Один стол чего стоил! Миска с водой и тряпкой — следы утюжки. Скатерть в пятнах. Диван продавлен. На окне грязная посуда.

В углу, на табурете, кирпич. На кирпиче — электроплитка.

— Сними пальто. Тепло же... Хочешь чаю? У меня конфеты есть. «Радуга».

— Которые, как помадка? Я их люблю...

Она вешает пальто на гвоздь, вбитый в дверь. Садится на диван. Закрыла колени ладонями.

Закипел чай в кастрюле. По стеклам розгами хлестал дождь.

— У нас до войны, Виктор, три комнаты было... Вещей всяких. Безделушки. Цветы. А сейчас тоже ничего не осталось. Отец пропил. Мы с мамой этой осенью приезжаем — в деревне отдыхали у родственников,— идем в сарай за дровами, а дров и нет. Пропил. Теперь у нас холодно-холодно... И комната тоже одна. Те две — сдаем.

— Он что, не работает?

— Он на пенсии. Получает две тысячи двести, а маме — ни копеечки...

— Что-то пенсия больно большая.

— А он же в органах служил. Был начальником погранзаставы. Потом в Управлении работал. Полковник. Орденов куча... А у тебя фотографии мамины есть?

Достаю альбом.

— Вот мама. А это — я.

— Какой толстый!

— А это — мама перед войной...

— Красивая...

Потом пьем чай с «Радугой». Томка разрумянилась и чувствует себя превосходно. Испортили настроение ходики. Ровно десять. Бегу к соседке проверить: может, мои спешат?.. Нет. Все кончено. Она уходит. Провожаю ее до трамвая. Промокший возвращаюсь и ложусь на диван. Рядом раскрытый альбом. Мама смотрит на меня и улыбается. Будто передо мной извинилась сейчас и улыбнулась виновато...

(Стоп!) Вскакиваю с дивана. (Боже мой!.. Боже мой!.. Так ведь они похожи! И улыбка та же. И глаза синие. И голос, когда она говорила про дрова. Ну, точно, как мама.)

Мчусь на кухню. Беру соседское ведро и тряпку. Всю ночь скоблю пол. Вытираю пыль. Выношу мусор.

ЛИСТ ШЕСТОЙ

В коридоре шумел сорок пятый год. Въезжали жильцы. В большинстве своем новые. Из старых вернулась лишь тетя Зина в свой тридцать первый. Вернулась с двумя очаровательными карапузами, и в первый же день весь дом узнал, что она ждет третьего. По-прежнему она много пила и хохотала. И на кухне теперь постоянно сидела совсем старая тетя Нюра. Я как-то подошел к ней с повинной... Она долго смотрела на меня мутными, слезящимися глазами, но так и не вспомнила ни о щах, ни о тапочке...

— Шпана,— сказала она тихо и беззлобно, по привычке, и отвернулась.

Новые жильцы навешивали двери, вкручивали в ржавые патроны лампочки, чистили краны, из которых наконец потекла вода.

Из техникума я возвращался рано и, наспех покончив с домашним заданием, заваливался на диван и читал. Учился я, откровенно говоря, плохо. Не хотел. Хотя факультет наш числился самым интересным и перспективным.

«Метростроевский». Моего полного равнодушия к метро не рассеял и учебный фильм, от которого все в техникуме долго ахали.

...На экране в течение часа мелькал цветной частокол колонн то гладких, то лихо закрученных, то совершенно прозрачных, то в виде бронзовых снопов, взлетающих ввысь... Неслись в зал эскалаторы с улыбающимися девушками... Стремительно наплывали и тут же сменялись новыми мозаичные панно, на которых было буквально все: трактора и караваи, нефтяные вышки и фрукты, наковальни и цветы, и лица... Сотни лиц. Все розовые и что-то кричащие...

Фильм сопровождался текстом. Два голоса, мужской и женский, стараясь перекричать друг друга и оглушительный марш, орали:

«— Мы взроем скалистые горы,
Коль нам помешают идти!!!...

(На экране: шахта метро. Взрыв. Рушится порода.)

...От Крайнего Севера к Гори
Проложим стальные пути!!!»

Мчится поезд. Бликующие рельсы убегают во мглу тоннеля. Мавзолей. Сталин машет рукой шагающим метростроевцам. Наезд. Улыбающееся лицо. «Конец фильма».

Мои тройки не беспокоили учебную часть. А в комитете комсомола меня нарасхват: одноактные пьесы ставил я, я же автор сатирических куплетов. Исполнялись они мною же в сопровождении двух аккордеонистов. Раз в месяц вывешивалась газета техникума. Оформлял ее я. В июле попадаю в число ста ленинградцев, отобранных для участия во Всесоюзном параде физкультурников...

Вернулся из Москвы загорелый, сытый и веселый. Кроме впечатлений, привез три плитки шоколада и парадный костюм: кремовые брюки с пластмассовым ремешком, льняную рубашку с русским воротом и белые парусиновые туфли на коже. С вокзала позвонил Томке. В ожидании ее хожу по комнате, поглядывая на свое отражение в зеркале.

— Ой, какой канареечный! — (Это влетела Томка.) — Это там выдали? И насовсем?!

— Насовсем.

— Бесплатно?

— Конечно.

— Вот здорово! А у меня зуб откололся. Вот посмотри...

Она подскакивает на цыпочках и тыкает пальцем в открытый рот.

— Ерунда.

— Знаешь, как жалко. Ну, как там? Рассказывай все по порядку.

Это я ждал и был готов.

— Ты садись, садись. Это тебе...

Подаю шоколад. Все три плитки.

— Ой, зачем же? Мне только одну.

— Мне не надо. Я им обожрался там.

— Тогда две.

— Бери и не стесняйся. Так вот, значит... Привезли нас в Балашово. Это под Москвой. Расселили в казармах и начали вовсю кормить. Целыми днями ели. Ели и загорали. Ну, вечером кино там, лекции всякие... Недели через две начали тренировать. Физкультурный шаг знаешь?

— Нет.

— Это вот... Смотри! Раз-два! Раз-два! Локти сюда! Взмах видишь? Раз-два! Раз-два!

Я зашагал от окошка к дверям и обратно. Томка глядела на меня обалдевшая.

— В каждой шеренге по десять, но все делают четко, как один. Головы подняты вот так... Глаза смотрят на Мавзолей! Раз-два! Раз-два!

— А девочки?

— Девчонки отдельно. Платья у них с вышивкой. На лбу кокошник. Потом ночью репетиция была. На самой площади... А перед тем несчастный случай произошел. На шоссе мотоциклисты репетировали, и один на скорости как врежется в дерево!

— Ушибся?!

— Ха! «Ушибся». Вдребезги! Где винтики, где кишки!.. Ну, вот... Наступил день парада. Мы, конечно, в колоннах стоим и на часы смотрим. Как только десять начало бить и сразу барабаны: бум-па, па, пам-па! Бум-па, па, пам-па!.. Из динамиков: «Ша-а-а-а-а-гом... Арш!!» На площадь выходит Амбарцумян. Абсолютный чемпион! Красная майка. Герб во всю грудь. Мышцы вот такие... В руках знамя. Тридцать квадратных метров! Ветром, как хлопнет! Как хлопнет! Древко из алюминиевой трубки и то гнется... А он хоть бы что! За ним колонна героев. Человек сто. Вторая колонна мы, эрэсэфэсэр. Я третьим от края шел. Трибуны полные... Иностранцев набилось! Русских и не видать совсем. По всей площади ковер из войлока. Зеленый. Вот такой толщины... Хочется смотреть кругом, а нельзя. Шаг можно сбить. Мавзолей прошли — я и моргнуть не успел. Но я все-таки обернулся... Сталина сразу узнал! Он в белом кителе, а рядом Калинин в шляпе. Его тоже сразу узнал. Ну, прошагали мы на другую сторону площади и стоим. И тут оркестр вальс заиграл. В одну минуту поставили турники. А турнички семь метров! Представляешь?! «Солнце» крутили минуты две. Чемпионы, конечно... Потом у самых трибун установили трамплины. Стальные такие. С откосом. И вот на площадь вылетает мотоцикл! Скорость жуткая. Все быстрей, быстрей! Как взлетит на трамплин! И в воздух! Колес не видно становится... Трения нет, и они как бешеные: зззззз!.. Летит, летит в воздухе и раз! От покрышек только дым! Вот один из них, ну, тот, что рассказывал,— на репетициях и разбился... А потом два грузовика. На них площадка с искусственным льдом. Круглая. Бортика, учти, нет. Она в белом. Он в красном костюме. Вальс на коньках!

— Красивая?

— Кто? Фигуристка? Откуда я знаю? Мы ж далеко стояли. Лиц не видно. А почему шоколад не ешь?

— Я потом. У тебя, Витя, так брови выгорели... Совсем нету.

— Может, на улицу пойдем?

— Пойдем,— радостно соглашается Томка.

Но уйти не удалось. В коридоре мы наталкиваемся на Леньку.

— Ты мне нужен — вот так...

Он пилит ладонью кадык и затаскивает меня обратно в комнату.

— Разговор мужской, Тома.

— От нее у меня секретов нет. И вообще мы собрались гулять...

Но за Томкой уже закрылась дверь.

— Чего тебе?!

— Я тебе, как другу...

— Иди ты на... Что ты путаешься под ногами?! Вечно он дает советы.

— У нее, между прочим, есть отличный парень. Летчик...

Я очень хотел его ударить. И я сделал бы это, но вы не знаете Леньки. Он стоял ко мне спиной и открывал моим перочинным ножом бутылку портвейна.

— Яблочки от твоей будущей тещи...

И действительно, вынимает из кармана два больших желтых яблока.

— Давай спокойно выпьем и спокойно поговорим.

Яблоки оказались сладкими. Портвейн крепким. Я сидел на подоконнике и рассеянно слушал.

— Ты можешь меня презирать. Пожалуйста. Но верить-то мне ты обязан. Ведь это интеллигентная семья. Может, ты думаешь, что она белоручка? Ошибаешься. Люда прекрасно готовит. Яков Михайлович — портной выс-ше-го класса! У него обкомовские шьют! И потом связи... Ты же сам говорил, что тебя тошнит от метро. Испортил тогда вечер. Нагрубил. Я понимаю — нервы, переживания. Давай еще. Держи...

Я отхлебнул глоток и поставил стакан на окно.

— Короче, я иду туда и передаю таинственным шепотом, что ты ее ждешь. Остальное зависит от этого...

Ленька постучал по моей голове и, напевая тарантеллу Листа, вышел из комнаты.

Стало невыносимо тошно от всего. От слов, от вина, от яблока. И летчик, конечно, есть. Это не выдумка Ленькина. И ноги чешутся... Кусаются брюки, черт бы их... Действительно,— «канарейка».

Сдираю обновки. Переодеваюсь в свое, привычное. И тут я увидел шоколад. Все три плитки лежали на диване там, где сидела она...

— Ну, и пусть...— произнес кто-то моим голосом.

На окне стакан. Почти полный. Выпиваю в два глотка. Раз-два! Еще в бутылке. Остатки. Из горлышка — раз!.. Доедаю яблоко. Огрызок в форточку.

— Ну, и пусть...

Смялось внутри все.

— Раз-два! Раз-два!

Падают знамена... Только почему они все желтые?..

— Ну, и пусть желтые...

Очнулся от духоты. В лицо кислым жаром дышит диванная подушка. Тишина. Но я сразу почувствовал, что в комнате кто-то есть, кроме меня.

Поднимаю голову.

— Ты давно пришла?

— Четыре часа.

— Неужели я столько спал?

— И, как мамонт, храпел.

Людмила подходит и, слегка толкнув меня бедром, садится. (Какие большие глаза... И патина есть... Ленька не врал. И в этом же цвете на груди пушистые елочки из шелка... На черной шерсти костюма...)

— Это я сама. Нравится тебе?

— Да.

— А хочешь, я у тебя останусь?

— Зачем еще?

— Как зачем? Вместе спать будем.

— Ты что?..

— Что же тут плохого? Я же тебя люблю.

Она долго раздевается. Мучительно долго. На диване стало тесно и душно. Пахнет духами и еще, одновременно противным и приятным. Слова куда-то делись. И к лучшему. Хочется смотреть и трогать. Смотреть запрещено. Свет погашен. Подушка покрыта волосами. Они не дают спокойно лежать. Под ладонью ее грудь. Тянусь губами. Хочется укусить. Хоть чуть-чуть. Сосок вежливо вырывается и убегает вниз, к моему сердцу. Мешают ноги. Ее. Руку не пускает на помощь. Очень жарко. Желание приказать. Чтобы повиновалась. Чтобы не мешала. Сейчас крикну... Вместо крика, больно целую ее губы. Облизываю глаза, шею. Она слабеет вдруг вся. Тело растворилось в сладкой духоте. Слышу и вижу эту сладкую духоту животом. Это вот здесь. Здесь. Далеко от меня. Теперь очень близко. Опять недостижимо далеко. И снова так близко... Обхватила руками крепко и вытянулась вся. Как мертвая... Бухало сердце. Колко стрекотали в висках пьяные кузнечики.

(...Как быстро все. Как это все коротко...)

— А ты маме понравился.

Она целует мое плечо и выскальзывает из-под одеяла. Зажгла свет. Одевается.

— Мне надо к Риммке. Смотри... У меня разные ноги. Не заметно?

— Ты что, уходишь?

— Я же говорю... Мне надо к Римме. Она самая близкая подруга. Корабль обещала подарить на свадьбу.

(Тело белое-белое. И розовые точки на икрах и выше колен тоже. И на спине.)

— Зачем корабль? Какой корабль?

— Настоящий такой, с парусами, мачтами... Старинный. А на корме наши имена будут... Это в «Елисеевском» шоколад покупал? Ты — милый.

Ногтем разрезает обертку.

— Я в блокаду его не ела. Мама, бывало, вся изведется, а я — ни в какую. Этот вкусный. А тот, знаешь, кусками. Американский. Горький такой...

Не спеша доела плитку. Брезгливо осматривает запачканные пальцы.

— Я о салфетку. Ладно? Все равно грязная.

Зацепилась волосами за крючок юбки. Рванула. На крючке осталась прядь.

— Жить будем в большой комнате. Мама отдает кровать. Они все равно спят отдельно... Для Риммки возьму плиточку, ладно? — Шоколад кладет в сумку. Садится ко мне. Целует.

— Не говори никому об этом. Знать будем мы и Риммочка. Ладно? Я помчалась...

И уже в дверях:

— Простыню не стирай. После свадьбы ее надо показать маме.— Она умчалась.

Почему об *этом* должна знать Римма?.. Корабль с именами... Шоколад в блокаду... Простыню, которую надо показывать...

Еще раз пропускаю через себя все, что произошло тут, сейчас, за какие-нибудь сорок минут... (Было без четверти девять; когда проснулся, я смотрел на часы. Сейчас половина десятого.) Сорок пять минут!..

Как же так?.. Это для меня всегда было самое, самое!..

От мысли, что со мной ляжет в постель голая девушка, останавливалось дыхание... Листая страницы великих книг, я запоминал великие слова и берег эти слова на тот случай, когда рядом будет она...

Но слова не потребовались. Ни одного слова.

И время. Думалось, что его не хватит. Не хватит часов и дней. Не хватит лет.

А тут... Сорок пять минут!..

Длина школьного урока.

ЛИСТ СЕДЬМОЙ

Недели две спустя, перебирая «семейный архив»,— кожаный чемодан, набитый документами, письмами, облигациями,— я увидел книжку донора, принадлежавшую маме.

Последняя сдача крови: 6 мая 1941 года.

У меня возникла идея.

В институте переливания крови таких ждали. Один врач из комиссии прямо так и сказал:

— Пять лет такого бычка ждали.

Бычок был, положим, тощ, но необходимые данные для выкачивания комиссия находит. Через час, облегченный на 250 граммов и богатый, как воин Тамерлана после очередного похода, толкаюсь на рынке. Со мной паек донора. Продукты рвут из рук. Мятыми деньгами набиты карманы. Только за топленое масло, не торгуясь, платит интеллигентный старичок пятьсот рублей. Тут же из продавца превращаюсь в покупателя. Английский костюм. Серо-голубая шерсть. Накладные карманы с пуговицами. Оранжевая этикетка с черным львом. (Ленька из зависти может выброситься из окна...) Звоню Людмиле.

— Люда скоро будет. А почему вы не появляетесь? Вас хочет видеть Яков Михайлович.

— Спасибо. Я появлюсь.

Впервые в жизни сажусь в такси. Мчусь к ее дому. Жду в машине. Шофер предлагает сигареты.

— Не куришь? А я на фронте как закурил, так вот и...

Он начинает фронтовую историю, но я не слушаю. Я жду.

Вот, наконец... Белое пальто. Красная сумочка. Красные перчатки. (Сейчас пройдет мимо машины, а я тихо вслед: «Мисс Лю, вас ждут...»)

Что это?.. Мужчина. В зубах мундштук. Доходят до парадной. Они рядом, в пяти шагах от меня.

— Завтра в шесть,— напоминает она.

Он целует руку, подтверждая, что «завтра» и что в «шесть»,

— Поехали,— говорю я шоферу.
— Куда?
— Прямо.
На другой день без предупреждения наношу визит семейству Фридман. Небрежно кидаю на столик в прихожей огромный букет. Елизавета Сергеевна искренне изумлена.
— Смотрите, что принес Виктор! Люда! Яков!
Семья высыпает из комнат. Люся подставляет щеку. Знакомит с отцом. Сестренка бежит за вазой. Георгины ошеломили всех (стоимость ошеломления фантастична. Позволить такое может только Ревность).
В гостиной пьем кофе. Яков Михайлович действительно милый старикан с большим шишковатым носом, которому ежесекундно необходим платок. Говорим о насморке, о Бунине, о собаках, о спектакле Пушкинского театра и, конечно, о погоде. Я в ударе. Даже ввернул очень кстати не очень приличный анекдот про червяка...
Впервые она посмотрела на часы в половине шестого. Лицо, как мне показалось, стало отсутствующим.
— Папа, прости... Мне надо к Фаине Григорьевне. Сегодня примерка.
(Ну, вот. Началось. Спокойно. Только спокойно.)
— Виктор, ты еще посидишь? Я — не больше часа...
— Я пойду с тобой.
Невероятно, но она соглашается. Выходим из дома. У Гостиного двора снова смотрит на часы.
— Встречаемся здесь, милый. В семь. Что ты так смотришь? Вот чудак. Туда нельзя. Неприлично. И ждать там негде. Не сердись, милый.
Подставляет щеку. Переходит улицу. Белое пальто видно издалека...
Он ждал ее у Филармонии.
Впрыгивает в меня и заменяет собою невероятно страшный и беспощадный зверь. Зверь не видит домов, машин, пешеходов. Только белое пальто, которое уводит Другой... Взмокли ладони. Стали липкими пальцы. Зверь собирается задушить их. Сперва его. Потом ее... (Но ведь она мне нравится не очень. Голая, так она совсем не красивая. И потом — глупая она...)
...Глупец ты! Ты же, размазня, пустил ее на диван! Молчанием дал согласие на женитьбу! Поверил каждому ее слову! И простыня! Ты забыл о простыне, глупец!..
Зверь забирается в Михайловский сквер. Перебегает от дерева к дереву, сокращая расстояние. Они идут вокруг. Прямо по площади. Заворачивают в проулок. Скрываются в подворотне. Пересекли двор. Еще одна подворотня. Остановились. Открыл дверь. Пропускает ее вперед...
Они здесь. За дверью, обитой клеенкой. На клеенке мелом: «кв. 3». Бегу во двор. Окна высоко. Видны только занавески. Вернулся. Дернул за ручку. Ногтями скребнул по клеенке... Диск французского замка. Ошпарила затылок сумасшедшая мысль. Нужна шпилька! Булавка!.. (Как-то в ремесленном мы не могли попасть в мастерскую. Потеряли ключ. Пришел преподаватель и канцелярской скрепкой открыл замок.)
Шарю в карманах, хотя знаю, что в них ничего нет и быть не может. Ищу в подворотне. В поисках выхожу во двор. Ничего нет!! Вою от отчаяния почти вслух. Делаю второй круг по двору. Натыкаюсь на детей. Они возятся у велосипеда. Машинально взглянул на вязаную шапочку. Шейка перетянута шарфом... Булавка!!! Хватаю мальчонку. Поднял в воздух. Сажаю и мчу по двору, толкая сзади...— Ууууу-ух!... Он покатился дальше. Я — в подворотню. Булавка не лезет. Толста. Сплющиваю зубами. Мягкое «щелк» и..., дверь сама пошла на меня.
Темень. Споткнулся. Ощупью, на четвереньках, взбираюсь по лестнице. Уютный коридорчик. Светится стеклянная дверь. Прилипаю к вешалке, рядом с белым пальто, и перестаю дышать.
Побежали секунды. В тишину квартиры, как сквозь вату, долетают со двора детские голоса. Но вот... звук. Звук настолько неожиданный, что не сразу понимаю, что это... Так, кажется, шелестит бумага, когда перелистывают книгу.

— Начали, милый...
(Это она!!!) ... Но зверь не бросается в комнаты. Не душит и не рвет жертвы на части. Зверь поджимает хвост и собирается покинуть меня. Это из-за того, что все вокруг потекло... Все начало таять. Мягкими толчками входила и заполняла коридор мелодия. Вот еще один рояльный аккорд с россыпью нежных нот... Еще, почти такой же, но более грустный. Вступил голос. Будто тронули хрусталь...

Взгляни. Под отдаленным сводом
Гуляет бледная луна.
Своим сияньем...

Пенье оборвалось. Мелодия уходит вперед, ломается и обрывается тоже.
— Там кто-то есть...— сказал хрустальный голос.
Дверь распахнулась. Передо мной — мальчик. Бледный и очень худой. Он спокойно разглядывает... белое пальто. Из комнаты выходит Людмила.
— Я же знал, что тут кто-то есть. Вы разве не слышите?!
Она хочет что-то сказать мне, но не успевает. В дверях мужчина.
— Папа, ты тоже ничего не слышишь? Вот же...
Мальчик ткнул рукою в пальто. Потом рядом. Потом в меня.
— Простите, Игорь Романович,— тихо говорит Людмила.— Это Виктор... Понимаете?
Мужчина улыбнулся.
— Ванечка, пойдем, милый. Пойдем.
Мальчик послушно уходит за Людмилой. Мужчина тоже. Я остаюсь у вешалки в состоянии полнейшего столбняка.
Вышла она тотчас. Надела пальто. Схватив меня за рукав, тащит к выходу.
До сквера прошествовали в глубоком молчании. Скамейки пусты. Мы сели.

Когда на Демидовом переулке взорвалась пятисоткилограммовая, Ванечке не было и двух лет. Мать не проснулась. А Ванечку откопали девчонки из ПВО. Игорь Романович, вернувшись с фронта, отыскал сына в детприемнике города Кемерово. Ванечка был слеп. При встрече он мял ручонками лицо отца и радостно выкрикивал:
— Слышу нос! Слышу глазки!
Мир для него был миром звуков. Музыку он читал, как мы читаем книги. Пенье далось ему легко и стало наслаждением.
Людмила познакомилась с ними на концерте в Филармонии. Ванечка оказался ее соседом по креслу. В антракте она приняла приглашение Игоря Романовича давать уроки...
Вот и все. Почему она не говорила об этом дома? Почему не сказала мне?
Странные мы — люди. Каждый носит в себе свою, глубоко личную тайну, но не один не прощает этой слабости другим...
На другой день по телефону я сказал Елизавете Сергеевне, что мы любим друг друга. После очаровательно-огромной паузы последовал ответ:
— Надо собраться и все оговорить...

Прежде чем продолжить, я обязан предупредить читающего, что при недостаточно внимательном чтении предыдущего, дальнейшее может стать неясным, или, что совсем нежелательно,— понятым неправильно, поэтому убедительная просьба: не переоценивать свою память, в особенности по отношению к деталям, а перечитать, как перечитывают следственное дело, все с начала, иначе вы, войдя вслед за Виктором в последующее, можете, как принято говорить, заблудиться, и тогда даже я, при всей снисходительности к людской памяти, уже ничем не смогу помочь вам. К сожалению...

Кстати, Вы помните номер комнаты Лидии Васильевны, которая вышла замуж за военного?..

А какого цвета костюм купил на рынке Виктор?..

Вы ехали на работу утром. Вспомните, во что была одета женщина — ваша соседка в вагоне метро...

А вы можете перечислить предметы, находящиеся в вашей сумочке? Портфеле? Прежде, чем ответить твердым «да»,— проверьте сами.

Все это очень легкие вопросы для памяти нормальной. Но, если у вас и при напряженном вспоминании не возникнут ответы на них, не огорчайтесь. Можно прожить и так. Так большинство и живет.

(Странно только, что это самое живущее большинство постоянно жалуется, что они «что-то» или «кого-то» не понимают.)

Ну, бог с ними... Оставим их. Нас ждет очередной лист «ДОСЬЕ» за № ...

ЛИСТ ВОСЬМОЙ

В актовом зале школы напряженная тишина. Через несколько минут перед нами выступит старейший чекист в отставке Брагин. Все наши попытки узнать о нем какие-нибудь подробности потерпели провал. Секретарь учебной части школы Шурочка, не отрываясь от «Ремингтона», сухо отчеканила лишь пять слов: «Открытие школы поручено полковнику Брагину».

Поднялись в семь. На площади перед Исаакием, тщательно скрывая друг от друга зевоту и куриную кожу, провели физзарядку. Отогрелись за сытным завтраком, после которого смертельно захотелось спать. Но спать не пришлось. В аудитории нас ждала маленькая седая женщина.

— Я помогу вам вспомнить русский язык. Зовут меня Полина Антоновна. А начнем мы с диктовочки...

Диктант оказался сложным, но не сложно было списывать. Полина Антоновна на память диктовала нам текст, а сама читала толстую и очень потрепанную книгу. Я долго не мог вспомнить сколько «н» в слове «задержанный»...

На сцену вышел маленький человек в синем шевиотовом костюме. В руках огромный старый портфель. Человек прошел за кулисы, вынес оттуда стул. Стул поставлен у самого края авансцены, на него положен портфель. Человек облокотился на спинку и стал молча и внимательно разглядывать нас. Он был похож на грача. Сходству с грачом помогали и темный костюм, и приподнятые сейчас плечи, и сплюснутый нос, и совсем не моргающие глаза, темные и глубокие.

— Я старый и больной человек,— услышали мы тихий и очень домашний голос.— Мне трудно следить за нашим хозяйством, а оно у нас большое, богатое...

Он глазами, только глазами, заставил нас повернуть головы к стене, где висела огромная карта Союза.

— Двадцать семь лет сторожем при этом хозяйстве работал. Потом сказали: «Амба. Глаза у тебя не те стали. Память не та. Штатский костюм к твоему лицу более...» — Замолчал. Смотрит, не моргая, в один из рядов.

— Вон... место свободное. В четырнадцатом... Сидел бы я сейчас там да слушал вместе с вами старого сторожевого пса...

Опять замолчал. Выпрямился. Натянулся струною весь. Пальцами сжал спинку стула, аж белыми стали. И зачеканил фразы железные и красивые:

— Меч вручим после окончания школы! Наш чекистский, беспощадный дадим меч! Преданными и смелыми друзьями наших друзей должны стать! Врагами врагов! А идеалы ваши вот,— он повернулся всем корпусом к портретам.— ...Маркс! Энгельс! Ленин! Сталин! Вот и вся программа школы. Ясно?!

— Ясно!!! — одним ртом громыхнул зал.

Брагин снова облокотился на стул и тихим домашним голосом начал вводную беседу.

Через четыре дня, в одной из очередных бесед с курсантами, начальник Школы рассказал о прямо-таки легендарной биографии Григория Евдокимовича Брагина — почетного чекиста, полковника в отставке, кавалера ордена Ленина и ордена Боевого Красного Знамени.

Но самое интересное о Брагине я узнал на пятый день от Людмилы.

— Это же Томкин отец. Ты что об этом не знал разве? Ее фамилия Брагина. Тамара Григорьевна Брагина.

ЛИСТ ДЕВЯТЫЙ

Нас двести. На нас одинаковая форма, едим мы одинаковую пищу; карандаши для записи лекций у нас одинаковые и спим мы на одинаковых кроватях. Только сны у нас разные...

Плавают в крепком чае недотроги-кувшинки. В лепестки солнца понабрали и всем глаза слепят. На мягком дне пруда лежат полусонные караси...

Это у Жилина. Недаром он всю ночь улыбается.

А у Сережи Горбунова — кривое окошко в дощатом домике. Из окошка торчит перемазанная малиной сестренкина рожица. Вокруг дома тазы медные, и во всех варенье булькает. Малиновое.

Шлагбаум во сне встречался только у Кости Колокольцева. Его мать на переезде работала. У шлагбаума и родила Костю, и качала на нем, чтобы засыпал быстрее.

Только у одного Фомина не было ничего такого. Подкидыш Фомин.

В поезде Москва — Новосибирск (в двадцать четвертом году это было) студент Яша Фомин нашел в купе сверток. В свертке спал человек. Ресницы — по сантиметру, нос — обыкновенный, просто две дырки, а во рту соска.

Бабье орет, как всегда, без толку. Мужики совещаются. Яша слушал, слушал, затем взял сверток и на первой станции вышел.

В ближайшем родильном доме сверток развернули и без труда установили, что обладатель соски — мужчина. А так как разбудить мужчину было нелегко, высказали предположение, что его напоили кумысом.

Яша оформил сверток на себя и, не посоветовавшись ни с кем, назвал находку Александром.

До войны Яша жениться не торопился, а в сорок первом поторопился вступить на минное поле...

Шестнадцатилетний Шурик, получив похоронную, бежит из Свердловского техникума на фронт. Четыре года везенья. С первого дня в разведке. Полный планшет орденов и медалей и ни одного ранения.

После войны Шурик пишет заявление. Возьмите, мол, в органы, хочу быть контрразведчиком. Отказ. Причина отказа весомая — заикание. Дефект этот у Шурика с рождения. Действительно, контрразведчик — заика...

После очередного отказа Фомин выкидывает номер.

Изготовил фальшивые документы, заваливается в Н-скую военно-морскую базу на Балтике и дежурному офицеру учиняет разнос. Из мата в мат кроет отечественный флот от адмирала до мичмана.

— Тыловые паскуды!.. Раз... вашу... Потемкинские гробы!!

Огромные кулачищи, грудь — столешня, увешанная бронзой и серебром, подполковничьи погоны и «потемкинские гробы»,— ввергли молодого капитана в немоту. Он понял из всего только, что его начальство преступно виновато перед другим начальством, более высоким, в необеспечении чем-то очень важным кого-то очень важного...

Прогремев на прощание очередную матерщину, «подполковник» чуть не сносит с петель дверь и, вместе с бензиновым облаком своего «БМВ», исчезает.

Через час на столе начальника Особого отдела флота лежало: а) журнал дежурств по базе; б) список офицеров, получивших увольнительные в этот день; в) бланк-заявка с печатью базы; г) перочинный ножик, личная собственность капитана.

У стола стоял улыбающийся Шурик.

— Я хотел послать его за чем-нибудь и в столе пошарить, но п-пожалел...

Трибунал капитана «не пожалел», а Александр Фомин, после особого ходатайствования был зачислен курсантом нашей школы.

Дружба с Шуриком началась в первый же вечер. Он обыграл меня в шахматы. Я тут же заключаю с ним пари, что запомню его любые сто слов, и выигрываю. В ответ он доверяет мне тайну. А так как у меня не было никаких тайн, о чем искренне тогда пожалел, я дарю ему отцовский портсигар. К портсигару добавляю, что он будет первым гостем на свадьбе, подготовка к которой уже охватила родословное древо фамилии Фридман.

Ежедневно читаю Люськины письма-отчеты. «Закуплено водки — столько-то...», «...заднюю ногу крупного рогатого скота везет из Риги дядя Изя». «Пошито из батиста простыней — 6»... «Столько же дарит двоюродная сестра Бэлла».

Моя комната оклеивается заграничными обоями. «Уже падают листья» — назвал их Ленька. И хотя я твердо заявил родителям невесты, что первое время будем жить отдельно, метаморфоза с моей комнатой меня не обрадовала.

Как-то вырвавшись из школы, я застал у себя двух мужиков. Они наклеивали «падающие листья», хоронили последнее, что оставалось от прошлого: наивный ковровый узор, будто сцепившиеся в вечных объятиях буковки «Ш». Я, помню, часами лежа на диване, мысленно разъединял их... Солнце и сырость, копоть и время покалечили буковки.

Вот кисть плюхнула на них вонючий клейстер — и все...

Потом по коридору с трамвайным звоном протащился буфет. За ним кровать, столь огромная, что на этаже пришлось перекрыть движение. Потом в комнату вползли тяжелые кресла, закатился круглый стол и прыгнул к потолку оранжевый абажур.

Теперь по комнате могли передвигаться только вещи. Людям оставалось лишь стоять, сидеть, лежать.

— Ты просто отвык от уюта, милый...

Предсвадебные дни покрыли лицо Людмилы алыми пятнами. Она предельно возбуждена и холодно деловита.

— Шлялась на толчке. Тюля, конечно, нет. Один хмырь с занавеской заломил полкуска. «Ты, что, милый,— говорю,— с чердака упал?» Посуды нет. Стоит жаба с немецким сервизом... Нет, ты спроси, сколько он стоит...

— Но зачем это все?

— Как зачем?

Людмила молитвенно закатывает глаза.

— Ну, ей-богу, существует же обыкновенная посуда.

— Посуда?!

Она хохочет зловеще.

— Вот это?!.. Ты имеешь в виду это?!..

В ее руках мой чайник с кривой ручкой и с крышкой от сахарницы.

— Мы — люди, Виктор! Понимаешь, люди!

Держа чайник в руке, словно дохлую крысу, она выносит его вон.

О предстоящей свадьбе в Школе знали все, вплоть до водопроводчика Кириллыча, у которого мы занимали «рублик до стипендии» и чьи похабные анекдоты проникали в аудитории.

Людмила позаботилась и о том, чтобы ее все знали. Она могла ранним утром неожиданно появиться из-за колонн Исаакия, и тогда все двести, махая руками, подпрыгивая и приседая, мужской завистью завидовали мне, который, прервав физзарядку, вроде бы нехотя, подходил к ней, говорил с десяток слов и, получив поцелуй, догонял уходящих товарищей.

Шурик, вступив в права первого гостя, давал интервью.

— Объясняю еще раз,— голосит он на всю спальню.— Вызывают невесту на почтамт.— «Распишитесь за ящик». На ящике наштемпелевано «Париж — Ленинград»! Открыли... Мать моя! Сорок шестой размер... Цветом под тополиный пух и записочка: «Мадемуазель, это платье сшито из белого флага, что означает п-прекращение сопротивления». Подпись: «Французское сопротивление»...

— Откуда они размер-то угадали?

— Разведка.

— А наши что? Спали?

— Никто не спал. Они в этот момент с француженок размеры с-снимали...

В дверь просовывается голова под фуражкой.

— Вы что, очумели? На лестнице слышно.

Это ночной дежурный по этажу.

— Не шикай, Степа. Иди «беломорину» получи. И потом, до завтрака далеко — п-прослушай свадебное меню. На первое: суп индюшачий. Полторы порции на брата. На второе... Витька, что на второе?

— Сосиски.

Спальня хохочет. Дело в том, что за два месяца в школьном рационе не менялось второе блюдо. Даже частушка ходила:

Все шпионы дураки,
Хлещут свои виски.
Мы — хитрее, мужики:
Лопаем сосиски.

Нельзя соскоблить с памяти иные даты. А жаль.

6 ноября тысяча девятьсот сорок шестого года.

Невский скрипит недавно выпавшим снегом. Ветер выколачивает из флагов голубую морозную пыль. А нам жарко. Шинели расстегнуты, шапки сдвинуты — вот-вот свалятся.

— Жених с друзьями на лихачах, бывало, подкатывал,— бубнит Шурик.— С цыганами, с шампанским. А тут одно в башке: скорее б за стол, да пожрать вкусненького...

— Пошляк ты, Фомин.

Это отреагировал старшина курса Иван Петрович. Кандидатура его бурно обсуждалась. Приглашать или не приглашать? Мужик он, вроде, ничего. Фронтовик. Лейтенант. Как и мы, курсант, и старшиной курса назначен начальством. Надо же кому-то старшиной быть...

— Усыпит,— предупредил Шурик, когда я намекнул о нем.— От таких цветы у невесты вянут.

— Не обидится?

— Ну и черт с ним. Лучше уж Горбунова.

— Это бы хорошо. Но он сам к невесте собрался.

— Ну, не знаю... Рано начинаешь ягодицы начальству лизать. Еще налижешься.

— Ты что, дурак, что ли? Элементарно неудобно. Есть же какая-то этика.

— Не этика, а подхалимаж.

На этом и кончили. Однако накануне Шурик сам подошел к Ивану Петровичу.

— Венчание у Кострова. Слыхал? Если глупость не будешь болтать, п-пригласить можем.

На лестнице Шурик «падает в обморок».

— Ой, пирогом ударило! Братцы, умираю!

Тащим «труп» Шурика по последнему маршу.

— Во имя отца, дочери и кухонного духа!
Шурик осматривает нас, поправляет ремень Ивану Петровичу. Я нажимаю кнопку звонка.
В прихожей, в окружении подруг, стояла невеста.
Шурка хватанул шапку оземь и заорал во весь дух:
— Горько!!!
Иван Петрович попытался что-то молвить о преждевременности этого, но все уже кричали, визжали и пили, а я целовал ее холодные от волнения губы.
Потом было все, как надо...
Много пили, много пели и танцевали до пота. После каждого тоста Елизавета Сергеевна интеллигентно утирала сухие глаза и бдительно следила за младшей, чтобы не пила.
— Не смей, не смей,— шипит она.
Шурик догадался таскать кагор для Ниночки в прихожую и обменивать на поцелуи.
Не в духе был один Ленька. (Как он умудрился пролить соус себе на костюм?) Не танцевал, произносил злые тосты и много пил.
Яков Михайлович, довольный всем, сидел в гостиной с красивым пожилым брюнетом, кажется, родственником, и курил.
Облепленный девчонками, Шурик буквально не закрывал рта. Людмиле он не понравился.
— Ты в него влюбишься еще. Обожди.
— Не смеши.
Словно почувствовав, что говорят о нем, Шурик подмигнул нам и громко объявил:
— Вальс невесты! Выбирает она! Захочет — танцует одна!..
— Хочу танцевать с Шуриком!
Люся показывает мне язык.
— Вальс! Иван Петрович, где вальс?!
— Даю!..
Лейтенант забарабанил по клавишам и не в тональности запел:
— «После тревог спит городок...»
Песню подхватили, подправили. Я тоже пою. Мне хорошо. Уже по-настоящему хорошо. Шурик красиво танцует, черт! И Людмила... Леньку, вот, жалко...
— Леня, выпьем?
Мы выпили. Выходим на лестницу. Ленька — курить. Я — просто от хорошего настроения.
— Как? — спросил Ленька.
— Что, «как»?
— Как, вообще?
— Вот чудак. Хорошо.
— Не жалеешь?
— О чем?..
И тут я услышал голос. Очень знакомый голос. И принадлежал он давнему прошлому. Кто-то поднимался там, внизу, по лестнице.
— Козел проклятый! Гнида зеленая! Ишь, на этажи забрался! Не дом, а каланча... Чтоб она рухнула... Головастик...
Цепляясь обеими руками за перила, хрипло дыша, совсем старая, седая, приближалась ко мне мамина родная сестра. Тетя Клава.
— Чего наглость свою повыпучил?! Тетку не узнаешь?! Паразит паршивый! Перед смертью порадовать не пожелал, сын сучий...
Тетя повисает на мне. Мокрым, беззубым ртом облизывает подбородок.
— Как же вы так, тетя? Маму тогда обидели. Столько лет ни слуху, ни духу...
— У одних — жисть в мудрости, а у других — в дурости. Чего ж топтать лежачего-то?.. Ноги мои так и не зажили, чтоб они отвалились, палки болючие... А Тоньку простила я — не виновата мать твоя. Ты не лыбься! Проживи с мое, потом и лыбься. Я ить тоже смолоду лыбилась. Мне заходить, али как? Я в угле тихонько притулюсь. Не опозорю. Не бось...

— Ладно, тетя... Чего там... Заходите.
Единственный родственник со стороны жениха возбудил повышенное внимание. Тетя этого не заметила. Или опыт старости помог ей преодолеть смущение. Она сама выбрала кресло к углу и, поджав губы, уселась. От шампанского, что поднесла ей Людмила, отказалась.
— А если водочки? — неуверенно предложил Яков Михайлович.
— Водочку пьем,— пропела тетя.
Взяла обеими руками стопку. Пошарила по столу глазами.
— Нет грибков-то?
Кругом зааплодировали, как на концерте. Я трезвел. Трезвеющая голова хотела спрятаться в плечи. (Сейчас тетя выпьет вторую, начнет петь. И тогда...) Но она не допила и первой. Затрясла головой, положила в рот рыжик и затихла.
Паузу заполняет Шурик.
— Если позволят... Мы тут насочиняли малость:

Я лопнуть с зависти готов.
Что я — не Виктор, не Костров!
И мне, друзья, осталось только
Рыдать от горя горько... Горько!!!

— Горько!!! — заорала квартира. В четыре руки барабанят на пианино туш Иван Петрович и Ленька.
— Почему не бьем посуду?! — вопрошает он Елизавету Сергеевну.— На свадьбе моей бабушки били «на счастье» хрусталь. У вас же есть хрусталь?!
Хмельная сестренка Ниночка пляшет под Петра Лещенко: «Моя Маруссенька, моя ты куколка!»
— Оп! Оп! Оп! Оп! — разжигает ее Шурик, ползая вприсядку.
Людмила лохматит мне волосы, шепчет.
— Посмотри, какая у Ниночки грудь. Ну, посмотри...
— Будет кто-нибудь чай? — пытается выяснить хозяйка, но ее не слышат.
Запрыгивают в прихожую девчонки. Подправят прически, пошепчутся и в комнату...
Дзынь!!! Разлетается ртутью старинный бокал.
— Это традиция, мамочка! Мы все традиционны! «Привычка свыше нам дана!» Пушкину ура-а-а!!!
Ленька закружил мою тещу, целуя ее в губы.
Яков Михайлович, довольный всем, все курил с красивым брюнетом, а единственная родственница со стороны жениха мирно почивала в кресле красного дерева.

Отпустили нас на рассвете. Елизавета Сергеевна снова утирала сухие глаза, а тесть, отведя меня в сторону, говорил:
— Виктор Александрович, я надеюсь... Вы понимаете... Мы же мужчины. Это бывает однажды... Она девушка и... Я надеюсь...
Я не смотрю ему в глаза. Бормочу нечто бессвязное, пожимаю ему локти. Он благодарит меня (за что, так я и не понял) и отходит к гостям.
Провожать нас вышли Римма и Шурик. И только до Аничкова моста. Так договорились.
Праздничный город спал. В Екатерининском сквере покидались снежками. Потом на руках пронесли невесту. Долго прощались на мосту. Шурик залез на клодтовского коня и произнес речь.
— Я тоже хочу его потрогать. Помоги, Виктор!
Подсаживаю Людмилу.
— Это тебе,— шепчет Риммка.
Сунула мне в карман мятый конверт и заскакала на одной ноге.
— Ой, замерзли ножки!
— От кого это?
— От Томки... Ой, замерзли! Ой, замерзли! Ой, замерзли ножки!..

Горит оранжевый абажур. Мы одни. Она и я.
— Чаю бы, Витя, а?
— Да-да. Я сделаю.
Ухожу на кухню. Ставлю на примус чайник. Разрываю конверт.

«Что же ты, Костров?
Так спешил, что и посоветоваться со мной не захотел? Телефон мой потерял разве? Я думала, ты совсем другой, а ты обыкновенный. Желаю тебе счастья тоже обыкновенного. Будешь переезжать к жене, спроси, почему они в своей квартире не живут. А телефон мой найди. Пригодится.

Брагина».

ЛИСТ ДЕСЯТЫЙ

Дней за десять перед Новым годом нас созвали в актовый зал. Дежурный офицер доложил, что все в сборе, кроме одного отсутствующего по болезни и еще одного, отпущенного в город в связи с болезнью отца.

— Садитесь,— сказал начальник школы,— и выслушайте внимательно.

Зал скрипнул стульями и затих.

— Вам поручается первое оперативное задание. Весь личный состав школы направляется на охрану проезда правительственного поезда. В этом поезде из Москвы на родину проследует товарищ Сталин.— (Сердце обхватил холодный клубок и стало сухо во рту.) — Весь маршрут подлежит тщательной проверке и контролю. Два курсанта на один километр. Организовать круглосуточное дежурство. Проверить всех живущих в непосредственной близости у полотна. Лиц без постоянной прописки задерживать. В часы прохода поезда быть всем на путях. Оружие держать в боевой готовности. При появлении посторонних на линии в минуты прохода состава стрелять без предупреждения. Вам будет выдана одежда работников транспорта, оружие, деньги. Постарайтесь узнать поближе людей, живущих и работающих на вашем километре. Обо всем сомнительном немедленно докладывать командованию. Связь по железнодорожному селектору. Питание и ночлег организуйте сами. Отъезд завтра в ночь. Вопросы есть?

Вопросов не было.

Ночь. Вагон. Не уснуть никак... На седой насыпи черные столбы. Бегут вагоны. Один, другой... Тык-тык, дак-дак, тык-тык, дак-дак... Вдруг столбы побелели, качнулись. Насыпь вздрогнула, и по рельсам дальше покатились колеса... Одни... Без вагонов... Тык-тык, дак-дак, тык-тык, дак-дак...

Вот черт! Как же уснуть?

Наш километр под Тулой. Фомин дежурит ночью, я — днем. Спим прямо на полу в будке путевого обходчика Олега Васильевича. Место здесь тихое, нежилое. У невысокой насыпи редкий кустарник. Чуть поодаль — молодые елки. Летом тут, направо и налево, до самых этих елок, болото, а сейчас ходи, сколько хочешь. Но мы не ходим — бережем снежную целину. Правда, одно существо, живущее на километре, не пожелало выполнить введенное правило. Глубокие ямки следов оставлял ежедневно заяц-беляк, большой и толстозадый. По свидетельству Олега Васильевича, заяц был в преклонных годах и жил здесь давно. На нас он не обращал внимания, и мы часами могли наблюдать, как неуклюже скачет он по глубокому снегу вдоль насыпи метров сто, потом замирает вдруг, превращаясь в заснеженную болотную кочку. Это значило, что сейчас пройдет поезд.

И точно. Громыхали вагоны. Потом наступала тишина, и кочка скакала вновь, обнюхивая каждый метр пути.

— Тут круглый год ему харч,— разъяснял обходчик.— С окон всякая всячина летит. Привык.

Олег Васильевич был рад нашему вторжению в его одиночество. Говорить он любил, и слушать его было интересно. Жизнь свою он провел в парикмахерской пограничного селения.

Юноши с пухом на подбородке как-то быстро, на его глазах, превращались в мужчин с жесткой щетиной, а затем, так же быстро, в неподвижных клиентов, к которым надо было ехать на дом и брить их последний раз в присутствии голосящих родных.

Однажды Олег Васильевич заметил, что и сам постарел, и, не найдя другого выхода из создавшегося положения, женился на молодой дочери местного банщика. Через год жена умерла в родильном доме, оставив ему двух дочерей. Дождавшись дня, когда девочки принесли аттестаты об окончании семилетки, старый цирюльник отправил их в столицу.

— Научитесь наукам, чтобы бабы при родах не кончались.

Таково было напутственное слово родителя.

Послушные дочери поступили на фельдшерские курсы, а Олег Васильевич попрощался с границей и уехал доживать на триста сорок седьмой километр.

Привез он сюда иранский ковер, серебряный кофейник и неистощимое количество восточных легенд, сказок и историй. Днем он рассказывал их мне, а ночью — Шурику.

Прошла неделя.

Нового ничего. По-прежнему держался мороз, по-прежнему нарушал «запретную зону» нахалюга-заяц, и не торопясь досказывал очередную страшную легенду наш хозяин.

Но вот наступила ночь, которую помню до мельчайших подробностей.

Ровно в двенадцать, как и обычно, сменил меня Шурик. Похвалив жареную картошку с луком, предложенную Олегом Васильевичем, я повалился на полушубок и сразу заснул.

Разбудил меня холод. Вскочил, начисто не соображая, что происходит. Дверь настежь. Шурка, злобно матерясь, возится с нею... Бросаюсь к нему, но меня тут же валит с ног страшный ветер.

— Оттуда пихай! Оттуда! — орет Шурка.

Не подняться никак. Коченеет лицо, руки. В кальсонах, босой топчется тут же Олег Васильевич...

Неожиданно дверь сама пожелала закрыться. Она сшибает Шурку, разбивает мне в кровь руку.

— Скоро поезд,— сообщает Фомин.— Контрольная дрезина проскочила...

Глотнул водки, начал бинтовать мне руку.

— Идти с вами? — спрашивает обходчик.

— Не надо. Останьтесь здесь.

Первым выползает Шурка. Руками отыскиваем рельсы. Держась друг за друга, двинулись по полотну. Шурка орет мне в ухо:

— Сейчас платформа пройдет! Потом поезд!

Он двинулся вперед. Я остаюсь. Включил фонарик, чтобы хоть что-нибудь видеть. В кругу света стоят мои валенки, рядом блестит рельс. Прошел шагов тридцать. Смотрю на часы. Пять минут второго. Стою спиной к ветру. Вслушиваюсь. Но что разберешь в этом гуле?

И тут я увидел свою тень. Она стояла рядом. Черная тень на ярко-белой метели. Кидаюсь в сторону и проваливаюсь в снег. Мимо летит сверкающий шар. Успеваю рассмотреть платформы, загруженные балластом, и тепловоз. Все уносится в темноту, а в голову ввинчивается пронзительный вой сирены...

Выползаю на пути. Снял перчатку, засунул руку в боковой карман полушубка. Пистолет теплый-теплый. Прошагал немного. Оборачиваюсь. Еще шагаю. Опять оборачиваюсь. Стало жарко и весело. Я начал про себя даже напевать что-то.

Прошли секунды, прежде чем понял, что только что слышал «кых», слышал! Я не мог этого придумать. И я знаю, что это... Так на морозе звучит выстрел. И это там, в той стороне, где Шурик.

Я побежал. Бежать помогает ветер. Под снегом шпалы. Забываю о них и потому беспрестанно спотыкаюсь. Неожиданно со всего маху налетаю на Шурика.

— Грохнул пацана! Вот ... мать! В темноте разве разберешь?! На полотно лез, дурак... С корзинкой...
Он толкает меня с насыпи. Светит под ноги. Вижу запорошенный снегом затылок и зеленый фланелевый шарф... А через мгновение ударило светом, и я увидел мальчишку целиком. Увидел подшитые валенки. Увидел корзину-самоделку... Рассыпанный уголь...
И лицо Шурика.
Он глядел на поезд.
Три длинных вагона с опущенными шторами шли курьерской скоростью в сторону Кавказских гор...

К утру все успокоилось. Мы помогли Олегу Васильевичу откопать будку и под жареную картошку с луком выпили «по последней».
— Заяц не вышел сегодня,— сказал обходчик.— Нору, наверное, завалило наглухо.
В полдень нас забрала дрезина.
У наших ног мальчишка. На стыках рельс дрезина вздрагивает, голова тоже, будто кричит кому-то: «Нет! Нет! Нет!...»

По дороге в Ленинград между мной и Фоминым состоялся такой разговор:
— Я понял так, Витька, что пацана тебе жаль?
— Правильно понял.
— А если бы это был не пацан? И не уголь он подбирал бы?.. Тогда что?
Я молчу, не в силах предположить, что было бы, если...
— Приказы, Костров, издаются с уверенностью, что они будут выполняться.
— Да ладно. Что ты завел? Иди в коридор кури... И так в купе дышать нечем.

Мы снова в актовом зале школы. Нас поздравляют с отличным выполнением задания. За проявленную бдительность в сложнейшей обстановке дежурств на триста сорок седьмом километре курсанту Фомину Александру Яковлевичу объявляется благодарность.

В канун Нового года, через сеть своих знакомств, Людмила достает билеты в театр музыкальной комедии.
«Марица». В главных ролях Колесникова, Кедров, Янет. В антракте выпили по стакану вина. Бродим по фойе.
— Давай переедем, милый, а?
Людмила прижимается ко мне.
— Я все равно не живу там. Боюсь примусов. От них, говорят, стареют. Мама ни во что не будет вмешиваться... Переедем, а?
— Кстати, ты ничего о своей квартире не рассказывала.
— В каком смысле?
— Вы же не в своей живете?
— Ах, ты об этом... Это просто была редкая удача и все. А кто тебе сказал? Хотя это не важно. Тут ничего нет такого... Мы жили рядом, на этой же площадке. А там, где мы сейчас, жила немка. Одинокая. Старуха. Кажется, учительница в прошлом. В блокаду она умерла. Папа нанял людей. Похоронили по-человечески. И потом мы переехали.
— Значит, это все ее? Мебель, ковры...
— Так ведь все равно бы сожгли, растащили. Управхоз даже слова не сказал. Пожалуйста, переезжайте... Ему еще пришлось буханку хлеба дать, чтобы номера поменял.
— Какие номера?

— Фу ты, какой непонятливый. Наш номер был «12», а его перевесили. А «13» перебили на старую квартиру. Понял?
— Выходит, вы живете в квартире номер тринадцать?
Людмила громко рассмеялась.
— Вот смешной! Чего ты испугался? Ты никак в приметы веришь?
Звонок приглашал на последнее действие.

ЛИСТ ОДИННАДЦАТЫЙ

Новогодняя ночь. Дежурю по школе. Поменялся с Колокольцевым. Он оставил потрепанную «Королеву Марго» и счастливый убежал в город.
Пробило двенадцать. Жду еще три минуты и набираю номер.
— Полковник Брагин.
— Простите. Можно попросить Тамару Григорьевну?
— Кто вам дал этот телефон?
— Она.
Трубка замолчала, потом ожила ее голосом.
— Это ты, Витя?
— Я.
— Ты решил меня поздравить?
— Да.
— Спасибо. Я тебя тоже.
— Мне очень плохо, Томка.
— Я знаю.
— Когда можно тебя увидеть?
— Я пришлю тебе открытку.
Трубку повесили.
Все. Больше говорить не с кем, и хорошо. И никто не помешает сегодня. Дежурный офицер выпросил у меня «Марго», уединился наверху в холле и до утра с этой «Марго» не расстанется...
Телефоны, хотя их и три, звонить не будут. Сяду вот сюда...
Начнем. Тем более подменился с Колокольцевым только ради этого...
С чего же начать?..
На могиле матери не был с весны. Точнее — с марта. Подлец.
Женился, неизвестно зачем. Любви тут никакой. Это ясно. Испугался одиночества? Ну, и, конечно, вопли о ее красоте, зависть окружающих — все это было приятно... Ленька даже ни при чем. Я же решил это после случая с Ванечкой...
Опять ложь! Ничего я не решил. Я ни разу в жизни ничего не решал. У меня нет никакой точки зрения... Как же я мог что-то решать?!
Я делал до сих пор только то, что хотели другие... Вначале за меня решала мама. Не стало мамы — решение выносят врачи: быть мне или не быть... А я опять как бы в стороне...
Быть мне на фронте или нет — решило за меня начальство ремесленного училища.
Потом кто-то решил, что лучше всего мне будет в тоннелях метро.
Другие, тут же, перерешили это и надели погоны.
Людмила решила быть со мной — и стала со мной. Это совпало, кстати, с желанием Леньки.
Шурик убил ни в чем не повинного мальчишку. У меня возникло свое мнение, но из-за боязни потерять единственного друга я отказываюсь от него.
И ничего я не сделал из того, что хотел...
Нет. Сделал. Однажды. Я испугался, что умрет Верочка. И страх этот пересилил страх перед воровством...
Но что это дало? Она все равно умерла. Хорошо еще не при мне.
И что такое — я сам?.. Сын хорошей женщины?
С отцом еще не разобрался. Кто он? Что за человек был отец? Решал ли что-нибудь он или за него решали тоже другие?..

Может быть, за него решала мама?.. А в конце он затеял бунт с сухарями и получил возмездие?

Как же это я теперь узнаю? И возможно ли это узнать?..

Но главное установлено: я — подлец. Своей точки зрения не имею. Друзей у меня нет. Из живых никого не люблю...

Томка...

Ну, это я решу... Прямо сейчас.

Взял лист бумаги и одним махом накатал следующее:

«Извини. Но я не могу ждать твоей открытки, так как принимаю кучу серьезных решений. Сегодня понял, что я — подлец и что должен успеть исправить.

Мне стало все ясно. Неясным осталось только одно — это ты. Сделай все, чтобы срочно встретиться.

Виктор».

Я вышел на улицу и опустил письмо в ящик, висевший на фасаде школы.

Падал мокрый снег. На мостовой чернели люки. В доме напротив видна елка, на ней дрожат шарики и лампочки. Там, наверное, плясали...

Утро Нового года было еще далеко.

ЛИСТ ДВЕНАДЦАТЫЙ

Такого наш коридор еще не видел.

Прервали игры дети. Прижимая к себе мячики и самокаты, они стояли у ног своих родителей, разинув рты. На всех кухнях, забытый всеми, пригорал ужин...

Шла эвакуация.

Бригада мужиков, дыша перегаром, выносит исполинскую кровать.

Елизавета Сергеевна (в каждой руке фарфоровая статуэтка) визжит на весь коридор:

— Я пойду в горком. Голодранец!.. Снимайте абажур!.. Да режьте провод! Что вы там копаетесь?!.. Что ты тянешь?!.. Что ты тянешь, болван?!.. Это же гардинное полотно... Подставьте стул!.. Ягненком прикинулся! Сманил девочку такую, мерзавец!

— Берегитесь, граждане!

Это понесли диван. Буфет, потеряв в дороге ручки и стекла, выставлен на лестницу.

— Все цветочки, цветочки носил... Жених беспортошный! Я теперь тебе покажу ягодки! Комсомолец! Чего топчетесь? Посуду в тот чемодан кладите!

Я принес из кухни табуретку (это была моя табуретка) и сидел посередине уже почти пустой комнаты. Кто-то из жильцов сунул папиросу — я машинально закурил, и горечь дыма казалась сейчас приятной.

Хороший день сегодня. Очень хороший. Я так много сделал сегодня хороших дел...

Утром вызвал дежурный и с таинственной улыбкой протянул мне увольнительную на двое суток. Заметив мое изумление, зашептал:

— От Брагиных звонили... Дочка. Я доложил начальнику школы, и он вот... распорядился...

Сходу поехал на кладбище. На обратном пути позвонил Томке, и через час мы встретились у меня.

Легкая, невесомая стояла она рядом целую вечность... Я трогал губами закрытые глаза и говорил, говорил...

Потом она неожиданно расплакалась и, глядя в сторону, сказала:

— Сомнут тебя, Витенька...

Уходила она задумчивая и тихая. Мы договорились встретиться завтра.

Помчался к Фридманам.

Дома были все. Прямо с порога, без «здрасьте», без вступлений, сказал им все. Людмила стала белая-белая. И у нее покраснел нос.

— Как это понимать?! — истошно закричала теща. Но меня уже не

слушала, так как безостановочно орала, выбегала звонить по телефону кому-то и снова оглушительно орала.

Я удалился.

Вечером началась эвакуация.

— Шпана...

Я очнулся. В дверях стояла тетя Нюра. В руках настольная лампа.

— Чего в темноте-то сидеть? Иль ко мне иди. Спать где будешь? На табуретке? Вот ведь, что натворил без матери... Шпана. Господи, сохрани мою душу...

Включила и поставила лампу на пол. Это моя лампа. Когда Людмила выкидывала хлам, я отдал ее тете Нюре.

— Иди хоть поешь.

— Не хочу, честное слово, не хочу. Спасибо.

— Ну, господь с тобой,— вздохнула она и прикрыла дверь.

За стеной плачет маленькая Катенька. Значит, спать укладывают. Значит, девять часов. Стучат.

— Войдите.

Втиснулся боком и сразу закрыл за собой дверь мой тезка, старший сын тети Зины из тридцать первого номера. Ему года три, может быть, больше.

— Ну что, Витька? Здравствуй.

Витька мотнул головой и пошел вдоль стен, восхищенно осматривая комнату.

— Можно, я буду ходить сюда играть? У Вас во... как свободно.

Трогает руками лампу. Пошел к окну, подпрыгивая. Уставился на груду книг, наваленных на подоконнике.

— Шел бы ты спать, Витя...

Витька по-взрослому нахмурился, постоял минуту, покусывая губы и, не попрощавшись, вышел.

Под головой книги и вдвое сложенный рукав шинели... (Как в будке у Олега Васильевича. Только там засыпал сразу.) Можно пойти ночевать в школу... Представляю, как удивились бы...

Нет. Голос ее не похож на мамин. Просто тогда показалось. Мама говорила громко и слова подбирала звонкие...

А улыбка похожа.

— Ты улыбайся, улыбайся, Томка! Мне ничего не нужно. Честное слово, ничего. Стой рядышком и улыбайся. Это самое приятное: смотреть друг на друга... У меня даже твоей фотографии нет. Я бы ее носил и не стыдился никого. Ты — милая, милая... Как родная... Что-то внутри нас ходит... Кружится, кружится. Без веса, без названия... Чувствуешь?.. Нет, ты вслух скажи... Не ресницами... Губами... скажи...

— Да.

— Еще.

— Да.

Шарф скользнул по ее спине. Через плечо ее вижу шарф...

Колючая крупа застревает в зеленой фланели...

Волосы черные, и меж ними шевелится все та же крупа...

Рядом с головой рука. Вторая где-то под телом...

В открытый рот набилась крупа. В дрезине тепло. Крупа тает. Голова вздрагивает, будто живая...

«Сомнут тебя, Витенька...»

«Нет! Нет! — кричу ей прямо в глаза.— Не плачь! Вот же, глупая... Не плачь! Сядь... Дай руки... Дай... Не плачь...»

Снег на могиле теплый. Ровняю ладонями. С креста смахиваю желтые иголки...

Над мамой сосна.

«Пей витамин! Пей витамин!» — мама протягивает ложку... Плачу, но пью невкусную бурую жидкость... (Боже, как это было давно...)
Ровная плита из теплого снега. В глазах щиплет... Расплывается плита. Моргаю часто, но все равно вижу плохо...
— Ма-ма,— шепчу с закрытыми глазами.
— Мам-ма...

ЛИСТ ТРИНАДЦАТЫЙ

Рано утром меня разбудил стук в дверь. Выглядываю в коридор.
— Здорово, Костров! — (Это Лапшин со второго курса.) — Приехал за тобой. К начальнику школы... Срочно!
В незакрытую дверь вставляю записку, чтоб обождала...
У парадной дежурный «ЗИМ».
— Твои утром представились в полном составе,— сообщает Лапшин, разворачивая машину.
Я вспомнил синие от злобы губы Елизаветы Сергеевны и рассмеялся вслух.

По большому кабинету, шевеля на столе бумажки, прогуливается спокойный сквозничок: форточки всех трех окон открыты настежь. В углах, рыцарями, стоят тяжелые бронзовые канделябры. На камине бюст Дзержинского. Рядом часы. Два черных гнома поддерживают земной шар с циферблатом...
Очень синие и очень молодые глаза. Ему лет пятьдесят с небольшим. Седой вьющийся волос. Красивый зимний загар.
Улыбнулся. Откинулся в кресле и неожиданно просто спросил:
— Ты с ней спал?
— Нет.
— Но жене и... ее матери ты сказал иное?
— Сказал.
— Зачем?
— Сейчас... Сейчас я объясню...
У меня ничто не восставало против его вопроса. Он хотел откровенности, и мне хотелось того же. Я верил этому человеку.
— Не хватало чего-то... Может быть, ума, может быть, чувств разобраться в этом сразу. Много было «за». Много влияло веских причин. Они были сильнее меня. А понял это сейчас. И потом. Если абсолютно честно... К ним появилось что-то похожее на месть: к ней и ее матери. Отец — хороший человек, мне жаль его, и стыдно перед ним. Но вот они... Странная штука: сам виноват во всем, а заглушить в себе это мстительное не смог... Вот Вы верите во что-то, и это «что-то» оказывается совсем, совсем не тем... Ну, и слова вырвались сами. А когда крикнул, то не пожалел об этом. Даже повторил: «Да! Да! Я спал с Тамарой! Час назад!! На нашей кровати спал, слышишь?!»
Замолчал.
Стало безразлично все и тоскливо. И было все равно, что скажет этот, чужой мне, в сущности, человек.
— Завтра комсомольское бюро,— донеслось издалека, словно из другой комнаты.— Жена — комсомолка, ее заявление будет разбирать комсомол. Увольнения в город не будет вплоть до решения райкома.
— Что же тут решать?
— Вопросы морали входят в компетенцию комсомола. Тем более в этих стенах...
— Но здесь же все ясно! Я сам обнаружил ошибку, сам исправил. Что же решать еще? Любое другое решение будет не совпадать с моим. Будет несправедливым... И зачем это ей?! Это же унизительно... Я не понимаю.
Полковник встал. Я тоже.
— Советую на бюро не упоминать имя Брагиной — это только повредит тебе.

Из членов бюро единственный Сергей Горбунов был мне достаточно близок. Наши приятельские отношения не портились от того, что на занятиях по самбо победа присуждалась чаще ему, а в спорах о литературе я раскладывал его на лопатки под аплодисменты школьных книголюбов.
В тот же день в библиотеке Сергей подошел ко мне и грустно улыбнулся:
— Обвиняемый Костров! Вы вызываетесь на допрос завтра к пятнадцати ноль-ноль.
— Мне что-нибудь грозит?
Член бюро пожал плечами.
— Но твое мнение?
— Зачем?
— Его что, так и не узнает никто? Даже я?
— Почему же... Ты совета у меня не спросил, выбирая ее. Так ведь? Ты напрасно улыбаешься...
Я рассмеялся.
— Предлагаешь вопросы любви решать голосованием?
— Нет. Я о совете. Ты спросил мое мнение тогда? Нет? Чего же ты хочешь сейчас?
— Ты же не спрашиваешь о своей Валентине меня?
— Не нуждаюсь.
— Почему же ты думаешь, что нуждался я?
— Исходя из факта. Ты ошибся, потому что нуждался в совете, но пренебрег им. Вот и все.
— А у тебя что, есть гарантия?
— Конечно. Осторожное сердце. Ос-то-рож-но-е!
Впервые внимательно всматриваюсь в его лицо.
— Любовь и осторожность несовместимы.
— Ну, ну, ну...— махнул рукой Горбунов.— Осторожность совместима с любым чувством и любой мыслью. Это естественная защита от многих ошибок.
— Сегодня прожил осторожно, завтра осторожно... А послезавтра трусом проснешься.
— Да ну, что за чушь. Проснусь осторожным. Это намного приятней, чем не проснуться вообще.
— Этого еще никто не знает,— огрызнулся я.
— И все-таки проснись осторожным. Пригодится на бюро.
Он ушел. Я тут же забыл об этом дурацком разговоре. Действительно, чего я от него хотел? Проверить, прав я или нет? Но я же знал сразу, что разговор не получится...
Погружаюсь в книгу... Все уходит. И прошлое, и сиюминутное. Нет уже ничего, кроме замерзшего князя Мышкина, стоящего у подъезда дома Епанчиных.

Бюро начало свою работу с того, что посадило меня и Людмилу друг против друга за узкий красный стол.
Только здесь, сейчас возникло во мне признание ее красоты. Триумф мести преобразил лицо — оно горело ликованием, жило своей сутью и потому было прекрасным, как прекрасна всякая стихия.
Это был смерч. Гигантская спираль силы, которая через какие-то минуты подхватит оказавшихся рядом людей, закружит их, спутает мысли, перемешает события, понятия и, натешившись вволю, выплюнет этот хаос из своей страшной воронки.
(Берегитесь мести женщины! Но, увы, тогда вам не увидеть истинной красоты женского лица!)
Секретарь зачитывает заявление. Каждая строчка — правда. Проставлены даты, цифры, фамилии. Все по-деловому. Никаких эмоций. Я слышу голос Елизаветы Сергеевны, вижу ее рот, который умеет говорить, почти не разжимая губ...

«...В связи с изложенным, я требую рассмотрения этого беспрецедентного поступка, несовместимого с высокой моралью организации, созданной Лениным.

Людмила Фридман.

3 января 1947 года».

— У меня вопрос к Кострову: вы согласны с фактами, изложенными в заявлении вашей жены?

— Да.

— В таком случае бюро вправе услышать ваше объяснение.

Передо мной на столе ее руки перетягивают между пальцами серебряную цепочку сумочки. Легкий, едва заметный лак ногтей...

— Ну, что же, Костров, будем молчать?

Обручальное кольцо... (Мое в кармане. Запрещено было тогда носить их.) Длинные нежные пальцы... «Такими играют на арфах или совершают дворцовые перевороты»,— вспомнил я Ленькину фразу... Что бы сказал он сейчас?

Всплыло из памяти утро, когда мы собирались в загс. Елизавета Сергеевна внесла в комнату маленькую икону. За спиной ее растерянно улыбался Яков Михайлович, показывая нам руками: «Уважьте, мол, мать, встаньте на колени, бог с ней...» Мы переглянулись с Людмилой, послушно опустились на ковер и поцеловали теплую доску.

— Это неуважение к составу бюро.

— Что вы хотите от меня? — спрашиваю я, продолжая глядеть на ее руки.— Что я должен говорить? Какие вы ждете от меня слова? Я принял решение, и никто не может ничего изменить. Меня можно было судить за ошибку. Она мной исправлена. Что теперь?

— У вас все, Костров?

Я пожал плечами.

— Ну, что же, товарищи, все ясно. Кто хочет высказаться?

Поднялся Виталий Уваров. (Крепыш. Спортсмен. Бывший моряк. Его сестру расстреляли под Новгородом немцы. Играет на аккордеоне, неплохо поет матросские песни. Руководит самодеятельностью.)

— Узнал я про все это и так плево на душе стало. Что надо человеку? Государство все дало. На всем, можно сказать, готовом. Жена любит. Она же прямо пишет в заявлении — «любила». Родители тоже с душой. Свадьбу справили. Столько денег вбухали... Иван Петрович рассказывал ребятам. До сих пор вспоминает — он же был, видал. Обстановку справили. Чего еще? И вот на тебе — «ошибка»! Откуда она взялась — «ошибка»?.. Думал я вчера над этим вопросом, думал и вот нашел ответ... Вот...

Уваров не торопясь расстегивает карман гимнастерки и вынимает мою читательскую карточку из библиотеки школы. Я узнал ее сразу.

— Вот,— повторяет Уваров.— Прочтем внимательно. Взял Маяковского «Избранное». Как вы знаете, том увесистый. Вернул на другой день и получил Достоевского, том первый. Читает его... Два, три... пять дней! Поменял на Герцена. Полистал день. И берет том второй Достоевского. Читает шесть дней! Шесть! — повторяет Уваров со странной интонацией. (Благодаря этой интонации начинаю понимать его мысль.)

— ...Берет третий том и сидит над ним восемь дней! Восемь дней с одним томом! А взяв Упита, в тот же день вернул. Листает Чехова для отдыха один день и снова берет Достоевского. Том четвертый! Держит его до... до шестнадцатого декабря! Одиннадцать дней! И это, обращаю внимание, совпадает с предсвадебным и послесвадебным периодом. И с вызовом на оперативное задание... Под Новый год берет пятый том! И не сдал его до сегодняшнего дня!

(Сложил карточку, кладет в карман, застегивает пуговицу.)

— ...Первое: предлагаю просить командование ограничить выдачу упаднической и разлагающей литературы. Второе: проверить все карточки и провести беседы с подобными «читателями». А то ведь что? Днем им «Основы ленинизма» дают, а вечера они с Достоевским проводят... Что же получается?

Уваров вопросительно оглядывает присутствующих и останавливается на Людмиле.

— Разложение, Людочка. Типичное разложение.

Людмила закрыла глаза и кивнула головой в знак полного согласия.

— Комсомолец, который ни одного вечера не посидел над советской книгой... Что же у него осталось? Один билет? Пусть он этот билет и сдаст!

Уваров сел.

— Разрешите мне?

— Да, да, Людмила, говорите.

Ровная волна ресниц. Я видел не раз, как ловко делала она эту волну при помощи спички и щеточки.

— Мы — мужественны. Мы — ленинградцы, и нам переживать не впервые... Мама лежит. У нее приступ. Папа расстроен, а я...— Шарит в сумочке. Находит платок и держит его наготове. Слез еще нет. Но они будут — я это знаю. Сейчас она скажет фразу, потом покраснеет нос, и глаза заполнятся влагой. Вот сейчас...

— Я не плачу. Я уже не могу... У меня...

К ней кидается Горбунов со стаканом воды и Уваров. Вода выпивается. Слезы в платке. Людмила снова перебирает цепочку, а взявший слово Волошин гневно выкрикивает:

— Отношением к женщине! Вот чем измеряется человек. От измены женщине до измены Родине не так уж далеко, как думают иные! Главное в любви — постоянство! Нельзя день любить одну, а на другой день любить другую. Это любовь мотыльков! Мы — люди и вправе требовать людской любви. Он не достоин вас, Люся. Нам стыдно перед вами за него. Но наш стыд — это сила нашей моральной чистоты! К сожалению, мы не увидели сегодня стыда только у одного человека... Его самого будто нет. Ошибаетесь, Костров. Мы вас хорошо видим и хорошо понимаем вас!

Волошин поддерживает предложение Уварова об исключении. Выступил еще один, и еще, и еще... Говорилось все то же и кончалось так же: исключить.

Последним взял слово Горбунов.

— Достоевского я тоже читаю. Уваров перегибает. Можно держать книгу полмесяца. И что? Это не доказательство, что я ее штудирую. И вообще мы не о том... Семья распалась. Было целое. Сейчас один слева, другой справа. Можно это исправить? Я, лично, не вижу возможностей, да и смысла в этом...

— А что же делать теперь мне? — вставляет Людмила с трагической дрожью в голосе.

— Это вы спросите у него... Он же самый умный и тонкий. Вы же его выбрали из всех мужчин мира. Эрудит. Предпочитает Федора Михайловича... А он в этих вопросах дока.

— О-о, какая ты сволочь! — вырвались и обожгли голову слова. Спружинило невесомое тело. Я уже стоял, не видя ничего, кроме красной полосы стола.— Что ты знаешь про Федора Михайловича?! Что он вам всем сделал? Вы готовы вырыть его из могилы и разобрать на бюро!!! Что вам от него надо?! Что вы прицепились к нему?! Что?! Что?! Что?! — ору я в туманные желтые лица.

Выбежал на лестницу. Здесь прохладно. Через входные двери проникает сюда, в вестибюль, холод улиц.

По лестнице спускается Фомин.

— Ну, что там? П-порядок?

— Дай закурить.

Давлюсь дымом. Захмелело все внутри, стало свободным, не связанным. Громко смеюсь, спрашиваю:

— А почему бы тебе не жениться на Люське? Ты ведь ей понравился... А, Шурик?!

В холле вывешено красочное объявление. Издали его можно принять за афишу эстрадного театра.

«Общее собрание. Разбор персонального дела. Лекционный зал. Явка к 16-00. Бюро комсомола».

Я отстранен от занятий. Сижу весь день в библиотеке. Появляюсь лишь в столовой. У всех озабоченные лица, все куда-то спешат, бегут мимо. В луч-

шем случае кивок головы, чуть заметный. Рискуют пожимать руку Фомин, Колокольцев, Иван Петрович и еще двое из нашей группы. Водопроводчик (должен ему уже двенадцать рублей!) угощает старыми анекдотами и «Беломором», предрекает фиаско. Шурик грозится поехать в Управление и поговорить «с кем надо». Томка не звонит. Я тоже.

Являюсь на собрание бледный, как покойник, и с головной болью, видимо, от выкуренных папирос: ночью, конечно, не спал.

Прохожу по центральному проходу к сцене и сажусь в первом ряду с краю. Оглядываю переполненный зал. Много преподавателей, офицеров и штатских; девчонки-официантки из столовой, библиотекарь, начальник курса майор Власов, несколько незнакомых в штатском, видимо, из райкома. Зачитывают длинное, похожее на приговор, решение бюро.

Одна деталь меня удивила. Из семи членов бюро, голосовавших за исключение,— один воздержался — Горбунов.

Первым берет слово лучший в школе стрелок из пистолета — Свиридов. Всю войну солдатом. Дошел до Берлина. Неоднократно ранен. Вид, правда, никудышный. Ростом мал. Гимнастерка вечно мятая, погоны торчком. Сутулый. Лицо неопределенное.

— Комсомольцы пусть простят меня, что первым вышел. У меня партбилет в кармане четвертый год. Под Сталинградом заработал его. Под минами его получил, и дорог он мне, как жизнь. Вроде бы книжечка... Чего стоит? Дешевле блокнота, фотография да печать, да номер... А дорога! Не отдам никому, ни за что. У мертвого только отнимете... А ты?! — крикнул Свиридов, и глаза наши встретились.— Ты положишь свою без всякого... у тебя она наравне с записной книжкой, где телефоны бабьи записаны! Взносы заплатил, штампик поставил и гуляй гоголем... А все оттого, что книжки эти кучами раздают. Охват! Охват! Распространяют, как заем. Люди через каторгу шли к билету, через виселицу! Не копейками — кровью взносы платили... Не штампики, а шрамы ставились...— Одернул гимнастерку и закончил весомо.— Билет отнять. Выгнать из школы к чертовой матери.

Сошел со сцены при полной тишине зала. Было слышно, как звенят медали. Но вот и они затихли там, за моей спиной. Значит, сел Свиридов.

— Прошу слова!

По проходу шел Шурик.

— Прими мой поклон, товарищ Свиридов. Хорошо сказал. Правильно сказал. Только к п-персональному делу не лезет... В огороде бузина — в Киеве дядька.

В зале зашумели. Из шума вырвалась реплика:

— Свадебный пирог отрабатываешь?

Фомин рассмеялся подкупающе весело и аппетитно причмокнул.

— За такой пирог не наставишь жене рогов!

В зале заржали.

Шурика понесло. Он даже не заикался, что бывало с ним в минуты наивысшего подъема духа.

— А он, представьте себе, сбежал. И от пирогов, и от ковров! От обручального кольца и от красивого лица! А девчонка, прямо скажем, красива!.. Красива?! Я у вас спрашиваю! Вы же — мужики!..

(В зале одобрительно зашумели. Раздались хлопки.)

— И я говорю: красива! Значит, что же следует? Одно из двух: то ли Костров наш дурак круглый, то ли в этих тещиных пирогах и запечена собака...— (Смех в зале).— Первое отпадает, хотя бы потому, что друг у Фомина дураком быть не может... Он, правда, Берлинов не штурмовал и под минами ему билет не вручали... Но жизнь его колбасила немало. Многим из сидящих здесь и во сне такое не приснится... Да и почему право на счастье надо оплачивать обязательно кровью? Например, от меня немцы ни одной капли не получили... Что же мне теперь делать, товарищ Свиридов? Ты, выходит, за счастьем первым в очереди стоишь? А я за тобой?.. Короче: Виктор — парень чистый, и подвела его в этой истории чистота. Оглушила его Людочка... Да, да, не смейтесь!.. Я слышу, что ты сказал, Степанов... Я тебе отвечу на это... Дзержинский тоже любил. Любил горячо. Но, если что, то не пошел бы на компромисс и в любви. Для разрыва нашел бы силы. А причины у Кострова есть. Должны быть. Он здесь. Он о них и скажет. Давай, Виктор!..

Передо мной, внизу, зал.

Многоликий, многоглазый, ожидающий. Дышит, смотрит, ждет единое целое, в котором я — частица, одна пара глаз, одно сердце и одна голова с кипящей болью в висках. Нет ни мысли, ни слов, ни желаний. Нет ничего, кроме мерзкого состояния обнаженности. Только ладони еще прикрывают последнее, не открытое любопытству. Они ждут, чтобы я отвел ладони, чтобы совсем ничего не осталось у меня, кроме боли, которая никому не интересна...

— Вот также он молчал и на бюро,— услышал я голос секретаря.

— У меня очень болит голова...

— Громче! — крикнули из задних рядов.

— У меня болит голова,— повторяю я громко.— Но если бы она не болела... Все равно... Мне нечего сказать вам. Я боюсь вас...

Я шел к своему месту. Вокруг стоял вой. Из последующего, кроме этого воя, я не помню ничего. Что-то говорил мне на ухо Шурик. Размахивал руками на авансцене Колокольцев. Покачивались очки преподавательницы русского языка Полины Антоновны. Долго стоял на сцене подполковник Божков. Потом поднимали и опускали руки. Потом все вышли из зала. Один Фомин расхаживал теперь по пустой сцене и дымил папиросой.

Поздно вечером в санчасть школы, где я валялся с высокой температурой, явился Шурик, принес лимон, папиросы и письмо.

Короткое послание мы прочли вдвоем.

«Я под домашним арестом. Телефон отключен. Ничего не знаю о твоих делах. Будь смелым. Целую. Т.»

Фомин не удивился ни высокой температуре, ни письму, ни моему состоянию на собрании. Его поразило, что я ничего не знаю о решении. Он хохотал, хлопал меня по животу огромными ладонями и, с трудом справляясь с заиканием, выкрикивал:

— П-порядок, Витька! П-порядок!

Общее собрание школы отвергло решение бюро. Около восьмидесяти процентов проголосовало за строгий выговор. Однако через пять дней выносит решение бюро райкома: «исключить». А еще через семь дней я был вызван на бюро городского комитета.

Из Смольного лечу на крыльях. Горком поддержал решение общего собрания! Значит, все в порядке! Да здравствует правда!

Влетаю в школу. Дежурный офицер не очень внимательно слушает мое радостное сообщение. Не дожидаясь конца рассказа о заседании в Смольном, протянул мне бумагу...

Хлестануло по глазам короткое слово: «приказ»...

ЛИСТ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

Над Невой солнце и звон. Плывут из Ладоги, обкусанные быками мостов, ослепительно-белые глыбы. У спуска галдеж. Мальчишки вылавливают куски хрусталя и тут же бьют их о гранит. Повизгивают девчонки. Смотрят сквозь льдинки на солнце, на Петропавловку.

Обжигает мои ладони, выскальзывает, просится в воду хрустальная палочка.

— Смотри, как здорово.

Томка щурит глаза. Глядит через льдинку на меня.

— Ой, какой ты...

— Да ты на солнце! На солнце гляди!

— Не могу, больно. Я лучше ее съем...

Томка облизывает льдинку. Болтает ногами, свесившись с парапета.

— Ненормальный! Народ же кругом...

Вертит головой, прячет губы, тыркает мне в рот льдинку, хохочет. Вырвалась совсем. Отбежала.

— Пойдем ко мне.

Отрицательно качает головой.

— Я же сегодня уезжаю. Надолго. Пойдем...

— Не-е-ет,— протянула слово.— Ты же сам знаешь, что не надо.

— На минуточку.

— Не-е-ет.

Расчесывает волосы ветер. Горят солнца: одно в небе, другое в Неве, а сотни маленьких в окнах, лужах, в ее сережках, в глазах.

Вот уже три месяца, как я бью баклуши. Я безработный. Много прочел за это время. Читаю подряд все, что начинается со слов: «Приглашаются на работу», «Требуются», «Срочно требуются!»...

Но я не могу быть ни официантом, ни стропальщиком. Какой с меня инженер по котлам или старший бухгалтер? Меня не возьмут экскаваторщиком и не используют в качестве бондаря. Мне никогда не быть наладчиком крутильных станков и радиотехником тоже. Газорезчик — не я. Крановщик — не я, а что такое «тростильщик» — я просто не знаю. Есть вакантное место второго альта в Академическом хоре, есть тысячи вакантных мест, но мне нужно только одно. Мое.

(Ага! Вот!) «Требуется плотник на ледокол „Ермак“».

Заполняю бесчисленные анкеты, сдаю справки, документы. Жду. Ежедневно, в течение десяти дней заглядываю в «Главсевморпуть».

На одиннадцатый отдел кадров вежливо возвращает документы.

— Что же вы не сказали, что уволены из органов? Выезд за пределы вам запрещен. На буксир не хотите?

Денег нет. Продавать нечего. Разве тут откажешься от жирных щей тети Нюры?

Вспомнил об институте переливания крови. Сдал один раз. Второй. А однажды заявил дежурной по регистратуре, что пришел впервые. Заполнили журнал и, как новенького, направили через все комиссии на сдачу. Теперь на мое имя существовало два журнала донора. Обнаружить это было невозможно. На букву «К» фамилий много, и «встретиться» на полке журналы не могли. С этого дня дела стали улучшаться. Я сдавал кровь четыре раза в месяц, чем приобрел независимость и даже позволял некоторый шик: водил Томку в театр и в «Сад отдыха» на концерты. Источник средств держался в глубочайшей тайне.

По воскресеньям заглядывает Шурик. Молча, не снимая шинели, сидит на подоконнике минут пятнадцать и уходит. Да и о чем говорить? Как дела в школе, мне теперь было знать не положено. Да и не интересовался я этим. А как у меня дела, он сам видел.

В среднем раз в неделю полностью менялась обстановка комнаты. Жильцы приступили к весенним ремонтам, а мебель и вещи перетаскивались ко мне. Я временно становился хозяином то изящных и дорогих вещей Ирины Стацевой — певицы из Малого оперного, то вместительных книжных шкафов и стеллажей супругов-переводчиков из пятнадцатого номера, то комната заполнялась детскими кроватками, из которых торчали глазастые головки, постоянно требующие еды, игрушек и горшков. А когда затеяла ремонт семья Трошиных, комната превратилась в зоопарк: суетились в клетках дрозды и синицы, сквозь стекло огромных банок смотрели немигающие глаза вуалехвосток, по углам шныряли два черных кролика и морская свинка по кличке Бэкон, а по ночам грызла обои старая ежиха, злющая и вечно всем недовольная.

Я жил в прямоугольной коробке, наполненной чужим бытом, знакомясь невольно с людьми через их вещи, учился познавать живое через мертвое. Я втянул в эту игру и Томку.

Один вечер в неделю принадлежал нам. Это была суббота. Только этот вечер отец дарил дочери для личных удовольствий. Если мы не шли на спектакль, то просиживали допоздна у меня, а потом спешили к ближайшему театру и у выходящей публики просили использованный билет. Для отчета.

Каждую субботу около семи резко распахивалась дверь и прямо с порога летел веселый вопрос:

— Кто мы?

— Мы — пенсионеры,— отвечал я.— В прошлом ты — продавец галантереи, а я — ответстаенный работник городского транспорта!

Это значило, что у стариков Мальцевых ремонт, а это их вещи.

— Ты помнишь, как мы познакомились? — вступает в игру Томка.

— Конечно. Как же можно это забыть? Я зашел купить галстук.

— А по-моему, ты попросил подтяжки.

— Ты путаешь, дорогая... Когда я вошел в магазин, ты кокетничала с лысым субъектом. Он-то и вертел в руках подтяжки.

— Я была с ним любезна. И только. Этого же требует профессия.

— Однако на меня ты даже не взглянула.

— Я увидела тебя через зеркало.

— Через это?

Показываю на овальное настольное зеркало.

— Ты разве не знал? Иначе зачем бы я хранила его столько лет!

— Я тебе понравился сразу?

— Нет.

— Как «нет»?

— Только после того, как ты повязал галстук. Из всех мужчин ты лучше всех повязал его...

Так все три месяца по субботам мы играли в чужие жизни, говорили чужие слова, пользовались чужими вещами, мечтали за других, ссорились вместо них и даже собирались рожать...

— Кто мы?

— Мы — молодожены.

— Спим на раскладушках?

— Нет. Тебе нельзя. Ты ждешь ребенка.

Томка втискивает под платье подушку. Медленно ходит по комнате. Гладит «живот».

— Вот ножкой топнул. Вот здесь... Вот опять...

Я сажаю ее к столу. Кормлю с ложки. Говорим шепотом, как заговорщики. Долго придумываем имя. Сходимся на Игоре для мальчика и на Светлане для дочери. Много и осторожно гладим «живот». Испортила все моя выходка. У Томки маленькая грудь и я, тронув ее слегка, сказал, что молоко придется докупать у частника.

Игра прекращена.

До конца вечера молча гуляем по улицам.

Между нами сложились отношения, лишенные всякой страсти, кроме одной: постоянно видеть друг друга. Все, что было в нас, мы вкладывали в нашу традиционную игру в других людей. В нас самих оставалось только ощущение нарастающей тревоги.

Приближался конец. Мы предчувствовали его и боялись. Боялись говорить о своем. Боялись мечтать. Боялись целоваться, когда оставались одни... Нам казалось, что малейшая неосторожность в чем-то, какая-то мелочь: слово, жест разрушит все.

Мы берегли этот полуреальный мир, созданный нами. Каждый из нас разыгрывал роль, боясь стать самим собой.

Как всегда неожиданно пришел апрель, и еще более неожиданно я был вызван в райком комсомола.

— В Москву на курсы поедешь? — спросил парень, весь простроченный застежками «молния».— Не хватает единицы. Ты же фотодело знаешь? Знаешь. Кинокамеры изучал? Изучал. Давай на курсы. Нечего баклуши бить.

Выезжать нужно было в тот же день, но я взял билет на субботу.

— Мы, что?.. Так и не поговорим ни о чем?
Томка бросает льдинку в воду.
— Замуж... я выходить не могу.
— Почему?
Она долго молчит.
— Но почему? Почему? Говори! — кидаю слова, защищаясь.— Ну, что ты молчишь?
Это был конец. В ее молчании. В ее бледном лице. В ее глазах, в которых погасло солнце...
— Он тебя убьет. Ты просто исчезнешь... И следов никто не найдет. Ты его не знаешь. Он все может. Мужа он мне будет выбирать сам...
— Но это же бред! Бред! Бред!!!
Я с силой сжимаю и трясу ее руки.
— Это бред алкоголика! Он пугает тебя!
— Не-е-ет,— снова протянула она слово.— В этом ему надо верить...

Черный после дождя перрон. Маленькое мертвое личико. Холодными руками, словно слепая, ощупывает мое лицо. (Надо молчать. Молчать! Иначе взвоем. Взвоем жутко на весь вокзал...)

Она не отходила от окна половину ночи. Опершись руками о пыльное оконное стекло, она безостановочно рыдала. Беззвучно. Без слез.
Я выбегал в коридор, тамбур, снова возвращался в купе, но повсюду, за каждым окном видел вздрагивающиеплечи и искаженное болью лицо.
Оно исчезло лишь после короткой остановки в Бологое, где я успел в вокзальном буфете выпить стакан теплой водки. Теперь за окном была только ночь.

ЛИСТ ПЯТНАДЦАТЫЙ

Первая покупка в Москве — толстый блокнот.
На первой странице в верхнем углу вывожу надпись:
«Допустим, познаю я все... А что я потом буду делать?»
Посредине крупно, размашисто:
«Москва. Высшие курсы режиссеров-документалистов. 1947 год».
В самом низу маленькими буковками:
«Только для своих мыслей».

«Черт возьми! Никогда не ожидал, что на свете так много умных людей! Это, видимо, оттого, что до этого жил среди дураков».
«„Учиться! Учиться и учиться!“. Согласен. А если учитель кретин?»
«Хочу снять фильм о ковыльной степи. На экране степь, ковыль, солнце, ветер. За экраном „Болеро“ Равеля».
«Опьянение бывает отрезвляющее».
«Все виды тяжких преступлений можно искоренить только одним: ввести смертную казнь для родителей правонарушителя».
«Сегодня на лекции задал вопрос: „Почему не существует документального фильма о любви?“.— „А кому он нужен?“ — ответил преподаватель».
«Между „А“ и „Б“ в алфавите пропущена какая-то буква».
«Город счастливых людей. Боже, какая должна там быть скука!»
«Водку продавать надо только на кладбище».
«Какое мне дело до будущего, если нет настоящего?»
«Он подошел к ней в метро.
— Разрешите с Вами познакомиться?
— Как Вам не стыдно?! За кого Вы меня принимаете?!

Через месяц они поженились».
«Она меня сводит с ума!
— Ничего удивительного. Женщины это делают для обеспечения равенства».
«Я верю в то, что окончательно понял».
«Люблю взрослость в детях и детскость во взрослых».
«Жалуется шестнадцатилетняя девушка, с которой вчера познакомился:
— Вот я говорю, говорю слова. Потом замолкаю, думая, что выразила свою мысль. Но оказывается, что слова я сказала, а мысль — нет.
— И давно это у тебя?
— Второй день».
«Самые прекрасные песни те, что поются про себя, не вслух».
«Любовь — это чудо. Иных чудес не существует».
«Есть у меня три желания (на тот случай, если появится волшебница): 1. Чтобы воскресла мама. 2. Чтобы прожить жизнь без подлости. 3. Чтобы по вечерам не болела так голова».
«Судьба (т. е. предопределение, запрограммированная биография) — понятие бессмысленное. Ни Богу, ни другой разумной категории совершенно неинтересно заниматься созданием заводных игрушек. Ни одна мать, если бы она обладала такой возможностью, не решилась бы составить программу жизни (судьбу) для своего ребенка. (Где-то я встречал выражение: „счастливые — не имеют судеб“.)
Представить, что автор судеб — Дьявол,— это значило бы отнять у него его изощренный ум. Каким же надо быть идиотом, чтобы, расставив западни и ямы на пути человека, наблюдать за ним, зная при этом конец. Где же тут наслаждение? Честное слово, мы недооцениваем Дьявола. Короче: если есть Судьба, то миром правит Бессмыслица».
«В последнем письме Томка спросила:
— Что же такое у нас было?
Я ответил ей:
— Сон».
«Интересно, изменилось бы что-нибудь в мире, если женщины бы стали умными, а мужчины красивыми?»
«Христос был продан за тридцать сребреников. Интересно, за какую сумму это сделали бы сейчас?»
«В темноте ищем света, а на свету прячемся в тень».
«Пошла мода на анализы. Только и слышишь каждый день на лекциях: „Анализируйте! Подвергайте анализу!“ Да заткнитесь Вы, наконец, со своим анализом! Жизнь ведь — не моча!»
«Сентябрь. Седьмое число. Утверждена курсовая работа „Степь ковыльная“, сценарий черно-белого фильма метражом в двадцать минут. Двадцать минут будет жить на экране моя мечта! Ура! Ура! Ура! Оператором едет Лев Быстряков».

Чкаловская область.
На самом краю степи деревушка в тридцать изб с названием Сани. По рассказам старушек действительно — сто лет назад делали здесь из осин большущие грузовые сани. От бывшей осиновой рощи осталось три гнилых уродца, а от бывшего «производства» — прокопченные насквозь бани. В банях этих парили осиновые брусья. Пареная осина, мягкая, податливая — гни из нее хошь круг, хошь восьмерку.
Сейчас деревенька бедная. Более половины изб заколочено. В оставшихся ютятся медлительные, словоохотливые старухи и пяток дедов, полуслепых и нелюдимых.
Две коровы бренчат по утрам и вечерам медью своих колокольчиков.
У одной из коровьих хозяек мы с Левой и остановились.
От деревни на юг, до самого края света расстелен ласковый ковер ковыля. Ковер удивительно ровен и чист, словно тысячи бульдозеров и катков долгие годы горизонталили эту землю. Да где там человеку сотворить такую парадную площадь Красоты! Неподвижное серо-голубое небо и земля золотисто-пепельная, нервно дышащая, как мех гигантского животного. Вот затопорщился недовольно, вот лег волной на волну успокоенный. Вот замер, ожидая... Нет,

это чудо не похоже на море! Здесь нет зловещей синевы глубин, спрятанного злого умысла, нет страха, нет смерти... Здесь все перед тобой открыто, все у твоих ног и над твоей головой. Прошмыгнул суслик (ведь чуть не попал под ноги, дурак), и опять никого, если не считать самого хозяина — степного орла, на дьявольской высотище ленивым планером облетающего свои владения. А восход! Опять чудо! Тишь такая стоит, что ушам больно. Спит коричневое плато. Все мертво. Но вот произошло что-то... Движения нет, все по-прежнему неподвижно. Это бросил золото в степь первый луч, коснувшись самых высоких нитей ковыля. Золото разбрызгивается по темно-коричневому прямо на глазах там, здесь... Вот еще там! Все больше и больше золота. Коричневая глубина мелеет, растворяется в золоте, переходит в беж, а затем в светло-серый. «Седой ковыль» — так и говорят здесь местные. Это значит — осень...

На закате же степь розовеет, румянится пятнами...

Краснота растет, разливается, как вино. Местами становится лиловым и даже фиолетовым, но ненадолго. У горизонта почернело, проваливается все в преисподню. Все ближе черное, все ближе, все быстрее... и все. Ни смотреть, ни снимать нечего. Мгла.

Дождя ждали пять дней. Утро пятого дня встретили на крыше деревянной часовенки, сколоченной из той же осины. Накануне мы были в гостях у единственного человека в деревне, знающего, что такое кино. Постучав по деревянной ноге, дед Захар авторитетно изрек:

— Граната японская ное — знать, полье завтра. В утро полье...

Сидим на крыше. Материм деда Захара и японскую гранату, которая дала неверную метеосводку. Солнце до боли жарит уже облупившиеся носы. Левка предлагает искупаться. Кинокамеру оставляем на крыше. Кувыркаемся в мутной воде пруда, заросшего осокой. Не прошло получаса. Под резким и довольно прохладным ветром зазвенела осока. Стихло. И опять рывком налетел холодный воздух. Сморщилась в пруду вода. Запылило вокруг. Закачалось. Сплевывая на ходу пыль, мчимся к часовне. На крыше такой ветрило, что дранка шевелится. Прячемся на чердак. Выглядываем.

Степь колотится, как эпилептик. Тучи желтой пыли несутся прямо на нас. Неба не видно и степи, в общем, тоже. Снимать нечего. Но вот по дранке замолотили тяжелые капли. Ветер сразу стих. Как волшебный, мгновенно исчез желтый занавес. Его заменило бутылочное стекло дождя. Там, где полчаса назад был расстелен золотистый ковер, пузырилась черная грязь...

И кто поверит, что на другой день, к обеду, прежнее чудо было снова расстелено от наших ног до края земли. Снова горело золото, снова суетились под ногами суслики и, как обычно, в недосягаемой высоте несла свой дозор серая птица...

Фильм хвалили и даже запустили в прокат. Художественный руководитель курсов А. Кольцатый — тогдашний бог документального кино — сказал на просмотре:

— Ну, «наковыляли» вы, молодые люди, «наковыляли»! Спасибо.

Новогодние каникулы. Курсы распущены на семь дней. Утром буду в Ленинграде!

От вокзала до дома иду с удовольствием. За восемь месяцев на Невском никаких перемен. Как и в апреле, в витрине обувного магазина стоят купоросовые босоножки, в «Электротоварах» — те же утюги. Сменилась лишь реклама кинотеатров, да в окне магазина «Сыр» выставлена елочка, обвешанная дольками плавленного сыра.

Холодной пустотой встречает меня комната. В открытую форточку налетел снег. Книги на подоконнике скрючились и почернели. Выцвели за лето обои, обвисли в углах кривыми мешками.

Надо шевелиться, двигаться, иначе из сырых углов потечет ко мне знакомая тоска...

(Пойду, попрошу у тети Нюры щепоточку чаю.)

Стучу негромко в дверь. Подождал и еще раз стучу. Погромче. Слышу, как скрипнула кровать.

— Кого надо?

— Это я, тетя Нюра! Чая не дадите? Я с вокзала прямо. Холодно...

Лязгнула задвижка. Высунулось завернутое в лоскутное одеяло незнакомое лицо.

— Скончалась Нюра. Летом еще скончалась. Я — сестрица ее. Двоюродная. На похороны как приехала, так и живу... А вы тутошний? Из жильцов?

— Из жильцов,— отвечаю я механически.

Мы смотрим друг на друга, и между нами продолжается бессловесный разговор.

Дрогнул подбородок у нее, и мой дрогнул тоже.

Она отвела глаза, и я отвел.

Скрылась в комнате, долго копошится, шуршит бумагой. Появилась снова. Протягивает в газете пястку чаю.

— Нате... Пейте на здоровье...

У нее опять дрогнул подбородок, и дверь закрылась.

Из средней кухни доносятся вопли. Третий год по утрам эта часть коридора просыпается от Витькиного крика. Никак не приучить Витьку к холодной воде.

Увидев меня, тетя Зина улыбается.

— Ишь, какой стал! Столичный. Жены не привез? Прекрати орать!!

Она шлепает моего тезку по голому заду.

— Прекрати орать!..

Но Витька уже не орет. Он улыбается мне. Я ему тоже.

В школе, где Томка училась в десятом классе, я узнал следующее: в последнее время Брагина приходила с синяками и кровоподтеками. Весело, с подробностями она рассказывала о красавце доге, которого ей подарили. Дог молодой, очень ее любит, но силы не равны, и резвые игры часто кончаются плачевно.

Однажды она не явилась совсем. На другой день стало известно, что Брагина в больнице. Подружек, пришедших навестить больную, в палату не пустили, объяснив, что страшного ничего нет, необходимы лишь покой и сон.

Накупив яблок и конфет, еду в больницу.

В пропуске категорически отказали. На все мои эмоции главврач отвечал одной фразой:

— У нас режим, и я не имею права его нарушать.

Молодая санитарка хирургического отделения имела о режиме иное мнение. За десять рублей она вынесла мне халат и шепотом проинструктировала:

— В случае чего, скажите, что вы из медицинского журнала. Репортер вроде... Сообразите?

Томка спала. Я разложил на тумбочке кульки и пакеты, присел осторожно на край кровати и стал ждать.

В палате кто-то громко закашлял. У нее дрогнули ресницы, и тут я тихо позвал ее:

— Тома...

Она открыла глаза и совершенно спокойно стала смотреть на меня.

— Я приехал сегодня... Я не писал тебе, потому что ты перестала писать. Я на семь дней только. У меня каникулы.

Взгляд ее оставался спокойным, будто не было восьми месяцев, будто не было ничего вообще, будто действительно я был репортером из медицинского журнала.

Я стал рассказывать о фильме, о степи, о Москве, но она по-прежнему смотрела безучастно и молчала.

Растерянно оглядев спящую палату, ища какое-то объяснение всему этому, я замолчал на полуслове.

— Мне не надо было приходить, да?
Она закрыла глаза и отвернулась к стенке.

— Ну, что? Молчит? — спросила санитарка, принимая халат.— Не ест ничего: вот беда. И ни единого слова. Ушибы не болят. Спит хорошо. Надо его было давно застрелить.
— Кого?
— Да пса. И чего она его жалеет? Дурочка какая-то... Хорошо еще — не бешеный.
— Отец ходит?
— Справляется. Каждый раз предупреждает, чтоб не пускали никого. Даже жену запретил пускать.
Топить нечем. Хорошо — тетя Зина дала охапку дров, а то бы замерз до утра. Наколол помельче прямо у печки. Разжигаю испорченными книгами.
Печь радостно запела, осветив оранжевым потолок и морозный узор окна.
Сижу на табуретке. Смотрю в огонь.
Какое множество людей вокруг. За стенами и внизу, подо мной и наверху. Ходят, спят, танцуют. Готовят ужин и уроки. Играют на рояле. И никто не знает, что умерла тетя Нюра. Не знают, что молчит в больнице Томка. У них свои покойники, свое молчание. И свои печи и дрова. У каждого своя коробка, свое окно и на стеклах свои пальмы и елочки...
У каждого — свое.
Достал блокнот. Читаю последнюю запись:
«Счастье — это ощущение перспективы».
Вписываю новую:
«Если у каждого свое, что же может стать общим? Наверное, общая перспектива?»
Отложил блокнот. Взял одну из книг, подлежавших сожжению.
«Справочник культработника. Москва, 1937 год».
Не могу вспомнить, откуда у меня эта книга. Открыл наугад.
«Раздел 4-й. Массовые игры. „Путаница“ — веселая игра, пользующаяся популярностью в домах отдыха. Правила изры не сложны. Затейник выбирает одного из активных отдыхающих, желательно девушку, и дает ей два конверта, в которых...»
Шумно хлопнула дверь. Оборачиваюсь. В двух шагах от меня Томкин отец.
Первое, что я ощутил в себе, было сопротивление. Это оно не позволило мне подняться с табуретки. Его же состояние понять было невозможно. Был ли пьян или трезв, зол или весел — ничего нельзя было прочесть в немигающих глазах Брагина. Лицо бледное с синевой, обросшее седой щетиной.
— Встань,— сказал он чуть слышно, как и тогда, на открытии школы.
Я не шевельнулся.
— Встань,— повторяет он с той же интонацией.
Я физически начинаю ощущать, как по телу растекается спасительное равнодушие. Освободились мышцы рук. Пальцы вновь чувствуют книгу, которую я продолжаю держать. Равнодушие делало меня свободным. Я мог теперь спокойно вспоминать, далеко ли лежит топор...
Когда я брал с полу «Справочник», он лежал, кажется, справа от меня, у печки... Мне хочется скосить глаза и проверить, так ли это...
— Она тебе все сказала?
И по тому, как он это спросил, я понял все сразу и отчетливо. Избивал он. И заставлял молчать. Собаку застрелил для отвода глаз...
Кидаю книгу в печь и вижу топор. Он в метре от меня...
(Если ударит, надо падать прямо к нему!)
Гляжу в белые от злобы глаза и ласково, как больному, говорю:
— Ударить не дам. Не за что. И потом, Григорий Евдокимович, у меня такое состояние, что, извините, могу разрубить на куски, если что...
Брагин с силой проводит по лицу себе жилистыми пальцами. Издал какой-то сиплый звук.
— Водки у тебя нет?
— Нет.

— Принеси.
Я поднялся, взял в углу пустую бутылку и вышел из комнаты.
В нашем доме помещался буфет, где торговали водкой в розлив. Пили здесь под горячие сосиски и бутерброды с килькой.
Мне отмерили триста грамм и завернули два бутерброда. Вернувшись, я застал его сидящим у печки. Водку поставил к ногам. Тут же на полу сел.
Засаленная фуражка — сталинка. Звездочка потеряна. От нее только светлый след. Шинель в пятнах, без погон.
— Тобой я занимаюсь давно-о-о...— он протянул последнее слово.
(Вот откуда это у Томки...)
— Знаю, что наган прячешь... То, что стрелялся, никто не знает, а я — знаю. Про липовый журнал, по которому кровь сдаешь — знаю. И что на курсах языком болтаешь — известно. Все знаю... Не отдам ее!!! — заорал он страшным голосом.— Сгною в тюряге, как падаль!! — Взял бутылку. Зачем-то посмотрел ее на просвет и выпил одним духом.
— Томку из головы выкинь. Никаких писем, ни звонков. Попробуешь жаловаться — раздавлю, как вошь... Это тебе не с жидовочками баловаться...
Плюнул на пол, сунул бутерброды в карман и, словно нехотя, пошел к дверям.

ЛИСТ ШЕСТНАДЦАТЫЙ

«Сдыхал от жажды скорпион...
К нему сюда, в жару пустыни,
Тропы никто не завернул.
Песком засыпан след звериный,
Засох последний саксаул...
Одна мечта:
напиться всласть!
Припасть к горячему фонтану
соленой крови
и во власть
красивых снов
уйти...
Вот и мираж —
предвестник близкой смерти,—
...толпа людей
и запах пота,
пьянящий,
как вино!..
— НЕТ!
— Уж лучше смерть, чем бред!..
Ударил скорпион
своим мечом
себя
чуть ниже головы...
А мы
стояли рядом
и пили воду из мехов.
Гудели трактора.

Вдруг Лена крикнула:
— Смотрите! Сам себя... Как жаль... А я хотела живого привезти в Москву и показать знакомым...»
Этими строчками начиналась моя дипломная работа.
Фильм должен был рассказать о людях, добывающих нефть в пустыне. По замыслу, текст этот, местами рифмованный, пишет в своей тетради молодой рабочий. Отсюда родилось и название фильма: «Тетрадь, пахнущая нефтью».

Экспедиция готовилась на апрель, в район Ташкентских песков, где предполагался пуск первого фонтана.

Лев Быстряков из-за сердца поехать со мной не мог. Окончательно группа сформировалась только в марте.

Оператор — Василий Тумчин, ассистент его — Лена Воронина, администратор — Олег Столяров и я — автор сценария и режиссер фильма.

В Ташкенте мы задержались на два дня — получали пленку на студии. Обалдевшие от жары и сытной еды, бродим по базарам. Купаемся в тепловато-мыльной воде Комсомольского озера и там же, на островке, пьем холодное пиво, под зажаренный в соли миндаль.

Трактора-вездеходы вышли в ночь, чтобы, пользуясь прохладой, проскочить основную часть пути.

Утром быстро поднимающееся солнце мгновенно накалило металл кабины. Двигатель поддавал жару изнутри. Кругом слепящий блеск неподвижных песков. Песчаная пудра забивалась в уши, разъедала глаза и растрескавшиеся губы. От постоянного грохота голова деревенела.

У Лены второй обморок. У меня хлещет из носа кровь. Остальные держатся.

Двигаемся по компасу — трассы, как таковой, нет, и если бы по нам не пальнули из ружей, мы бы проскочили промысел.

Лену и меня положили в санчасть. К съемкам приступили только через неделю.

На промысле работало около ста человек. В основном молодежь из разных республик. Среди них мы сразу нашли героя фильма. Точнее, нашла его Лена.

Пока единственная женщина во всей пустыне лежала в санчасти, она ежедневно получала кучу записок и писем.

Мало, кто выдержал бы такой ураган чувств, мыслей и слов. Но Лена выдержала. Она любила во всем мире только кинематограф.

Среди писем было одно, написанное стихами. Судя по стилю и подписи, автор — грузин.

Это письмо и решило наш выбор. Бригадир монтажников — Вахтанг Махатошвили вошел в фильм, как есть: чумазый от пота и масла, загорелый, как головешка, в немыслимых шортах, сшитых матерью из старых полотняных брюк, с открытой улыбкой и привычкой постоянно пожимать плечами.

Мы полюбили его сразу и начали готовить, как готовят невесту к обряду венчания.

Пуск нефти через четыре дня. Это и будет финалом фильма. Что ж! С конца начиналось многое!

Выбрали место для киносъемки. Учли возможные варианты, возникающие обычно при документальных съемках.

В идеале финал должен выглядеть так: ...к вентилю подходят трое рабочих. Среди них наш герой. Он три раза плюет через левое плечо по русскому обычаю и поворачивает колесо вентиля. За взглядом героя камера панорамирует вверх, где уже бьет в небо черный фонтан...

На все это лягут финальные строчки стихов и последние аккорды музыкальной партитуры.

Наступил день и час пуска нефти.

Вахтанг явился в белой майке, и нам пришлось в сотый раз ему объяснять, что это не костюмированный бал, что это обычная работа и чтобы он все делал так, как будто никаких съемок не происходит.

Наконец, все готово. Все на местах. Толпа затихла. Главный инженер кивает мне головой.

— Мотор!!! — кричу я во все горло.

На площадку, как на капитанский мостик, поднялись трое. Черное колесо вентиля поблескивает маслом. Ребята остановились около него, переглянулись весело, и герой плюнул три раза. (Хорошо плюнул! Молодец!) Все шло отлично. Вот голый, по пояс, герой нагнулся, цепкие руки схватили раскаленный на солнце круг и... вентиль не поддался...

Мгновенно покрылось потом лицо, надулись мышцы. Еще усилие... Но пальцы скользнули, и все опять повторилось.

Напряжение кадра возрастало. Это было неожиданностью, но это было хорошо, черт возьми!

И тут, стоящий рядом парень слегка прикоснулся плечом к герою. Тот отодвинулся, уступая ему место.

Парень вытер ладони о штаны и с красивой яростью рывком нажал на вентиль...

— Ура-а-а!!!

Фонтан бесился в высоте, черной тушью закрывая от нас солнце.

— Стоп! — ору я оператору и бегу вместе со всеми подставлять ладони под черные жирные струи...

С первой оказией Лена повезла пленку в Ташкент.

При прощании Вахтанг подарил ей тетрадь стихов и крошечный флакончик с нефтью. Лена чмокнула героя в ухо, чем окончательно превратила его в ненормального. Теперь он ночи напролет шелестел бумагой, а днем заводил странные разговоры...

— Как думаешь, Витя, богиня нефти есть?

— Нет.

— Надо выдумать! Какое имя подойдет — говори!

— Нефтелепа?

Он почему-то обиделся и больше ко мне не обращался.

Через три дня мне принесли текст радиограммы:

«Срочно прибыть Ташкент материалом непонятное Лена».

Лена встретила меня на киностудии в коридоре монтажного цеха.

— Витька, только ты не волнуйся... Пропала пленка.

— Как «пропала»?

— Из цеха обработки пленка в ОТК не поступала.

— Что за чушь?

— Я звонила в цех. Начальника нет, а зам говорит, что пленку взяли на химическую экспертизу.

— Ну и прекрасно!

— Не совсем... Галка — знакомая девочка, она на практике здесь — утверждает, что никакой экспертизы по этому материалу у них не проходило.

— И что? Путает твоя Галочка что-нибудь. Вот и все. Сейчас выясним...

Однако выяснить в этот день не удалось ничего. Единственное, что я узнал — материал в порядке. Брака нет. Это подтвердили рабочие на проявке и девочки на копировке. Дальше след терялся. Никто толком не знал, где пленка. Был конец дня и начальство как ветром сдуло.

Я накормил Лену мороженым. Забросил ее и свой портфель в гостиницу и пошел бродить по городу.

Вечером докладываю Лене.

— На площади у театра выпил стакан сухого, в чайхане старого города выпил стакан сухого, у мечети в палатке выпил стакан сухого и сейчас во втором этаже, в буфете...

— Больше не получишь. Буду пить одна.

— Я открою балкон.

— Он открыт.

— А почему у вас душно, Елена Аркадьевна?
— Прошу, не называй меня по отчеству. Я сразу чувствую себя старой.
— Ты молода, Елена... И пленительна. Я знал лишь одну женщину, а разочарован во всех... Я! Я запишу это! Я сейчас принесу блокнот...
— Потом, потом. Знаешь, сколько времени? Так поздно из номера женщины выходить неприлично. Тем более в таком виде...
— Я пьян?
— Трезвый ты ко мне бы не ввалился.
— Мне очень хорошо сегодня. И я хочу, чтобы тебе было так же.
— Это трудно.
— Ловлю на слове! Ты не сказала — «невозможно»! «Пей, моя девочка, пей, моя славная!»
— Тише! Ты что? Обалдел?! Нас же выселят. Это же гостиница, все-таки...
— За песни?! Е-рун-да! «Это плохое вино-о-о!»... Елена, я тебя поцелую! Нет, я тебя не как женщину — я поцелую тебя, как Человека!
(Если бы не купальник...) Я почувствовал его под халатом и тотчас вспомнил купание в Комсомольском озере, загорелую здоровую кожу и белую, недоступную солнцу, полоску на груди.
— Пусть будет все, Лена... Пусть будет сегодня все...
— Пусть...
Потом пьем чай с халвой. Потом я вышел на улицу и сорвал на клумбе розу. Потом стояли на балконе и сочиняли стихи:

Конверт раскроешь — из него звезда,
Как чудо, упадет к тебе в ладони...

Потом плескались под душем, потом я расчесывал ее длинные волосы. Потом опять пили сухое вино и болтали веселую чепуху.
А утром я сказал:
— Я тебе почитаю кое-что их своих записей, хочешь?
— Очень.
Гостиница просыпается рано. В коридоре гремят ведрами горничные. Галдят в холле туристы. Звонят телефоны.
У стола дежурной трое мужчин.
— Это к вам,— сказала дежурная, подавая ключ.
— Ко мне? — переспросил я, несколько удивленный ранним гостям.
— Нам нужно переговорить с вами. Желательно, в номере.
— Пожалуйста...
(Видно, из газеты или самодеятельности. Нужно будет долго отвечать на вопросы, а там ждет Лена. Я был недоволен.)
— Садитесь,— буркнул я, когда все трое зашли в номер.— Вы из газеты?
— Мы из Управления госбезопасности.
Один из них протягивает документ. Форму этой книжки я знал хорошо. Пальцы стали липкие.
— Вот ордер на арест и на обыск.
На стол легли бумаги.
— Я могу сообщить своему товарищу, что...
— Нет.
— И в связи с чем это все... вы мне тоже не объясните?
— Это, Костров, вы знаете не хуже нас. Все вопросы в Управлении.

Пока ехали, я почему-то думал о Витьке из тридцать первого номера.
— Перестань орать! — кричит тетя Зина.— Перестань орать!
Но Витька не орет уже — он улыбается мне...

Стены кабинета разделаны «под ясень». Они приятно холодят, помогают забыть о духоте, которая прет в окно от пыльной зелени парка.

За столом майор. Пишет.
Вошел совершенно лысый подполковник, похожий на комика-простака. Коротко оглядел меня, сел на диван.
— Не без удовольствия посмотрели ваш кинодокумент. Талантливо. На уровне мировых стандартов... Чуждых нам капиталистических стандартов...
Довольный собственным оборотом речи, подполковник улыбнулся.
— Люди на экране наши, советские. Механизмы наши. И на пленке советской снято. Все по форме. Все правильно. А мысль?! Какая мысль,— я спрашиваю?!
В ответ улыбаюсь. Говорю совсем по-дружески, запросто.
— Вам что, делать нечего? Я бы, на вашем месте, взял бы отпуск и махнул на промысел. Там прояснилась бы и форма, и мысль. Честное слово, что дурака валяете? Или кто-нибудь капнул чего? Так говорите...
Они дружно рассмеялись.
— Артист! — с веселой издевкой выкрикнул лысый. Забарабанило сердце, будто наотмашь ударили по лицу.
— Вы что здесь сошли с ума... от безделья?! — срываюсь на крик.— Я напишу об этом в Москву... Кто дал вам право разыгрывать с людьми подобные водевили?!
В хохоте потонула последняя фраза. Как ванька-встанька, качался на диване подполковник, хлопал себя по коленкам, повизгивал и вытирал выступившие слезы.
Вошел дежурный. Майор закрыл лицо руками.
— Уведите артиста,— приказал он, давясь от смеха.

Номер камеры двадцать два.
Лежу на койке и силюсь понять, в каком смысле мне близка эта цифра... Она выражает что-то мое... Она что-то для меня значит... Двадцать два... Что же она означает?..

Окончание следует



Лев КУКЛИН

ВИДЕНИЕ ХРАМА

Тенгизу Абуладзе

Есть понятие Храма —
Как прообраз корней...
Это — вечная драма
В мельтешении дней.

Прошлых лет злую повесть
Мы прочтем... Что с того?
Реставрировать совесть
Тяжелее всего!

Снова тянется к блюду,
Чтобы хапнуть верней,
Паразит и ублюдок —
Человек без корней.

Он спешит, убивает,
Хочет всех отлучить...
Ах, как просто бывает
С кровли крест сволочить!

И вот так, понемногу,
Заменяет в гоньбе
Поклонение богу
Поклоненьем... себе.

Но взрастает упрямо
Совесть нашей земли!
...Раньше — улицы к храму
Непременно вели.

Где же главная веха
На скрещенье путей
Для грядущего века,
Для растущих детей?!

ИГРОКИ В ДОМИНО

Один вел их путь каменистый,
Да сбоку пузырилась грязь:
Судил коммунист коммуниста,
Одним партбилетом клянясь...

А ныне заслуженных пенсий
По стажу дождались они.
На Охте, Подоле и Пресне
Тихи и безоблачны дни.

Иные — почтенные деды
И нянчат внучат на руках,
Другие — проводят беседы
В подшефных агитуголках.

Друг к другу не ведают злости:
С анкетой никто не знаком...
И нынче вот — режутся в кости
В нешумном саду городском.

Те кости стучат,
как копыта,
По пыли недавних веков:
— Забито!
...Забыто, забыто...
Смысл многих призывов таков!

Забыто?
Но помнить резонней,
Что нас не предал, озверев,
На фронте и в лагерной зоне
Компартии нашей резерв!

Забыто?
Но разве подспудны
Ошибки тех лет грозовых?
И мертвые — пусть не подсудны —
Но им отвечать за живых!

Зачем, мол, о том говорим мы?
Иные взошли имена...
А мертвые сраму не имут...
Нет — имут!
Во все времена!

МОНОЛОГ НЫНЕШНЕГО ТРУСА

— Разрешите быть смелым!
Я себя покажу!
Сразу — словом и делом —
Я вам всем докажу!

Докажу, что я прожил
Не забившимся в щель,
Что имел в жизни тоже
Я высокую цель.

Пусть я слыл оробелым,—
Я до всех доберусь!
Сапогом огрубелым
По могилам пройдусь!

Сразу стану я резво
Всех подряд обличать,
Правду голую резать,
А не в тряпку молчать...

Мне бы — только приказик,
Хоть единой строкой!
Мне бы — только указик,
Хоть какой-никакой!

Хватит быть мягкотелым
И шептать из щелей!
Разрешите быть смелым!
Разрешите скорей!

СТРАШНЫЙ СУД

Меня предчувствия томят
В век кибернетики бесстрастной:
Котлы атомные дымят
Не в преисподней — это ясно!

Страницы в Книге Бытия
От крови человечьей слиплись,
И то, что дальше вижу я,—
Ужасней, чем Апокалипсис.

Из наших рук родится смерть,
Моря, вскипев, попрут на берег,
И поглотит земная твердь
Изгибы Азий и Америк...

Пройдя все казни всех кругов,
Заговорят от страха звери,
И сгустки творческих мозгов
Рассеются по атмосфере.

Там, где обыденная жизнь
Оставила свои приметы,—
Налипнет атомная слизь
На бесполезные предметы!

Ни бог, ни дьявол не спасут!
Нет, им не сладить с небесами!
И если ждет нас Страшный Суд,—
То этот Страшный Суд — мы сами!

БЕЛЫЕ — БЕЛЫЕ СТИХИ...

На белом листе бумаги
Лежит ледяная пустыня.
С Севера и до Юга,
С Запада до Востока
Безмолвное дышит пространство,
Страшнее, чем Антарктида!

На белом листе бумаги,
Плоском, четыреугольном —
Трещины и разводья...
На белом листе бумаги —
Пропасти и обрывы,
Войны и катаклизмы,
Беды, любовь и счастье,
Отчаянье и надежды,
И изверженье вулканов —
На белом листе бумаги!

Какое потребно бесстыдство,
Чтоб это бесплодное поле
Засеять обрывками мыслей —
На белом листе бумаги!

Какое бесстрашие надо,
Чтоб двинуться в путь бесконечный:
Слова — ездовые олени...
След человеческой фразы —
Как бег собачьей упряжки
По ледникам, меж торосов...

Так только и пересекают
Материк Человеческой Мысли
На белом листе бумаги...

Аркадий СТРУГАЦКИЙ
Борис СТРУГАЦКИЙ

Рис. Г. Ковенчука



Фантастический роман

— Как живете, караси?
— Ничего себе, мерси.
В. Катаев

...Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы...
Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис)

КНИГА ПЕРВАЯ

Часть первая. МУСОРЩИК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Баки были ржавые, помятые, с отставшими крышками. Из-под крышек торчали обрывки газет, свешивалась картофельная шелуха. Это было похоже на пасть неопрятного, неразборчивого в еде пеликана. На вид они казались неподъемно тяжелыми, но на самом деле вдвоем с Ваном ничего не стоило рывком вздернуть такой бак к протянутым

рукам Дональда и утвердить на краю откинутого борта. Нужно было только беречь пальцы. После этого можно было поправить рукавицы и немного подышать носом, пока Дональд ворочает бак, устанавливая его в глубине кузова.

Из распахнутых ворот тянуло сырым ночным холодом, под сводом подворотни покачивалась на обросшем грязью шнуре голая желтая лампочка. В ее свете лицо Вана было как у человека, замученного желтухой, а лица Дональда не было видно в тени его широкополой техасской шляпы. Серые облупленные стены, исполосованные горизонтальными бороздами; темные клочья пыльной паутины под сводами; непристойные женские изображения в натуральную величину; а около дверей в дворницкую — беспорядочная толпа пустых бутылок и банок, которые Ван собирал, аккуратно рассортировывал и сдавал в утиль...

Когда остался последний бак, Ван взял совок и метлу и принялся собирать мусор, оставшийся на асфальте.

— Да бросьте вы копаться, Ван,— раздраженно произнес Дональд.— Каждый раз вы копаетесь. Все равно ведь чище не будет.

— Дворник должен быть метущий,— наставительно заметил Андрей, крутя кистью правой руки и прислушиваясь к своим ощущениям: ему показалось, что он немного растянул сухожилие.

— Ведь все равно же опять навалят,— сказал Дональд с ненавистью.— Мы и обернуться не успеем, а уже навалят больше прежнего.

Ван ссыпал мусор в последний бак, утрамбовал совком и захлопнул крышку.

— Можно,— сказал он, оглядывая подворотню. В подворотне теперь было чисто. Ван посмотрел на Андрея и улыбнулся. Потом он поднял лицо к Дональду и проговорил: — Я только хотел бы напомнить вам...

— Давайте, давайте! — нетерпеливо прикрикнул Дональд.

Раз-два. Андрей и Ван рывком подняли бак. Три-четыре. Дональд подхватил бак, крякнул, ахнул и не удержал. Бак накренился и боком грохнулся на асфальт. Содержимое вылетело из него метров на десять, как из пушки. Активно опорожняясь на ходу, он с громом покатился во двор. Гулкое эхо спиралью ушло к черному небу между стенами.

— Мать вашу в бога, в душу и святого духа,— сказал Андрей, едва успевший отскочить.— Руки ваши дырявые!..

— Я только хотел напомнить,— кротко проговорил Ван,— что у этого бака отломана ручка.

Он взял метлу и совок и принялся за дело, а Дональд присел на корточки на краю кузова и опустил руки между колен.

— Проклятье...— пробормотал он глухо.— Проклятая подлость.

С ним было явно что-то не в порядке в последние дни, а в эту ночь — в особенности. Поэтому Андрей не стал ему говорить, что он думает о профессорах и об их способности заниматься настоящим делом. Он сходил за баком, а потом, вернувшись к грузовику, снял рукавицы и вытащил сигареты. Из пустого бака смердело нестерпимо, и он торопливо закурил и только после этого предложил сигарету Дональду. Дональд молча покачал головой. Надо было поднимать настроение. Андрей кинул горелую спичку в бак и сказал:

— Жили-были в одном городишке два ассенизатора — отец и сын. Канализации у них там не было, а просто ямы с этим самым. И они это самое вычерпывали ведром и заливали в свою бочку, причем отец, как более опытный специалист, спускался в яму, а сын сверху подавал ему ведро. И вот однажды сын это ведро не удержал и обрушил обратно на батю. Ну, батя утерся, посмотрел на него снизу вверх и сказал ему с горечью: «Чучело ты,— говорит,— огородное, тундра! Никакого толка в тебе не видно. Так всю жизнь наверху и проторчишь».

Он ожидал, что Дональд хотя бы улыбнется. Дональд вообще-то был человек веселый, общительный, никогда не унывал. Было в нем что-то от студента-фронтовика. Однако сейчас Дональд только покашлял и глухо сказал: «Всех ям не выгребешь». А Ван, возившийся около бака, реагировал и вовсе странно. Он вдруг с интересом спросил:

— А почем оно у вас?

— Что — почем? — не понял Андрей.

— Дерьмо. Дорого?

Андрей неуверенно хохотнул.

— Да как тебе сказать... Смотря чье...

— Разве оно у вас разное? — удивился Ван.— У нас — одинаковое. А чье у вас самое дорогое?

— Профессорское,— немедленно сказал Андрей. Просто невозможно было удержаться.

— А! — Ван высыпал в бак очередной совок и покивал.— Понятно. Но у нас в сельской местности не было профессоров, поэтому цена была одна — пять юаней за

ведро. Это — в Сычуани. А в Цзянси, например, цены доходили до семи и даже до восьми юаней.

Андрей наконец понял. Ему вдруг захотелось спросить, правда ли, что китаец, пришедший в гости на обед, обязан потом опорожниться на огороде хозяина, однако спрашивать это было, конечно, неловко.

— А как у нас сейчас, я не знаю,— продолжал Ван.— Последнее время я не жил в деревне... А почему профессорское ценится у вас дороже?

— Это я пошутил,— сказал Андрей виновато.— У нас этим делом вообще не торгуют.

— Торгуют,— сказал Дональд.— Вы даже этого не знаете, Андрей.

— А вы даже это знаете,— огрызнулся Андрей.

Еще месяц назад он ввязался бы с Дональдом в яростный спор. Его ужасно раздражало, что американец то и дело рассказывает о России такие вещи, о которых он, Андрей, и понятия не имеет. Андрей был тогда искренне уверен, что Дональд просто берет его на пушку или повторяет злопыхательскую болтовню Херста. «Да шли бы вы с вашей херстовиной!» — отмахивался он. Но потом появился этот недоносок Изя Кацман, и Андрей спорить перестал, огрызался только. Черт их знает, откуда они всего этого набрались. И бессилие свое он объяснял тем обстоятельством, что он-то пришел сюда из пятьдесят первого года, а эти двое — из шестьдесят седьмого.

— Счастливый вы человек,— сказал вдруг Дональд, поднялся и пошел к бакам у кабины.

Андрей пожал плечами и, стараясь избавиться от неприятного осадка, вызванного этим разговором, надел рукавицы и принялся сгребать вонючий мусор, помогая Вану. Ну, и не знаю, думал он. Подумаешь, дерьма-то. А что ты знаешь об интегралах? Или, скажем, о постоянной Хаббла? Мало ли кто чего не знает...

Ван запихивал в бак последние остатки мусора, когда в воротах с улицы появилась ладная фигура полицейского Кенси Убукаты.

— Сюда, пожалуйста,— сказал он кому-то через плечо и двумя пальцами откозырял Андрею.— Привет, мусорщики!

Из уличной тьмы в круг желтого света вступила девушка и остановилась рядом с Кэнси. Была она совсем молоденькая, лет двадцати, не больше, и совсем маленькая, едва по плечо маленькому полицейскому. На ней был грубый свитер с широченным воротом и узкая короткая юбка, на бледном мальчишеском личике ярко выделялись густо намазанные губы, длинные светлые волосы падали на плечи.

— Не пугайтесь,— вежливо улыбаясь, сказал ей Кэнси.— Это всего лишь наши мусорщики. В трезвом состоянии совершенно безопасны... Ван,— позвал он.— Это Сельма Нагель, новенькая. Приказано поселить у тебя в восемнадцатом номере. Восемнадцатый свободен?

Ван, снимая на ходу рукавицы, подошел к ним.

— Свободен,— сказал он.— Давно уже свободен. Здравствуйте, Сельма Нагель. Я — дворник, меня зовут Ван. Если что-нибудь понадобится, вот — дверь в дворницкую, приходите сюда.

— Давай ключ,— сказал Кэнси.— Пойдемте, я вас провожу,— сказал он девушке.

— Не надо,— проговорила она устало.— Сама найду.

— Как угодно,— сказал Кэнси и снова откозырял.— Вот ваш чемодан.

Девушка взяла у Кэнси чемодан, а у Вана — ключ, мотнула головой, отбрасывая упавшие на глаза волосы, и спросила:

— Который подъезд?

— Прямо,— сказал Ван.— Вон тот, под освещенным окном. Пятый этаж. Может быть, вы хотите есть? Чаю?

— Нет, не хочу,— сказала девушка, снова тряхнула головой и, цокая каблуками по асфальту, пошла прямо на Андрея.

Он отступил, пропуская ее. Когда она проходила, он ощутил крепкий запах духов и еще какой-то парфюмерии. И он все смотрел ей вслед, пока она шла по желтому освещенному кругу, юбка у нее была совсем короткая, чуть длиннее свитера, а ноги были голые, белые, и Андрею показалось, что они светятся, когда она вышла из-под арки в темноту двора, и в этой темноте был виден только ее белый свитер и белые мелькающие ноги.

Потом заныла, завизжала и грохнула дверь, и тогда Андрей снова машинально достал сигареты и закурил, представляя, как эти нежные белые ноги ступают по лестнице, ступенька за ступенькой... гладкие икры, ямочки под коленями, обалдеть можно... Как она поднимается выше и выше, этаж за этажом, и останавливается перед дверью восемнадцатой квартиры — как раз напротив шестнадцатой квартиры... ч-черт, надо хоть белье постельное переменить, три недели уже не менял, наволочка серая сделалась, как портянка... А какое у нее лицо? Надо же — совсем не помню, какое у нее лицо. Только ноги и запомнил.

Он вдруг осознал, что молчат все, даже женатый Ван, и в ту же секунду заговорил Кэнси:

— У меня есть двоюродный дядя, полковник Маки. Он был адъютантом господина Осимы и два года просидел в Берлине. Потом его назначили исполняющим обязанности нашего военного атташе в Чехословакии, и он присутствовал при вступлении немцев в Прагу...

Ван кивнул Андрею, они рывком подняли бак и благополучно переправили его в кузов.

— ...Потом,— продолжал Кэнси неторопливо, закуривая сигаретку,— он немного повоевал в Китае, по-моему, где-то на юге, на Кантонском направлении. Потом он командовал дивизией, высадившейся на Филиппинах, и организовал этот знаменитый «марш смерти» пяти тысяч американских военнопленных — извините меня, Дональд... Потом его направили в Маньчжурию и назначили начальником Сахалянского укрепрайона, где он, между прочим, в целях сохранения секретности загнал в шахту и взорвал восемь тысяч китайских рабочих... извини меня, Ван... Потом он попал к русским в плен, и они, вместо того чтобы повесить его или, что то же самое, передать его Китаю, всего-навсего упрятали его на десяток лет в концлагерь...

Пока Кэнси все это рассказывал, Андрей успел слазить в кузов, помог там Дональду расставить баки, поднял и закрепил борт грузовика, снова спрыгнул на землю, угостил Дональда сигаретой, и теперь они втроем стояли перед Кэнси и слушали его. Дональд Купер, длинный, сутулый, в выцветшем комбинезоне, длинное лицо со складками возле рта, острый подбородок, поросший редкой седой щетиной; и Ван, широкий, приземистый, почти без шеи, в стареньком, аккуратно заштопанном ватнике, широков бурое лицо, курносый носик, благожелательная улыбка, темные глаза в щелках припухших век; и Андрея вдруг пронизала острая радость при мысли, что все эти люди из разных стран и даже из разных времен собрались здесь вместе и делают одно, очень нужное дело, каждый на своем посту.

— ...Теперь он уже старый человек,— закончил Кэнси.— И он утверждает, что самые лучшие женщины, каких он когда-либо знал,— это русские женщины. Эмигрантки в Харбине.

Он замолчал, уронил окурок и старательно растер его подошвой блестящего штиблета.

Андрей сказал:

— Какая же она русская? Сельма, да еще Нагель.

— Да, она шведка,— сказал Кэнси.— Но все равно. Это был рассказ по ассоциации.

— Ладно, поехали,— сказал Дональд и полез в кабину.

— Слушай, Кэнси,— сказал Андрей, берясь за дверцу.— А кем ты был раньше?

— Контролером на литейном заводе, а до того — министром коммунального...

— Да нет, не здесь, а там...

— А-а, там? Там я был литсотрудником в издательстве «Хаякава».

Дональд завел двигатель, и старенький грузовик затрясся и залязгал, испуская густые клубы синего дыма.

— У вас правый подфарник не горит! — крикнул Кэнси.

— Он у нас сроду не горел,— отозвался Андрей.

— Так почините! Еще раз увижу — оштрафую!

— Понасажали вас на нашу голову...

— Что? Не слышу!

— Бандитов, говорю, лови, а не шоферов! — проорал Андрей, стараясь перекричать лязг и дребезг.— Дался тебе наш подфарник! И когда только вас всех разгонят, дармоедов!

— Скоро! — крикнул Кэнси.— Теперь уже скоро — не пройдет и ста лет!

Андрей погрозил ему кулаком, махнул Вану и ввалился на сиденье рядом с Дональдом. Грузовик рванулся вперед, чиркнул бортом по стене в арке ворот, выкатился на Главную улицу и круто повернул направо.

Устраиваясь поудобнее, так, чтобы пружина, вылезшая из сиденья, не колола в зад, Андрей искоса поглядел на Дональда. Дональд сидел прямо, положив левую руку на баранку, а правую — на рычаг переключения скоростей, надвинув шляпу на глаза и выставив острый подбородок, и гнал во всю мощь. Он всегда ездил так, «с максимальной разрешенной скоростью», не думая даже тормозить перед выбоинами на асфальте, и на каждой такой выбоине в кузове тяжело ухали баки с мусором, дребезжал проржавевший капот, а сам Андрей, как ни старался упираться ногами, подлетал и падал в точности на острие проклятой пружины. Только раньше все это сопровождалось веселой перебранкой, а сейчас Дональд молчал, тонкие губы его были крепко сжаты, на Андрея он не смотрел вовсе, и потому чудился в этой обычной тряске какой-то злой умысел.

— Что это с вами, Дон? — спросил Андрей наконец.— Зубы болят?

Дональд коротко дернул плечом и ничего не ответил.

— Правда, вы какой-то сам не свой последние дни. Я же вижу. Может быть, я вас обидел как-нибудь нечаянно?

— Бросьте, Андрей,— проговорил Дональд сквозь зубы.— При чем здесь вы?

И опять Андрею почудилось в этих словах какое-то недоброжелательство и даже что-то обидное, оскорбительное: где уже тебе, сопляку, меня, профессора, обидеть?.. Но тут Дональд заговорил снова:

— Я ведь не зря сказал вам, что вы счастливый. Вам и в самом деле можно только позавидовать. Все это идет как-то мимо вас. Или сквозь вас. А по мне это идет, как паровой каток. Ни одной целой кости не осталось.

— О чем вы? Ничего не понимаю.

Дональд молчал, искривив губы. Андрей посмотрел на него, невидящими глазами поглядел вперед на дорогу, снова покосился на Дональда, почесал себе макушку и расстроенно сказал:

— Честное слово, ничего не понимаю. Так вроде все хорошо идет...

— Потому я вам и завидую,— жестко сказал Дональд.— И хватит об этом. Не обращайте внимания.

— То есть как не обращать внимания? — сказал Андрей, совсем расстроившись.— Как это я могу не обращать внимания? Мы здесь вместе... вы, я, ребята... Конечно, дружба — это большое слово, слишком большое... Ну, просто товарищи... Я бы, например, рассказал, если что... Ведь никто же не откажется помочь! Ну, сами скажите: если бы со мной что-нибудь случилось и я бы попросил у вас помощи, вы бы мне отказали? Ведь не отказали бы, верно?

Правая рука Дональда оторвалась от рычага и легонько потрепала Андрея по плечу. Андрей замолчал. Его переполняли чувства. Снова все было хорошо, все было в порядке. Дональд был в порядке. Просто обычная хандра. Может же быть у человека хандра? Просто у него самолюбие взыграло. Все-таки как-никак профессор социологии, а тут баки с мусором, а до этого он был грузчиком на складе. Конечно, ему это неприятно и обидно, тем более что никому об этих обидах не расскажешь — никто его сюда не гнал, и жаловаться неудобно... Это только сказать просто: выполняй хорошо любое дело, на которое тебя поставили... Ну и ладно. И хватит об этом. Сам справится.

А грузовичок уже катился по диабазу, скользкому от осевшего тумана, и здания по сторонам стали ниже, дряхлее, и цепочки фонарей, протянувшиеся вдоль улицы, стали тусклее и реже. Цепочки эти впереди сходились в туманное расплывчатое пятно, на мостовой и на тротуарах не было ни души, даже дворники почему-то не попадались, только на углу Семнадцатого переулка, перед приземистой старой гостиницей, известной более под названием «Клопиный вольер», стояла телега с понурой лошадью, и в телеге кто-то спал, закутавшись с головой в брезент. Было четыре часа ночи — время самого крепкого сна, и ни одно окно не светилось в черных этажах.

Впереди слева из подворотни высунулся грузовик, Дональд помигал ему фарами, промчался мимо, а грузовик, такой же мусорщик, вывернув на дорогу, попытался их перегнать, но не на таковских напал, где ему было тягаться с Дональдом,— так, посветил фарами через заднее окно и отстал безнадежно. Еще одного мусорщика они обогнали в горелых кварталах, и вовремя, потому что сразу за горелыми начался булыжник, и Дональду пришлось-таки снизить скорость, чтобы грузовичок невзначай не развалился.

Здесь стали попадаться встречные машины, уже пустые,— они шли со свалки и больше никуда не торопились. Потом от фонаря впереди отделилась неясная фигура, вышла на мостовую, и Андрей, сунув руку под сиденье, вытащил было тяжелую монтировку, но оказалось, что это полицейский, который попросил подбросить его до Капустного переулка. Ни Андрей, ни Дональд не знали, где это, и тогда полицейский, здоровенный мордастый дядька со светлыми лохмами, беспорядочно торчащими из-под форменной фуражки, сказал, что покажет.

Он встал на подножку рядом с Андреем и, держась за раму, всю дорогу недовольно крутил носом, словно бог весть что унюхал, хотя от самого от него так и шибало застаревшим потом, и Андрей вспомнил, что эта часть города уже отключена от водопровода.

Некоторое время ехали молча, полицейский насвистывал из оперетки, а потом ни с того ни с сего сообщил, что на углу Капустного и Второй Левой нынче в полночь кокнули какого-то беднягу, все золотые зубы повыдергивали...

— Плохо работаете,— зло сказал ему Андрей.

Такие случаи выводили его из себя, а тон у полицейского был такой, что так и надавал бы ему по шее: сразу было видно, что ему совершенно безразличны и убийство, и убитый, и убийцы.

Полицейский озадаченно повернул широкую ряжку и спросил:

— Ты, что ли, меня учить будешь, как работать?

— Может быть, и я,— сказал Андрей.

Полицейский нехорошо прищурился, посвистел и сказал:

— Учителей-то, учителей!.. Куда ни харкни — везде учитель. Стоит и учит. Мусор уже возит, а все учит.

— Я тебя не учу...— начал было Андрей, повысив голос, но полицейский говорить ему не дал.

— Вот вернусь сейчас в участок,— спокойно сообщил он,— и позвоню к тебе в гараж, что у тебя подфарник правый не горит. Подфарник у него, понимаешь, не горит, а туда же — учит полицию, как работать. Молокосос.

Дональд вдруг рассмеялся сухим скрипучим смехом. Полицейский тоже ржанул и сказал совсем уже миролюбиво:

— Я один на сорок домов, понял? И оружие запретили носить. Чего же ты от нас хочешь? Тебя скоро дома резать начнут, не то что в переулках.

— Так а чего же вы? — ошеломленно сказал Андрей.— Протестовали бы, требовали бы...

— «Протестовали»,— повторил полицейский.— «Требовали»... Новичок, что ли? Эй, шеф,— позвал он Дональда.— Притормози-ка. Мне здесь.

Он спрыгнул с подножки и вразвалку, не оглядываясь, направился в темную щель между покосившимися деревянными домами, где в отдалении горел одинокий фонарь, а под фонарем стояла кучка людей.

— Да что они, ей-богу, сдурели, что ли? — возмущенно сказал Андрей, когда машина снова тронулась.— Как это так — в городе полно шпаны, а полиция без оружия! Не может этого быть. У Кэнси же кобура на боку, что он в ней — сигареты носит?

— Бутерброды,— сказал Дональд.

— Ничего не понимаю,— сказал Андрей.

— Было разъяснение,— сказал Дональд.— «В связи с участившимися случаями нападения гангстеров на полицейских с целью захвата оружия»... и так далее.

Некоторое время Андрей размышлял, изо всех сил упираясь ногами, чтобы не подбрасывало над сиденьем. Булыжник практически уже кончился.

— По-моему, это ужасно глупо,— сказал он наконец.— А по-вашему?

— И по-моему, тоже,— отозвался Дональд, неловко закуривая одной рукой.

— И вы об этом так спокойно говорите?

— Я уже свое отбеспокоился,— сказал Дональд.— Это очень старое разъяснение, вас еще здесь не было.

Андрей почесал макушку, наморщился. Черт его знает, может, и был какой-то смысл в этом разъяснении? В конце концов, полицейский-одиночка действительно соблазнительная приманка для этих гадов. Если уж изымать оружие, то изымать надо, конечно, у всех. И конечно, дело не в этом дурацком разъяснении, а в том, что полиции мало, и облав мало, а надо было бы устроить одну хорошенькую облаву и вымести всю эту нечисть одним махом. Население привлечь. Я бы, например, пожалуйста, пошел... Дональд бы, конечно, пошел... Надо будет написать мэру. Потом мысли его приняли вдруг новое направление.

— Слушайте, Дон,— сказал он.— Вот вы социолог. Я, конечно, считаю, что социология — это никакая не наука... я вам уже говорил... и вообще не метод. Но вы, конечно, много знаете, гораздо больше меня. Вот вы мне объясните: откуда в нашем городе вся эта дрянь? Как они сюда попали — убийцы, насильники, ворье... Неужели Наставники не понимали, кого сюда приглашают?

— Понимали, наверное,— равнодушно ответил Дональд, с ходу проскакивая страховидную яму, наполненную черной водой.

— Так зачем же тогда?..

— Вором не рождаются. Вором становятся. А потом, как известно: «Откуда нам знать, что нужно Эксперименту? Эксперимент есть Эксперимент..» — Дональд помолчал.— Футбол есть футбол, мяч круглый, поле квадратное, пусть победит достойнейший...

Фонари кончились, жилая часть города осталась позади. Теперь по сторонам разбитой дороги тянулись заброшенные развалины — остатки нелепых колоннад, просевшие в скверные фундаменты, подпертые балками стены с зияющими дырами вместо окон, бурьян, штабели гниющих бревен, заросли крапивы и колючек, чахлые, полузадушенные лианами деревца среди нагромождений почерневшего кирпича. А потом впереди опять возникло туманное сияние, Дональд свернул вправо, осторожно разминулся со встречным пустым грузовиком, пробуксовал в глубоких колеях, забитых грязью и, наконец, затормозил вплотную к красным огонькам последнего в очереди мусорщика. Он заглушил двигатель и посмотрел на часы. Андрей тоже посмотрел на часы. Было около половины пятого.

— Часок простоим,— бодро сказал Андрей.— Пошли посмотрим, кто там впереди. Сзади подошла и остановилась еще одна машина.

— Идите один,— сказал Дональд, откинулся на спинку сиденья и сдвинул поля шляпы на лицо.

Тогда Андрей тоже откинулся на спинку, поправил под собой пружину и закурил.

Впереди полным ходом шла разгрузка — лягали крышки баков, высокий голос учетчика кричал: «...восемь...десять...», на столбе покачивалась тысячесвечевая лампа под плоской жестяной тарелкой. Потом вдруг заорали сразу в несколько глоток: «Куда, куда, мать твою? Сдай назад! Сам ты — слепая!.. По зубам захотел?..» Справа и слева громоздились горы мусора, слежавшегося в плотную массу, ночной ветерок наносил ужасную тухлятину.

Знакомый голос вдруг сказал над ухом:

— Здорово, дерьмовозы! Как идет великий Эксперимент?

Это был Изя Кацман, в натуральную величину,— встрепанный, толстый, неопрятный и, как всегда, неприятно жизнерадостный.

— Слыхали? Есть проект окончательного решения проблемы преступности. Полиция упраздняется! Вместо нее будут по ночам выпускать на улицы сумасшедших. Бандитам и хулиганам конец — теперь только сумасшедший решится ночью выйти из дома!

— Неостроумно,— сказал Андрей сухо.

— Неостроумно? — Изя встал на подножку и просунул голову в кабину.— Наоборот! Чрезвычайно остроумно! Никаких же дополнительных расходов. Водворение сумасшедших на место постоянного жительства по утрам возлагается на дворников...

— За что дворникам выдается дополнительный паек в размере литра водки,— подхватил Андрей, чем и привел Изю в необъяснимый восторг: Изя принялся хихикать, издавая странные горловые звуки, брызгать и мыть ладони воздухом.

Дональд вдруг глухо выругался, распахнул свою дверцу, спрыгнул и исчез в темноте. Изя тут же перестал хихикать и спросил обеспокоенно:

— Что это с ним?

— Не знаю,— мрачно сказал Андрей.— Наверное, его от тебя затошнило... А вообще-то он уже несколько дней такой.

— Правда? — Изя поверх кабины глядел в ту сторону, куда ушел Дональд.— Жалко. Он хороший человек. Только очень уж неприспособленный.

— А кто приспособленный?

— Я приспособленный. Ты приспособленный. Ван приспособленный... Дональд давеча все возмущался: почему, чтобы свалить мусор, надо стоять в очереди? На кой хрен здесь учетчик? Что он учитывает?

— Ну и правильно возмущался,— сказал Андрей.— Действительно же, кретинизм какой-то.

— Но ведь ты же не нервничаешь по этому поводу,— возразил Изя.— Ты прекрасно понимаешь, что учетчик — человек подневольный. Поставили его учитывать, вот он и учитывает. А поскольку он учитывать не успевает, образуется, сами понимаете, очередь. А очередь — она и есть очередь...—Изя снова забулькал и забрызгал.— Конечно, на месте начальства Дональд проложил бы здесь хорошую дорогу со съездами для сброса мусора, а учетчика, здоровенного лба, отправил бы в полицию ловить бандитов. Или на передовую, к фермерам...

— Ну? — сказал Андрей нетерпеливо.

— Что — ну? Дональд ведь не начальство!

— Ну, а начальство почему так не сделает?

— А зачем ему? — радостно вскричал Изя.— Сам подумай! Мусор вывозится? Вывозится! Вывоз учитывается? Учитывается! Систематически? Систематически. Месяц окончился, будет представлен отчет: вывезено на столько-то баков дерьма больше, чем в прошлом месяце. Министр доволен, мэр доволен, все довольны, а что Дональд недоволен, так его сюда никто не гнал — доброволец!..

Грузовик впереди выбросил клуб сизого дыма и проехал вперед метров на пятнадцать. Андрей торопливо пересел за руль, выглянул. Дональда нигде не было видно. Тогда он с опаской включил двигатель и кое-как продвинулся на те же пятнадцать метров, трижды заглохнув по дороге. Изя при этом шел рядом, испуганно шарахаясь каждый раз, когда машина принималась дергаться. Потом он принялся рассказывать что-то про Библию, но Андрей слушал плохо — он был весь мокрый от пережитого напряжения.

Под яркой лампой по-прежнему лягали баки и стоял мат. В крышу кабины что-то ударилось и отскочило, но Андрей не обратил на это внимания. Сзади подошел со своим напарником, гаитянским негром, здоровенный Оскар Хайдерман, попросил закурить. Негр, по имени Сильва, почти невидимый в темноте, скалил белые зубы.

Изя пустился с ними в разговоры, причем Сильву он называл почему-то тонтон-макутом, а Оскара расспрашивал о каком-то Туре Хейердале. Сильва строил страшные рожи, делал вид, что строчит из автомата, Изя хватался за живот и делал вид, что сражен на месте,— Андрей ничего не понимал, и Оскар, по-видимому, тоже: быстро выяснилось, что он путает Гаити с Таити...

По крыше снова что-то прокатилось, и вдруг здоровенный ком слипшегося мусора ударился в капот и разлетелся в клочья.

— Эй! — крикнул Оскар в темноту.— Прекратите!

Впереди вновь заорали в двадцать глоток, плотность брани достигла вдруг немыслимого предела. Что-то происходило. Изя жалобно ойкнул и, схватившись за живот, согнулся пополам — теперь уже не в шутку. Андрей открыл дверцу, высунулся было наружу, и сейчас же в голову ему ударила пустая консервная банка — не больно, но очень оскорбительно. Сильва пригнулся и скользнул в темноту. Андрей, прикрывая голову и лицо, озирался.

Ничего не было видно. Из-за куч мусора слева градом сыпались ржавые банки, куски гнилого дерева, старые кости, даже обломки кирпичей. Послышался звон разбиваемого стекла. Дикий возмущенный рев взлетел над колонной. «Какая сволочь там развлекается?!» — ревели чуть ли не хором. Зарычали включенные двигатели, вспыхнули фары. Некоторые грузовики принялись судорожно елозить взад-вперед: видимо, водители пытались развернуть их так, чтобы осветить мусорные хребты, откуда летели уже целые кирпичи и пустые бутылки. Еще несколько человек, пригнувшись как Сильва, ринулись в темноту.

Мельком Андрей заметил, что Изя с искривленным плачущим лицом скорчился возле заднего ската и ощупывает живот. Тогда Андрей нырнул в кабину и выхватил из-под сиденья монтировку. По башкам сволочей, по башкам! Видно было, как с десяток мусорщиков на четвереньках, цепляясь руками, остервенело карабкаются по склону. Кому-то удалось-таки поставить машину поперек, и свет фар озарил неровный гребень, ощетиненный обломками старой мебели, взлохмаченным тряпьем и обрывками бумаги, сверкающий битым стеклом, и над гребнем — высоко задранный ковш экскаватора на фоне черного неба. И что-то там шевелилось на ковше, что-то большое, серое с серебристым отливом. Андрей замер, вглядываясь, и в ту же минуту отчаянный вопль перекрыл всю разноголосицу:

— Это дьяволы! Дьяволы! Спасайтесь!..

И сейчас же со склона кубарем, на карачках, через голову, поднимая столбы пыли, в вихре рваного тряпья и бумажных лохмотьев, посыпались люди,— обезумевшие глаза, разинутые рты, размахивающие руки. Кто-то, обхватив руками голову, спрятав голову между сжатыми локтями, продолжая панически визжать, пронесся мимо Андрея, поскользнулся в колее, упал, снова вскочил и изо всех сил побежал дальше, по направлению к городу. Кто-то, хрипло дыша, втиснулся между радиатором Андреева грузовика и кузовом передней машины, застрял там, принялся рваться и тоже заорал не своим голосом. Стало вдруг тише, только ворчали двигатели, и тут хлестко, словно удары бича, звонко защелкали выстрелы. И Андрей увидел — на гребне, в голубоватом свете фар — высокого тощего человека, который стоял спиной к машинам, держа пистолет в обеих руках, и раз за разом палил куда-то в темноту за гребень.

Он выстрелил пять или шесть раз в полной тишине, а потом из темноты возник тысячеголосый нечеловеческий вой, злобный, мяукающий и тоскливый, как будто двадцать тысяч мартовских котов заорали одновременно в мегафоны, и тощий человек попятился, оступился, нелепо взмахнул руками и съехал на спине по склону. Андрей тоже попятился в предчувствии чего-то невыносимо страшного, и он увидел, как гребень вдруг зашевелился.

Серебристо-серые, невероятные, чудовищно уродливые призраки закишели вдруг там, засверкали тысячами кроваво светящихся глаз, заблестели миллионами яростно оскаленных влажных клыков, замахали лесом невообразимо длинных мохнатых лап. Пыль густой стеной взлетела над ними в свете фар, и сплошной ливень обломков, камней, бутылок, комков дряни обрушился на колонну.

Андрей не выдержал. Он нырнул в кабину, вжался в самый дальний угол и выставил перед собой монтировку, обмирая, как в кошмаре. Он абсолютно ничего не соображал, и когда какое-то темное тело заслонило открытую дверь, он заорал, не слыша собственного голоса, и принялся тыкать железом в мягкое, страшное, сопротивляющееся, лезущее на него, и тыкал до тех пор, пока жалобный вопль Изи: «Идиот, это же я!» не привел его в чувство. И тогда Изя влез в кабину, захлопнул за собой дверь и неожиданно спокойным голосом объявил:

— Ты знаешь, что это такое? Это обезьяны. Вот суки!

Сначала Андрей не понял его, потом понял, но не поверил.

— Ну да? — сказал он, вылез на подножку и выглянул из-за кабины.

Точно: это были обезьяны. Очень крупные, очень волосатые, очень свирепые на вид, но не дьяволы и не привидения, а всего лишь обезьяны. Андрея обдало жаром от стыда и облегчения, и в ту же секунду что-то тяжелое и твердое ахнуло его прямо по уху, да так, что другим ухом он ахнулся о крышу кабины.

— Все по машинам! — взревел где-то впереди властный голос.— Прекратить панику! Это павианы! Ничего страшного! По машинам и задний ход!..

В колонне стоял ад кромешный. Стреляли глушители, вспыхивали и гасли фары, двигатели ревели вразнос, сизый дым клубами поднимался к беззвездному небу. Из тьмы вдруг вынырнуло какое-то залитое черным и блестящим лицо, чьи-то руки схва-

тили Андрея за плечи, встряхнули как щенка, сунули боком в кабину, и тут же передний грузовик сдал назад и с хрустом врезался в радиатор, а грузовик сзади дернулся вперед и ударил в кузов, как в бубен, так, что там загремели потревоженные баки, а Изя дергал за плечо и приставал: «Ты машину водить умеешь или нет? Андрей! Умеешь?», а на сизого дыма кто-то вопил истошно: «Убили! Спасите!», а властный голос все ревел: «Прекратить панику! Задняя машина, задний ход! Живо!», а сверху, справа, слева градом сыпалось твердое, лязгало по капоту, гремело по бакам, со звоном било а стекла, и непрерывно ныли и гудели сигналы, и все нарастал и нарастал гнусный мяукающий вой.

Изя вдруг сказал: «Ну, я пошел...» и, заранее прикрывая руками голову, вылез наружу. Он чуть не попал под машину, промчаашуюся по направлению к городу,— среди подпрыгивающих баков промелькнуло перекошенное лицо учетчика. Потом Изя исчез, и появился Дональд — без шляпы, ободранный, весь в грязи,— швырнул на сиденье пистолет, сел за руль, включил двигатель и, высунувшись из кабины, дал задний ход.

Видимо, какой-то порядок все-таки установился: панические вопли утихли, моторы ревели, и вся колонна понемногу пятилась назад. Даже каменно-бутылочный град, казалось, несколько поутих. Павианы прыгали и расхаживали по мусорному гребню, но вниз не спускались, только орали там, разевая собачьи пасти, и издевательски поворачивали к колонне лоснящиеся в свете фар ягодицы.

Грузовик катился все быстрее, снова пробуксовал в грязевой яме, выскочил на шоссе, развернулся, Дональд со скрежетанием переключил скорость, дал газ и, захлопнув дверцу, откинулся на сиденье. Впереди прыгали во мраке красные огоньки удирающих во весь дух машин.

Оторвались, с облегчением подумал Андрей и осторожно ощупал ухо. Ухо распухло и пульсировало. Надо же — павианы! Павианы-то откуда? Да такие здоровенные... да в таких количествах!.. Сроду у нас тут не было никаких павианов... если не считать, конечно, Изю Кацмана. И почему именно павианы? Почему не тигры?.. Он поерзал на сиденье, грузовик тряхнуло, Андрей подлетел и с размаху опустился на что-то твердое, незнакомое. Он сунул под себя руку и вытащил пистолет. Секунду он смотрел на него, не понимая. Пистолет был черный, небольшой, с коротким стволом и рифленой рукоятью. Потом Дональд вдруг сказал:

— Осторожнее. Дайте сюда.

Андрей отдал пистолет и некоторое время смотрел, как Дональд, изогнувшись, засовывает оружие в задний карман комбинезона. Его вдруг прошиб пот.

— Так это вы там... палили? — спросил он сипло.

Дональд не ответил. Он мигал единственной уцелевшей фарой, обгоняя очередной грузовик. Через перекресток, перед самым радиатором, пронеслось, изогнув хвосты, несколько павианов, но Андрею было уже не до них.

— Откуда у вас оружие, Дон?

Дональд опять не ответил, только сделал странный жест рукой — попытался надвинуть на глаза несуществующую шляпу.

— Вот что, Дон,— сказал тогда Андрей решительно.— Мы сейчас же едем в мэрию, вы сдадите пистолет и объясните, как он к вам попал.

— Бросьте чепуху молоть,— отозвался Дональд.— Дайте лучше сигарету.

Андрей машинально достал пачку.

— Это не чепуха,— сказал он.— Я не хочу ничего знать. Вы молчали — ладно, это ваше личное дело. И вообще я вам доверяю... Но в городе только у бандитов может быть оружие. Я ничего такого не хочу сказать, но в общем я вас не понимаю... в общем оружие надо сдать и все объяснить. И нечего делать вид, будто все это чепуха. Я же вижу, какой вы последнее время. Лучше пойти и сразу все рассказать.

Дональд на секунду повернул голову и посмотрел Андрею в лицо. Непонятно, что у него было в глазах — то ли насмешка, то ли страдание,— но он показался Андрею очень старым в этот момент, совсем дряхлым и каким-то загнанным. Андрей ощутил смущение и растерянность, но тут же взял себя в руки и твердо повторил:

— Сдать и все рассказать. Все!

— Вы понимаете, что обезьяны идут на город? — спросил Дональд.

— Ну, и что? — растерялся Андрей.

— Действительно — ну, и что? — сказал Дональд и неприятно рассмеялся.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Обезьяны уже были в городе. Они носились по карнизам, гроздьями висели на фонарных столбах, жуткими косматыми толпами плясали на перекрестках, липли к окнам, швырялись булыжниками, вывороченными из мостовой, гонялись за обезумевшими людьми, которые в одном белье выскочили на улицу.

Несколько раз Дональд останавливал машину, чтобы взять в кузов беженцев. Баки давно выкинули вон. Одно время перед грузовиком мчалась галопом осатаневшая лошадь, запряженная в телегу, а в телеге приседал и раскачивался, размахивал волосатыми ручищами и пронзительно вопил здоровенный серебристый павиан. Андрей видел, как телега с треском врезалась в фонарный столб, лошадь с оборванными постромками понеслась дальше, а павиан лихо перелетел на ближайшую водосточную трубу и исчез на крыше.

На площади перед мэрией кипела паника. Подъезжали и отъезжали автомобили, бегали полицейские, бродили потерянные люди в исподнем, у подъезда какого-то чиновника прижали к стене, требовательно кричали на него, а он отпихивался тростью и отмахивался портфелем.

— Бардак,— сказал Дональд и выпрыгнул из машины.

Они вбежали в здание и сразу же потеряли друг друга в непроворотной толпе людей в штатском, людей в полицейской форме и людей в нижнем белье. Стоял многоголосый гомон, от табачного дыма ело глаза.

— Поймите! Не могу же я вот так — в одних подштанниках!

— ...Немедленно открыть арсенал и раздать оружие... Черт вас побери, ну хоть бы полицейским раздать оружие!..

— Где шеф полиции? Только что здесь крутился...

— У меня жена там осталась, вы можете это понять? И теща-старуха!

— Слушайте, да ничего страшного. Обезьяны — они и есть обезьяны...

— Представляешь, просыпаюсь я, а на подоконнике кто-то сидит...

— А шеф полиции где? Дрыхнет, толстая задница?

— Был у нас в переулке один фонарь. Повалили.

— Ковалевский! В двенадцатую комнату, быстро!

— Однако согласитесь, что в одних подштанниках...

— Кто умеет водить машину? Шофера! Все на площадь! К рекламной тумбе!

— Да где же, черт побери, шеф полиции? Сбежал, что ли, подлец?

— Значит, так. Бери ребят — и в литейные мастерские. Там возьмешь эти... ну, штыри такие, для парковой ограды... Все бери, все! И сразу сюда...

— Как я гвозданул по этой волосатой морде, даже руку отшиб, ей-богу...

— А духовые ружья годятся?

— В семьдесят второй квартал — три машины! В семьдесят третий квартал — пять машин....

— Извольте распорядиться, чтобы им выдали обмундирование второго срока. Только под расписку, чтобы потом вернули!

— Слушайте, у них хвосты есть? Или мне показалось?

Андрея толкали, тискали, прижимали к стенам коридора, оттоптали все ноги, и он сам толкался, протискивался, отпихивал. Сначала он искал Дональда, чтобы в качестве свидетеля защиты присутствовать при покаянии и сдаче оружия, потом до него дошло, что нашествие павианов — дело, видимо, очень серьезное, раз поднялась такая кутерьма, и он немедленно пожалел, что грузовики водить не умеет, где находятся литейные мастерские с таинственными штырями — не знает, обеспечить кого-нибудь обмундированием второго срока — не может, и получается, что он тут как бы никому и не нужен. Он попытался, по крайней мере, сообщить о том, что видел своими глазами, может быть, эти сведения окажутся полезными, но одни его не слушали вовсе, а другие, стоило ему начать, перебивали и принимались рассказывать сами.

С горечью он убедился, что знакомых лиц в этом круговороте мундиров и подштанников не было, мелькнул только черный Сильва с головой, обмотанной кровавой тряпкой, да тут же и исчез,— а между тем что-то явно предпринималось, кто-то кого-то организовывал и куда-то посылал, голоса становились все громче, все увереннее, подштанники стали понемногу исчезать, а мундиров стало, наоборот, заметно больше, на какое-то мгновение Андрею даже почудился мерный грохот сапог и строевая песня, но оказалось, что это просто уронили переносимый сейф, и он скатился, грохоча, по ступенькам и застрял в дверях продовольственного отдела...

Тут Андрей увидел знакомое лицо — чиновника, бывшего сослуживца по бухгалтерии Палаты Мер и Весов. Андрей, распихивая встречных, догнал его, прижал к стене и единым духом выложил, что вот он, Андрей Воронин,— помните, мы вместе работали? — ныне грузчик-ассенизатор, никого найти не могу, направьте меня куда-нибудь в дело, ведь наверняка же нужны люди... Чиновник некоторое время слушал, очумело моргая и делая слабые конвульсивные попытки вырваться, а потом вдруг оттолкнул Андрея, заорал: «Куда я вас направлю? Вы что, не видите — я бумаги несу на подпись!» и почти убежал по коридору.

Андрей сделал еще несколько попыток принять участие в организованных действиях, но все от него отказывались и отмахивались, все страшно спешили, не было буквально ни одного человека, который просто спокойно стоял бы на месте и, скажем, составлял бы списки добровольцев. Тогда Андрей ожесточился и принялся распахи-

вать все двери подряд, надеясь найти хоть какое-нибудь ответственное лицо, которое не бегает, не кричит и не размахивает руками,— из самых общих соображений было ясно, что должен же где-то здесь быть некий штаб, откуда и направляется вся эта кипучая деятельность.

Первая комната оказалась пуста. Во второй — один человек в подштанниках громко кричал в телефонную трубку, а второй, чертыхаясь, натягивал на себя узкий канцелярский халат. Из-под халата выглядывали полицейские бриджи и чиненные-перечиненные полицейские же штиблеты без шнурков. Заглянув в третий кабинет, Андрей получил по глазам чем-то розовым с пуговицами и тотчас же отпрянул, успев заметить только весьма дородные и явно женские телеса. Зато в четвертой комнате оказался Наставник.

Он сидел на подоконнике с ногами, обхватив руками колени, и смотрел в черноту за стеклом, озаряемую летящим светом фар. Когда Андрей вошел, он повернул к нему доброе румяное лицо, как всегда немного вздернул брови и улыбнулся. И увидев эту улыбку, Андрей сразу успокоился. Злость его и ожесточение прошли, и стало ясно, что в конце концов все обязательно образуется, станет на свои места и вообще окончится благополучно.

— Вот,— сказал он, разводя руки и улыбаясь в ответ.— Оказался никому не нужен. Машину водить не умею, где находится гимназиум — не знаю... Суматоха, ничего не понять...

— Да,— сочувственно согласился Наставник.— Ужасная суматоха.— Он спустил ноги с подоконника, засунул под себя ладони и поболтал ногами, как ребенок.— Даже неприлично. Стыдно даже. Серьезные взрослые люди, в большинстве своем опытные... Значит, не хватает организованности! Правильно, Андрей? Значит, какие-то важные вопросы пущены на самотек. Неподготовленность... Недостаток дисциплины... Ну и бюрократизм, конечно.

— Да! — сказал Андрей.— Конечно! Я, знаете, что решил? Не буду я больше никого искать, и не буду я ничего выяснять, а возьму какую-нибудь палку и пойду. Присоединюсь к какому-нибудь отряду. А если не примут — сам. Там ведь женщины остались... и дети...

На каждое его слово Наставник коротко кивал, он больше не улыбался, лицо у него теперь было серьезное и сочувственное.

— Вот только одно...— сказал Андрей, сморщившись.— Как с Дональдом?

— С Дональдом? — переспросил Наставник, приподнимая брови.— Ах, с Дональдом Купером? — Он засмеялся.— Вы, конечно, решили, что Дональд Купер уже арестован и покаялся в своих преступлениях... Ничего подобного. Дональд Купер как раз сейчас организует отряд добровольцев для отражения этого бесстыдного нашествия, и, конечно, никакой он не гангстер, и никаких преступлений не совершал, а пистолет выменял на черном рынке за старинные часы с репетиром. Что делать? Он всю жизнь проходил с оружием в кармане — привык!

— Ну конечно! — сказал Андрей, чувствуя огромное облегчение.— Ясно же! Я ведь и сам не верил, просто я считал, что... Ладно! — Он повернулся, чтобы идти, но остановился.— Скажите... если не секрет, конечно... Скажите, зачем все это? Обезьяны! Откуда они? Что они должны доказать?

Наставник вздохнул и слез с подоконника.

— Вы опять задаете мне вопросы, Андрей, на которые...

— Нет! Я все понимаю! — проникновенно сказал Андрей, прижимая руки к груди.— Я только...

— Подождите. Вы опять задаете мне вопросы, на которые я просто не умею ответить. Поймите вы это, наконец: *не умею*. Эрозия построек, помните? Превращение воды в желчь... Впрочем, это было еще до вас... Теперь вот — павианы. Помните, вы все у меня допытывались, как это так: люди разных национальностей, а говорят все на одном языке и даже не подозревают этого. Помните, как это вас поражало, как вы недоумевали, пугались даже, как доказывали Кэнси, что он говорит по-русски, а Кэнси доказывал вам, что это вы сами говорите по-японски, помните? А теперь вот вы привыкли, теперь эти вопросы вам и в голову не приходят. Одно из условий Эксперимента. Эксперимент есть Эксперимент, что здесь еще можно сказать? — Он улыбнулся.— Ну, идите, идите, Андрей. Ваше место — там. Действие прежде всего. Каждый на своем месте, и каждый — все, что может!

И Андрей вышел, и даже не вышел, а выскочил в коридор, теперь уже совсем опустевший, и скатился по парадной лестнице на площадь, и сразу же увидел деловитую, несуетливую толпу вокруг грузовика под фонарем и не колеблясь вмешался в эту толпу, протолкался вперед, ему сунули в руки тяжелое металлическое копье, и он почувствовал себя вооруженным, сильным и готовым к решительному бою.

Неподалеку кто-то — очень знакомый голос! — зычно командовал строиться в колонну по три, и Андрей, держа копье на плече, побежал туда и нашел себе место между грузным латиноамериканцем в подтяжках поверх ночной сорочки и тощим белобрысым интеллигентом, который страшно нервничал — то и дело снимал свои очки, дышал на стекла, протирал носовым платочком и снова водружал на нос, поправляя двумя пальцами.

Отряд был невелик, всего человек тридцать. А командовал, оказывается, Фриц Гейгер, что было, с одной стороны, достаточно обидно, но, с другой стороны, нельзя было не признать, что в данной ситуации Фриц Гейгер, хотя и являлся бывшим фашистским недобитком, но оказался как-никак на своем, так сказать, месте.

Как и полагается бывшему унтер-офицеру вермахта, в выражениях он не стеснялся и слушать его было довольно противно. «Падр-равняйсь! — орал он на всю площадь, словно командовал полком на строевых учениях.— Эй, вы, там, в шлепанцах! Да, вы! Подберите брюхо!.. А вы что там раскорячились, как корова после случки? Вас не касается? Пики — к ноге!.. Не на плечо, а к ноге, я сказал,— вы, баба в подтяжках! Смир-р-рна! За мной, шагом... Ат-ставить! Шагом... арш!» Кое-как двинулись. Андрею сразу же наступили сзади на ногу, он споткнулся, толкнул плечом интеллигента, и тот, конечно, выронил в очередной раз протираемые очки. «Кар-р-рова!» — сказал ему Андрей, не сдержавшись. «Осторожнее! — завопил интеллигент высоким голосом.— Ради бога!..» Андрей помог ему найти очки, а когда Фриц налетел на них, захлебываясь от ярости, Андрей послал его к чертовой матери.

Вдвоем с интеллигентом, не перестававшим благодарить и спотыкаться, они догнали колонну, прошли еще метров двадцать и получили приказ «по машинам». Машина, впрочем, была всего одна — мощный спецгрузовик для перевозки цементного раствора. Когда погрузились, выяснилось, что под ногами чавкает и хлюпает. Человек в шлепанцах грузно перелез обратно через борт и объявил высоким голосом, что на *этой* машине лично он никуда не поедет. Фриц приказал ему вернуться в кузов. Человек еще более высоким голосом возразил, что он в шлепанцах и у него промокли ноги. Фриц помянул супоросую свинью. Человек в промокших шлепанцах, нисколько не испугавшись, возразил, что *он*-то как раз не свинья, что свинья, возможно, и согласилась бы ехать в этой грязи,— он приносит глубокие извинения всем, согласившимся ехать в этом свинарнике, но... Тут из кузова вылез вдруг латиноамериканец, презрительно сплюнул Фрицу под ноги и, сунув большие пальцы под подтяжки, неторопливо зашагал прочь.

Наблюдая все это, Андрей испытывал определенное злорадство. Не то, чтобы он одобрял поведение человека в шлепанцах и тем более поступок мексиканца,— несомненно, оба они поступили не по-товарищески и вообще вели себя как обыватели,— но было крайне любопытно посмотреть, что теперь будет делать наш битый унтер и как он выберется из создавшейся ситуации.

Андрей был вынужден признать, что битый унтер выбрался из ситуации с честью. Не говоря ни слова, Фриц повернулся на каблуке, вскочил на подножку рядом с шофером и скомандовал: «Поехали!» Грузовик тронулся, и в ту же минуту включили солнце.

С трудом удерживаясь на ногах, поминутно хватаясь за соседей, Андрей, вывернув шею, наблюдал, как на своем обычном месте медленно разгорается малиновый диск. Сначала диск дрожал, словно пульсируя, становясь все ярче и ярче, наливался оранжевым, желтым, белым, потом он на мгновение погас и сейчас вспыхнул во всю силу так, что смотреть на него стало невозможно.

Начался новый день. Непроглядно черное беззвездное небо сделалось мутно-голубым, знойным, пахнуло жарким, как из пустыни, ветром, и город возник вокруг как бы из ничего,— яркий, пестрый, исполосованный синеватыми тенями, огромный, широкий... Этажи громоздились над этажами, здания громоздились над зданиями, и ни одно здание не было похоже на другое, и стала видна раскаленная желтая Стена, уходящая в небо справа, а слева, в просветах над крышами, возникла голубая пустота, как будто там было море, и сразу же захотелось пить. Многие по привычке сейчас же посмотрели на часы. Было ровно восемь.

Ехали недолго. Видимо, обезьяньи полчища еще не добрались сюда — улицы были тихи и пустынны, как всегда в этот ранний час. Кое-где в домах распахивались окна, заспанные люди сонно потягивались, равнодушно поглядывая на грузовик. Женщины в чепчиках вывешивали на подоконники матрасы, на одном из балконов усердно занимался зарядкой жилистый старик с развевающейся бородой и в полосатых трусах. Сюда паника еще не докатилась, но ближе к Шестнадцатому кварталу стали попадаться первые беженцы, встрепанные, не столько испуганные, сколько злые, некоторые с узлами за спиной. Эти люди, увидев грузовик, останавливались, махали руками, кричали что-то. Грузовик с ревом повернул на Четвертую левую, чуть не сбив престарелую пару, катившую перед собой двухколесную тележку с чемоданами, и остановился. Все сразу увидели павианов.

Павианы держались на Четвертой левой как у себя дома,— в джунглях или где они там живут. Загнув крючками хвосты, они ленивыми толпами бродили с тротуара на тротуар, весело прыгали по карнизам, раскачивались на фонарях, сосредоточенно

искались, забравшись на рекламные тумбы, зычно перекликались, гримасничали, дрались и непринужденно занимались любовью. Шайка серебристых громил разносила продуктовый ларек, двое хвостатых хулиганов приставали к побелевшей от ужаса женщине, обмершей в подъезде, а какая-то мохнатая красотка, расположившись в будке регулировщика, кокетливо показывала Андрею язык. Теплый ветер нес вдоль улицы клубы пыли, перья из перин, листки бумаги, клочья шерсти и уже устоявшиеся запахи зверинца.

Андрей растерянно посмотрел на Фрица. Гейгер, сощурившись, с видом завзятого полководца озирал поле предстоящих действий. Шофер выключил двигатель, и наступившая тишина наполнилась дикими, совершенно не городскими звуками — ревом и мявом, низким бархатным курлыканьем, рыганьем, чавканьем, хрюканьем... Тут осажденная женщина вдруг завизжала изо всех сил, и Фриц приступил к делу.

— Выходи! — скомандовал он.— Живо, живо! Развернуться в цепь... В цепь, я сказал, а не в кучу! Вперед! Бейте их, гоните! Чтоб ни одной твари здесь не осталось! Бить по головам и по хребту! Не колоть, а бить! Вперед, живо! Не останавливаться, эй, вы, там!..

Андрей выскочил одним из первых. В цепь он разворачиваться не стал, а перехватив свою железную дрыну поудобнее, устремился прямо на помощь женщине. Хвостатые хулиганы, завидев его, залились дьявольским хохотом и вприпрыжку умчались вверх по улице, издевательски виляя омерзительными ягодицами. Женщина продолжала визжать, изо всех сил зажмурившись и сжав кулаки, но теперь ей ничего больше не грозило, и Андрей, оставив ее, направился к бандитам, которые грабили ларек.

Это были могучие, видавшие виды экземпляры, особенно один, с угольно-черным хвостом, который сидел на бочке, запускал в нее по плечо длиннющую мохнатую лапу, извлекал соленые огурцы и смачно хрупал ими, время от времени поплевывая на своих дружков, азартно отдиравших фанерную стену ларька. Заметив приближающегося Андрея, чернохвостый перестал жевать и плотоядно ухмыльнулся. Андрею эта ухмылка крайне не понравилась, но отступать было невозможно. Он взмахнул железным шестом, заорал: «Пшел!» и бросился вперед.

Чернохвостый оскалился еще пуще — клыки у него были, как у кашалота,— лениво соскочил с бочки, отошел на несколько шагов в сторону и принялся выкусывать под мышкой. «Пшел, зараза!» — заорал Андрей еще громче и с размаху ударил железом по бочке. Тогда чернохвостый метнулся в сторону и одним прыжком оказался на карнизе второго этажа. Ободренный трусостью противника Андрей подскочил к ларьку и грохнул своим ломом по стенке. Стенка дала трещину, приятели чернохвостого прыснули в разные стороны. Поле боя очистилось, Андрей огляделся.

Боевые порядки Фрица распались. Бойцы растерянно бродили по опустевшей улице, заглядывали в подворотни, останавливались и, задрав головы, смотрели на павианов, усеявших карнизы домов. Вдалеке, вращая над головой палкой, пылил по мостовой давешний интеллигент, преследуя какую-то хромую обезьяну, неторопливо трусившую в двух шагах перед ним. Воевать было не с кем, даже Фриц растерялся. Он стоял возле грузовика, хмурился и кусал палец.

Притихшие было павианы, ощутив себя в безопасности, снова принялись обмениваться репликами, чесаться и заниматься любовью. Наиболее наглые спускались пониже и гримасничали с явной руганью. Андрей снова увидел чернохвостого: тот был уже на другой стороне улицы, сидел на фонаре и заливался смехом. К фонарю с угрожающим видом направился маленький чернявый человек, похожий на грека. Он размахнулся и изо всей силы запустил железным штырем в чернохвостого. Раздался звон и дребезг, посыпалось стекло, чернохвостый от неожиданности подскочил на метр, чуть не сорвался, но ловко ухватился хвостом, принял прежнюю позу и вдруг, выгнув спину, обдал грека струей жидкого кала. У Андрея подступило к горлу, и он отвернулся. Поражение было полным, придумать что бы то ни было не представлялось возможным. Тогда Андрей подошел к Фрицу и спросил негромко:

— Ну, что будем делать?

— Хрен его знает,— злобно сказал Фриц.— Огнемет бы сюда...

— Может, кирпичей привезти? — спросил, подойдя, прыщавый парень в комбинезоне.— Я с кирпичного. Машина есть, в полчаса обернемся...

— Нет,— авторитетно сказал Фриц.— Кирпичи не годятся. Все стекла перебьем, а потом они же нас этими же кирпичами... Нет. Тут надо бы какую-нибудь пиротехнику... Ракеты, петарды... Эх, фосгену бы десяток баллонов!

— Откуда в городе петарды? — произнес презрительный бас.— А что касается фосгена, то, по-моему, уж лучше павианы...

Вокруг начальства начала собираться толпа. Один чернявый грек остался в стороне — изрыгая нечеловеческие проклятья, он отмывался у водоразборной колонки.

Краем глаза Андрей наблюдал, как чернохвостый и его приятели бочком-бочком снова подбираются к ларьку. Тут и там в окнах домов стали появляться бледные от пережитых страхов и красные от раздражения лица аборигенов, в основном женские.

«Ну, чего вы там стали? — сердито кричали из окон.— Прогоните же их, вы, мужчины!.. Смотрите, ларек грабят!.. Мужчины, чего же вы стоите? Эй, ты, белобрысый! Командуй, что ли?.. Что вы стоите, как столбы?.. Господи, у меня дети плачут! Сделайте же так, чтобы мы могли выйти!.. Мужчины, называется! Обезьян испугались!..» Мужчины угрюмо и пристыженно огрызались. Настроение было подавленное.

— Пожарников! Пожарников надо вызывать! — твердил презрительный бас.— С лестницами, с брандспойтами...

— Да бросьте вы, откуда у нас столько пожарников...

— Пожарники — на Главной.

— Может, факелы какие-нибудь запалить? Может, они огня испугаются!

— Черт! Какого дьявола у полицейских отобрали оружие? Пусть раздадут!

— А не двинуть ли нам, ребята, по домам? Я как подумаю, что у меня жена там сейчас одна...

— Это вы бросьте. У всех жены. Эти женщины — тоже чьи-то жены.

— Так-то оно так...

— Может, на крыши взобраться? С крыш их чем-нибудь... того...

— Чем ты их достанешь, балда? Палкой своей, что ли?

— У, гады! — заревел вдруг с ненавистью презрительный бас, разбежался и с натугой метнул свой лом в многострадальный ларек. Фанерную стенку пробило насквозь, шайка чернохвостого глянула с удивлением, помедлила и снова принялась за огурцы и картошку. Женщины в окнах издевательски захохотали.

— Ну, что ж,— сказал кто-то рассудительно.— Во всяком случае, мы своим присутствием задерживаем их здесь, стесняем их действия. И то хорошо. Пока мы здесь, они побоятся продвинуться дальше в глубину...

Все принялись озираться и загомонили. Рассудительного быстро заставили замолчать. Во-первых, выяснилось, что павианы продвигаются-таки в глубину, невзирая на присутствие здесь рассудительного. А во-вторых, если бы даже они и не продвигались, то что же он, рассудительный,— собрался ночевать здесь? Жить здесь? Спать здесь? Какать и писать здесь?..

Тут послышалось неторопливое цоканье копыт, тележный скрип, все посмотрели вверх по улице и замолчали. По мостовой неторопливо приближалась пароконная телега. На телеге боком, свесив ноги в грубых кирзовых сапогах, дремал крупный мужчина в выгоревшей гимнастерке русского военного образца и в выгоревших же бриджах хэ-бэ. Склоненная голова мужчины была сплошь покрыта спутанным русым волосом, в огромных коричневых руках он вяло держал вожжи. Лошади — одна гнедая, другая серая в яблоках — переступали лениво и тоже, кажется, дремали на ходу.

— На рынок едет,— сказал кто-то почтительно.— Фермер.

— Да, ребята, фермерам горюшка мало — когда еще до них эта сволочь доберется...

— Между прочим, как представлю я себе павианов на посевах!..

Андрей с любопытством приглядывался. Фермера он видел впервые за все время своего пребывания в городе, хотя слыхал об этих людях немало — были они якобы угрюмы и диковаты, жили далеко на севере, вели там суровую борьбу с болотами и джунглями, в город наезжали только для сбыта продуктов своего хозяйства и, в отличие от горожан, никогда не меняли профессии.

Телега медленно приближалась, возница, вздрагивая опущенной головой, время от времени, не просыпаясь, чмокал губами, несильно дергая вожжи, и вдруг обезьяны, настроенные до того довольно миролюбиво, пришли в необычайное злобное возбуждение. То ли их раздражали лошади, то ли им надоело, наконец, присутствие посторонних толп на их улице, но они вдруг загомонили, заметались, засаеркали клыками, а несколько самых решительных вскарабкались по водостокам на крышу и принялись ломать там черепицу.

Один из первых обломков угодил вознице прямо между лопаток. Фермер вздрогнул, выпрямился и широко раскрытыми налитыми глазами обвел окрестности. Первым, кого он заметил, был все тот же очкастый интеллигент, который устало возвращался из своей безрезультатной погони и одиноко маячил позади телеги. Не говоря ни слова, фермер бросил вожжи (лошади сразу остановились), соскочил с телеги и, разворачиваясь на ходу, ринулся было к обидчику, но тут другой кусок черепицы угодил интеллигенту точно по темечку. Интеллигент охнул, выронил шест и присел на корточки, обхватив руками голову. Фермер озадаченно остановился. Вокруг него на мостовую с треском падали куски черепицы, разлетаясь в оранжевую крошку.

— Отряд, в укрытие! — браво скомандовал Фриц и устремился в ближайшую подворотню. Все кинулись кто куда, врассыпную, Андрей прижался к стене в мертвой зоне и с интересом следил за фермером, который в полном обалдении озирался по сторонам и, по-видимому, ничегошеньки не соображал. Затуманенный взор его скользил по карнизам и водосточным трубам, облепленным беснующимися павианами, он зажмурился и затряс головой, а потом снова широко раскрыл глаза и громко произнес:

— Ядрит твою налево!

— В укрытие! — кричали ему со всех сторон.— Эй, борода! Сюда давай! По кумполу же получишь, обалдуй болотный!..

— Что же это такое? — громко вопросил фермер, обращаясь к интеллигенту, ползающему на карачках в поисках очков.— Это кто же такие здесь, вы не скажете?

— Обезьяны, разумеется,— сердито ответствовал интеллигент.— Неужели вы сами не видите, сударь?

— Ну и порядочки тут у вас,— ошеломленно произнес фермер, только теперь окончательно проснувшись.— И вечно вы тут что-нибудь выдумаете...

Этот сын болот был настроен теперь философски и добродушно. Он убедился, что нанесенная ему обида не может, собственно, считаться таковой, и теперь был просто несколько ошарашен зрелищем мохнатых орд, прыгающих по карнизам и фонарям. Он только укоризненно покачивал головой и скреб в бороде. Но тут интеллигент нашел, наконец, свои очки, подобрал шест и опрометью кинулся в укрытие, так что фермер остался посреди мостовой один-одинешенек — единственная и достаточно соблазнительная мишень для волосатых снайперов. Крайняя невыгодность такой позиции не замедлила себя обнаружить. Дюжина крупных осколков с треском лопнула у его ног, а обломки помельче забарабанили по патлатой голове и по плечам.

— Да что ж это такое! — взревел фермер. Новый осколок стукнул его в лоб. Фермер замолчал и стремглав бросился к своей телеге.

Это было как раз напротив Андрея, и Андрей подумал сначала, что фермер унадет сейчас боком на телегу, махнет по всем по двум и умчится к себе на болота, подальше от этого опасного места. Но бородач и не думал махать по всем по двум. Бормоча: «З-заразы, пр-роститутки...», он с лихорадочной поспешностью и очень ловко расшнуривал свой воз. Андрею за его широкой спиной не было видно, что он там делает, но женщины в доме напротив все видели — они вдруг разом завизжали, захлопнули окна и скрылись. Андрей глазом моргнуть не успел. Бородач легко присел на корточки, и над его головой поднялся к крышам толстый, масляно отсвечивающий ствол в дырчатом металлическом кожухе.

— А-атставить! — заорал Фриц, и Андрей увидел, как он громадными прыжками несется откуда-то справа прямиком к телеге.

— Ну, гады, ну, заразы...— бормотал бородач, совершая какие-то замысловатые и очень сноровистые движения руками, сопровождавшиеся скользящими металлическими щелчками и позвякиваниями. Андрей весь напрягся в предчувствии грохота и огня, и обезьяны на крыше, видимо, тоже что-то почуяли. Они перестали швыряться, присели на хвосты и, беспокойно вертя собачьими головами, принялись трескуче обмениваться какими-то своими соображениями.

Но Фриц был уже рядом с телегой. Он схватил бородача за плечо и повелительно повторил:

— Отставить!

— Подожди! — досадливо бормотал бородач, дергая плечом.— Да подожди, дай я их срежу, сволочь хвостатую...

— Я приказал отставить! — гаркнул Фриц.

Тогда бородач поднял на него лицо и медленно поднялся сам.

— Чего такое? — спросил он, с неимоверным презрением растягивая слова. Ростом он был с Фрица, но заметно шире его в плечах, и пониже спины.

— Откуда у вас оружие? — резко спросил Фриц.— Предъявите документы!

— Ах ты, сопляк! — с грозным удивлением сказал бородатый.— Документы ему! А вот этого не хочешь, вошь белобрысая?

Фриц не обратил внимания на неприличный жест. Продолжая глядеть бородачу прямо в глаза, он гаркнул на всю улицу:

— Румер! Воронин! Фрижа! Ко мне!

Услыхав свою фамилию, Андрей удивился, но тут же оттолкнулся от стены и неторопливо подошел к телеге. С другой стороны мелкой трусцой приближался приземистый вислоплечий Румер, в прошлом — профессиональный боксер, и бежал со всех ног дружок Фрица, маленький, тощий Отто Фрижа, золотушный юноша с сильно оттопыренными ушами.

— Давайте, давайте...— недобро усмехаясь, приговаривал фермер, наблюдая все эти военные приготовления.

— Я еще раз настоятельно прошу вас предъявить документы,— с ледяной вежливостью повторил Фриц.

— А шел бы ты в ж...— лениво ответствовал бородач. Смотрел он теперь главным образом на Румера, а руку как бы невзначай положил на кнутовище весьма внушительного кнута, искусно сплетенного из сыромятной кожи.

— Ребята, ребята! — предостерегающе сказал Андрей.— Слушай, солдат, брось, не спорь, мы из мэрии...

— Трах-тарарах и вашу мэрию,— ответствовал солдат, взглядом измеряя Румера с головы до пят.

— Ну, в чем тут дело? — осведомился тот негромко и очень хрипло.

— Вы отлично знаете,— сказал Фриц бородачу,— что оружие в черте города запрещено. Тем более — пулемет. Если у вас есть разрешение, прошу предъявить.

— А кто вы такие — разрешение у меня спрашивать? Что вы мне — полиция? Гестапо какое-нибудь?

— Мы — добровольный отряд самообороны.

Бородач ухмыльнулся.

— Ну и обороняйтесь, если вы из обороны, кто вам мешает?

Назревало нормальное, основательное, вдумчивое толковище. Отряд постепенно собирался вокруг телеги. Даже аборигены мужского пола вылезли из подъездов — кто с каминными щипцами, кто с кочергой, а кто и с ножкой от стула. С любопытством разглядывали бородача, зловещий пулемет, стоявший на брезенте торчком, что-то округлое и стеклянное, поблескивающее из-под брезента. Принюхивались — фермер был окружен своеобразной атмосферой запахов: пот, чесночная колбаска, спиртное...

Андрей же с каким-то умилением, удивлявшим его самого, разглядывал выцветшую, пропотевшую под мышками гимнастерочку с одинокой (и то незастегнутой) бронзовой пуговичкой на вороте, знакомо сдвинутую на правую бровь пилотку со следом пятиконечной звезды, могучие кирзовые сапоги-говнодавы — только бородища, пожалуй, казалась здесь неуместной, не вписывалась в образ... И тут ему пришло в голову, что у Фрица все это должно было вызывать совсем иные ассоциации и ощущения. Он посмотрел на Фрица. Тот стоял прямой, сжав губы в тонкую линию, собравши нос в презрительные морщины, и старался заледенить бородача взглядом серо-стальных, истинно арийских глаз.

— Нам разрешения не полагаются,— лениво говорил между тем бородач, поигрывая кнутом.— Нам вообще ни хрена не полагается, только кормить вас, дармоедов, нам полагается...

— Ну, хорошо,— гундел в задних рядах бас.— А пулемет-то откуда?

— А что — пулемет? Смычка, значит, города и деревни. Я тебе — четверть первача, ты мне — пулемет, все честно-благородно...

— Ну, нет,— гундел бас.— Пулемет все-таки — это вам не игрушка, не молотилка какая-нибудь там...

— А мне вот кажетси,— вмешался рассудительный,— что фермерам как раз оружие разрешено!

— Оружие никому не разрешено! — пискнул Фрижа и сильно покраснел.

— Ну и глупо! — откликнулся рассудительный.

— Ясное дело, что глупо,— сказал бородач.— Посидел бы ты у нас на болотах, да ночью, да еще когда гон идет...

— У кого гон? — с живейшим интересом осведомился интеллигент, протискавшийся со своими очками в первый ряд.

— У кого надо, у того и гон,— ответил ему фермер пренебрежительно.

— Нет-нет, позвольте...— заторопился интеллигент.— Ведь и биолог, и мне до сих пор не удается...

— Помолчите,— сказал ему Фриц.— А вам,— продолжал он, обращаясь к бородачу,— я предлагаю следовать за мной. Во избежание напрасного кровопролития предлагаю.

Взгляды их скрестились. И ведь надо же, почуял как-то прекрасный бородач, по каким-то одному ему заметным черточкам понял, с кем приходится иметь дело. Борода его раскололась ехидной ухмылкой, и он произнес противным, оскорбительно-тоненьким голосом:

— Млеко-яйки? Гитлер капут!

Ни черта не боялся он кровопролития — ни напрасного, ни какого.

Фрица словно ударили в подбородок. Он откинул голову, бледное лицо сделалось пунцовым, на скулах выступили желваки. На мгновение Андрею показалось, что он сейчас бросится на бородача, и Андрей даже подался вперед, чтобы встать между ними, но Фриц сдержался. Кровь снова отлила от его лица, и он сухо объявил:

— Это к делу не относится. Извольте следовать за мной.

— Да отстаньте вы от него, Гейгер! — сказал бас.— Ясно же, что это фермер. Виданное ли это дело — к фермерам приставать!

И все вокруг закивали и забормотали, что да, явный фермер, уедет и пулемет с собою заберет, не гангстер же он какой-нибудь, на самом-то деле.

— Нам павианов отражать надо, а мы тут в полицию играем,— добавил рассудительный.

Напряжение сразу вдруг разрядилось. Все вспомнили о павианах. Оказывается, павианы вновь разгуливали, где хотели, и держались, как у себя в джунглях. Выяснилось также, что местному населению, по-видимому, надоело ждать решительных действий отряда самообороны. Население, по-видимому, решило, что толку от этого отряда не будет и надо как-то устраиваться самим. И уже женщины с кошелками,

деловито поджав губы, спешили по своим утренним делам, причем многие держали в руках веники и палки от швабр, чтобы отмахиваться от самых настырных обезьян. С витрины магазина снимали ставни, а ларечник ходил вокруг своего разгромленного ларька, кряхтел, почесывал спину и явно что-то такое прикидывал. На автобусной остановке выросла очередь, а вот и первый автобус появился вдали. Нарушая постановление городского управления, он громко сигналил, разгоняя павианов, не знакомых с правилами уличного движения.

— Да, господа мои,— сказал кто-то.— Видимо, придется нам и к этому приспособиться. По домам, что ли, командир?

Фриц угрюмо исподлобья оглядывал улицу.

— Ну, что ж...— произнес он обыкновенным человеческим голосом.— По домам, так по домам.

Он повернулся и, сунув руки в карманы, первым направился к грузовику. Отряд потянулся за ним. Чиркали спички и зажигалки, кто-то обеспокоенно спрашивал, как же быть с опозданием на службу, хорошо бы справку какую-нибудь получить... Рассудительный и тут нашелся: сегодня все на службу опоздают, какие там еще справки. Толковище вокруг телеги рассосалось. Остались только Андрей да очкастый биолог, который твердо положил себе выяснить, у кого же все-таки на болотах бывает гон.

Бородач, разбирая и вновь упаковывая пулемет, снисходительно пояснял, что гон на болотах бывает, брат, у краснух, а краснухи, брат, это вроде крокодилов. Видал крокодилов? Ну вот, только шерстью обросшие. Красной такой шерстью, жесткой. И когда у них гон идет, тут уж, браток, держись подальше. Во-первых, они здоровые, что твои быки, а во-вторых, ничего во время этого дела не замечают — дом не дом, сарай не сарай, все разносят в щепки...

Глаза у интеллигента горели, он жадно слушал, поминутно поправляя очки растопыренными пальцами. Фриц позвал из грузовика: «Эй, вы едете или нет? Андрей!» Интеллигент оглянулся на грузовик, посмотрел на часы, жалобно застонал и принялся бормотать извинения и благодарности. Потом он схватил бородача за руку, изо всех сил потряс и убежал. А Андрей остался.

Он и сам не знал, почему остается. У него случилось что-то вроде приступа ностальгии. И не то, чтобы он соскучился по русской речи — ведь все кругом говорили по-русски; и не то, чтобы этот бородач казался ему воплощением родины, вовсе нет. Но было в нем что-то такое, по чему Андрей основательно истосковался, что-то такое, чего он не мог получить ни от строгого язвительного Дональда, ни от веселого, горячего, но все-таки какого-то чужого Кэнси, ни от Вана, всегда доброго, всегда благожелательного, но очень уж забитого. Ни, тем более, от Фрица, мужика замечательного по-своему, но как-никак вчерашнего смертельного врага... Андрей и не подозревал, что так истосковался по этому загадочному «чему-то».

Бородач искоса взглянул на него и спросил:

— Земляк, что ли?

— Ленинградец,— сказал Андрей, ощущая неловкость, и, чтобы затушевать эту неловкость, достал сигареты и предложил бородачу.

— Вон как...— сказал тот, вытаскивая сигарету из пачки.— Земляки, выходит. А я, браток, вологодский. Череповец — слыхал? Охцы-мохцы Череповцы...

— А как же! — страшно обрадовался Андрей.— Там же сейчас металлургический комбинат отгрохали, огромнейший заводище!

— Ой ты? — сказал бородач довольно равнодушно.— И его, значит, тоже в оборот взяли... Ну ладно. А ты что здесь делаешь? Как зовут-то?

Андрей назвался.

— А я, видишь ты, крестьянствую. Фермер, по-здешнему. Юрий Константинович Давыдов. Выпить хочешь?

Андрей замялся.

— Рановато как будто...— сказал он.

— Ну, может, и рановато,— согласился Юрий Константинович.— Мне ведь еще на рынок надо. Я, понимаешь, вчера вечером приехал и — прямо в мастерские, мне там давно пулемет обещали. Ну, то-се, опробовали машинку, сгрузил я им, значит, окорока, четверть самогону, гляжу — солнце выключили...— рассказывая все это, Давыдов кончил упаковывать свой воз, разобрал вожжи, сел боком в телегу и тронул лошадей. Андрей пошел рядом.

— Да,— продолжал Юрий Константинович.— Выключили тут, значит, солнце. А он мне и говорит: «Пойдем, говорит, я тут одно место знаю». Поехали мы туда, выпили, закусили. С водкой сам знаешь в городе как, а у меня самогон. Они, видишь ты, музычку ставят, а я выпивку. Ну, бабы, конечно...— Давыдов пошевелил бородой от воспоминаний, затем продолжал, понизив голос: — У нас, браток, на болотах с бабами очень туго. Есть, понимаешь, одна вдова, ну, ходим к ней... у ней муж в запрошлом году утонул... Ну и знаешь же, как получается,— сходить-то сходишь, деваться некуда, а потом — то ты ей молотилку почини, то с урожаем подсоби, то культиватор... А, з-зараза! — Он вытянул кнутом павиана, увязавшегося за телегой.— В общем, житуха у нас там, браток, приближенная к боевым условиям. Без оружия никак нельзя. А кто этот тут у вас, белобрысый? Немец?

— Немец,— сказал Андрей.— Бывший унтер-офицер, под Кенигсбергом попал в плен, а из плена — сюда...

— То-то я смотрю — морда противная,— сказал Давыдов.— Они, глистоперы, меня до самой Москвы гнали, в госпиталь загнали, ползадницы начисто снесли. Ну, а потом я им тоже дал. Танкист я, понял? В последний раз уже под Прагой горел...— Он опять покрутил бородой.— Ну ты скажи, какая судьба! Надо же, где встретились!

— Да нет, он мужик ничего, деловой,— сказал Андрей.— И смелый. Выпендриваться, правда, любит, но работник хороший, энергичный. Для Эксперимента он, по-моему, очень полезный человек. Организатор.

Давыдов некоторое время молчал, почмокивая на лошадей.

— Приезжает это к нам на болота один на прошлой неделе,— заговорил он наконец.— Ну, собрались мы у Ковальского — это тоже фермер, поляк, километрах в десяти от меня, дом у него хороший, большой. Да-а... Собрались, значит. Ну, и этот начинает нам баки вертеть: есть ли у нас правильное понимание задач Эксперимента. А сам он из мэрии, из сельхозотдела. Ну, и мы видим, конечно, что ведет он к тому, что ежели, скажем, есть у нас правильное понимание, то хорошо бы, значит, налог повысить... А ты женатый? — спросил он вдруг.

— Нет,— сказал Андрей.

— Я это к тому, что переночевать бы мне сегодня где-нибудь. У меня еще завтра утром здесь одно дело назначено.

— Ну, конечно! — сказал Андрей.— Какой может быть разговор? Приезжайте, ночуйте, места у меня сколько угодно, буду только рад...

— Ну, и я буду рад,— сказал Давыдов, улыбаясь.— Как-никак, а земляки все-таки.

— Адрес запишите,— сказал Андрей.— Есть у вас на чем записать?

— Говори так,— сказал Давыдов.— Я запомню.

— Адрес простой: улица Главная, дом сто пять, квартира шестнадцать. Со двора. Если меня вдруг не будет, загляните к дворнику, там китаец есть такой, Ван, я у него ключ оставлю.

Очень Давыдов нравился Андрею, хотя, по-видимому, взгляды их не во всем совпадали.

— Ты какого года? — спросил Давыдов.

— Двадцать восьмого.

— А из России когда?

— В пятьдесят первом. Всего четыре месяца назад.

— Ага. А я из России в сорок седьмом сюда подался... Скажи-ка ты мне, Андрюха, как там на деревне — лучше стало?

— Ну, конечно! — сказал Андрей.— Все восстановили, цены каждый год снижают... Сам я в деревне, правда, после войны не был, но если судить по кино, по книгам, живут теперь в деревне богато.

— Гм... Кино,— с сомнением произнес Давыдов.— Кино, понимаешь, это такое дело...

— Нет, ну почему же... В городе, в магазинах-то все есть. Карточки отменили давно. Откуда берется? Из деревни ведь...

— Это точно,— сказал Давыдов.— Из деревни... А я, понимаешь, пришел с фронта — жены нет, померла. Сын без вести пропал. На деревне — пустота. Ладно, думаю, это мы поправим. Войну кто выиграл? Мы! Значит, теперь наша сила. Предлагают мне председателем. Согласился. На деревне одни бабы, так что и жениться не надо было. Сорок шестой кое-как протянули, ну, думаю, теперь полегче станет...— Он вдруг замолчал и молчал долго, словно бы позабыв про Андрея.— Счастье для всего человечества! — проговорил он неожиданно.— Ты как — в это веришь?

— Конечно.

— Вот и я поверил. Нет, думаю, в деревне — это дело мертвое. Это ошибка какая-то, думаю. До войны — за грудь, после войны — за горло. Нет, думаю, так они нас задавят. И жизнь ведь, понимаешь, беспросветная, как генеральские погоны. Я уж было пить начал, а тут — Эксперимент.— Он тяжело вздохнул.— Значит, ты полагаешь, получится у них Эксперимент?

— Почему это — у них? У нас!

— Ну, пускай у нас. Получился или нет?

— Должен получиться,— сказал Андрей твердо.— Все зависит только от нас.

— Что от нас зависит — мы делаем. Там делали, здесь делаем... Вообще-то, конечно, грех жаловаться. Жизнь хотя и тяжелая, но не в пример. Главное — сам ты, сам, понял? А если приедет какой-нибудь — уронишь его, бывает, в нужник, и вася-кот!.. Партийный? — спросил он вдруг.

— Комсомолец. Вы, Юрий Константинович, что-то уж больно мрачно настроены.

Эксперимент есть Эксперимент. Трудно, ошибок много, но иначе, наверное, и невозможно. Каждый — на своем посту, каждый — все, что может.

— А ты на каком же посту?

— Мусорщик,— гордо сказал Андрей.

— Большой пост,— сказал Давыдов.— А специальность у тебя есть?

— Специальность у меня очень специальная,— сказал Андрей.— Звездный астроном.

Он произнес это стеснительно и искоса поглядел на Давыдова, ожидая насмешки, но Давыдов, наоборот, страшно заинтересовался.

— В сам-деле, астроном? Слушай, браток, так ты ж должен знать, куда это нас занесло. Планета это какая-нибудь или, скажем, звезда? У нас, на болотах то есть, каждый вечер по этому вопросу сцепляются — до драк доходит, ей-богу! Насосутся самогонки и давай, кто во что горазд... Есть такие, знаешь, что считают: мы здесь вроде как в аквариуме сидим — тут же, на Земле. Здоровенный такой аквариум, только в нем вместо рыб — люди. Ей-богу! А ты как считаешь — с научной точки зрения?

Андрей почесал в затылке и засмеялся. У него в квартире по этому же поводу дело тоже доходило чуть ли не до драк — и без всякой самогонки. А насчет аквариума буквально теми же словами, хихикая и брызгая, не раз распространялся Изя Кацман.

— Как тебе, понимаешь...— начал он.— Сложно все это. Непонятно. А с научной точки зрения я тебе только одно скажу: вряд ли это другая планета, и тем более — звезда. По-моему, все здесь искусственное, и к астрономии никакого отношения не имеет.

Давыдов покивал.

— Аквариум,— сказал он убежденно.— И солнце здесь вроде лампочки, и стена эта желтая до небес... Слушай-ка, вот этим проулком я на рынок попаду или нет?

— Попадешь,— сказал Андрей.— Адрес мой не забыл?

— Не забыл, вечером жди...

Давыдов хлестнул по лошадям, присвистнул, и телега, грохоча, скрылась в проулке. Андрей направился домой. Вот славный мужик, думал он растроганно. Солдат! В Эксперимент он, конечно, не пошел, а от трудностей убежал, но тут я ему не судья. Он — раненый, хозяйство было разрушено, мог он дрогнуть?.. Да и здесь, видно, житье у него тоже не сахар. Да и не один он здесь такой, дрогнувший, много здесь таких...

По Главной уже вовсю разгуливали павианы. То ли Андрей к ним пригляделся, то ли они сами как-то переменились, но они уже вовсе не казались такими наглыми или, тем более, страшными, как несколько часов назад. Они мирно устраивались кучками на солнцепеке, тараторили, искались, а когда мимо них проходили люди, протягивали мохнатые лапы с черными ладошками и просительно помаргивали слезящимися глазами. Было похоже, как будто в городе объявилось вдруг огромное количество нищих.

У ворот своего дома Андрей увидел Вана. Ван сидел на тумбе, печально сгорбившись, опустив между колен натруженные руки.

— Баки потеряли? — спросил он, не поднимая головы.— Посмотри, что делается...

Андрей заглянул в подворотню и ужаснулся. Навалено было, казалось, до самой лампочки. Только к двери дворницкой вела узенькая тропиночка.

— Господи! — сказал Андрей и засуетился.— Я сейчас... подожди... сейчас сбегаю...— Он судорожно пытался припомнить, по каким улицам они с Дональдом гнали вчера ночью и в каком месте беженцы вышвырнули баки из кузова.

— Не надо,— безнадежным голосом сказал Ван.— Уже приезжала комиссия. Переписала номера баков, обещали к вечеру привезти. К вечеру они, конечно, не привезут, но может быть, хотя бы к утру, а?

— Ты понимаешь, Ван,— сказал Андрей,— это был такой ад кромешный, стыдно вспоминать...

— Я знаю. Мне Дональд рассказал, как это было.

— Дональд уже дома? — оживился Андрей.

— Да. Он сказал, чтобы я к нему никого не пускал. Он сказал, что у него болят зубы. Я дал ему бутылку водки, и он ушел.

— Вот как...— проговорил Андрей, снова оглядывая кучи мусора.

И вдруг ему до такой степени невыносимо, почти до истерики, до крика, захотелось помыться, сбросить вонючий комбинезон, забыть о том, что завтра придется лопатой разворачивать все это добро... Все вокруг стало липким и зловонным, и Андрей, не говоря больше ни слова, бросился через двор, на свою лестницу, наверх, через три ступеньки, дрожа от нетерпения, добрался до квартиры, вытащил из-под резинового коврика ключ, распахнул дверь, и душистая одеколонная прохлада приняла его в свои ласковые объятия.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Прежде всего он разделся. Догола. Скомкал комбинезон и белье, швырнул все в ящик с грязным барахлом. Грязь в грязь. Затем, стоя голышом посередине кухни, он огляделся и содрогнулся от нового отвращения. Кухня была забита грязной посудой. В углах громоздились тарелки, затянутые голубоватой паутиной плесени, милосердно скрывавшей какие-то черные комья. Стол был заставлен мутными захватанными бокалами, стаканами и банками из-под консервированных фруктов. Мойка была забита чашками и блюдцами. А на табуретах тихо смердели потемневшие кастрюли, засаленные сковородки, дуршлаги и котелки. Он приблизился к мойке и пустил воду. О счастье! Вода была горячая! И он принялся за дело.

Перемывши всю посуду, он схватился за швабру. Он действовал истово и с энтузиазмом, как будто смывал грязь со своего собственного тела. Однако на все пять комнат его не хватило. Он ограничился кухней, столовой и спальней. В остальные комнаты он только заглянул с некоторым недоумением — никак он не мог привыкнуть и понять, зачем одному человеку столько комнат, да еще таких безобразно огромных я затхлых. Он поплотнее прикрыл двери туда и заставил их стульями.

Теперь надо было бы смотаться в лавку, купить что-нибудь на вечер. Давыдов придет, да и из обычной кодлы кто-нибудь завалится наверняка... Но сначала он решил помыться. Вода шла уже почти холодная, и все-таки это было прекрасно. Потом он застелил на постели свежие простыни. А когда он увидел на своей постели чистое белье, хрустящие накрахмаленные наволочки, когда он ощутил запах свежести, исходивший от них, ему вдруг страшно захотелось полежать чистым телом в этой давно забытой чистоте, и он рухнул так, что взвыли дурные пружины и затрещало старое полированное дерево.

Да, это было прекрасно! Это было прохладно, душисто, скрипуче, и справа, в пределах досягаемости, обнаружилась пачка сигарет и спички, а слева, в тех же пределах,— полочка с избранными детективами. Немного огорчало, что в пределах досягаемости не оказалось пепельницы, а полочку он, оказывается, забыл протереть от пыли, но это уже были совершенные пустяки. Он выбрал «Десять негритят» Агаты Кристи, закурил и принялся читать.

Когда он проснулся, было еще светло. Он прислушался. В квартире и в доме стояла тишина, только вода, обильно капавшая из неисправных кранов, создавала странный звуковой узор. Кроме того, вокруг было чисто, и это тоже было странно и в то же время неизъяснимо приятно. Потом в дверь постучали. Ему представился Давыдов, могучий, загорелый, пахнущий сеном и свежим перегаром, как он стоит на лестничной площадке, держа лошадей под уздцы, с бутылкой самогона наготове. Снова постучали, и он проснулся окончательно.

— Иду! — заорал он, вскочил и забегал по спальне, ища трусы. Ему попались под руку полосатые пижамные штаны, забытые прежними хозяевами, и он торопливо натянул их. Резинка была слабая, и штаны пришлось придерживать сбоку.

Противу ожидания за парадной дверью не слышалось добродушного мата, не ржали кони и не булькала жидкость. Заранее улыбаясь, Андрей отодвинул засов, распахнул дверь, крякнул и отступил на шаг, вцепившись в проклятую резинку и второй рукой тоже. Перед ним стояла давешняя Сельма Нагель, новенькая из восемнадцатого номера.

— Сигареты у вас не найдется? — спросила она безо всякой приветливости.

— Да... пожалуйста... заходите...— пробормотал Андрей, пятясь.

Она вошла и прошла мимо него, обдав его запахом какой-то неслыханной парфюмерии. Она прошла в столовую, а он захлопнул дверь и с отчаянным криком: «Одну минуточку, подождите, я сейчас!» бросился в спальню. Ай-яй-яй, говорил он себе. Ай-яй-яй, как же это я так... Впрочем, на самом деле он нисколько не стыдился, а был даже рад, что вот его застали такого чистого, умытого, широкоплечего, с гладкой кожей и прекрасно развитыми бицепсами и трицепсами — даже одеваться жалко. Однако одеться было все-таки необходимо, он полез в чемодан, покопался там и натянул гимнастические брюки и синюю застиранную спортивную куртку с переплетенными буквами ЛУ на спине и на груди. В таком виде он и явился перед хорошенькой Сельмой Нагель: грудь колесом, плечи разведены, походка с оттяжечкой, в протянутой руке — пачка сигарет.

Хорошенькая Сельма Нагель равнодушно взяла сигарету, чиркнула зажигалкой и закурила. На Андрея она даже и не смотрела, и вид у нее был такой, словно на все на свете ей наплевать. Вообще-то при дневном свете она и не казалась такой уж хорошенькой. Лицо у нее было скорее неправильное и грубоватое даже, нос коротковат и вздернут, скулы слишком широкие, а большой рот намазан слишком густо. Но ножки ее, основательно обнаженные, были превыше всех и всяческих похвал. Остальное, к сожалению, разглядеть было невозможно — черт знает, кто научил ее носить такую мешковатую одежду. Свитер. Да еще с таким ошейником. Как у водолаза.

Она сидела в глубоком кресле, положив одну прекрасную ногу на другую пре-

красную ногу, и равнодушно осматривалась, держа сигарету по-солдатски, огоньком в ладонь. Андрей развязно, но изящно присел на край стола и тоже прикурил.
— Меня зовут Андрей,— сказал он.
Она обратила свой равнодушный взгляд на него. И глаза у нее были не такие, какими казались давеча ночью. Глаза были большие, но вовсе не черные, а бледно-голубые, почти прозрачные.
— Андрей,— повторила она.— Поляк?
— Нет, русский. А вас зовут Сельма Нагель, вы из Швеции.
Она покивала.
— Из Швеции. Так это вас тогда в участке лупили?
Андрей опешил.
— В каком участке? Никто меня не лупил.
— Слушай, Андрей,— сказала она.— Почему у меня здесь машинка не работает? — Она вдруг поставила на колено маленькую лакированную коробочку, чуть больше спичечного коробка.— На всех диапазонах один треск и вой, никакого кайфа.
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиоприемник.
— Вот это да! — пробормотал он.— Неужели детекторный?
— Откуда я знаю? — Она отобрала у него приемник, раздалось хрипение, треск разрядов и заунывное подвывание.— Не работает и все. А ты что, никогда таких не видел?
Андрей помотал головой. Потом сказал:
— Вообще-то он и не должен у тебя работать. Здесь всего одна радиостанция, так она транслирует прямо в сеть.
— Господи,— сказала Сельма.— А что ж тогда здесь делать? И ящика нет...
— Какого ящика?
— Ну, телика... Ти-ви!..
— А-а... Да, это у нас планируется не скоро.
— Ну и тоска!..
— Можно патефон завести,— предложил Андрей стеснительно. Ему было неловко. Действительно, что это такое — ни радио, ни телевидения, ни кино...
— Патефон? Это еще что такое?
— Не знаешь, что такое патефон? — удивился Андрей.— Ну, граммофон. Ставишь пластинку...
— А, проигрыватель...— сказала Сельма без всякого воодушевления.— А магнитофона нет?
— Вот еще,— сказал Андрей.— Что я тебе — радиоузел, что ли?
— Дикий ты какой-то,— объявила Сельма Нагель.— Одно слово — русский. Ну ладно, граммофон ты свой слушаешь, водку, наверное, пьешь, а еще что ты делаешь? Мотоцикл гоняешь? Или у тебя даже мотоцикла нет?
Андрей рассердился.
— Я сюда не на мотоциклах гонять приехал. Я здесь для того, чтобы работать. А вот ты, интересно, что здесь собираешься делать?
— Работать он приехал...— сказала Сельма.— Ты скажи, за что тебя в участке лупили?
— Да не лупили меня в участке! Откуда ты это взяла? И вообще у нас в полиции никого не бьют, это тебе не Швеция.
Сельма присвистнула.
— Ну-ну,— сказала она насмешливо.— Значит, мне померещилось.
Она сунула окурок в пепельницу, закурила новую сигарету, поднялась и, как-то забавно пританцовывая, прошлась по комнате.
— А кто тут до тебя жил? — спросила она, останавливаясь перед огромным овальным портретом какой-то сиреневой дамы с болонкой на коленях.— У меня, например,— явный сексуальный маньяк. По углам порнография, на стенах — использованные презервативы, а в шкафу — целая коллекция женских подвязок. Даже не поймешь, то ли он фетишист, то ли он лизунчик...
— Врешь,— сказал Андрей, обмирая.— Врешь ты все, Сельма Нагель.
— Зачем это мне врать? — удивилась Сельма.— А кто жил? Не знаешь?
— Мэр! Мэр нынешний там жил, понятно?
— А,— сказала Сельма равнодушно.— Понятно.
— Что — понятно? — сказал Андрей.— Что это тебе понятно?! — вскричал он, накаляясь.— Что ты вообще можешь здесь понимать?!.— он замолчал. Об этом нельзя было говорить. Это надо было пережить внутри себя.
— Лет ему, наверное, под пятьдесят,— с видом знатока объявила Сельма.— Старость на носу, бесится человек. Климакс! — Она усмехнулась и снова уставилась на портрет с болонкой.

Наступило молчание. Андрей, стиснув зубы, переживал за мэра. Мэр был большой, представительный, с необычайно располагающим лицом, сплошь благородно седой. Он прекрасно говорил на собраниях городского актива — о воздержании, о силе духа, о внутреннем заряде стойкости и морали. А когда они встречались на лестничной площадке, он обязательно протягивал для пожатия большую теплую сухую руку и с неизменной вежливостью и предупредительностью осведомлялся, не мешает ли Андрею по ночам стук его, мэра, пишущей машинки...
— Не верит! — сказала вдруг Сельма. Она, оказывается, больше не смотрела на портрет, она с каким-то сердитым любопытством разглядывала Андрея.— Не веришь, не надо. Мне вот только все это отмывать противно. Нельзя тут кого-нибудь нанять, что ли?
— Нанять...— тупо повторил Андрей.— Фиг тебе! — сказал он злорадно.— Сама отмоешь. Тут белоручкам делать нечего.
Некоторое время они молча разглядывали друг друга с взаимной неприязнью. Потом Сельма пробормотала, отведя глаза:
— Черт меня сюда принес! Что мне тут делать?
— Ничего особенного,— сказал Андрей. Он пересилил свою неприязнь. Человеку надо было помочь. Он уже навидался тут новичков. Всяких.— Что все, то и ты. Пойдешь на биржу, заполнишь книжку, бросишь в приемник... Там у нас установлена распределяющая машина. Ты кем была на том свете?
— Фокстейлером,— сказала Сельма.
— Кем?
— Ну, как тебе объяснить... Раз-два, ножки врозь...
Андрей опять обмер. Врет, пронеслось у него в голове. Все ведь брешет, девка. Идиота из меня делает.
— И хорошо зарабатывала? — саркастически спросил он.
— Дурак,— сказала она почти ласково.— Это же не для денег. Просто интересно. Скука же...
— Как же так? — сказал Андрей горестно.— Куда же твои родители смотрели? Ты же молодая, тебе бы учиться и учиться...
— Зачем? — спросила Сельма.
— Как — зачем? В люди вышла бы... Инженером бы стала, учителем... Могла бы вступить в компартию, боролась бы за социализм...
— Боже мой, боже мой...— хрипло прошептала Сельма, как подрубленная упала в кресло и уронила лицо в ладони. Андрей испугался, но в то же время ощутил и гордость, и чудовищную свою ответственность.
— Ну что ты, что ты...— сказал он, неловко придвигаясь к ней.— Что было, то было. Все. Не расстраивайся. Может быть, и хорошо, что все так получилось: здесь ты все наверстаешь. У меня полно друзей, все — настоящие люди...— Он вспомнил Изю и сморщился.— Поможем. Вместе будем драться. Здесь ведь дела до черта! Беспорядка много, неразберихи, просто дряни — каждый честный человек на счету. Ты представить себе не можешь, сколько сюда всякого барахла набежало! Не спрашиваешь его, конечно, но иногда так и тянет спросить: ну чего тебя сюда принесло, на кой ляд ты здесь кому нужен?
Он совсем было уже решился по-дружески, даже по-братски, потрепать Сельму по плечу, но тут она спросила, не отрывая ладоней от лица:
— Значит, не все здесь такие?
— Какие?
— Как ты. Идиоты.
— Ну знаешь!
Андрей соскочил со стола и пошел кругами по комнате. Вот ведь буржуйка. Шлюха, а туда же. Интересно ей, видите ли... Впрочем, прямота Сельмы ему даже импонировала. Прямота всегда хороша. Лицом к лицу, через баррикаду. Это не то, что Изя, скажем: ни нашим ни вашим — скользкий, как червяк, и везде просочится...
Сельма хихикнула у него за спиной.
— Ну чего забегал? — сказала она.— Я же не виновата, что ты такой идиотик. Ну, извини.
Не давая себе оттаять, Андрей решительно рубанул ладонью воздух.
— Вот что,— сказал он.— Ты, Сельма, очень запущенный человек, и отмывать тебя придется долго. И ты не воображай, пожалуйста, что я обиделся лично на тебя. Это с теми, кто тебя до такого довел, у меня да — личные счеты. А с тобой — никаких. Ты здесь — значит, ты наш товарищ. Будешь работать хорошо — будем хорошими друзьями. А работать хорошо — придется. Здесь у нас, знаешь, как в армии: не умеешь — научим, не хочешь — заставим! — Ему очень нравилось, как он говорит — так и вспоминались выступления Леши Балдаева, комсомольского вожака факультета. Тут он обнаружил, что Сельма, наконец, отняла ладони от лица и смотрит на него с испуганным любопытством. Он ободряюще подмигнул ей.— Да-да, заставим, а как ты думала?

красную ногу, и равнодушно осматривалась, держа сигарету по-солдатски, огоньком в ладонь. Андрей развязно, но изящно присел на край стола и тоже прикурил.

— Меня зовут Андрей,— сказал он.

Она обратила свой равнодушный взгляд на него. И глаза у нее были не такие, какими казались давеча ночью. Глаза были большие, но вовсе не черные, а бледно-голубые, почти прозрачные.

— Андрей,— повторила она.— Поляк?

— Нет, русский. А вас зовут Сельма Нагель, вы из Швеции.

Она покивала.

— Из Швеции. Так это вас тогда в участке лупили?

Андрей опешил.

— В каком участке? Никто меня не лупил.

— Слушай, Андрей,— сказала она.— Почему у меня здесь машинка не работает? — Она вдруг поставила на колено маленькую лакированную коробочку, чуть больше спичечного коробка.— На всех диапазонах один треск и вой, никакого кайфа.

Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиоприемник.

— Вот это да! — пробормотал он.— Неужели детекторный?

— Откуда я знаю? — Она отобрала у него приемник, раздалось хрипение, треск разрядов и заунывное подвывание.— Не работает и все. А ты что, никогда таких не видел?

Андрей помотал головой. Потом сказал:

— Вообще-то он и не должен у тебя работать. Здесь всего одна радиостанция, так она транслирует прямо в сеть.

— Господи,— сказала Сельма.— А что ж тогда здесь делать? И ящика нет...

— Какого ящика?

— Ну, телика... Ти-ви!..

— А-а... Да, это у нас планируется не скоро.

— Ну и тоска!..

— Можно патефон завести,— предложил Андрей стеснительно. Ему было неловко. Действительно, что это такое — ни радио, ни телевидения, ни кино...

— Патефон? Это еще что такое?

— Не знаешь, что такое патефон? — удивился Андрей.— Ну, граммофон. Ставишь пластинку...

— А, проигрыватель...— сказала Сельма без всякого воодушевления.— А магнитофона нет?

— Вот еще,— сказал Андрей.— Что я тебе — радиоузел, что ли?

— Дикий ты какой-то,— объявила Сельма Нагель.— Одно слово — русский. Ну ладно, граммофон ты свой слушаешь, водку, наверное, пьешь, а еще что ты делаешь? Мотоцикл гоняешь? Или у тебя даже мотоцикла нет?

Андрей рассердился.

— Я сюда не на мотоциклах гонять приехал. Я здесь для того, чтобы работать. А вот ты, интересно, что здесь собираешься делать?

— Работать он приехал...— сказала Сельма.— Ты скажи, за что тебя в участке лупили?

— Да не лупили меня в участке! Откуда ты это взяла? И вообще у нас в полиции никого не бьют, это тебе не Швеция.

Сельма присвистнула.

— Ну-ну,— сказала она насмешливо.— Значит, мне померещилось.

Она сунула окурок в пепельницу, закурила новую сигарету, поднялась и, как-то забавно пританцовывая, прошлась по комнате.

— А кто тут до тебя жил? — спросила она, останавливаясь перед огромным овальным портретом какой-то сиреневой дамы с болонкой на коленях.— У меня, например,— явный сексуальный маньяк. По углам порнография, на стенах — использованные презервативы, а в шкафу — целая коллекция женских подвязок. Даже не поймешь, то ли он фетишист, то ли он лизунчик...

— Врешь,— сказал Андрей, обмирая.— Врешь ты все, Сельма Нагель.

— Зачем это мне врать? — удивилась Сельма.— А кто жил? Не знаешь?

— Мэр! Мэр нынешний там жил, понятно?

— А,— сказала Сельма равнодушно.— Понятно.

— Что — понятно? — сказал Андрей.— Что это тебе понятно?! — вскричал он, накаляясь.— Что ты вообще можешь здесь понимать?!.— он замолчал. Об этом нельзя было говорить. Это надо было пережить внутри себя.

— Лет ему, наверное, под пятьдесят,— с видом знатока объявила Сельма.— Старость на носу, бесится человек. Климакс! — Она усмехнулась и снова уставилась на портрет с болонкой.

Наступило молчание. Андрей, стиснув зубы, переживал за мэра. Мэр был большой, представительный, с необычайно располагающим лицом, сплошь благородно седой. Он прекрасно говорил на собраниях городского актива — о воздержании, о силе духа, о внутреннем заряде стойкости и морали. А когда они встречались на лестничной площадке, он обязательно протягивал для пожатия большую теплую сухую руку и с неизменной вежливостью и предупредительностью осведомлялся, не мешает ли Андрею по ночам стук его, мэра, пишущей машинки...

— Не верит! — сказала вдруг Сельма. Она, оказывается, больше не смотрела на портрет, она с каким-то сердитым любопытством разглядывала Андрея.— Не веришь, не надо. Мне вот только все это отмывать противно. Нельзя тут кого-нибудь нанять, что ли?

— Нанять...— тупо повторил Андрей.— Фиг тебе! — сказал он злорадно.— Сама отмоешь. Тут белоручкам делать нечего.

Некоторое время они молча разглядывали друг друга с взаимной неприязнью. Потом Сельма пробормотала, отведя глаза:

— Черт меня сюда принес! Что мне тут делать?

— Ничего особенного,— сказал Андрей. Он пересилил свою неприязнь. Человеку надо было помочь. Он уже навидался тут новичков. Всяких.— Что все, то и ты. Пойдешь на биржу, заполнишь книжку, бросишь в приемник... Там у нас установлена распределяющая машина. Ты кем была на том свете?

— Фокстейлером,— сказала Сельма.

— Кем?

— Ну, как тебе объяснить... Раз-два, ножки врозь...

Андрей опять обмер. Врет, пронеслось у него в голове. Все ведь брешет, девка. Идиота из меня делает.

— И хорошо зарабатывала? — саркастически спросил он.

— Дурак,— сказала она почти ласково.— Это же не для денег. Просто интересно. Скука же...

— Как же так? — сказал Андрей горестно.— Куда же твои родители смотрели? Ты же молодая, тебе бы учиться и учиться...

— Зачем? — спросила Сельма.

— Как — зачем? В люди вышла бы... Инженером бы стала, учителем... Могла бы вступить в компартию, боролась бы за социализм...

— Боже мой, боже мой...— хрипло прошептала Сельма, как подрубленная упала в кресло и уронила лицо в ладони. Андрей испугался, но в то же время ощутил и гордость, и чудовищную свою ответственность.

— Ну что ты, что ты...— сказал он, неловко придвигаясь к ней.— Что было, то было. Все. Не расстраивайся. Может быть, и хорошо, что все так получилось: здесь ты все наверстаешь. У меня полно друзей, все — настоящие люди...— Он вспомнил Изю и сморщился.— Поможем. Вместе будем драться. Здесь ведь дела до черта! Беспорядка много, неразберихи, просто дряни — каждый честный человек на счету. Ты представить себе не можешь, сколько сюда всякого барахла набежало! Не спрашиваешь его, конечно, но иногда так и тянет спросить: ну чего тебя сюда принесло, на кой ляд ты здесь кому нужен?

Он совсем было уже решился по-дружески, даже по-братски, потрепать Сельму по плечу, но тут она спросила, не отрывая ладоней от лица:

— Значит, не все здесь такие?

— Какие?

— Как ты. Идиоты.

— Ну знаешь!

Андрей соскочил со стола и пошел кругами по комнате. Вот ведь буржуйка. Шлюха, а туда же. Интересно ей, видите ли... Впрочем, прямота Сельмы ему даже импонировала. Прямота всегда хороша. Лицом к лицу, через баррикаду. Это не то, что Изя, скажем: ни нашим ни вашим — скользкий, как червяк, и везде просочится...

Сельма хихикнула у него за спиной.

— Ну чего забегал? — сказала она.— Я же не виновата, что ты такой идиотик. Ну, извини.

Не давая себе оттаять, Андрей решительно рубанул ладонью воздух.

— Вот что,— сказал он.— Ты, Сельма, очень запущенный человек, и отмывать тебя придется долго. И ты не воображай, пожалуйста, что я обиделся лично на тебя. Это с теми, кто тебя до такого довел, у меня да — личные счеты. А с тобой — никаких. Ты здесь — значит, ты наш товарищ. Будешь работать хорошо — будем хорошими друзьями. А работать хорошо — придется. Здесь у нас, знаешь, как в армии: не умеешь — научим, не хочешь — заставим! — Ему очень нравилось, как он говорит — так и вспоминались выступления Леши Балдаева, комсомольского вожака факультета. Тут он обнаружил, что Сельма, наконец, отняла ладони от лица и смотрит на него с испуганным любопытством. Он ободряюще подмигнул ей.— Да-да, заставим, а как ты думала?

У нас, бывало, на стройку уж такие сачки приезжали — поначалу только и норовят в ларек да в лесок. И ничего! Как миленькие! Труд, знаешь, даже обезьяну очеловечивает...

— А здесь у вас всегда обезьяны по улицам бродят? — спросила Сельма.

— Нет,— сказал Андрей, помрачнев.— Только с сегодняшнего дня. В честь твоего прибытия.

— Очеловечивать их будете? — вкрадчиво осведомилась Сельма.

Андрей через силу ухмыльнулся.

— Это уж как придется,— сказал он.— Может быть, действительно придется очеловечивать. Эксперимент есть Эксперимент.

При всей издевательской сумасбродности мысль эта показалась ему не лишенной какого-то рационального зерна. Надо будет вечером этот вопрос поднять, мелькнуло у него в голове. Но тут же у него возникла и другая мысль.

— Ты что вечером собираешься делать? — спросил он.

— Не знаю. Как придется. А что здесь у вас делают?

Раздался стук в дверь. Андрей посмотрел на часы. Было уже семь, сборище начиналось.

— Сегодня ты — у меня,— сказал он Сельме решительно. С этим разболтанным существом действовать можно было только решительно.— Веселья особенного не обещаю, но с интересными людьми познакомишься. Идет?

Сельма пожала плечиком и стала оправлять волосы. Андрей пошел открывать. В дверь стучали уже каблуком. Это был Изя Кацман.

— У тебя что — женщина? — спросил он прямо с порога.— Когда ты, наконец, звонок поставишь?

Как всегда, в первые минуты появления на сборище Изя был аккуратно причесан, при крахмальном воротничке и при сверкающих манжетах. Узкий отглаженный галстук с высокой точностью располагался на линии нос — пупок. Но все равно. Андрей предпочел бы сейчас увидеть Дональда или Кэнси.

— Заходи, заходи, трепло,— сказал он.— Что это с тобой сегодня — раньше всех заявился?

— А я знал, что у тебя женщина,— ответствовал Изя, потирая руки и хихикая,— и поспешил взглянуть.

Они вошли в столовую, и Изя широкими шагами устремился к Сельме.

— Изя Кацман,— представился он бархатным голосом.— Мусорщик.

— Сельма Нагель,— лениво отозвалась Сельма, протягивая руку.— Шлюха.

Изя даже закряхтел от наслаждения и бережно поцеловал протянутую руку.

— Между прочим! — сказал он, поворачиваясь к Андрею и снова к Сельме.— Вы слыхали? Совет районных уполномоченных рассматривает проект решения,— он поднял палец и повысил голос,— «Об упорядочении положения, создавшегося в связи с наличием в городской черте больших скоплений собакоголовых обезьян»... Уф! Предлагается всех обезьян зарегистрировать, снабдить металлическими ошейниками и бляхами с собственными именами, а затем приписать к учреждениям и частным лицам, которые впредь и будут за них ответственны! — Он захихикал, захрюкал и с протяжными тоненькими стонами принялся бить кулаком правой руки в раскрытую ладонь левой.— Грандиозно! Все дела заброшены, на всех заводах срочно изготовляют ошейники и бляхи. Господин мэр лично берет под свою опеку трех половозрелых павианов и призывает население последовать его примеру. Ты возьмешь себе павианиху, Андрей? Сельма будет против, но таково требование Эксперимента! Как известно, Эксперимент есть Эксперимент. Надеюсь, вы не сомневаетесь, Сельма, что Эксперимент есть именно эксперимент — не экскремент, не экспонент, не перманент, а именно Эксперимент?..

Андрей сказал, с трудом прорвавшись сквозь бульканье и стоны:

— Ну пошел, пошел трепаться!..

Этого он больше всего опасался. На свежего человека такой вот нигилизм и наплевизм должен был производить самое разрушительное действие. Конечно, куда как заманчиво бродить вот так из дома в дом, хихикать и оплевывать все направо и налево, вместо того, чтобы стиснув зубы...

Изя перестал хихикать и возбужденно прошелся по комнате.

— Может быть, это и трепотня,— сказал он.— Возможно. Но ты, Андрей, как всегда ни черта не понимаешь в психологии руководства. В чем, по-твоему, назначение руководства?

— Руководить! — сказал Андрей, принимая вызов.— Руководить, а не трепаться, между прочим, и не болтать. Координировать действия граждан и организаций...

— Стоп! Координировать действия — с какой целью? Что является конечной целью этого координирования?

Андрей пожал плечами.

— Это же элементарно. Всеобщее благо, порядок, создание оптимальных условий для движения вперед...

— О! — Изя опять вскинул палец. Рот его приоткрылся, глаза выкатились.— О! — повторил он и снова замолчал. Сельма смотрела на него с восхищением.— Порядок! — провозгласил Изя.— Порядок! — глаза его выкатились еще больше.— А теперь представь, что во вверенном тебе городе появляются бесчисленные стада павианов. Изгнать их ты не можешь — кишка тонка. Кормить их централизованно ты тоже не можешь — не хватает жратвы, резервов. Павианы попрошайничают на улицах — вопиющий беспорядок: у нас нет и не может быть попрошаек! Павианы гадят, за собой не убирают, и никто за ними убирать не намерен. Какой отсюда напрашивается вывод?

— Ну, уж во всяком случае, не ошейники надевать,— сказал Андрей.

— Правильно! — сказал Изя с одобрением.— Конечно, не ошейники надевать. Первый же напрашивающийся деловой вывод: скрыть существование павианов. Сделать вид, что их вовсе нету. Но это, к сожалению, тоже невозможно. Их слишком много, а правление у нас пока еще до отвращения демократическое. И вот тут появляется блестящая в своей простоте идея: упорядочить присутствие павианов! Хаос, безобразие узаконить и сделать таким образом элементом стройного порядка, присущего правлению нашего доброго мэра! Вместо нищенствующих и хулиганящих стад и шаек — милые домашние животные. Мы же все любим животных! Королева Виктория любила животных. Дарвин любил животных. Даже Берия, говорят, любил некоторых животных, не говоря уже о Гитлере...

— Наш король Густав тоже любит животных,— вставила Сельма.— У него — кошки.

— Прекрасно! — воскликнул Изя, ударяя кулаком в ладонь.— У короля Густава — кошки, а у Андрея Воронина — персональный павиан. А если он очень любит животных, то даже два павиана...

Андрей плюнул и отправился на кухню проверить запасы. Пока он копался в шкафчиках, разворачивая и осторожно нюхая какие-то запыленные пакеты с черствыми потемневшими остатками, голос Изи в столовой непрерывно гудел, и слышался звонкий смех Сельмы, а также неизбежное хрюканье и бульканье самого Изи.

Жрать было нечего: куль картошки, начавшей уже прорастать, сомнительная банка с кильками и совершенно каменной консистенции буханка хлеба. Тогда Андрей залез в ящик кухонного стола и пересчитал наличность. Наличности было — как раз до получки и при условии, что он будет соблюдать экономию и не приглашать гостей, а наоборот, похаживать в гости. В гроб они меня загонят, подумал Андрей мрачно. К черту, хватит. Всех выпотрошу. Что я им — кухмистерская, что ли? Павианы!

Тут в дверь снова постучали, и Андрей, зловеще ухмыляясь, отправился открывать. Мимоходом он отметил, что Сельма сидит на столе, подсунув под себя ладони, накрашенный рот — до ушей, сучка и сучка, а Изя разглагольствует перед нею, размахивая павианьими лапами, и уже никакого лоска в нем нет: узел галстука под правым ухом, волосы дыбом, а манжеты — серые.

Оказалось, что прибыли экс-унтер-офицер вермахта Фриц Гейгер с личным дружком — рядовым того же вермахта Отто Фрижей.

— Явились? — приветствовал их Андрей со зловещей улыбкой.

Фриц немедленно воспринял это приветствие как выпад против достоинства немецкого унтер-офицера и окаменел лицом, а Отто, человек мягкий и неопределенных душевных очертаний, только щелкнул каблуками и искательно улыбнулся.

— Что за тон? — холодно осведомился Фриц.— Может быть, нам уйти?

— Ты жрать принес что-нибудь? — спросил Андрей.

Фриц сделал глубокомысленное движение нижней челюстью.

— Жрать? — переспросил он.— М-м, как тебе сказать...— и он вопросительно посмотрел на Отто. Отто сейчас же, стеснительно улыбаясь, вытащил из кармана галифе плоскую бутылку и протянул ее Андрею. Как пропуск — этикеткой наружу.

— Ну, это ладно...— смягчаясь сказал Андрей и взял бутылку.— Но учтите, ребята, жрать абсолютно нечего. Может быть, у вас деньги есть хотя бы?

— Может быть, ты нас все-таки впустишь в дом? — осведомился Фриц. Голова его была слегка повернута ухом вперед: он прислушивался к взрывам женского смеха в столовой.

Андрей впустил их в прихожую и сказал:

— Деньги. Деньги нв бочку!

— Даже здесь нам не удается избежать репараций, Отто,— сказал Фриц, раскрывая портмоне.— На! — он сунул Андрею несколько бумажек.— Дай Отто какую-нибудь кошелку и скажи, что купить,— он сбегает.

— Погоди, не так быстро,— сказал Андрей и повел их в столовую. Пока щелкали каблуки, склонялись прилизанные прически и гремели солдатские комплименты, Андрей оттащил Изю в сторону и, не давая ему опомниться, обшарил все его карманы, чего Изя, впрочем, кажется, и не заметил,— он только вяло отбивался и все рвался

закончить начатый анекдот. Забравши все, что удалось обнаружить, Андрей отошел и пересчитал репарации. Получалось не так, чтобы уж очень много, но и не мало. Он огляделся. Сельма по-прежнему сидела на столе и болтала ногами. Меланхолия ее исчезла, она была весела. Фриц закуривал ей сигаретку, Изя, давясь и повизгивая, готовил новый анекдот, а Отто, красный от напряженности и неуверенности в своих манерах, заметно шевелил большими ушами, торча среди комнаты по стойке смирно.

Андрей поймал его за рукав и потащил на кухню, приговаривая: «Без тебя, без тебя обойдутся...» Отто не возражал, он был даже, кажется, доволен. Очутившись на кухне, он сразу принялся действовать. Отобрал у Андрея корзину для овощей, вытряхнул из нее мусор в ведро (чего Андрей никогда не догадался бы сделать), быстро и аккуратно выстелил днище старыми газетами, мгновенно нашел кошелку, которую Андрей потерял еще в прошлом месяце, со словами: «Может, томатный соус попадется...» уложил в кошелку банку из-под компота, предварительно сполоснув ее, сунул туда же несколько сложенных газет про запас («Вдруг у них тары не будет...»), так что вся деятельность Андрея свелась к перекладыванию денег из кармана в карман, нетерпеливому переступанию с ноги на ногу и заунывному: «Да ладно тебе... Да будет... Ну, пошли, что ли...»

— А ты тоже пойдешь? — благоговейно удивился Отто, закончив сборы.

— Да, а что?

— Да я и сам могу,— сказал Отто.

— Ну, сам, сам... Вдвоем быстрее. Ты встанешь к прилавку, я — в кассу...

— Это верно,— сказал Отто.— Да. Конечно.

Они вышли через черный ход и спустились по черной лестнице. По дороге спугнули павиана — бедняга бомбой вылетел в окно, так что они даже испугались за его жизнь, но оказалось — ничего, висит на пожарной лестнице и скалит клыки.

— Объедков бы ему дать,— сказал Андрей задумчиво.— У меня там объедков для целого стада...

— Сходить? — с готовностью предложил Отто.

Андрей только посмотрел на него, и сказавши: «Вольно!», пошел дальше. На лестнице уже praванивало. Вообще-то здесь и раньше всегда пованивало, но теперь появился некий новый душок, и, спустившись пролетом ниже, они обнаружили источник, и не один.

— Да, прибавится Вану работенки,— сказал Андрей.— Не дай бог теперь в дворники попасть. Ты кем сейчас работаешь?

— Товарищем министра,— уныло ответствовал Отто.— Третий день уже.

— Какого министра? — поинтересовался Андрей.

— Этого... профессионального обучения.

— Тяжело?

— Ничего не понимаю,— тоскливо сказал Отто.— Бумаг очень много, приказы, докладные записки... сметы, бюджет... И никто у нас там ничего не понимает. Все бегают, друг у друга спрашивают... Подожди, ты куда?

— В магазин.

— Нет. Пойдем к Гофштаттеру. У него и дешевле, и немец, все-таки...

Пошли к Гофштаттеру. Гофштаттер держал на углу Главной и Староперсидского некую помесь зеленной с бакалейной. Андрей бывал здесь пару раз и каждый раз уходил не солоно хлебавши: продуктов у Гофштаттера было мало и он сам выбирал себе покупателей.

Магазин был пуст, на полках стройными рядами тянулись одинаковые баночки с розовым хреном. Андрей вошел первым, и Гофштаттер, поднявши от кассы одутловатое бледное лицо, сейчас же сказал: «Закрываю». Но тут подоспел Отто, зацепившийся корзиной за дверную ручку, и одутловатое бледное лицо расплылось в улыбке. Закрытие лавки было, конечно, отложено. Отто и Гофштаттер удалились в недра заведения, где сейчас же зашуршали и заскрипели передвигаемые ящики, затарахтела ссыпаемая картошка, звякнуло наполненное стекло, зазвучали приглушенные голоса...

Андрей от нечего делать озирался. Да, частная торговлишка господина Гофштаттера представляла собой жалкое зрелище. И весы, конечно, не прошли соответствующего контроля, и с санитарией было неважно. Впрочем, это меня не касается, подумал Андрей. Когда все будет устроено как надо, эти гофштаттеры попросту вылетят в трубу. Да они, можно сказать, и сейчас уже вылетели. Во всяком случае, любого-каждого он уже не в силах обслуживать. Ишь, замаскировался, хрену везде понаставил. Надо бы на него Кэнси напустить — развел тут черный рынок, националист паршивый. «Только для немцев»...

Отто выглянул из недр и шепотом сказал: «Деньги, быстренько!» Андрей торопливо передал ему ком смятых бумажек. Отто не менее торопливо отслюнил несколько штук, остальное вернул Андрею и снова исчез в недрах. Через минуту он появился за прилавком с руками, оттянутыми полной кошелкой и полной корзинкой. Позади него замаячила лунообразная физиономия Гофштаттера. Отто обливался потом и не переставал улыбаться, а Гофштаттер добродушно приговаривал: «Заходите, заходите, молодые люди, всегда вам рад, всегда рад истинным немцам... А господину Гейгеру особенный привет... На следующей неделе мне обещали подвезти немного свинины. Скажите господину Гейгеру, я ему оставлю килограмма три...» — «Так точно, господин Гофштаттер,— откликался Отто.— Все будет передано в точности, не беспокойтесь, господин Гофштаттер... И не забудьте, пожалуйста, передать большой привет Эльзе — от нас и, в особенности, от господина Гейгера...» Они гудели все это дуэтом до самого порога лавки, где Андрей отобрал у Отто тяжеленную кошелку, битком набитую ядреной чистой морковью, крепкой свеклой и сахарным луком, из-под которых торчало залитое сургучом горлышко бутылки и поверх которых бурно выпирал наружу всякий там порей, сельдерей, укроп и прочая петрушка.

Когда они свернули за угол, Отто поставил корзину на тротуар, вытащил большой клетчатый платок и, задыхаясь, принялся обтирать лицо, приговаривая:

— Подожди... Передохнуть надо... Ф-фу...

Андрей закурил сигарету и протянул пачку Отто.

— Где такую морковочку брали? — осведомилась, проходя мимо, женщина в иожаном мужском пальто.

— Все, все,— поспешно сказал ей Отто.— Последнюю взяли. Там уже закрыто... Черт, умаял меня лысый дьявол...— сообщил он Андрею.— Чего я ему там плел! Оторвет мне Фриц башку, когда узнает... Да я и не помню уже, что я там плел...

Андрей ничего не понимал, и Отто вкратце объяснил ему ситуацию.

Господин Гофштаттер, зеленщик из Эрфурта, всю жизнь был преисполнен надежд и всю жизнь ему не везло. Когда в тридцать втором году какой-то еврей пустил его по миру, открыв напротив большой современный зеленной магазин, Гофштаттер осознал себя истинным немцем и вступил в штурмовой отряд. В штурмовом отряде он было сделал карьеру и в тридцать четвертом году уже собственноручно бил упомянутого еврея по морде и совсем было подобрался к его предприятию, но тут грянуло разоблачение Рема, и Гофштаттера вычистили. А он к тому времени был уже женат, и уже подрастала у него очаровательная белокурая Эльза. Несколько лет он кое-как перебивался, потом его взяли в армию, и он начал было завоевание Европы, но под Дюнкерком попал под бомбы собственной авиации и получил в легкие здоровенный осколок, так что вместо Парижа оказался в военном госпитале в Дрездене, где провалялся до сорок четвертого и совсем было уже выписался, когда совершился знаменитый налет союзных армад, уничтоживший Дрезден в одну ночь. От пережитого ужаса у него выпали все волосы, и он немножко тронулся, по его же собственным рассказам. Так что попав снова в родной Эрфурт, он просидел в подвале своего домика самое что ни на есть горячее время, когда еще можно было удрать на Запад. Когда же он решился, наконец, выйти на свет божий, все было уже кончено. Зеленную лавку ему, правда, разрешили, но ни о каком расширении дела не могло быть и речи. В сорок шестом у него умерла жена, он в помрачении рассудка поддался на уговоры Наставника и, плохо понимая, что он, собственно, выбирает, переселился с дочерью сюда. Здесь он немного отошел, хотя до сих пор, кажется, подозревает, что попал в большой специализированный концлагерь где-то в Средней Азии, куда сослали всех немцев из Восточной Германии. С черепушкой у него так и не восстановилось окончательно. Он обожает истинных немцев, уверен, что у него на них особенный нюх, смертельно боится китайцев, арабов и негров, присутствия которых здесь не понимает и объяснить не может, но более всего он почитает и уважает господина Гейгера. Дело в том, что во время одного из первых своих визитов к Гофштаттеру блестящий Фриц, пока Отто наполнял кошелки, кратко, по-военному, приволокнулся за белокурой Эльзой, осатаневшей без перспектив на приличное замужество. И с тех пор в душе сумасшедшего лысого Гофштаттера зародилась слепящая надежда, что этот великолепный ариец, опора фюрера и гроза евреев, выведет в конце концов несчастное семейство Гофштаттеров из бурно кипящих вод в тихую заводь.

— ...Фрицу что? — жаловался Отто, ежеминутно меняя руки, отмотанные корзиной.— Он у Гофштаттеров бывает раз, ну два в месяц, когда у нас жрать нечего — пощупает эту дуру, и делов-то... А я сюда каждую неделю хожу, и по два раза, и по три раза в неделю... Ведь Гофштаттер-то дурак-дурак, а человек деловой, знаешь, какие он связи завязал с фермерами — продукты у него первый сорт и недорого... Изоврался я в конец! Вечную привязанность Фрица к Эльзе я ему обеспечь. Неумолимый конец международного еврейства я ему обеспечь. Неуклонное движение войск великого райха к этой зеленной лавке я ему обеспечь... Я уже сам запутался, и его, по-моему, до полного уж сумасшествия довел. Совестно же все-таки: сумасшедшего старика до полного сумасшествия довожу. Вот сейчас он спрашивает меня: что, мол, эти павианы должны означать? А я, не подумавши, ляпнул: десант, говорю, арийская, говорю, хитрость. Так ты не поверишь — он меня обнял и присосался что к твоей бутылке...

— А Эльза что? — с любопытством спросил Андрей.— Она-то ведь не сумасшедшая?

Отто залился пунцовым румянцем и зашевелил ушами.
— Эльза...— он откашлялся.— Тоже работаю, как лошадь. Ей-то ведь все равно: Фриц, Отто, Иван, Абрам... Тридцать лет девке, а Гофштаттер к ней подпускает только Фрица да меня.
— Ну и сволочи же вы с Фрицем,— сказал Андрей искренне.
— Дальше некуда! — согласился Отто печально.— И ведь что самое ужасное: совершенно я не представляю, как мы из этой истории выпутаемся. Слабый я, бесхарактерный.
Они замолчали, и до самого дома Отто только пыхтел, меняя руки над корзиной. Подниматься наверх он не стал.
— Ты это отнеси и поставь воду в большой кастрюле,— сказал он.— А мне давай деньги, я смотаюсь в магазин, может, консервов каких-нибудь достану.— Он помялся, отводя глаза.— И ты, это... Фрицу... не надо. А то он из меня душу вытрясет. Фриц, он знаешь какой,— любит, чтобы все было шито-крыто. Да и кто не любит?
Они расстались, и Андрей попер корзинку и кошелку по черной лестнице. Корзина была такая тяжеленная, словно нагрузил ее Гофштаттер чугунными ядрами. Да, брат, думал Андрей с ожесточением. Какой уж тут Эксперимент, если такие дела делаются. Много ты с этим Отто, с этим Фрицем наэкспериментируешь. Надо же, суки какие — ни чести, ни совести. А откуда? — подумал он с горечью. Вермахт. Гитлерюгенд. Шваль. Нет, я с Фрицем поговорю! Этого так оставлять нельзя — морально же гниет человек на глазах. А человек из него получиться может! Должен! В конце концов, он мне тогда, можно сказать, жизнь спас. Ткнули бы мне перышко под лопатку — и баста. Все обгадились, все лапки кверху, один Фриц... Нет, это человек! За него драться надо...
Он поскользнулся на следах павианьей деятельности, выматерился и стал смотреть под ноги.
Едва очутившись на кухне, он понял, что в квартире все изменилось. В столовой гундел и сипел патефон. Слышался звон посуды. Шаркали ноги танцующих. И покрывая все эти звуки, раскатывался знакомый басовитый голосок Юрия свет-Константиновича: «Ты, браток, насчет экономии всякой и социологии — не нужно. Обойдемся. А вот свобода, браток, это другой разговор. За свободу и хребет поломать можно...»
На газовой плите уже била ключом вода в большой кастрюле, на кухонном столе лежал готовый, заново отточенный нож, и упоительно пахло жареным мясом из духовки. В углу кухни стояли, оперевшись друг на друга, два тучных рогожных мешка, а сверху на них — промасленный, прожженный ватник, знакомый кнут и какая-то сбруя. Знакомый пулемет стоял тут же — собранный, готовый к употреблению, с плоской вороненой обоймой, торчащей из казенника. Под столом масляно поблескивала четвертная бутыль с приставшей кукурузной шелухой и соломинками.
Андрей бросил корзину и кошелку.
— Эй, бездельники! — заорал он.— Вода кипит!
Бас Давыдова смолк, а в дверях появилась раскрасневшаяся, с блестящими глазами Сельма. За ее плечом верстой торчал Фриц. Видимо, они только что танцевали, и ариец пока не думал снимать здоровенные свои красные лапищи с талии Сельмы.
— Привет тебе от Гофштаттера! — сказал Андрей.— Эльза беспокоится, что ты не заходишь... Ведь ребеночку уже скоро месяц!
— Дурацкие шутки! — объявил Фриц с отвращением, однако лапы убрал.— Где Отто?
— И правда, вода кипит! — сообщила Сельма с удивлением.— Что теперь с ней делать?
— Бери нож,— сказал Андрей,— и начинай чистить картошку. А ты, Фриц, помоему, очень любишь картофельный салат. Так вот займись, а я пойду выполнять роль хозяина.
Он двинулся было в столовую, но в дверях его перехватил Изя Кацман. Физиономия его сияла от восторга.
— Слушай! — прошептал он, хихикая и брызгаясь.— Откуда ты взял такого замечательного типа? У них там на фермах, оказывается, настоящий Дикий Запад! Американская вольница!
— Русская вольница не хуже американской,— сказал Андрей с неприязнью.
— Ну да! Ну да! — закричал Изя.— «Когда еврейское казачество восстало, в Биробиджане был переворот-переворот, а кто захочет захватить наш Бердичев, тому фурункул вскочит на живот!..»
— Это ты брось,— сказал Андрей сурово.— Это я не люблю... Фриц, отдаю тебе Сельму и Кацмана под командование, работайте, да побыстрее, жрать охота — сил нет... Да не орите здесь — Отто будет стучаться, он за консервами побежал.
Поставив все таким образом на свои места, Андрей поспешил в столовую и там, прежде всего, обменялся крепким рукопожатием с Юрием Константиновичем. Юрий Константинович, все такой же краснолицый и крепко пахнущий, стоял посередине

комнаты, расставив ноги в кирзовых сапогах, засунув ладони под солдатский ремень. Глаза у него были веселые и слегка бешеные — такие глаза Андрей часто наблюдал у людей бесшабашных, любящих хорошо поработать и крепко выпить и ничего на свете не страшащихся.
— Вот! — сказал Давыдов.— Пришел-таки я, как обещал. Бутыль видел? Тебе. Картошка еще тебе — два мешка. Давали мне за них, понимаешь, одну вещь. Нет, думаю, на хрен мне все это. Отвезу лучше хорошему человеку. Они тут в своих хоромах каменных живут, как гниют, белого света не видят... Слушай, Андрей, вот я тут Кэнси говорю, японцу, плюньте, говорю, ребята! Ну чего вы здесь еще не видели? Собирайте своих детишек, баб, девок, айда все к нам...
Кэнси, все еще в форме после дежурства, но в мундире нараспашку, неловко орудуя одной рукой, расставлял на столе разнокалиберную посуду. Левая рука у него была обмотана бинтом. Он улыбнулся и покивал Давыдову.
— Этим и кончится, Юра,— сказал он.— Вот будет еще нашествие кальмаров, и тогда мы все как один подадимся к вам на болота.
— Да чего вам ждать этих... как их... Плюньте вы на этих кама́ров. Вот завтра поеду поутру порожняком, телега пустая, три семьи свободно можно погрузить. Ты ведь не семейный? — обратился он к Андрею.
— Бог спас,— сказал Андрей.
— А девушка эта кто тебе? Или она не твоя?
— Она новенькая. Сегодня ночью приехала.
— Так чего лучше? Барышня приятная, обходительная. Забирай, и поехали, а? У нас там воздух. У нас там молоко. Ты ведь молока, наверное, уже год не пил свежего. Я вот все спрашиваю, почему в магазинах у вас молока нет? У меня у одного три коровы, я это молоко и государству сдаю, и сам ем, и свиней кормлю, и на землю лью... Вот у нас поселишься, понимаешь, проснешься поутру в поле идти, а она тебе, твоя-то, крынку парного, прямо из-под коровы, а? — Он крепко замигал обеими глазами по очереди, захохотал, ахнул Адрея по плечу и, твердо скрипя половицами, прошелся по комнате — остановил патефон и вернулся.— А воздух какой? У вас здесь и воздуха не осталось, зверинец у вас здесь, вот и весь ваш воздух... Кэнси, да что ты все стараешься? Девку позови, пусть поставит посуду.
— Она там картошку чистит,— сказал Андрей, улыбаясь. Потом спохватился и стал помогать Кэнси. Очень свой человек был Давыдов. Очень близкий. Будто знакомы уже целый год. А что, если и верно — махнуть на болота? Молоко не молоко, а жизнь там, наверное, действительно здоровее. Ишь он какой стоит, как памятник!
— Стучит там кто-то,— сообщил Давыдов.— Открыть, или сам откроешь?
— Сейчас,— сказал Андрей и пошел к парадному. За дверью оказался Ван — уже без ватника, в синей саржевой рубахе до колен и с вафельным полотенцем вокруг голоаы.
— Баки привезли! — сказал он, радостно улыбаясь.
— Ну и хрен с ними,— ответствовал Андрей не менее радостно.— Баки подождут. Ты почему один? А Мэйлинь где?
— Она дома,— сказал Ван.— Устала очень. Спит. Сын немного захворал.
— Ну, заходи, чего стоишь... Пойдем, я тебя с хорошим человеком познакомлю.
— А мы уже знакомы,— сказал Ван, входя в столовую.
— А, Ваня! — обрадованно закричал Давыдов.— И ты тоже тут! Нет,— сказал он, обращаясь к Кэнси.— Знал я, что Андрей — хороший парень. Видишь, все у него хорошие люди собираются. Тебя вот взять, или еврейчика этого... как его... Ну, теперь у нас пойдет пир горой! Пойду посмотрю, чего они там копаются. Там и делать-то нечего, а они, понимаешь, развели работу...
Ван быстро оттеснил Кэнси от стола и принялся аккуратно и ловко переставлять приборы. Кэнси свободной рукой и зубами поправлял повязку. Андрей сунулся ему помогать.
— Что-то Дональд не идет,— сказал он озабоченно.
— Заперся у себя,— отозвался Ван.— Не велел беспокоить.
— Чего-то он хандрит, ребята, последнее время. Ну, и бог с ним. Слушай, Кэнси, что это у тебя с рукой?
Кэнси ответил, слегка скривив лицо:
— Павиан цапнул. Такая сволочь — до кости прокусил.
— Ну да? — поразился Андрей.— А мне показалось, они, вроде, мирные...
— Ну, знаешь, мирные... Когда тебя поймают и начнут тебе ошейник клепать...
— Какой ошейник?
— Приказ пятьсот семь. Всех павианов перерегистрировать и снабдить ошейником с номером. Завтра будем раздавать их населению. Ну, мы штук двадцать окольцевали, а остальных перегнали на соседний участок, пусть там разбираются. Ну, чего ты стоишь с открытым ртом?.. Рюмки давай, рюмок не хватает...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Когда выключили солнце, вся компания была порядочно уже на взводе. В мгновенно наступившей темноте Андрей вылез из-за стола и, сшибая ногами какие-то кастрюли, стоящие на полу, добрался до выключателя.

— Н-не пугайтесь, милая фрейлейн,— бубнил у него за спиной Фриц.— Это здесь всегда...

— Да будет свет! — провозгласил Андрей, старательно выговаривая слова.

Под потолком вспыхнула пыльная лампочка. Свет был жалкий, как в подворотне. Андрей обернулся и оглядел собрание.

Все было очень хорошо. Во главе стола на высокой кухонной табуретке восседал, слегка покачиваясь, Юрий Константинович Давыдов, полчаса назад ставший для Андрея раз и навсегда дядей Юрой. В крепко сжатых зубах дяди Юры дымилась атлетическая козья нога, в правой руке он сжимал граненый стакан, полный благородного первача, а заскорузлым указательным пальцем левой водил перед носом сидящего рядом Изи Кацмана, который был уже вовсе без галстука и без пиджака, а на подбородке и на груди его сорочки явственно обнаруживались следы мясного соуса.

По правую руку от дяди Юры скромно сидел Ван — перед ним стояла самая маленькая тарелочка с маленьким кусочком и лежала самая щербатая вилка, а бокал для первача он взял себе с отбитым краем. Голова его совсем ушла в плечи, лицо с закрытыми глазами было поднято и блаженно улыбалось: Ван наслаждался покоем.

Быстроглазый разрумянившийся Кэнси с аппетитом закусывал кислой капустой и что-то живо рассказывал Отто, героически сражавшемуся с осоловением и, в минуты одержанных побед, громко восклицавшему: «Да! Конечно! Да! О, да!»

Сельма Нагель, шведская шлюха, была прямо-таки красавица. Она сидела в кресле, перекинув ноги через мягкий подлокотник, и сверкающие эти ноги находились как раз на уровне груди бравого унтера Фрица, так что глаза у Фрица горели, и весь он шел красными пятнами от возбуждения. Он лез к Сельме с полным стаканом и все норовил выпить с нею на брудершафт, а Сельма отпихивала его своим бокалом, хохотала, болтала ногами и время от времени стряхивала волосатую ласковую лапу Фрица со своих коленок.

Только стул Андрея по другую сторону от Сельмы был пуст, и был печально пуст стул, поставленный для Дональда. Жалко как — Дональда нет, подумал Андрей. Но! Выдержим, перенесем и это! И не с таким нам приходилось справляться... Мысли его несколько путались, но общий настрой был мужественный, с легким налетом трагизма. Он вернулся на свое место, взял стакан и заорал:

— Тост!

Никто не обратил на него внимания, только Отто дернул головой, словно кусаемая слепнями лошадь, и отозвался: «Да! О, да!»

— Я сюда приехал, потому что поверил! — громко басил дядя Юра, не давая хихикающему Изе убрать его сучковатый палец у себя из-под носа.— А поверил потому, что больше верить было не во что. А русский человек должен во что-то верить, понял, браток? Если ни во что не верить, ничего, кроме водки, не останется. Даже чтобы бабу любить, нужно верить. В себя нужно верить, без веры, браток, и палку хорошую не бросишь...

— Ну да, ну да! — откликался Изя.— Если у еврея отнять веру в бога, а у русского — веру в доброго царя, они становятся способны черт знает на что...

— Нет... Подожди! Евреи — это дело особое...

— Главное, Отто, не напрягайтесь,— говорил в то же время Кэнси, с удовольствием хрустя капустой.— Все равно никакого обучения нет и просто быть не может. Сами подумайте, зачем нужно профессиональное обучение в городе, где каждый то и дело меняет профессию.

— О да! — ответствовал Отто, на секунду проясняясь.— То же самое я говорил господину министру.

— И что же министр? — Кэнси взял стакан первача и сделал несколько маленьких глотков — словно чай пил.

— Господин министр сказал, что это чрезвычайно интересная мысль, и предложил мне составить разработку,— Отто шмыгнул носом, глаза его налились слезами.— А я вместо этого пошел к Эльзе...

— ...И когда танк оказался на расстоянии двух метров от меня,— гундел Фриц, проливая первач на белые ноги Сельмы,— я вспомнил все!.. Вы не поверите, фрейлейн, все прожитые годы прошли передо мною... Но я — солдат! С именем фюрера...

— Да нет давно вашего фюрера! — втолковывала ему Сельма, плача от смеха.— Сожгли его, вашего фюрера!..

— Фрейлейн! — произнес Фриц, угрожающе выпячивая челюсть.— В сердце каждого истинного немца фюрер жив! Фюрер будет жить века! Вы — арийка, фрейлейн, вы меня поймете: когда р-русский танк... в трех метрах... я, с именем фюрера!..



— Да надоел ты со своим фюрером! — заорал на него Андрей.— Ребята! Ну, сволочи же, слушайте же тост!

— Тост? — спохватился дядя Юра.— Давай! Вали, Андрюха!

— За псютздесдам! — вдруг выпалил Отто, отстраняя от себя Кэнси.

— Да заткнись ты! — гаркнул Андрей.— Изя, перестань ты скалиться! Я серьезно говорю! Кэнси, черт тебя подери!.. Я считаю, ребята, что мы должны выпить... мы уже пили, но как-то мимоходом, а надо основательно, по-серьезному выпить за наш Эксперимент, за наше благородное дело и в особенности...

— За вдохновителя всех наших побед товарища Сталина! — заорал Изя.

Андрей сбился.

— Нет... слушай...— пробормотал он.— Чего ты меня перебиваешь? Ну, и за Сталина, конечно... Черт, сбил меня совсем... Я хотел, чтобы мы за дружбу выпили, дурак!

— Ничего, ничего, Андрюха! — сказал дядя Юра.— Тост хороший, за Эксперимент надо выпить, за дружбу тоже надо выпить. Хлопцы, берите стаканы, за дружбу выпьем и чтобы все было хорошо.

— А я за Сталина выпью! — упрямилась Сельма.— И за Мао Цзе-дуна. Эй, Мао Цзе-дун, слышишь? За тебя пью! — крикнула она Вану.

Ван вздрогнул, жалобно улыбаясь, взял стакан и пригубил.

— Цзе-дун? — спросил Фриц угрожающе.— К-то такой?

Андрей залпом осушил свой стакан и, слегка оглушенный, торопливо тыкал вилкой в закуску. Все разговоры доносились сейчас до него, словно из другой комнаты. Сталин... Да, конечно. Какая-то связь должна быть... Как это мне раньше в голову не приходило? Явление одного масштаба — космического. Должна быть какая-то связь и взаимосвязь... Скажем, такой вопрос: выбрать между успехом Эксперимента и здоровьем товарища Сталина... Что лично мне, как гражданину, как бойцу... Правда, Кацман говорит, что Сталина не стало, но это не существенно. Предположим, что он жив. И предположим, что передо мной такой выбор: Эксперимент или дело Сталина... Нет, чепуха, не так. Продолжать дело Сталина под сталинским руководством или продолжать дело Сталина в совершенно других условиях, в необычных, в не предусмотренных никакой теорией — вот как ставится вопрос...

— А откуда ты взял, что Наставники продолжают дело Сталина? — донесся вдруг до него голос Изи, и Андрей понял, что уже некоторое время говорит вслух.

— А какое еще дело они могут делать? — удивился он.— Есть только одно дело на Земле, которым стоит заниматься,— построение коммунизма! Это и есть дело Сталина.

— Двойка тебе по «Основам»,— отозвался Изя.— Дело Сталина — это построение коммунизма в одной отдельно взятой стране, последовательная борьба с империализмом и расширение социалистического лагеря до пределов всего мира. Что-то я не вижу, как ты можешь эти задачи осуществить здесь.

— Ску-учно! — заныла Сельма.— Музыку давайте! Танцевать хочу!

Но Андрей уже ничего не видел и не слышал.

— Ты догматик! — гаркнул он.— Талмудист и начетчик! И вообще метафизик. Ничего, кроме формы, ты не видишь. Мало ли какую форму принимает Эксперимент? А содержание у него может быть только одно, и конечный результат только один: установление диктатуры пролетариата в союзе с трудящимися фермерами...

— И с трудовой интеллигенцией! — вставил Изя.

— С какой там еще интеллигенцией... Тоже мне говна-пирога — интеллигенция!..

— Да, правда,— сказал Изя.— Это из другой эпохи.

— Интеллигенция вообще импотентна! — заявил Андрей с ожесточением.— Лакейская прослойка. Служит тем, у кого власть.

— Банда хлюпиков! — рявкнул Фриц.— Хлюпики и болтуны, вечный источник расхлябанности и дезорганизации!

— Именно! — Андрей предпочел бы, чтобы его поддержал, скажем, дядя Юра, но и в поддержке Фрица была полезная сторона.— Вот, пожалуйста: Гейгер. Вообще-то — классовый враг, а позиция полностью совпадает с нашей. Вот и получается, что с точки зрения любого класса интеллигенция — это дерьмо.— Он скрипнул зубами.— Ненавижу... Терпеть не могу этих бессильных очкариков, болтунов, дармоедов. Ни внутренней силы у них нет, ни веры, ни морали...

— Когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за пистолет! — металлическим голосом провозгласил Фриц.

— Э, нет! — сказал Андрей.— Тут мы с тобой расходимся. Это ты брось! Культура есть великое достояние освободившегося народа. Тут надо диалектически...

Где-то рядом гремел патефон, пьяный Отто, спотыкаясь, танцевал с пьяной Сельмой, но Андрея это не интересовало. Начиналось самое лучшее, то самое, за что он больше всего на свете любил эти сборища. Спор.

— Долой культуру! — вопил Изя, прыгая с одного свободного стула на другой, чтобы подобраться поближе к Андрею.— К нашему Эксперименту она отношения не имеет. В чем задача Эксперимента? Вот вопрос! Вот ты мне что скажи.

— Я уже сказал: создать модель коммунистического общества!

— Да на кой ляд Наставникам модель коммунистического общества, посуди ты сам, голова садовая!

— А почему нет? Почему?

— Я все-таки полагаю так,— сказал дядя Юра,— что Наставники — это не настоящие люди. Что они, как это сказать, другой породы, что ли... Посадили они нас в аквариум... или как бы в зоосад... и смотрят, что из этого получается.

— Это вы сами придумали, Юрий Константинович? — с огромным интересом повернулся к нему Изя.

Дядя Юра пощупал правую скулу и неопределенно ответил:

— В спорах родилось.

Изя даже стукнул кулаком по столу.

— Поразительная штука! — сказал он с азартом.— Почему? Откуда? У самых различных людей, причем мыслящих в общем-то вполне конформистски, почему рождается такое представление — о нечеловеческом происхождении Наставников? Представление, что Эксперимент проводится какими-то высшими силами.

— Я, например, спросил прямо,— вмешался Кэнси.— «Вы пришельцы?» Он от прямого ответа уклонился, но фактически и не отрицал.

— А мне было сказано, что они люди другого измерения,— сказал Андрей. О Наставнике говорить было неловко, как о семейном деле с посторонними людьми.— Но я не уверен, что я правильно понял... Может быть, это было иносказание...

— А я не желаю! — заявил вдруг Фриц.— Я — не насекомое. Я — сам по себе. А-а! — он махнул рукой.— Да разве я попал бы сюда, если бы не плен?

— Но почему? — говорил Изя.— Почему? Я тоже ощущаю все время какой-то внутренний протест, и сам не понимаю, в чем здесь дело. Может быть, их задачи в конечном счете близки к нашим...

— А я тебе о чем толкую! — обрадовался Андрей.

— Не в этом смысле,— нетерпеливо отмахнулся Изя.— Не так это все прямолинейно, как у тебя. Они пытаются разобраться в человечестве, понимаешь? Разобраться! А для нас проблема номер один — то же самое: разобраться в человечестве, в нас самих. Так, может быть, разбираясь сами, они помогут разобраться и нам?

— Ах, нет, друзья! — сказал Кэнси, мотая головой.— Ах, не обольщайтесь. Готовят они колонизацию Земли и изучают на нас с вами психологию будущих рабов...

— Ну, почему, Кэнси? — разочарованно произнес Андрей.— Почему такие страшные предположения? По-моему, просто нечестно так о них думать...

— Да я, наверное, так и не думаю,— отозвался Кэнси.— Просто у меня какое-то странное чувство... Все эти павианы, превращения воды, всеобщий кабак изо дня в день... В одно прекрасное утро еще смешение языков нам устроют... Они словно систематически готовят нас к какому-то жуткому миру, в котором мы должны будем жить отныне и присно, и во веки веков. Это как на Окинаве... Я был тогда мальчишкой, шла война, и у нас в школе окинавским ребятам запрещалось разговаривать на своем диалекте. Только по-японски. А когда какого-нибудь мальчика уличали, ему вешали на шею плакат: «Не умею правильно говорить». Так и ходил с этим плакатом.

— Да, да, понимаю...— проговорил Изя, с остановившейся улыбкой дергая и пощипывая бородавку на шее.

— А я — не понимаю! — объявил Андрей.— Все это — извращенное толкование, неверное... Эксперимент есть Эксперимент. Конечно, мы ничего не понимаем. Но ведь мы и не должны понимать! Это же основное условие! Если мы будем понимать, зачем павианы, зачем сменность профессий... такое понимание сразу обусловит наше поведение, Эксперимент потеряет чистоту и провалится. Это же ясно! Ты как считаешь, Фриц?

Фриц покачал белобрысой головой.

— Не знаю. Меня это не интересует. Меня не интересует, чего там *они* хотят. Меня интересует, чего *я* хочу. А я хочу навести порядок в этом бардаке. Вообще, кто-то из вас говорил, я уже не помню, что может быть и вся задача Эксперимента состоит в том, чтобы отобрать самых энергичных, самых деловых, самых твердых... Чтобы не языками трепали, и не расползались как тесто, и не философии бы разводили, а гнули бы свою линию. Вот таких они отберут — таких, как я, или, скажем, ты, Андрей,— и бросят обратно на Землю. Потому что раз здесь не дрогнули, то и там не дрогнем...

— Очень может быть! — глубокомысленно сказал Андрей.— Я это тоже вполне допускаю.

— А вот Дональд считает,— тихонько сказал Ван,— что Эксперимент уже давным-давно провалился.

Все посмотрели на него. Ван сидел в прежней позе покоя — втянув голову в плечи и подняв лицо к потолку; глаза его были закрыты.

— Он сказал, что Наставники давно запутались в собственной затее, перепробовали все, что можно, и теперь уже сами не знают, что делать. Он сказал: полностью обанкротились. И все теперь просто катится по инерции.

Андрей в полной растерянности полез в затылок — чесаться. Вот так Дональд! То-то он сам не свой ходит... Другие тоже молчали. Дядя Юра медленно сворачивал очередную козью ножку, Изя с окаменевшей улыбкой щипал и терзал бородавку, Кэнси опять принялся за капусту, а Фриц, не отрываясь, глядел на Вана, выдвигая и снова ставя на место челюсть. Вот так и начинается разложение, мелькнуло у Андрея в голове. Вот с таких вот разговоров. Непонимание рождает неверие. Неверие — смерть. Очень, очень опасно. Наставник говорил прямо: главное — поверить в идею до конца, без оглядки. Осознать, что непонимание — это непременнейшее условие Эксперимента. Естественно, это самое трудное. У большинства здесь нет настоящей идейной закалки, настоящей убежденности в неизбежности светлого будущего. Что сегодня

может быть как угодно тяжело и плохо, и завтра — тоже, но послезавтра мы обязательно увидим небо в звездах, и на нашей улице наступит праздник...

— Я — человек неученый,— сказал вдруг дядя Юра, любовно заклеивая языком свою козью ногу.— У меня четыре класса образования, если хотите знать, и я тут уже Изе говорил, что сюда я, прямо скажем, попросту удрал... Как вот ты...— Он указал козьей ногой на Фрица.— Только тебе из плена дорога открылась, а мне, значит, из деревни. Я, если войны не считать, всю жизнь в деревне прожил и всю жизнь света не видел. А здесь вот — увидел! Что они там со своим Экспериментом мудрят — прямо скажу, братки, не моего это ума дело, да и не так уж интересно. Но я здесь — свободный человек, и пока мою эту свободу не тронули, я тоже никого не трону. А вот если тут которые найдутся, чтобы наше нынешнее положение фермерское переменить, то тут я вам в точности обещаю: мы от вашего города камня на камне не оставим. Мы вам, мать вашу так, не павианы. Мы вам, мать вашу так, ошейники себе на горло положить не дадим!.. Вот такие вот пироги, браток,— сказал он, обращаясь непосредственно к Фрицу.

Изя рассеянно хихикнул, и снова воцарилось неловкое молчание. Андрея речь дяди Юры несколько удивила, и он решил, что у Юрия Константиновича жизнь, видимо, сложилась особенно тяжело, и если он говорит, что света он не видел, значит, есть у него на то особые основания, о которых расспрашивать его и тем более сейчас было бы бестактно. Поэтому он только сказал:

— Рано мы, наверное, поднимаем все эти вопросы. Эксперимент длится не так уж долго, работы — неапроворот, надо работать и верить в правоту...

— Это откуда ты взял, что Эксперимент длится недолго? — перебил его Изя с насмешкой.— Эксперимент длится лет сто, не меньше. То есть он длится наверняка гораздо больше, но просто за сто лет я ручаюсь.

— А ты откуда знаешь?

— Ты на север далеко заходил? — спросил Изя.

Андрей смешался. Он понятия не имел, что здесь вообще есть север.

— Ну, север! — нетерпеливо сказал Изя.— Условно считаем, что направление на солнце, та сторона, где болота, поля, фермеры — это юг, а противоположная сторона, в глубину города — север. Ты ведь дальше мусорных свалок нигде и не был... А там еще город и город, там огромные кварталы, целехонькие, дворцы...— он хихикнул.— Дворцы и хижины. Сейчас там, конечно, никого нет, потому что воды нет, но когда-то жили, и было это «когда-то», я тебе скажу, довольно давно. Я там такие документы в пустых домах обнаружил, что ой-ей-ей! Слыхал про такого монарха, Велиария Второго? То-то! А он, между прочим, там царствовал. Только в те времена, когда он там царствовал, здесь,— он постучал ногтем по столу,— здесь были болота и вкалывали на этих болотах крепостные... или рабы. И было это не меньше, чем сто лет назад...

Дядя Юра качал головой и цокал языком. Фриц спросил:

— А еще дальше на север?

— Дальше я не ходил,— сказал Изя.— Но я знаю людей, которые заходили очень далеко — километров на сто — сто пятьдесят, а многие уходили и не возвращались.

— Ну, и что там?

— Город.— Изя помолчал.— Правда, и врут про те места тоже безбожно. Поэтому я и говорю только о том, что сам разузнал. Верные сто лет. Понял, друг мой Андрюша? Сто лет. За сто лет на любой эксперимент плюнуть можно.

— Ну ладно, ну подожди...— пробормотал Андрей, потерявшись.— Но ведь не плюнули же! — оживился он.— Раз набирают новых и новых людей, значит, не бросили, не отчаялись! Просто очень трудная задача поставлена.— Новая мысль пришла ему в голову, и он оживился еще больше.— И вообще: откуда ты знаешь, какой у них масштаб времени? Может быть, наш год для них — секунда?..

— Да ничего я этого не знаю,— сказал Изя, пожимая плечами.— Я пытаюсь тебе объяснить, в каком мире ты живешь — вот и все.

— Ладно! — прервал его дядя Юра решительно.— Хватит нам из пустого в порожнее переливать!.. Эй, малый! Как тебя... Отто! Брось девку, и тащи ты нам... Нет, окосел он. Разобьет он мне бутыль, схожу сам...

Он слез с табурета, взял со стола опустевший кувшин и отправился на кухню. Сельма бухнулась на свое место, снова задрала ноги выше головы и капризно толкнула Андрея в плечо.

— Вы долго еще будете эту бодягу тянуть? Развели скучищу... Эксперимент, эксперимент... Дай закурить!

Андрей дал ей закурить. Неожиданно оборвавшийся разговор взбаламутил в нем какой-то неприятный осадок — что-то было недоговорено, что-то было не так понято, не дали ему объяснить, не получилось единства... И Кэнси вот сидит какой-то грустный, а с ним это бывает редко... Слишком много мы о себе думаем, вот что! Эксперимент Экспериментом, а каждый норовит гнуть какую-то свою линию, цепляется за свою позицию, а надо-то вместе, вместе надо!..

Тут дядя Юра бухнул на стол новую порцию, и Андрей махнул на все рукой. Выпили по стакану, закусили, Изя выдал анекдот — грохнули. Дядя Юра тоже выдал анекдот, чудовищно неприличный, но очень смешной. Даже Ван смеялся, а Сельма просто скисла от хохота. «В крынку...— захлебывалась она, утирая глаза ладонями.— В крынку не лезет!..» Андрей ахнул кулаком по столу и затянул любимую мамину:

А хто пье, тому наливайтэ,
А хто не пье, тому нэ давайтэ,
А мы будэм питы, тай бога хвалиты,
И за нас, и за вас, в за нэньку старэньку,
Шо вывчила нас горилочку пить помалэньку...

Ему подтягивали, кто как может, а потом Фриц, бешено выпучив глаза, проорал на пару с Отто какую-то незнакомую, но отличную песню про дрожащие кости старого дряхлого мира — великолепную боевую песню. Глядя, как Андрей с воодушевлением пытается подтягивать, Изя Кацман хихикал и булькал, потирая руки, и тут дядя Юра вдруг, уставясь своими ерническими светлыми глазами на голые ляжки Сельмы, заревел медвежьим голосом:

А по деревне пойдитё,
Играетё и поетё,
А мое сердце беспокоетё
И спать не даетё...

Успех был полный, и дядя Юра продолжил:

А девки, сами знаетё,
Да чем заманиваетё:
Сулитё, не даетё,
Все обманываетё...

Тут Сельма сняла ноги с подлокотника, отпихнула Фрица и сказала с обидой:

— Ничего я вам не сулю, нужны вы мне все...

— Да я ж вообще...— сказал дядя Юра, сильно смутившись.— Это песня такая. Сама ты мне больно нужна...

Чтобы замять инцидент, выпили еще по стакану. Голова у Андрея пошла кругом. Он смутно сознавал, что возится с патефоном и что сейчас уронит его, и патефон действительно упал на пол, но нисколько не пострадал, а, напротив, начал играть даже как будто бы громче. Потом он танцевал с Сельмой, и бока у Сельмы оказались теплые и мягкие, а груди — неожиданно крепкие и большие, что было чертовски приятным сюрпризом: обнаружить нечто прекрасно оформленное под этим бесформенными складками колючей шерсти. Они танцевали, и он держал ее за бока, а она взяла его ладонями за щеки и сказала, что он — очень славный мальчик и очень ей нравится, и в благодарность он сказал ей, что любит ее, и всегда любил, и теперь ее от себя никуда не отпустит... Дядя Юра грохал кулаком по столу, провозглашал: «Что-то стало холодать, не пора ли нам поддать...», обнимал совершенно уже сникшего Вана и крепко лобызал его троекратно по русскому обычаю. Потом Андрей оказался посередине комнаты, а Сельма снова сидела за столом, кидала в раскисшего Вана хлебными шариками и называла его Мао Цзе-дуном. Это навело Андрея на идею спеть «Москва — Пекин», и он тут же исполнил эту прекрасную песню с необычайным азартом и задором, и потом вдруг оказалось, что они с Изей Кацманом стоят друг против друга и, страшно округлив глаза, все более и более понижая голоса в зловещем шепоте, повторяют, выставив указательные пальцы: «С-слушают нас!.. С-слуш-шают нас-с!..» Далее они с Изей оказались каким-то образом втиснутыми в одно кресло, а перед ними на столе, болтая ногами, сидел Кэнси, и Андрей горячо втолковывал ему, что здесь он готов на любую работу, здесь — любая работа дает особое удовлетворение, что он замечательно чувствует себя, работая мусорщиком.

— Вот я — мусор...щик! — выговаривал он с трудом.— Мусорг... мусоргщик!

А Изя, плюясь ему в ухо, долдонил что-то неприятное, обидное что-то: якобы он, Андрей, на самом деле просто испытывает сладострастное унижение от того, что он мусорщик («...да, я мусорг...щик!»), что вот он такой умный, начитанный, способный, годный на гораздо большее, тем не менее терпеливо и с достоинством, не в пример другим-прочим, несет свой тяжкий крест... Потом появилась Сельма и сразу его утешила. Она была мягкая и ласковая, и делала все, что он хотел, и не перечила ему, и тут в его ощущениях образовался сладостный опустошающий провал, а когда он вынырнул из этого провала, губы у него были распухшие и сухие, Сельма уже спала на его кровати, и он отеческим движением поправил на ней юбку, накинул на нее одеяло, привел в порядок свой собственный туалет и, стараясь ступать бодро, снова вышел в столовую,

споткнувшись по дороге о вытянутые ноги несчвстного Отто, который спал на стуле в чудовищно неудобной позе человека, убитого выстрелом в затылок.

На столе возвышалась уже сама четвертная бутыль, а все участники веселья сидели, подперев валохмаченные головы, и дружно тянули вполголоса: «Там в степи-и глухой за-амерзал ямщик...», и из бледных арийских глаз Фрица катились крупные слезы. Андрей присоединился было к хору, но тут раздался стук в дверь. Он открыл — какая-то закутанная в платок женщина в нижней юбке и ботинках на босу ногу спросила, здесь ли дворник. Андрей растолкал Вана и объяснил ему, где Ван находится и что от него требуется. «Спасибо, Андрей»,— сказал Ван, внимательно его выслушав, и, вяло шаркая подошвами, удалился. Оставшиеся допели «ямщика», и дядя Юра предложил выпить, «щоб дома нэ журылись», но тут выяснилось, что Фриц спит и чокаться поэтому не может. «Ну, все,— сказал дядя Юра.— Это, значит, будет последняя...» Но прежде, чем они выпили по последней, Изя Кацман, ставший вдруг странно серьезным, исполнил соло еще одну песню, которую Андрей не совсем понял, а дядя Юра, кажется, понял вполне. В этой песне был рефрен «Аве, Мария!» и совершенно жуткая, словно с другой планеты, строфа:

Упекли пророка в республику Коми,
А он и перекинься башкою в лебеду.
А следователь-хмурик получил в месткоме
Льготную путевку на месяц в Теберду...

Когда Изя кончил петь, некоторое время было молчание, а затем дядя Юра вдруг со страшным треском обрушил пудовый кулак на столешницу, длинно и необычайно витиевато выматерился, после чего схватил стакан и припал к нему без всяких тостов. А Кэнси, по какой-то, одному ему понятной ассоциации, чрезвычайно неприятным визгливым и яростным голосом спел другую, явно маршевую, песню, в которой говорилось о том, что если все японские солдаты примутся разом мочиться у Великой Китайской стены, то над пустыней Гоби встанет радуга; что сегодня императорская армия в Лондоне, завтра — в Москве, а утром в Чикаго будет пить чай; что сыны Ямато расселись по берегам Ганга и удочками ловят крокодилов... Потом он замолчал, попытался закурить, сломал несколько спичек и вдруг рассказал об одной девочке, с которой он дружил на Окинаве — ей было четырнадцать лет, и она жила в доме напротив. Однажды пьяные солдаты изнасиловали ее, а когда отец пришел жаловаться в полицию, явились жандармы, взяли его и девочку, и больше Кэнси их никогда не видел...

Все молчали, когда в столовую заглянул Ван, окликнул Кэнси и поманил его к себе.

— Вот такие-то дела...— сказал дядя Юра уныло.— И ведь смотри: что на Западе, что у нас в России, что у желтых — везде ведь одно. Власть неправедная. Нет уж, братки, я там ничего не потерял. Я уж лучше тут...

Вернулся бледный озабоченный Кэнси и принялся искать свой ремень. Мундир у него уже был застегнут на все пуговицы.

— Что-нибудь случилось? — спросил Андрей.

— Да. Случилось,— отрывисто сказал Кэнси, оправляя кобуру.— Дональд Купер застрелился. Около часа назад.

Часть вторая. СЛЕДОВАТЕЛЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

У Андрея вдруг ужасно заболела голова. Он с отвращением раздавил в переполненной пепельнице окурок, выдвинул средний ящик стола и заглянул, нет ли там каких-нибудь пилюль. Пилюль не было. Поверх старых перепутанных бумаг лежал огромный армейский пистолет, по углам пряталась всякая канцелярская мелочь в обтрепанных картонных коробочках, валялись огрызки карандашей, табачный мусор, несколько сломанных сигарет. От всего этого головная боль только усилилась. Андрей с треском задвинул ящик, подпер голову руками так, чтобы ладони закрывали глаза, и сквозь щелки между пальцами стал смотреть на Питера Блока.

Питер Блок, по прозвищу Копчик, сидел в отдалении на табурете, смиренно сложив на костлявых коленях красные лапки, и равнодушно мигал, время от времени облизываясь. Голова у него явно не болела, но зато ему, видимо, хотелось пить. И, вероятно, курить тоже. Андрей с усилием оторвал ладони от лица, налил себе из графина тепловатой воды и, преодолев легкий спазм, выпил полстакана. Питер Блок облизнулся. Серые глаза его были по-прежнему невыразительны и пусты. Только на тощей грязноватой шее, торчащей из расстегнутого воротничка сорочки, длинно съехал книзу и снова подскочил к подбородку могучий хрящеватый кадык.

— Ну? — сказал Андрей.

— Не знаю,— хрипло ответил Копчик.— Не помню ничего такого.

«Сволочь,— подумал Андрей.— Животное».

— Как же это у вас получается? — сказал он.— Бакалею в Шерстяном переулке обслуживали; когда обслуживали — помните, с кем обслуживали — помните. Хорошо. Кафе Дрейдуса обслуживали, когда и с кем — тоже помните. А вот лавку Гофштаттера почему-то забыли. А ведь это ваше последнее дело, Блок.

— Не могу знать, господин следователь,— возразил Копчик с отвратительнейшей почтительностью.— Это кто-то на меня, извиняюсь, клепает. У меня, как мы после Дрейдуса завязали, как мы, значит, избрали путь окончательного исправления и полезного трудоустройства, так, значит, у меня никаких дел такого рода больше и не было.

— Гофштаттер-то вас опознал.

— Я очень извиняюсь, господин следователь,— теперь в голосе Копчика явственно слышалась ирония.— Но ведь господин Гофштаттер того-с, это кому угодно известно. Все у него, значит, перепуталось. В лавке у него я бывал, это точно — картошечки там купить, лучку... Я и раньше замечал, что у него, извиняюсь, в черепушке не все хорошо, знал бы, как дело обернется, перестал бы к нему ходить, а то вот, надо же...

— Дочь Гофштаттера вас тоже опознала. Это вы ей угрожали ножом, вы персонально.

— Не было этого. Было кое-что, но совсем не то. Вот она ко мне с ножом к горлу приставала — это было! Зажала меня однажды в кладовке у них — еле ноги унес. У нее же сдвиг на половой почве, от нее все мужики в околотке по углам прячутся...— Копчик снова облизнулся.— Главное, говорит мне: заходи, говорит, в кладовую, сам, говорит, капусту выбирай...

— Это я уже слышал. Повторите лучше еще раз, что вы делали и где вы были в ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое. Подробно, начиная с момента выключения солнца.

Копчик возвел глаза к потолку.

— Значит, так,— начал он.— Когда солнце выключилось, я сидел в пивной на углу Трикотажного и Второго, играл в карты. Потом Джек Ливер позвал меня в другую пивную, мы пошли, занернули по дороге к Джеку, хотели прихватить его шмару да задержались, стали там пить. Джек насосался, и шмара его уложила в постель, а меня выгнала. Я пошел домой спать, но был сильно нагрузившись и по дороге сцепился с какими-то, трое их было, тоже пьяные, никого из них не знаю, впервые в жизни увидел. Они мне так навешали, что я уж больше ничего и не помню, утром только очухался у самого обрыва, еле домой добрался. Лег я спать, а тут за мной пришли...

Андрей полистал дело и нашел листок медицинской экспертизы. Листок был уже слегка засален.

— Подтверждается только то, что вы были пьяны,— сказал он.— Медэкспертиза не подтверждает, что вы были избиты. Следов избиения у вас на теле не обнаружено.

— Аккуратно, значит, работали ребята,— сказал Копчик с одобрением.— Были у них, значит, чулки с песком... У меня до сих пор все ребра болят... а меня в госпиталь отказываются... Вот сдохну у вас тут — будете все за меня отвечать...

— Трое суток у вас ничего не болело, а как только предъявили вам акт экспертизы — сразу заболело...

— Как же — не болело? Сил никаких не было, как болело, терпежу не стало, вот и жаловаться начал.

— Перестаньте врать, Блок,— устало сказал Андрей.— Срамно слушать...

Его уже тошнило от этого гнусного типа. Бандит, гангстер, попался буквально с поличным — и никак его не возьмешь... Опыта у меня не хватает, вот что. Другие таких вот раскалывают в два счета... А Копчик между тем горестно завздыхал, жалобно искривил лицо, закатил зрачки под лоб и, слабо постанывая, заерзал на сиденье, вознамерившись, по-видимому, половчее грянуться в обморок, чтобы ему дали стакан воды и отправили спать в камеру. Андрей сквозь щели между пальцами с ненавистью следил за этими омерзительными манипуляциями. «Ну, давай, давай,— думал он.— Попробуй мне только пол заблевать — я тебя, сукиного сына, одной промокашкой заставлю все подобрать...»

Дверь распахнулась, и в кабинет уверенной походкой вошел старший следователь Фриц Гейгер. Скользнув равнодушным взглядом по скорченному Копчику, он приблизился к столу и присел боком на бумаги. Не спрашивая, вытряхнул из Андреевой пачки несколько сигарет, одну сунул в зубы, остальные аккуратно уложил в тонкий серебряный портсигар. Андрей чиркнул спичкой, Фриц затянулся, кивнул в знак благодарности и выпустил в потолок струю дыма.

— Шеф велел взять у тебя дело Черных Сороконожек,— сказал он негромко.— Если не возражаешь, конечно.— Он еще более понизил голос и значительно сморщил губы.— По-видимому, шефу здорово всыпал Главный прокурор. Он сейчас всех к себе вызывает и дает накачку. Жди — скоро и до тебя доберется...

Он еще раз затянулся и посмотрел на Копчика. Копчик, вытянувший было шею подслушать, о чем шепчется начальство, тотчас опять съежился и издал жалобный стон. Фриц спросил:

— С этим ты, кажется, покончил?

Андрей помотал головой. Ему было стыдно. За последнюю декаду Фриц уже второй раз приходил забрать у него дело.

— Да ну? — удивился Фриц. Несколько секунд он оценивающе разглядывал Копчика, потом сказал вполголоса: — Ты позволишь? — и, не дожидаясь ответа, соскочил со стола.

Он подошел к подследственному вплотную и участливо наклонился над ним, держа сигарету на отлете.

— Все болит? — сочувственно осведомился он.

Копчик застонал утвердительно.

— Пить хочется?

Копчик снова застонал и протянул дрожащую лапку.

— И курить, наверное, тоже хочется?

Копчик недоверчиво приоткрыл один глаз.

— У него все болит, у бедняги! — громко сказал Фриц, не оборачиваясь, впрочем, к Андрею.— Жалко же смотреть, как мучается человек. Здесь у него болит... и здесь у него болит... и вот здесь у него болит...

Повторяя эти слова на разные лады, Фриц делал короткие непонятные движения рукой, свободной от сигареты, и жалобное мычание Копчика вдруг прервалось, сменилось какими-то крякающими и словно бы удивленными ахами, а лицо его побелело.

— Встать, сволочь! — неожиданно заорал Фриц во все горло и отступил на шаг.

Копчик немедленно вскочил, и тогда Фриц нанес ему страшный режущий удар в живот. Копчика согнуло пополам, а Фриц раскрытой ладонью с глухим стуком ударил его снизу в подбородок. Копчик качнулся назад, опрокинул табуретку и упал на спину.

— Встать! — снова заревел Фриц.

Копчик, всхлипывая и задыхаясь, торопливо возился на полу. Фриц подскочил к нему, схватил за ворот и рывком вздернул на ноги. Лицо Копчика было теперь совсем белое, с прозеленью, глаза выкатились, обезумели, он обильно потел.

Андрей, гадливо морщась, опустил глаза и принялся шарить дрожащими пальцами в пачке, силясь ухватить сигарету. Надо было что-то делать, но непонятно — что. С одной стороны, действия Фрица были омерзительны и бесчеловечны, но с другой стороны, не менее омерзителен и бесчеловечен был этот явный бандит, грабитель, нагло издевающийся над правосудием, фурункул на теле общества...

— По-моему, ты недоволен обращением? — звучал между тем вкрадчивый голос Фрица.— Мне кажется, ты даже собираешься жаловаться. Так вот зовут меня Фридрих Гейгер. Старший следователь Фридрих Гейгер...

Андрей заставил себя поднять глаза. Копчик стоял, вытянувшись, всем корпусом откинувшись назад, а Фриц, вплотную к нему, слегка нагнувшись, нависал над ним, уперев руки в бока.

— Можешь жаловаться — мое нынешнее начальство ты знаешь... А вот кто был моим начальником раньше, тебе известно? Некто рейхсфюрер эс-эс Генрих Гиммлер! Слыхал такую фамилию? А знаешь ли ты, где я работал раньше? В учреждении, именуемом гестапо! А знаешь, чем я прославился в этом учреждении?..

Зазвонил телефон. Андрей снял трубку.

— Следователь Воронин слушает,— сказал он сквозь зубы.

— Мартинелли,— отозвался глуховатый, с одышкой, голос.— Зайдите ко мне, Воронин. Немедленно.

Андрей положил трубку. Он понимал, что у шефа его ожидает колоссальный втык, но он был рад сейчас уйти из этого кабинета — подальше от обезумевших глаз Копчика, от свирепо выдвинутой челюсти Фрица, от этой сгущающейся атмосферы застенка. Зачем это он... гестапо, Гиммлер...

— Меня шеф к себе вызывает,— сказал он не своим, скрипучим каким-то голосом, машинально выдвинул ящик стола и вложил пистолет в кобуру, чтобы быть по форме.

— Желаю удачи,— отозвался Фриц, не оборачиваясь.— Я здесь побуду, не беспокойся.

Андрей, все убыстряя шаг, пошел к двери и бомбой выскочил в коридор. Под сумрачными сводами стояла прохладная пахучая тишина, на длинной садовой скамейке под строгим взглядом дежурного охранника сидели неподвижно несколько обшарпанных типов мужского пола. Андрей прошел мимо ряда прикрытых дверей в следственные камеры, миновал лестничную площадку, где несколько молоденьких, последнего набора, следователей, непрерывно дымя папиросами, азартно объясняли друг другу свои дела, поднялся на третий этаж и постучал в кабинет шефа.

Шеф был мрачен. Толстые щеки его обвисли, редкие зубы были угрожающе оскалены, он тяжело, с присвистом, дышал через рот и смотрел на Андрея исподлобья.

— Сядьте,— проворчал он.

Андрей сел, положил руки на колени и уставился в окно. Окно было забрано решеткой, за стеклом была непроглядная тьма. Часов одиннадцать уже, подумал он. Сколько же времени я потратил на этого мерзавца...

— Сколько у вас дел? — спросил шеф.

— Восемь.

— Сколько намерены закончить к концу квартала?

— Одно.

— Плохо.

Андрей промолчал.

— Плохо работаете, Воронин. Плохо! — сипло сказал шеф. Его мучила одышка.

— Я знаю,— сказал Андрей покорно.— Никак не могу войти в колею.

— А пора бы! — шеф повысил голос до свистящего шипения.— Столько времени у нас работаете, а всего три жалких дела закрыли. Не выполняете свой долг перед Экспериментом, Воронин. А ведь вам есть у кого поучиться, есть с кем посоветоваться... Посмотрите, например, как работает ваш приятель, я имею в виду... э... я имею в виду Фридриха... э-э... У него, конечно, свои недостатки, но вам незачем перенимать у него именно недостатки. Можно перенимать и достоинства, Воронин. Вы пришли к нам вместе, а он уже закрыл одиннадцать дел.

— Я так не умею,— угрюмо сказал Андрей.

— Учиться. Надо учиться. Все мы учимся. Ваш... э-э... Фридрих тоже не с юридических курсов сюда пришел, а работает, и неплохо работает... Вот он уже старший следователь. Есть мнение, что пора его сделать заместителем начальника уголовного сектора... Да. А вот вами, Воронин, недовольны. Например, как у вас продвигается дело о Здании?

— Никак не продвигается,— сказал Андрей.— Это же не дело. Это — так, чушь, мистика какая-то...

— Почему же мистика, раз есть свидетельские показания? Раз есть потерпевшие? Люди-то пропадают, Воронин!

— Я не понимаю, как можно вести дело, построенное на легендах и слухах,— угрюмо сказал Андрей.

Шеф с натугой, с посвистом покашлял.

— Шевелить мозгами надо, Воронин,— просипел он.— Слухи, легенды — да. Мистическая оболочка — да. А зачем? Кому понадобилось? Откуда взялись слухи? Кто породил? Кто распространяет? Зачем? И главное — куда пропадают люди? Вы меня понимаете, Воронин?

Андрей собрался с духом и сказал:

— Понимаю вас, шеф. Но это дело не по мне. Я предпочитаю заниматься просто уголовщиной. Город кишит мерзавцами...

— А я предпочитаю разводить помидоры! — сказал шеф.— Обожаю помидоры, а здесь их почему-то не достать ни за какие деньги... Вы на службе, Воронин, и никого не интересует, что вы там предпочитаете, вам поручено дело о Здании — извольте его вести. То, что вы неумеха, я и сам вижу. При других обстоятельствах я бы дела о Здании вам бы не поручил. А при нынешних обстоятельствах поручаю. Почему? Потому что вы — наш человек, Воронин. Потому что вы здесь не номер отбываете, а сражаетесь! Потому что прибыли сюда не для себя, а для Эксперимента. Таких людей мало, Воронин. И поэтому я расскажу вам сейчас то, что служащим вашего ранга знать не полагается.

Шеф откинулся в кресло и некоторое время молчал, еще сильнее свистя грудью и совсем уже оскалившись.

— Мы боремся с гангстерами, с рэкетирами, с хулиганами, это все знают, это хорошо, это нужно. Но опасность номер один — это не они, Воронин. Во-первых, существует здесь такое явление природы, именуется Антигород. Слыхали? Нет, не слыхали. И правильно. Не должны были слышать. И чтобы никто от вас этого не слышал! Служебная тайна с двумя нулями. Антигород. Есть сведения, что к северу существуют какие-то поселения, одно, два, несколько — неизвестно. А им о нас все известно! Возможно нашествие, Воронин. Очень опасно. Конец нашему городу. Конец Эксперименту. Имеет место шпионаж, имеют место попытки саботажа, диверсии, распространение панических и порочащих слухов. Ситуация понятна, Воронин? Вижу — понятна. Далее. Здесь, в самом городе, рядом с нами, среди нас живут люди, прибывшие сюда не ради Эксперимента — по другим, более или менее корыстным мотивам. Нигилисты, внутренние затворники, изверившиеся элементы, анархисты. Активных среди них мало, но даже пассивные представляют опасность. Подрыв морали, разрушение идеалов, попытки настраивать одни слои населения против других, разрушающий скептицизм. Пример: ваш хороший знакомый, некий Кацман...

Андрей вздрогнул. Шеф тяжело взглянул на него сквозь припухшие веки, помолчал и повторил:

— Иосиф Кацман. Любопытный человек. Есть сведения, что часто удаляется в сторону севера, пребывает там некоторое время и возвращается обратно. При этом манкирует своими прямыми обязанностями, но это уже нас не касается. Далее. Разговоры. Это вам должно быть известно.

Андрей невольно кивнул и тут же, спохватившись, сделал каменное лицо.

— Дальше. Самое важное для вас. Замечен вблизи Здания. Дважды. Один раз видели, как он оттуда выходил. Полагаю, я привел хороший пример и удачно связал его с делом о Здании. Этим делом необходимо заняться, Воронин. Это дело, Воронин, я сейчас никому не могу поручить. Есть люди, в такой же степени верные, как и вы, и гораздо более толковые, но они заняты. Все. Все до одного. И — выше головы. Так что форсируйте дело о Здании, Воронин. От остальных дел я вас постараюсь избавить. Завтра в шестнадцать ноль-ноль явитесь ко мне и доложите ваш план. Идите.

Андрей поднялся.

— Да! Совет. Советую вам обратить внимание на дело о Падающих Звездах. Настоятельно. Может быть связь. Это дело ведет сейчас Чачуа, зайдите к нему, ознакомьтесь. Посоветуйтесь.

Андрей неловко поклонился и направился к выходу.

— Еще одно! — сказал шеф, и Андрей остановился у самой двери.— Имейте в виду: делом о Здании специально интересуется Главный прокурор. Специально! Так что, кроме вас, этим занимается и будет заниматься еще кто-то из прокуратуры. Постарайтесь обойтись без упущений, связанных с вашими личными склонностями или наоборот. Идите, Воронин.

Андрей прикрыл за собою дверь и прислонился к стене. Внутри себя он ощущал какую-то неясную пустоту, неопределенность какую-то. Он ожидал втыка, шершавого начальственного фитиля, может быть, даже увольнения или перевода в полицию. Вместо этого его вроде бы даже похвалили, выделили из прочих, доверили дело, которое считается первостепенно важным. Всего год назад, когда он был еще мусорщиком, служебный втык бросил бы его в пучину горестей, а ответственное поручение вознесло бы на вершину ликования и горячечного энтузиазма. А сейчас внутри стояли какие-то неопределенные сумерки, и он осторожно пытался разобраться в себе, а заодно — нащупать те неизбежные осложнения и неудобства, которые, конечно же, должны были возникнуть в этой новой ситуации.

Изя Кацман... Болтун. Трепло. Язык нехороший, ядовитый. Циник. И в то же время — никуда не денешься — бессребреник, добряк, совершенно, до глупости, бескорыстный и даже житейски беспомощный... И дело о Здании. И Антигород. Ч-черт... Ладно, разберемся...

Он вернулся в свой кабинет и с некоторым недоумением обнаружил там Фрица. Фриц сидел за его столом, курил его сигареты и внимательно перелистывал его дела, извлеченные из его сейфа.

— Ну что, получил на полную катушку? — осведомился он, поднимая глаза на Андрея.

Андрей, не отвечая, взял сигарету, закурил и несколько раз сильно затянулся. Потом он огляделся, где бы сесть, и увидел пустой табурет.

— Слушай, а этот где?

— В яме,— ответил Фриц пренебрежительно.— Отправил его на ночь в яму, велел не давать жрать, пить и курить. Раскололся он, как миленький, полное признание и еще двоих назвал, о ком мы не знали. Но напоследок надобно проучить слизняка. Протокол я тебе...— он перебросил с места на место несколько папок.— Протокол я подшил, сам найдешь. Завтра можешь передавать в прокуратуру. Там он сообщил кое-что любопытное, когда-нибудь пригодится...

Андрей курил и смотрел на это длинное холеное лицо, на быстрые водянистые глаза, невольно любовался уверенными движениями больших, истинно мужских рук. Фриц вырос за последнее время. В нем уже ничего почти не осталось от надутого молодого унтера. Туповатая наглость сменилась направленной уверенностью, он уже больше не обижался на шутки, не каменел лицом и вообще не вел себя, как осел. Одно время он зачастил было к Сельме, потом у них получился какой-то там скандал, да и Андрей сказал ему несколько слов. И Фриц спокойно отошел.

— Ты чего на меня уставился? — с доброжелательным интересом осведомился Фриц.— Все не можешь опомниться от клистира? Ничего, дружище, клистир начальника — именины сердца для подчиненного!

— Слушай-ка,— сказал Андрей.— Зачем это ты развел тут оперетту? Гиммлер, гестапо... Что это за новости в следственной практике?

— Оперетту? — Фриц вздернул правую бровь.— Это, дружище, действует, как выстрел! — Он захлопнул раскрытое дело и вылез из-за стола.— Я удивляюсь, почему ты до этого не допер. Уверяю тебя, если бы ты сказал ему, что работал в че-ка или в гэ-пэ-у, да еще пощелкал бы у него перед носом туалетными ножницами, он бы тут тебе сапоги целовал... Знаешь, я отобрал у тебя несколько дел, а то тут такой завал, что ты и за год не раскопаешь... Так я их у тебя заберу, а потом сочтемся как-нибудь.

Андрей с благодарностью посмотрел на него, и Фриц дружески подмигнул ему в ответ. Дельный парень — Фриц. И хороший товарищ. Что ж, может быть, так и нужно работать? Какого черта церемониться с этой швалью! И в самом же деле, их там на Западе запугали полуподвалами че-ка до полусмерти, а с такой грязной падалью, как этот Копчик, все средства хороши...

— Ну, вопросы есть? — спросил Фриц.— Нет? Тогда я пошел.

Он забрал папки под мышку и выбрался из-за стола.

— Да! — спохватился Андрей.— Слушай, а ты дело о Здании случайно не забрал? Ты его оставь!..

— Дело о Здании? Голубчик, мой альтруизм так далеко не распространяется. Дело о Здании ты уж сам как-нибудь...

— Угу,— сказал Андрей с угрюмой решительностью.— Сам... Между прочим,— вспомнил он.— Что это за дело — о Падающих Звездах? Название знакомое, а в чем там суть, что это за звезды такие — не помню...

Фриц наморщил лоб, потом с любопытством взглянул на Андрея.

— Есть такое дело,— произнес он.— Неужели тебе его поручили? Тогда ты пропал. Оно же у Чачуа. Совершенная безнадюга.

— Нет,— со вздохом сказал Андрей.— Никто мне его не поручал. Просто шеф рекомендовал ознакомиться. Это серия каких-то ритуальных убийств? Или нет?

— Да нет, не совсем так. Хотя, может быть, и так. Это дело, дружище, тянется уже несколько лет. Под Стеной находят время от времени людей, разбившихся вдребезги, явно упавших со Стены, с большой высоты...

— То есть как это — со Стены? — удивился Андрей.— Разве на нее можно взобраться? Она же гладкая... И зачем? У нее и верха-то не видно...

— В том-то все и дело! Сначала была идея, что там, наверху, тоже есть город, вроде нашего, и сбрасывают этих людей к нам с ихнего обрыва, ну, как у нас можно сбросить в пропасть. Но потом раза два удалось опознать трупы: оказалось — наши, местные жители... Как они туда забрались, совершенно непонятно. Пока остается только предполагать, что это какие-то отчаянные скалолазы — пытались выбраться из города наверх... Но с другой стороны... В общем, дело это какое-то темное. Мертвое дело, если хочешь знать мое мнение. Ну, ладно, мне пора.

— Спасибо. Счастливо,— сказал Андрей, и Фриц ушел.

Андрей переместился в свое кресло, убрал все папки, кроме дела о Здании, в сейф и посидел немного, подперев голову руками. Потом снял телефонную трубку, набрал номер дома и стал ждать. К телефону, как всегда, долго никто не подходил, потом трубку сняли, и басистый, явно нетрезвый мужской голос осведомился: «Х-алло?» Андрей молчал, прижимая трубку к уху. «Халло! Халлоу?» — рычал пьяный голос, потом замолчал, и было слышно только тяжелое дыхание и отдаленный голос Сельмы, выводивший жалобную песенку, завезенную сюда дядей Юрой:

> Ставай, ставай, Катя,
> Корабли стоя-ать!
> Два корабля синих,
> Один голубой...

Андрей повесил трубку, покряхтел, растирая щеки, пробормотал с горечью: «Шлюха паршивая, неисправимая...» и раскрыл папку.

Дело о Здании было начато еще в те времена, когда Андрей был мусорщиком и знать ничего не знал о мрачных кулисах города. Началось все с того, что в 16, 18 и 32 участках начали систематически пропадать люди. Пропадали они совершенно бесследно, и не было в этих исчезновениях никакой системы, никакого смысла, никакой закономерности. Оле Свенссон, 43 лет, рабочий бумажной фабрики, вышел вечером за хлебом и не вернулся, в хлебной лавке не появлялся. Стефан Цибульский, 25 лет, полицейский, ночью исчез с поста, на углу Главной и Алмазного найдена его портупея — и все, больше никаких следов. Моника Лерье, 55 лет, швея, вывела на прогулку перед сном своего шпица, шпиц вернулся здоровый и веселый, а швея исчезла. И так далее, и так далее — всего более сорока исчезновений.

Довольно быстро обнаружились свидетели, которые утверждали, что накануне исчезновения пропавшие люди заходили в некий дом, по описаниям — вроде один и тот же, но странность заключалась в том, что относительно местоположения этого дома разные свидетели давали разные показания. Иосиф Гумбольдт, 63 лет, парикмахер, на глазах у лично знавшего его Лео Палтуса, вошел в трехэтажное, красного кирпича здание на углу Второй Правой и Серокаменного переулка, и с тех пор Иосифа Гумбольд-

та не видел никто. Некий Теодор Бух показал, что исчезнувший впоследствии Семен Заходько, 32 лет, фермер, вошел в точно такое же по описанию здание, но уже на Третьей Левой улице, неподалеку от костела. Давид Мкртчан рассказал, как встретил в Глинобитном переулке своего давнего приятеля по работе Рэя Додда, 41 года, ассенизатора,— они постояли, болтая об урожае, семейных делах и прочих нейтральных вещах, а затем Рэй Додд сказал: «Погоди минутку, мне нужно зайти в одно место, я постараюсь быстро, а если через пять минут не выйду, ты иди, значит, я задержался...» Он вошел в какое-то здание красного кирпича с окнами, замазанными мелом. Мкртчан ждал его четверть часа, не дождался и пошел своей дорогой, что же касается Рэя Додда, то он исчез бесследно и навсегда...

Красный кирпичный дом фигурировал в показаниях всех свидетелей. Одни утверждали, что он трехэтажный, другие — что четырех. Одни обратили внимание на окна, замазанные мелом, другие — на окна, забранные решетками. И не было двух свидетелей, которые указали бы одно и то же место его нахождения.

По городу поползли слухи. В очередях за молоком, в парикмахерских, в локалях зловещим шепотом передавалась из уст в уста новенькая, с иголочки, легенда о страшном Красном Здании, которое само собой бродит по городу, пристраивается где-нибудь между обычными домами и, жутко приоткрыв пасти дверей, притаившись, ждет неосторожных. Появились друзья родственников знакомых, которым удалось спастись, вырваться из ненасытной кирпичной утробы. Они рассказывали ужасные вещи и в доказательство предъявляли шрамы и переломы, полученные в прыжках со второго, третьего и даже четвертого этажей. Согласно всем этим слухам и легендам дом внутри был пуст — там не подстерегали вас ни грабители, ни маньяки-садисты, ни кровососущие мохнатые твари. Но каменные кишки коридоров вдруг сжимались и норовили расплющить жертву; под ногами распахивались черные провалы люков, дышащие ледяным кладбищенским зловонием; неведомые силы гнали человека по мрачным сужающимся ходам и тоннелям до тех пор, пока он не застревал, забивал себя в последнюю каменную щель,— а в пустых комнатах с ободранными обоями, среди осыпавшихся с потолка пластов штукатурки жутко догнивали раскрошенные кости, торчащие из-под заскорузлого от крови тряпья...

По началу это дело даже заинтересовало Андрея. Он отметил на карте города крестиками те места, где видели Здание, пытался найти какую-нибудь закономерность в расположении этих крестиков, добрый десяток раз выезжал обследовать эти места и каждый раз обнаруживал на месте Здания либо заброшенный палисадник, либо пустоту между домами, либо даже обыкновенный жилой дом, ничего общего не имеющий ни с тайнами, ни с загадками.

Смущало то обстоятельство, что Красное Здание ни разу не видели при солнечном свете; смущало, что не менее половины свидетелей видели Здание, находясь в состоянии более или менее сильного опьянения; смущали мелкие, но почти обязательные несообразности чуть ли не в каждом показании; особенно же смущала полная бессмысленность и дикость происходящего.

Изя Кацман как-то изрек по этому поводу, что миллионный город, лишенный систематической идеологии, должен неизбежно обзавестись собственными мифами. Это звучало убедительно, но люди-то ведь пропадали на самом деле! Конечно, пропасть в городе было немудрено. Достаточно было сбросить человека с обрыва, и концы, таким образом, оказывались в воде совершенно. Однако кому и зачем нужно было сбрасывать в пропасть каких-то парикмахеров, пожилых швей, мелких лавочников? Людей без денег, без репутации, практически без врагов? Кэнси однажды высказал совершенно здравое предположение, что Красное Здание, если оно действительно существует, является, по всей видимости, составным элементом Эксперимента, а поэтому искать ему объяснения не имеет смысла — Эксперимент есть Эксперимент. В конце концов, Андрей тоже остановился на этой точке зрения. Работы было невпроворот, дело о Здании насчитывало уже более тысячи листов, и Андрей засунул его на самое дно сейфа, изредка только извлекая, чтобы подшить очередное свидетельское показание.

Сегодняшний разговор с шефом открывал, однако, совершенно новые перспективы. Если в городе действительно есть люди, которые поставили перед собою (или получили от кого-то) задачу создать среди населения атмосферу паники и террора, то очень многое в деле о Здании становилось понятным. Несообразности в показаниях так называемых свидетелей легко объясняются в этом случае искажением слухов при передаче. Исчезновения людей превращаются в обыкновенные убийства с целью уплотнения атмосферы террора. В хаосе болтовни, опасливых шепотов и вранья надлежало теперь искать постоянно действующие источники, центры распространения зловещего тумана...

Андрей взял лист чистой бумаги и принялся медленно, слово за словом, пункт за пунктом набрасывать черновик плана. Через некоторое время у него получилось следующее.

Главная задача: выяснение источников слухов, арест этих источников и выявление руководящего центра. Основные средства: повторный допрос всех свидетелей, дававших ранее показания в трезвом виде; выявление по цепочке и допрос лиц, утверждавших, будто они были в Здании; выявление возможных связей между этими лицами и свидетелями... Учитывать: а) агентурные данные; б) несообразности в показаниях...

Андрей покусал карандаш, пощурился на лампу и вспомнил еще одно: связаться с Петровым. Этот Петров в свое время плешь переел Андрею. У него пропала жена, и он почему-то решил, что ее поглотило Красное Здание. С тех пор он забросил все свои дела и занялся поисками этого Здания — писал бесчисленные записки в прокуратуру, которые аккуратно переправлялись в следственный отдел и попадали к Андрею, рыскал ночами по городу, несколько раз забираем был в полицию по подозрению в нечестных намерениях, буянил там, за что его сажали на десять суток, выходил и снова принимался за поиски.

Андрей выписал повестки ему, а также еще двум свидетелям, отдал эти повестки дежурному с наказом доставить немедленно, а сам отправился к Чачуа.

Чачуа, громадный разжиревший кавказец, почти без лба, но зато с гигантским носом, возлежал у себя в кабинете на диване в окружении разбухших папок с делами и спал. Андрей растолкал его.

— Э! — хрипло сказал Чачуа, пробуждаясь.— Что случилось?

— Ничего не случилось,— сердито сказал Андрей. Терпеть он не мог такой вот расхлябанности в людях.— Дай дело о Падающих Звездах.

Чачуа сел, лицо его засветилось радостью.

— Забираешь? — спросил он, хищно двигая феноменальным своим носом.

— Не радуйся, не радуйся.— сказал Андрей.— Только посмотреть.

— Слушай, зачем тебе смотреть? — горячо заговорил Чачуа.— Забирай у меня это дело совсем! Ты — красивый, молодой, энергичный, тебя шеф всем в пример ставит. Ты это дело быстро распутаешь — слазаешь на Желтую Стену и моментально распутаешь! Что тебе стоит?..

Андрей засмотрелся на его нос. Огромный, горбатый, на переносице покрытый сетью багровых жилок, с торчащими из ноздрей пучками черных жестких волос, нос этот жил своей, отдельной от Чачуа, жизнью. Видно было, что он знать ничего не хотел о заботах следователя Чачуа. Он хотел, чтобы все вокруг пили большими бокалами ледяное кахетинское, заедали сочащимися шашлыками и влажной хрустящей зеленью, чтобы плясали, захватив края рукавов в пальцы, выкрикивая азартно «асса!». Он хотел зарываться в душистые белокурые волосы и нависать над обнаженными пышными грудями... О, он многого хотел, этот великолепный жизнелюбивый нос-гедонист, и все его многочисленные желания откровенно отражались в его независимых движениях, в перемене окраски и в разнообразных звуках, издаваемых им!..

— ...А закончишь это дело,— говорил Чачуа, закатывая маслины глаз под низкий лоб,— бож-же мой! Какая тебе будет слава! Какой почет! Ты думаешь, Чачуа стал бы предлагать тебе это дело, если бы сам мог лазать по Желтой Стене? Ни за что Чачуа не стал бы предлагать тебе этого дела! Это же золотая жила! И я предлагаю его только тебе. Многие приходили и просили его у меня. Нет, думал я. Никому из вас с ним не справиться. Один только Воронин справится, думал я...

— Ну, ладно, ладно,— сказал Андрей с досадой.— Завел свою говорильню. Давай папку. Нет у меня времени тут с тобой песни петь.

Чачуа, не переставая болтать, жаловаться и хвастаться, лениво поднялся, шаркая по замусоренному полу, подошел к сейфу и принялся в нем рыться, а Андрей смотрел на его широченные жирные плечи и думал, что Чачуа, наверное, один из лучших следователей в отделе, он просто блестящий следователь, у него самый высокий процент раскрытых дел, а вот дело о Падающих Звездах ему продвинуть так и не удалось, это дело никому продвинуть не удалось — ни Чачуа, ни его предшественнику, ни предшественнику предшественника...

Чачуа достал кучу пухлых засаленных папок, и они вместе пролистали последние страницы, и Андрей тщательно переписал себе на отдельный листок имена и адреса тех двоих, которых удалось опознать, а также те немногие особые приметы, которые удалось установить у некоторых из неопознанных жертв.

— Какое дело! — восклицал Чачуа, прищелкивая языком.— Одиннадцать трупов! А ты отказываешься. Нет, Воронин, не знаешь ты, где твое счастье. Вы, русские, всегда были идиётами — и на том свете идиётами были, и на этом остались!.. А зачем тебе это? — спросил он вдруг с интересом.

Андрей как мог связно объяснил ему свои намерения. Чачуа быстро схватил самую суть, но никакого особого восторга не выказал.

— Попробуй, попробуй...— сказал он вяло.— Сомневаюсь. Что такое твое Здание, и что такое моя Стена? Здание — это выдумка, а Стена — вот она, километр отсюда... Нет, Воронин, не разобраться нам с этим делом...

Впрочем, когда Андрей был уже около двери, Чачуа сказал ему вслед:

— Ну, а если там что-нибудь — ты сразу мне...

— Ладно,— сказал Андрей.— Конечно.
— Послушай,— сказал Чачуа, сосредоточенно морща жирный лоб и двигая носом. Андрей, приостановившись, выжидательно смотрел на него.— Давно хотел тебя спросить...— Лицо его стало серьезным.— Слушай, там у вас в семнадцатом году в Петрограде заварушка была. Чем кончилась, а?
Андрей плюнул и вышел, хлопнув дверью, под раскатистый хохот страшно довольного кавказца. Опять Чачуа поймал его на этот дурацкий анекдот. Хоть совсем с ним не разговаривай.
В коридоре перед кабинетом его ждал сюрприз. На скамье сидел какой-то насмерть перепуганный, взъерошенный, с заспанными глазами человечек, зябко кутающийся в пальто. Дежурный за столиком с телефоном вскочил и браво гаркнул:
— Свидетель Эйно Саари по вашему вызову доставлен, господин следователь!
Андрей обалдело воззрился на него.
— По какому моему вызову?
Дежурный тоже несколько обалдел.
— Вы же сами...— сказал он обиженно.— Полчаса назад... Вручили мне повестки, велели доставить немедленно...
— Господи,— сказал Андрей.— Повестки! Повестки я велел вам доставить немедленно, черт подери! На завтра, на десять утра! — Он взглянул на бледно улыбающегося Эйно Саари и на белые тесемки кальсон, свисающие у него из-под брючин, затем снова посмотрел на дежурного.— И остальных сейчас привезут? — спросил он.
— Так точно,— угрюмо сказал дежурный.— Как мне было сказано, так я и сделал.
— Я на вас рапорт подам,— сказал Андрей, еле сдерживаясь.— Переведут вас на улицу — сумасшедших по утрам загонять,— наплачетесь вы у меня тогда... Ну, что ж,— произнес он, обращаясь к Саари.— Раз уж так получилось, заходите...
Он указал Эйно Саари на табурет, сел за стол и взглянул на часы. Было начало первого ночи. Надежда хорошенько выспаться перед завтрашним тяжелым днем печально испарилась.
— Ну, ладно,— проговорил он со вздохом, раскрыл дело о Здании, перелистал огромную кипу протоколов, донесений, отношений и экспертиз, отыскал лист с прежними показаниями Саары (43 лет, саксофонист 2-го городского театра, разведен) и еще раз пробежал глазами.— Ладно,— повторил он.— Мне, собственно, требуется кое-что уточнить относительно ваших показаний, которые вы давали в полиции месяц назад.
— Пожалуйста, пожалуйста,— сказал Саари, с готовностью наклоняясь вперед и каким-то женским движением придерживая на груди распахивающееся пальто.
— Вы показали, что ваша знакомая, Элла Стремберг, на ваших глазах вошла в двадцать три часа сорок минут восьмого сентября нынешнего года в так называемое Красное Здание, имевшее тогда находиться на улице Попугаев в промежутке между гастрономическим магазином номер сто пятнадцать и аптекой Штрема. Вы подтверждаете это показание?
— Да, да, подтверждаю. Все было совершенно так. Только вот насчет даты... Точной даты я уже не помню, все-таки месяц с лишним прошел...
— Это неважно,— сказал Андрей.— Тогда вы помнили, да и с другими показаниями это совпадает... Теперь у меня к вам просьба: опишите снова и поподробнее это самое так называемое Красное Здание...
Саари склонил голову набок и задумался.
— Значит, таким образом,— сказал он.— Три этажа. Старый кирпич, темно-красный, как казарма, вы понимаете меня? Окна, знаете ли, такие узкие, высокие. На нижнем этаже все они закрашены мелом и, как сейчас помню, не освещены...— Он опять немного подумал.— Вы знаете, насколько я помню, там вообще не было ни одного освещенного окна. Ну, и... вход. Каменные ступени, две или три... Тяжелая такая дверь... медная такая старинная ручка, резная. Элла ухватилась за эту ручку и с таким, знаете ли, усилием потянула дверь на себя... Номера дома я не заметил, не помню, был ли номер... Словом, общий облик старинного казенного здания, что-нибудь конца прошлого века.
— Так,— сказал Андрей.— А скажите, вам часто приходилось бывать на этой улице Попугаев?
— В первый раз. И, собственно, в последний. Живу я довольно далеко оттуда, в тех краях не бываю, а в этот раз как-то получилось, что я решил Эллу проводить. У нас была вечеринка, я за ней... м-м-м... ну, немножко ухаживал и пошел ее провожать. Мы очень мило беседовали по дороге, потом она вдруг сказала: «Ну, пора расставаться», поцеловала меня в щеку, и не успел я опомниться, как она уже нырнула в этот дом. Я, признаться, подумал тогда, что она там живет...
— Понятно,— сказал Андрей.— На вечеринке вы, вероятно, пили?
Саари сокрушенно хлопнул себя ладонями по коленям.

— Нет, господин следователь,— сказал он.— Ни капли. Пить мне нельзя — врачи не рекомендуют.
Андрей сочувственно покивал.
— А вы не помните, случайно, были у этого здания печные трубы?
— Да, конечно, помню. Должен вам сказать, вид этого здания как-то поражает воображение, так что оно и сейчас как бы стоит у меня перед глазами. Там была такая черепичная крыша и три довольно высоких трубы. Из одной, помнится, шел дым, и я подумал еще тогда, как у нас все-таки много еще сохранилось домов с печным отоплением...
Момент настал. Андрей осторожно положил карандаш поперек протоколов, чуть подался вперед и пристально, значительно сощуренными глазами уставился на Эйно Саари, саксофониста:
— В ваших показаниях имеют место несообразности. Во-первых, как обнаружила экспертиза, вы, находясь на улице Попугаев, никак не могли видеть ни крыши, ни печных труб трехэтажного здания.
У Эйно Саари, завравшегося саксофониста, отвисла челюсть, глаза растерянно забегали.
— Далее. Как установлено следствием, улица Попугаев в ночное время не освещается вообще, и поэтому совершенно непонятно, каким образом в кромешной ночной темноте, за триста метров до ближайшего фонаря, вы различили такую массу деталей: цвет здания, старинный кирпич, медную ручку на двери, форму окон и, наконец, дым из трубы. Я хотел бы узнать, как вы объясняете эти несообразности.
Некоторое время Эйно Саари беззвучно открывал и закрывал рот. Потом он судорожно глотнул всухую и проговорил:
— Ничего не понимаю... Вы меня совсем растеряли... Мне это просто и в голову не приходило...
Андрей выжидательно молчал.
— Действительно, как я об этом раньше не подумал... Ведь на этой улице Попугаев было совершенно темно! Не то что домов — тротуара под ногами не видно было... И крыша... Я же стоял у самого дома, у крыльца... Но я совершенно отчетливо помню и крышу, и кирпичи, и дым из трубы — такой белый ночной дымок, как будто освещенный луной...
— Да, странно,— произнес Андрей деревянным голосом.
— И ручка на дверях... Такая медная, отполированная многими прикосновениями... этакое хитрое сплетение цветов, листиков... Я бы мог ее сейчас нарисовать, если бы умел рисовать... И в то же время темнота была абсолютная — я лица Эллы не различал, только по голосу чувствовал, что она улыбается, когда...
В расширенных глазах Эйно Саари появилась какая-то новая мысль. Он прижал руку к груди.
— Господин следователь! — сказал он отчаянным голосом.— У меня в голове сейчас сумятица, но я отчетливо понимаю, что свидетельствую против себя, навожу вас на подозрения. Но я — человек честный, родители мои были честнейшие, глубоко религиозные люди... Все, что я вам сейчас говорю, есть полная и чистейшая правда! Все именно так и было. Просто раньше мне это не приходило в голову. Была кромешная тьма, я стоял у самого дома, и в то же время я помню каждый кирпичик, а черепичную крышу вижу так, будто она вот тут, рядом со мной... и три трубы... И дымок.
— Гм...— сказал Андрей и постучал пальцами по столу.— А, может быть, вы не сами все это видели? Может быть, кто-нибудь вам об этом рассказывал?.. До случая с госпожей Стремберг вам приходилось слышать о Красном Здании?
Глаза Эйно Саари вновь смятенно забегали.
— Н-н-н... не припоминаю...— проговорил он.— Потом — да. Уже когда Элла пропала, когда я ходил в полицию... когда был уже объявлен розыск... потом было много разговоров. Но до этого... Господин следователь! — сказал он торжественно.— Я не могу поклясться, что я ничего не слышал о Красном Здании раньше, до исчезновения Эллы, но я могу поклясться, что ничего не помню об этом.
Андрей взял ручку и принялся писать протокол. Одновременно он говорил, нарочито монотонным, казенным голосом, который по идее должен был навеять на подследственного суконную тоску и ощущение неизбежного рока, движимого безупречной машиной правосудия.
— Вы сами должны понимать, господин Саари, что следствие не может удовлетвориться вашими показаниями. Элла Стремберг исчезла бесследно, и последний человек, который ее видел, вы, господин Саари. Красное Здание, которое вы здесь так подробно описали, на улице Попугаев не существует. Описание Красного Здания, которое вы даете, неправдоподобно, ибо противоречит элементарным физическим законам. Наконец, как известно следствию, Элла Стремберг жила в совершенно другом районе, далеко от улицы Попугаев. Это, само по себе, конечно, не есть улика против вас, но

вызывает дополнительные подозрения. Я вынужден задержать вас впредь до выяснения ряда обстоятельств... Прошу прочесть и подписать протокол.

Эйно Саари, не говоря ни слова, приблизился к столу и, не читая, поставил свою подпись на каждом листке протокола. Карандаш дрожал у него в пальцах, узкий подбородок отвис и тоже трясся. Потом он, шаркая ногами, вернулся к табурету, сел обессиленно и, стиснув руки, сказал:

— Хочу еще раз подчеркнуть, господин следователь, что давая показания...— голос у него сорвался, он снова глотнул.— Давая показания, я сознавал, что поступаю себе во вред. Я мог бы что-нибудь выдумать, наврать... Я мог бы вообще не участвовать в розыске — никто ведь не знал, что я ушел провожать Эллу...

— Это ваше заявление,— сказал Андрей равнодушным голосом,— уже фактически содержится в протоколе. Если вы не виновны, вам ничего не грозит. Сейчас вас препроводят в камеру предварительного заключения. Вот вам бумага и карандаш. Вы можете оказать помощь следствию, да и себе самому, если самым подробным образом напишете, кто, когда и при каких обстоятельствах говорил с вами о Красном Здании. Безразлично — до исчезновения Эллы Стремберг или после. Самым подробным образом: кто — имя, адрес; когда — точная дата, время суток; при каких обстоятельствах — где, по какому поводу, с какой целью, в каком тоне. Вы меня поняли?

Эйно Саари кивнул и беззвучно сказал «да». Андрей, пристально глядя ему в глаза, продолжал:

— Я уверен, что все подробности о Красном Здании вы узнали где-то на стороне. Сами вы его, может быть, даже и не видели. И н настоятельно рекомендую вам вспомнить: кто снабдил вас этими подробностями — кто, когда, при каких обстоятельствах. И с какой целью.

Он звонком вызвал дежурного, и саксофониста увели. Андрей потер руки, наколол протокол и подшил его в дело, спросил горячего чая и вызвал следующего свидетеля. Он был доволен собой. Все-таки воображение и знание элементарной геометрии — полезные вещи. Заврашийся Эйно Саари был ущучен по всем правилам науки.

Следующий свидетель, вернее, свидетельница, Матильда Гусакова (62 лет, вязание на дому, вдова) представляла собой, по крайней мере по идее, гораздо более простой случай. Это была могучая старуха с маленькой, сплошь седой головкой, румяными щечками и хитрыми глазами. Она нисколько не выглядела заспанной или испуганной, а наоборот, кажется, была очень довольна приключением. В прокуратуру она явилась со своей корзинкой, мотками разноцветной шерсти, набором спиц, а в кабинете немедленно взгромоздилась на табурет, надела очки и заработала спицами.

— Следствию стало известно, госпожа Гусакова,— начал Андрей,— что некоторое время назад вы в кругу своих друзей рассказывали о происшествии с неким Франтишеком, который якобы попал в так называемое Красное Здание, претерпел там разнообразные приключения и с трудом вырвался на свободу. Было такое?

Престарелая Матильда усмехнулась, ловко выхватила одну спицу, пристроила другую и сказала, не поднимая глаз от вязанья:

— Было, было такое. Рассказывала я, и не раз, только вот откуда это стало известно следствию, хотела бы я знать... У меня, вроде бы, знакомых среди судейских нет...

— Должен вам сообщить,— доверительно сказал Андрей,— что в настоящее время ведется следствие по поводу так называемого Красного Здания, и мы чрезвычайно заинтересованы войти в контакт хотя бы с одним человеком, который в этом здании побывал...

Матильда Гусакова его не слушала. Она положила вязанье на колени и задумчиво смотрела в стену.

— Кто же это мог сообщить? — проговорила она.— Вот уж не ожидала!..— Она покачала головой.— И здесь, оказывается, надо соображать, кто да с кем... При немцах сидели — рты на замке. Сюда подалась — и тут, значит, та же картина...

— Позвольте, пани Гусакова,— прервал ее Андрей.— Вы, по-моему, как-то превратно рассматриваете ситуацию. Вы ведь, насколько я понимаю, не совершили никакого преступления. Мы рассматриваем вас только как свидетеля, как нашего помощника, который...

— Э, голубчик! Какие уж тут помощники? Полиция есть полиция.

— Да нет же! — Андрей для убедительности прижал руку к сердцу.— Мы ищем банду преступников! Они похищают людей и, судя по всему, убивают их. Человек, который побывал у них в лапах, может оказать следствию неоценимую услугу!

— Да вы что, голубчик,— сказала старуха,— вы что, верите в это самое Красное Здание?

— А вы разве не верите? — спросил Андрей, несколько опешив.

Старуха не успела ответить. Дверь кабинета приоткрылась, из коридора прорвался гомон возбужденных голосов, и в щель просунулась коренастая черноголовая фигура,

которая кричала в коридор: «Да, срочно! Срочно надо!» Андрей нахмурился, но тут фигуру вновь втянули в коридор, и дверь захлопнулась.

— Простите, нас отвлекли,— сказал Андрей.— Вы, кажется, хотели сказать, что сами не верите в Красное Здание?

Не переставая работать спицами, престарелая Матильда пожала одним плечом.

— Ну, какой же взрослый человек может в это поверить? Дом, видите ли, у них бегает с места на место, внутри у него все двери с зубами, поднимаешься по лестнице вверх — оказываешься в подвале... Конечно, в здешних местах все может случиться, Эксперимент есть Эксперимент, но это уж все-таки слишком... Нет, не верю. Конечно, в каждом городе есть дома, которые глотают людей, наверное, и в нашем без таких домов не обходится, но вряд ли они бегают с места на место... да и лестницы там, как я понимаю, самые обыкновенные.

— Позвольте, пани Гусакова,— сказал Андрей.— А зачем же тогда вы эти басни всем рассказываете?

— А почему же не рассказывать, если люди слушают? Скучно же людям, особенно старикам, вроде нас...

— Так вы это что — сами выдумали?

Престарелая Матильда открыла рот, чтобы ответить, но тут у Андрея над самым ухом отчаянно заверещал телефон. Андрей чертыхнулся и схватил трубку.

— Андрю-шоно-чек...— произнес в трубке совершенно пьяный голос Сельмы.— Я их всех выпелра... выпер-ла. Ты чего не идешь?

— Извини,— сказал Андрей, покусывая губу и косясь на старуху.— Я сейчас очень занят, я тебе...

— А я не же-ла-ю! — заявила Сельма.— Я тебя люблю, н тебя жду. Я у тебя пьянень-ка-н, го-лень-ка-я, мне холод-но...

— Сельма,— понизив голос сказал Андрей в самую трубку.— Не валяй дурака. Я очень занят.

— Все равно ты такой девочки не... не найдешь в этом нуж... нужнике. Я вот тут свернулась калачиком... совсем-совсем голень... голенькая...

— Я приеду через полчаса,— проговорил Андрей торопливо.

— Ду-ра-чок! Через пол... полчаса я спать уже буду... Кто же через полчаса приезжает?

— Ну, ладно, Сельма, ну, пока,— сказал Андрей, проклиная тот день и час, когда он дал этой распутной девке телефон своего кабинета.

— Ну и пошел к черту! — заорала вдруг Сельма и дала отбой. Так, небось, грохнула трубку, что весь телефон разнесла. Андрей, сжав зубы от бешенства, осторожно положил свою трубку и несколько секунд сидел, не смея поднять глаза. Мысли у него разбегались. Потом он откашлялся.

— Ну так,— сказал он.— Угу... Значит, рассказывали вы просто от скуки...— Он вспомнил, наконец, свой последний вопрос.— Значит, прикажете вас так понимать, что вы сами выдумали всю эту историю с Франтишеком?

Старуха снова открыла было рот, чтобы ответить, и снова ничего не получилось. Дверь распахнулась, на пороге возник дежурный и браво отрапортовал:

— Прошу прощения, господин следователь! Доставленный свидетель Петров требует, чтобы вы немедленно допросили его, поскольку имеет сообщить...

Глаза у Андрея застлала мутная пелена. Он изо всех сил хватил обоими кулаками по столу и заорал так, что у самого в ушах зазвенело:

— Черт вас подери, дежурный! Вы что, устава не знаете? Куда вы претесь со своим Петровым? Вы что, у себя в сортире? Кр-ругом — марш!

Дежурный исчез, как не был. Андрей, чувствуя, что губы у него трясутся от ярости, налил себе онемевшими руками воды из графина и выпил. В горле у него саднило от дикого рева. Он исподлобья поглядел на старуху. Престарелая Матильда знай себе вязала, как ни в чем не бывало.

— Прошу прощения,— пробурчал он.

— Ничего, молодой человек,— успокоила его Матильда.— Я на вас не в обиде. Так вот вы спросили, может, я сама все это выдумала. Нет, голубчик, не сама. Где мне такое выдумать! Надо же: лестницы — идешь вверх, а попадаешь вниз... Мне бы такое и во сне не приснилось. Как мне рассказали, так и я рассказала...

— А кто именно вам рассказал?

Старуха, не переставая вязать, покачала головой.

— Вот этого уж я не упомню. В очереди рассказывала одна женщина. Франтишек этот якобы зять одной ее знакомой. Тоже врала, конечно. В очереди такого иной раз наслышишься, что ни в каких газетах не прочтешь...

— А когда это примерно было? — спросил Андрей, понемногу приходя а себя и уже досадуя, что погорячился и взял слишком круто в лоб.

— Месяца два назад, наверное... а может, и три.

Да, испортил я допрос, думал Андрей с горечью. Испортил я к черту допрос из-за

этой стервы и из-за этого болвана — дежурного. Нет, я этого так не оставлю, я его, дубину этакую, припеку. Он у меня попляшет. Он у меня побегает за психами по утреннему холодку... Ну ладно, а со старухой-то что теперь делать? Заперлась ведь старуха, не хочет имен называть...

— А вы уверены, пани Гусакова,— приступил он снова,— что так уж совсем не помните имени той женщины?

— Не помню, голубчик, совсем не помню,— весело откликнулась престарелая Матильда, не переставая бойко сверкать спицами.

— А может быть, подруги ваши помнят?..

Движение спиц несколько замедлилось.

— Вы ведь называли им это имя, верно? — продолжал Андрей.— Вполне ведь возможно, что у них память окажется получше?

Матильда пожала одним плечом и ничего не ответила. Андрей откинулся на спинку стула.

— Вот ведь какое у нас с вами получается положение, пани Гусакова. Имя той женщины вы то ли забыли, то ли просто не хотите нам сказать. А подружки ваши его помнят. Значит, придется нам вас немного здесь задержать, чтобы не могли вы предупредить ваших подружек, и держать мы вас будем вынуждены до тех пор, пока либо вы сами, либо кто-нибудь из ваших подружек не вспомнит, от кого вы слыхали эту историю.

— Воля ваша,— сказала пани Гусакова смиренно.

— Так-то оно так,— произнес Андрей.— Но вот пока вы будете вспоминать, а мы будем возиться с вашими подружками, люди-то будут продолжать исчезать, бандиты будут радоваться и потирать руки, и все это будет происходить от вашего странного предубеждения против органов следствия.

Престарелая Матильда ничего не ответила. Она только упрямо поджала сморщенные губы.

— Вы поймите, до чего все это нелепо получается,— продолжал втолковывать Андрей.— Мало того, что нам приходится и днем и ночью возиться с отребьем, с гадами, с мерзавцами,— приходит честный человек и ни в какую не желает нам помочь. Ну что это такое? Дико ведь! Да и бессмысленна эта ваша, простите, детская затея. Вы не вспомните — ваши подружки вспомнят, а все равно мы имя этой женщины узнаем, до Франтишека доберемся, и он нам поможет взять все это гнездо. Если только его раньше не укокошат бандиты как опасного свидетеля... А ведь если его убьют, виноваты будете и вы, пани Гусакова! Не по суду, конечно, не по закону, а по совести, по человечеству виноваты!

Вложивши в эту маленькую речь весь заряд своей убежденности, Андрей утомленно закурил сигарету и стал ждать, незаметно поглядывая на циферблат часов. Он положил себе ждать ровно три минуты, а потом, если вздорная старуха так и не расколется, отправить ее, старую корягу, в камеру, хоть и будет это совсем противозаконно. Но, в конце концов, надо же все-таки форсировать это проклятое дело... Сколько можно с каждой старухой возиться? Ночь в камере иногда производит на людей прямо-таки волшебное воздействие... Ну, а если возникнут какие-нибудь неприятности по поводу превышения полномочий... не возникнут, не станет она жаловаться, не похоже... ну, а если все-таки возникнут, так в конце концов главный прокурор лично в этом деле заинтересован и, надо полагать, не выдаст. Ну, влепят выговор. Что я им — ради благодарностей работаю? Пусть лепят. Только бы дело это проклятое хоть немножко продвинуть... хоть чуть-чуть...

Он курил, вежливо разгоняя клубы дыма, секундная стрелка бодро бежала по циферблату, а пани Гусакова все молчала и только тихонько позвякивала своими спицами.

— Так,— сказал Андрей, когда истекла четвертая минута. Он решительным жестом вдавил окурок в переполненную пепельницу.— Вынужден вас задержать. За сопротивление следствию. Воля ваша, пани Гусакова, но, по-моему, это ребячество какое-то... Подпишите вот протокол, и вас препроводят в камеру.

Когда престарелую Матильду увели (на прощание она пожелала ему спокойной ночи), Андрей вспомнил, что ему так и не принесли горячего чая. Он высунулся в коридор, длинно и резко напомнил дежурному о его обязанностях и приказал ввести свидетеля Петрова.

Свидетель Петров, коренастый, почти квадратный, черный, как ворона, и на вид — совершеннейший бандит, мафиози девяносто шестой пробы,— прочно уселся на табуретку и, не говоря ни слова, стал злобно исподлобья глядеть, как Андрей прихлебывает чай.

— Ну, что же вы, Петров? — сказал ему Андрей благодушно.— Рвались сюда, скандалили, работать мне мешали, а теперь вот молчите...

— А чего с вами, с дармоедами, разговаривать? — сказал Петров злобно.— Раньше надо было ж... пошевелить, теперь уже поздно...

— А что же это такое экстренное произошло? — осведомился Андрей, пропуская «дармоедов» и все прочее мимо ушей.

— А то произошло, что пока вы здесь болтовней занимались, устав свой вонючий соблюдали, я Здание видел!

Андрей осторожно положил ложечку в стакан.

— Какое здание? — спросил он.

— Да вы что, в самом деле? — моментально взбесился Петров.— Вы что, шутки со мной шутите? Какое здание... Красное! То самое! Стоит, сволочь, прямо на Главной, и люди туда заходят, а вы тут чаек попиваете... Каких-то старух дурацких терзаете...

— Минуточку, минуточку!..— сказал Андрей, вынимая из папки план города.— Где вы видели? Когда?

— Да вот сейчас, когда везли меня сюда... Я этому идиоту говорю: «Останови!», а он гонит... Здесь дежурному говорю: давай скорее туда наряд полиции — он тоже не мычит не телится...

— Где вы его видели? В каком месте?

— Синагогу знаете?

— Да,— сказал Андрей, находя на карте синагогу.

— Так вот между синагогой и кинотеатриком — есть там такой занюханный.

На карте между синагогой и кинотеатром «Новый Иллюзион» значился сквер с фонтаном и детской площадкой. Андрей покусал кончик карандаша.

— Когда же это вы его видели? — спросил он.

— Двенадцать двадцать было,— ответил Петров угрюмо.— А сейчас уже — пожалуйста, почти час. Станет оно вас дожидаться... Я бывало через пятнадцать, через двадцать минут прибегал, его уже не было, а тут...— Он безнадежно махнул рукой.

Андрей снял трубку и приказал:

— Мотоцикл с коляской и одного полицейского. Немедленно.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мотоцикл с треском мчался по Главной улице, подпрыгивая на разбитом асфальте. Андрей, скорчившись, прятал лицо за ветровым щитком коляски, но его все равно пробирало насквозь. Надо было захватить шинель.

Время от времени с тротуаров навстречу мотоциклу выскакивали, кривляясь и приплясывая, синие от холода психи, орали что-то неслышное за шумом двигателя — полицейский мотоциклист притормаживал тогда, ругаясь сквозь зубы, увертывался от цепких протянутых рук, прорывался сквозь цепи полосатых балахонов и тут же снова разгонял машину так, что Андрея отбрасывало назад.

Кроме сумасшедших, никого на улице больше не было. Только однажды им повстречалась медленно катящаяся патрульная машина с оранжевой мигалкой на крыше, да на площади перед мэрией они увидели неуклюже бегущего огромного лохматого павиана. Павиан бежал опрометью, а за ним с гиканьем и пронзительными воплями гнались небритые люди в полосатых пижамах. Андрей, повернув голову, увидел, как они настигли-таки павиана, повалили, растянули в разные стороны за задние и передние лапы и принялись мерно раскачивать под жуткую загробную песню.

Мчались навстречу редкие фонари, черные кварталы, словно вымершие, без единого огонька, потом впереди показалась смутная желтоватая громада синагоги, и Андрей увидел Здание.

Оно стояло прочно и уверенно, будто всегда, многие десятилетия, занимало это пространство между стеной синагоги, изрисованной свастиками, и задрипанным кинотеатриком, оштрафованным на прошлой неделе за показ порнографических фильмов в ночное время,— стояло на том самом месте, где еще вчерашним днем росли чахлые деревца, бил худосочный фонтанчик в неподобающе громадной неряшливой цементной чаше, а на веревочных качелях висли и визжали разномастные ребятишки.

Оно было действительно красное, кирпичное, четырехэтажное, и окна нижнего этажа были забраны ставнями, и несколько окон на втором и третьем этажах светились желтым и розовым, а крыша была крыта оцинкованной жестью, и рядом с единственной трубой укреплена была странная, с несколькими поперечинами антенна. К двери, действительно вело крыльцо из четырех каменных ступенек, блестела медная ручка, и чем дольше Андрей смотрел на это здание, тем явственнее раздавалась у него в ушах какая-то торжественная и мрачная мелодия, и мельком он вспомнил, что многие из свидетелей показывали, будто в Здании играет музыка...

Андрей поправил козырек фуражки, чтобы не заслонял глаза, и взглянул на полицейского мотоциклиста. Угрюмый толстяк сидел нахохлившись, втянув голову в поднятый воротник, и сонно курил, держа сигарету в зубах.

— Видишь его? — спросил Андрей вполголоса.

Толстяк неловко повернул голову и отогнул воротник.

— А?

— Дом, говорю, видишь? — спросил Андрей, раздражаясь.

— Не слепой,— отозвался полицейский угрюмо.

— А раньше его видел здесь?

— Нет,— сказал полицейский.— Здесь не видел. В других местах — видел. А что? Здесь ночью и не такое увидишь...

Музыка у Андрея в ушах ревела с трагической силой, так что он даже плохо слышал полицейского. Происходили какие-то огромные похороны, тысячи и тысячи людей плакали, провожая своих близких и любимых, и ревущая музыка не давала им успокоиться, забыться, отключить себя...

— Жди меня здесь,— сказал Андрей полицейскому, но полицейский не ответил, что, впрочем, было и не удивительно, ибо он со своим мотоциклом остался на той стороне улицы, а Андрей стоял на каменном крыльце перед высокой дубовой дверью с медной ручкой.

Тогда Андрей посмотрел направо вдоль Главной улицы в туманную мглу, налево вдоль Главной улицы в туманную мглу, простился со всем этим на всякий случай и положил руку в перчатке на вычурно-резную блестящую медь.

За дверью оказалась небольшая спокойная прихожая, неярко освещенная желтоватым саетом, гроздья шинелей, пальто и плащей свисали с разлапистой, как пальма, вешалки. Под ногами был потертый коаер с бледными неопределенными узорами, а прямо впереди — широкая мраморная лестница с красной мягкой дорожкой, прижатой к ступеням металлическими, хорошо начищенными прутьями. Были еще какие-то картины на стенах, и было еще что-то за дубовым барьером справа, и был кто-то рядом, кто почтительно отобрал у Андрея папку и шепнул: «Наверх, пожалуйста...» Ничего этого Андрей разобрать не мог, ему ужасно мешал козырек фуражки, который все время съезжал на самые глаза, так что Андрей мог видеть только то, что было у него под ногами. На середине лестницы он подумал, что надо было бы сдать проклятую фуражку в гардероб этому раззолоченному типу в галунах и с бакенбардами до пояса, но теперь было уже поздно, а здесь все было устроено так, что все надо было делать вовремя или не делать совсем, и каждый ход свой, каждое свое действие возвращать назад было уже нельзя. И он со вздохом облегчения шагнул через последнюю ступеньку и снял фуражку.

Как только он появился в дверях, все встали, но он ни на кого не глядел. Он видел только своего партнера, невысокого пожилого мужчину в костюме полувоенного образца, в блестящих хромовых сапожках, мучительно на кого-то похожего и в то же время совершенно незнакомого.

Все неподвижно стояли вдоль стен, белых мраморных стен, украшенных золотом и пурпуром, задрапированных яркими разноцветными знаменами... нет, не разноцветными, все было красное с золотом, и с бесконечно далекого потолка свисали огромные пурпурно-золотые полотнища, словно материализовавшиеся ленты какого-то невероятного северного сияния, все стояли вдоль стен с высокими полукруглыми нишами, а в нишах прятались в сумраке горделиво-скромные бюсты, мраморные, гипсовые, бронзовые, золотые, малахитовые, нержавеющей стали... холодом могил веяло из этих ниш, все мерзли, все украдкой потирали руки и ежились, но все стояли навытяжку, глядя прямо перед собой, и только пожилой человек в полувоенной форме, партнер, противник, медленно, неслышными шагами расхаживал в пустом пространстве посередине зала, слегка наклонив массивную седеющую голову, заложив руки за спину, сжимая левой рукой кисть правой. И когда Андрей вошел, и когда все встали и уже стояли некоторое время, и когда под сводами зала уже затих, запутавшись в пурпуре и золоте, едва слышный вздох как бы облегчения, человек этот еще продолжал прохаживаться, а потом вдруг, на полушаге, остановился и очень внимательно, без улыбки поглядел на Андрея, и Андрей увидел, что волосы у него на большом черепе редкие и седые, лоб низкий, пышные усы — тоже редкие и аккуратно подстриженные, а равнодушное лицо — желтоватое, с неровной, как бы изрытой кожей.

В представлениях не было нужды, и не было нужды в приветственных речах. Они сели за инкрустированный столик, у Андрея оказались черные, а у пожилого партнера — белые, не белые, собственно, а желтоватые, и человек с изрытым лицом протянул маленькую безволосую руку, взял двумя пальцами пешку и сделал первый ход. Андрей сейчас же двинул навстречу свою пешку, тихого надежного Вана, который всегда хотел только одного — чтобы его оставили в покое,— и здесь ему будет обеспечен некоторый, впрочем, весьма сомнительный и относительный, покой, здесь, в самом центре событий, которые развернутся, конечно, которые неизбежны, и Вану придется туго, но именно здесь его можно будет подпирать, прикрывать, защищать — долго, а при желании — бесконечно долго.

Две пешки стояли друг напротив друга, лоб в лоб, они могли коснуться друг друга, могли обменяться ничего не значащими словами, могли просто тихо гордиться собой, гордиться тем, что вот они, простые пешки, обозначили собою ту главную ось, вокруг которой будет теперь разворачиваться вся игра. Но они ничего не могли сделать друг другу, они были нейтральны друг к другу, они были в разных боевых измерениях — маленький желтый бесформенный Ван с головой, привычно втянутой в плечи, и плотный, по-кавалерийски кривоногий мужичок в бурке и в папахе, с чудовищными пушистыми усами, со скуластым лицом и жесткими, слегка раскосыми глазами.

Снова на доске было равновесие, и это равновесие должно было продлиться довольно долго, потому что Андрей знал, что партнер его — человек гениальной осторожности, всегда полагавший, что самое ценное — это люди, а значит, Вану в ближайшее время ничто не может угрожать, и Андрей отыскал в рядах Вана и чуть-чуть улыбнулся ему, но сейчас же отвел глаза, потому что встретился с внимательным и печальным взглядом Дональда.

Партнер думал, неторопливо постукивая мундштуком длинной папиросы по инкрустированной перламутром поверхности столика, и Андрей снова покосился на замершие ряды вдоль стен, но теперь он уже смотрел не на своих, а на тех, кем распоряжался его соперник. Там почти не было знакомых лиц: какие-то неожиданно интеллигентного вида люди в штатском, с бородами, в пенсне, в старомодных галстуках и жилетках, какие-то военные в непривычной форме, с многочисленными ромбами в петлицах, при орденах, привинченных на муаровые подкладки... Откуда он набрал таких, с некоторым удивлением подумал Андрей и снова посмотрел на выдвинутую вперед белую пешку. Эта пешка была ему, по крайней мере, хорошо знакома — человек легендарной некогда слаоы, который, как шептались взрослые, не оправдал возлагавшихся на него надежд и теперь, можно сказать, сошел со сцены. Он, видно, и сам знал это, но не особенно горевал — стоял, крепко вцепившись в паркет криаыми ногами, крутил гигантские свои усы, исподлобья поглядыаал по сторонам, и от него остро несло водкой и конским потом.

Партнер поднял над доскою руку и переставил вторую пешку. Андрей закрыл глаза. Этого он никак не ожидал. Как же это так — прямо сразу? Кто это? Красивое бледное лицо, вдохновенное и в то же время отталкивающее каким-то высокомерием, голубоватое пенсне, изящная вьющаяся бородка, черная копна волос над светлым лбом — Андрей никогда раньше не видел этого человека и не мог сказать, кто он, был он, по-видимому, важной персоной, потому что властно и кратко разговаривал с кривоногим мужичком в бурке, а тот только шевелил усами, шевелил желваками на скулах и все отводил в сторону слегка раскосые глаза, словно огромная дикая кошка перед уверенным укротителем.

Но Андрею не было дела до их отношений — решалась судьба Вана, судьба маленького, всю свою жизнь мучавшегося Вана, совсем уже втянувшего голову в плечи, уже готового к самому худшему и безнадежно покорного в саоей готовности, и тут могло быть только одно из трех: либо Вана, либо Ван, либо асе оставить так, как есть, подвесить жизни этих двоих в неопределенности — на высоком языке стратегии это называлось бы «непринятый ферзевый гамбит» — и такое продолжение было известно Андрею, и он знал, что оно рекомендуется в учебниках, знал, что это азбука, но он не мог вынести и мысли о том, что Ван еще в течение долгих часов игры будет висеть на волоске, покрываясь холодным потом предсмертного ужаса, а давление на него будет все наращиваться и наращиваться, пока, наконец, чудовищное напряжение в этом пункте не сделается совершенно невыносимым, гигантский кровавый нарыв прорвется, и от Вана не останется и следа.

Я этого не выдержу, подумал Андрей. И в конце концов, я совсем не знаю этого человека в пенсне, какое мне до него дело, почему это я должен жалеть его, если даже мой гениальный партнер думал всего несколько минут, прежде чем решился предложить эту жертву... И Андрей снял с доски белую пешку и поставил на ее место свою, черную, и в то же мгновение увидел, как дикая кошка в бурке вдруг впервые в жизни взглянула укротителю прямо в глаза и оскалила в плотоядной ухмылке желтые прокуренные клыки. И сейчас же какой-то смуглый, оливково-смуглый, не по-русски, не по-европейски даже выглядящий человек скользнул между рядами к голубому пенсне, взмахнул огромной ржавой лопатой, и пенсне голубой молнией брызнуло в сторону, а человек с бледным лицом великого трибуна и несостоявшегося тирана слабо ахнул, ноги его подломились, и небольшое ладное тело покатилось по выщербленным древним ступеням, раскаленным от тропического солнца, пачкаясь в белой пыли и ярко-красной липкой крови... Андрей перевел дыхание, проглотил мешающий комок в горле и снова посмотрел на доску.

А там уже две белые пешки стояли рядом, и центр был прочно захвачен стратегическим гением, и, кроме того, из глубины прямо в грудь Вану нацелился зияющий зрачок неминуемой гибели — тут нельзя было долго размышлять, тут дело было уже не только в Ване: одно единственное промедление, и белый слон вырвется на оперативный простор — он давно уже мечтает вырваться на оперативный простор, этот высокий стат-

ный красавец, украшенный созвездиями орденов, значков, ромбов, нашивок, гордый красавец с ледяными глазами и пухлыми, как у юноши, губами, гордость молодой армии, гордость молодой страны, преуспевающий соперник таких же высокомерных, усыпанных орденами, значками, нашивками гордецов западной военной науки. Что ему Ван? Десятки таких Ванов он зарубил собственной рукой, тысячи таких Ванов, грязных, вшивых, голодных, слепо уверовавших в него, по одному его слову, яростно матерясь, в рост шли на танки и пулеметы, и те из них, которые чудом остались в живых, теперь уже холеные и отъевшиеся, готовы были идти и сейчас, готовы были повторить все сначала...

Нет, этому человеку нельзя было отдавать ни Вана, ни центра. И Андрей быстро двинул вперед пешку, стоявшую на подхвате, не глядя, кто это, и думая только об одном: прикрыть, подпереть Вана, защитить его хотя бы со спины, показать великому танкисту, что Ван, конечно, в его власти, но дальше Вана ему не пройти. И великий танкист понял это, и заблестевшие было глаза его снова сонно прикрылись красивыми тяжелыми веками, но он забыл, видимо, как точно так же забыл и вдруг каким-то страшным внутренним озарением понял Андрей, что здесь все решают не они — не пешки и слоны, и даже не ладьи и не ферзи. И чуть только маленькая безволосая рука медленно поднялась над доской, как Андрей, уже понявший, что сейчас произойдет, сипло каркнул: «Поправляю...» в соответствии с благородным кодексом игры и так поспешно, что даже пальцы свело судорогой, поменял местами Вана и того, кто его подпирал. Удача бледно улыбнулась ему: подпирал Вана, а теперь заменил Вана Валька Сойфертис, с которым Андрей шесть лет просидел на одной парте и который все равно уже умер в сорок девятом году во время операции по поводу язвы желудка.

Брови гениального партнера медленно приподнялись, коричневатые с крапинками глаза удивленно-насмешливо прищурились. Конечно, ему был смешон и непонятен такой бессмысленный как с тактической, так, тем более, и со стратегической точки зрения поступок. Продолжая движение маленькой слабой руки, он остановил ее над слоном, помедлил еще несколько секунд, размышляя, затем пальцы его уверенно сомкнулись на лакированной головке фигуры, слон устремился вперед, тихонько стукнул о черную пешку, сдвинул ее и утвердился на ее месте. Гениальный стратег еще медленно выносил битую пешку за пределы поля, а кучка людей в белых халатах, деловых и сосредоточенных, уже окружила хирургическую каталку, на которой лежал Валька Сойфертис,— в последний раз мелькнул перед глазами Андрея темный, изглоданный болезнью профиль, и каталка исчезла в дверях операционной...

Андрей взглянул на великого танкиста и увидел в его серых прозрачных глазах тот же ужас и тягостное недоумение, которые ощущал и сам. Танкист, часто мигая, смотрел на гениального стратега и ничего не понимал. Он привык мыслить в категориях передвижений в пространстве огромных машинных и человеческих масс, он, в своей наивности и простодушии, привык считать, что все и навсегда решат его бронированные армады, уверенно прущие через чужие земли, и многомоторные, набитые бомбами и парашютистами, летающие крепости, плывущие в облаках над чужими землями, он сделал все возможное для того, чтобы эта ясная мечта могла быть реализована в любой необходимый момент... Конечно, он позволял себе иногда известные сомнения в том, что гениальный стратег так уж гениален и сумеет однозначно определить этот необходимый момент и необходимые направления бронированных ударов, и все же он ни в какую не понимал (и так и не успел понять), как можно было приносить в жертву именно его, такого талантливого, такого неутомимого и неповторимого, как можно было принести в жертву все то, что было создано такими трудами и усилиями...

Андрей быстро снял его с доски, с глаз долой, и поставил на его место Вана. Люди в голубых фуражках протиснулись между рядами, грубо схватили великого танкиста за плечи и за руки, отобрали оружие, с хрустом ударили по красивому породистому лицу и поволокли в каменный мешок, а гениальный стратег откинулся на спинку стула, сыто зажмурился и, сложив руки на животе, покрутил большими пальцами. Он был доволен. Он отдал слона за пешку и был очень доволен. И тогда Андрей вдруг понял, что в его, стратега, глазах все это выглядит совсем иначе: он ловко и неожиданно убрал мешающего ему слона да еще получил пешку впридачу — вот как это выглядело на самом деле...

Великий стратег был более, чем стратегом. Стратег всегда крутится в рамках своей стратегии. Великий стратег отказался от всяких рамок. Стратегия была лишь ничтожным элементом его игры, она была для него так же случайна, как для Андрея — какой-нибудь случайный, по прихоти сделанный ход. Великий стратег стал великим именно потому, что понял (а может быть, знал от рождения): выигрывает вовсе не тот, кто умеет играть по всем правилам; выигрывает тот, кто умеет отказаться в нужный момент от всех правил, навязать игре свои правила, неизвестные противнику, а когда понадобится — отказаться и от них. Кто сказал, что свои фигуры менее опасны, чем фигуры противника? Вздор, свои фигуры гораздо более опасны, чем фигуры противника. Кто сказал, что короля надо беречь и уводить из-под шаха? Вздор, нет таких

королей, которых нельзя было бы при необходимости заменить каким-нибудь конем или даже пешкой. Кто сказал, что пешка, прорвавшаяся на последнюю горизонталь, обязательно становится фигурой? Ерунда, иногда бывает гораздо полезнее оставить ее пешкой — пусть постоит на краю пропасти в назидание другим пешкам...

Проклятая фуражка все съезжала и съезжала Андрею на глаза, и ему все труднее становилось следить за тем, что происходит вокруг. Он слышал, однако, что чинная тишина в зале перестала существовать, слышался звон посуды, гомон многих голосов, звуки настраиваемого оркестра. Потянуло кухонным чадом. Кто-то пискляво объявлял на весь дом: «Жогж! Я чегтовски пгоголодался! Вели скогее подать мне гюмку кюгасо и а-ня-няс!..»

— Прошу прощения,— произнес кто-то над самым ухом с казенной вежливостью, протискиваясь между Андреем и доской — мелькнули черные фалды, начищенные лаковые штиблеты, высоко вздетая белая рука с нагруженным подносом проплыла над головой. И еще какая-то белая незнакомая рука поставила у локтя Андрея бокал шампанского.

Гениальный стратег обстучал, наконец, и обмял свою папиросу до такой степени, что ее стало можно курить. И он закурил — синеватый дымок поплыл у него из волосатых ноздрей, путаясь в пышных редковатых усах.

А игра тем временем шла. Андрей судорожно защищался, отступал, маневрировал, и ему пока удавалось сделать так, что гибли только и без того уже мертвые. Вот унесли Дональда с простреленным сердцем и положили на столик рядом с бокалом его пистолет и посмертную записку: «Приходя — не радуйся, уходя — не грусти. Пистолет отдайте Воронину. Когда-нибудь пригодится»... Вот уже брат с отцом снесли по обледенелой лестнице и сложили в штабель трупов во дворе тело бабушки, Евгении Романовны, зашитое в старые простыни... Вот и отца похоронили в братской могиле где-то на Пискаревке, и угрюмый водитель, пряча небритое лицо от режущего ветра, прошелся асфальтовым катком взад и аперед по окоченевшим трупам, утрамбовывая их, чтобы в одну могилу поместилось побольше... А великий стратег щедро, весело и злорадно расправлялся со своими и чужими, и все его холеные люди в бородках и орденах стреляли себе в виски, выбрасывались из окон, умирали от чудовищных пыток, проходили, перешагивая друг через друга, в ферзи и оставались пешками...

И Андрей все мучительнее пытался понять, что же это за игра, в которую он играет, какая цель ее, каковы правила, и зачем все это происходит, и до самых глубин души продирал его вопрос: как же это он попал в противники великого стратега, он, верный солдат его армии, готовый в любую минуту умереть за него, готовый убивать за него, не знающий никаких иных целей, кроме его целей, не верящий ни в какие средства, кроме указанных им средств, не отличающий замыслов великого стратега от замыслов Вселенной. Он жадно, не ощутивши никакого вкуса, вылакал шампанское, и тогда вдруг ослепительное озарение обрушилось на него. Ну конечно же, он никакой не противник великого стратега! Ну конечно же, вот в чем дело! Он его союзник, верный его помощник, вот оно — главное правило этой игры! Играют не соперники, играют именно партнеры, союзники, игра идет в одни-единственные ворота, никто не проигрывает, все только выигрывают... кроме тех, конечно, кто не доживет до победы...

Кто-то коснулся его ноги и проговорил под столом: «Будьте любезны, передвиньте ножку...» Андрей посмотрел под ноги. Там темнела блестящая лужа, и около нее возился на карачках лысенький карлик с большой высохшей тряпкой, покрытой темными пятнами. Андрея замутило, и он снова стал смотреть на доску. Он уже пожертвовал всеми мертвыми, теперь у него оставались только живые. Великий стратег по ту сторону столика с любопытством следил за ним и даже, кажется, кивал одобрительно, обнажая в вежливой улыбке маленькие редкие зубы, и тут Андрей почувствовал, что он больше не может. Великая игра, благороднейшая из игр, игра во имя величайших целей, которые когда-либо ставило перед собою человечество, но играть в нее дальше Андрей не мог.

— Выйти...— сказал он хрипло.— На минутку.

Это получилось у него так тихо, что он сам едва расслышал себя, но все сразу посмотрели на него. Снова в зале наступила тишина, и козырек фуражки почему-то больше не мешал ему, и он мог теперь ясно, глаза в глаза, увидеть всех своих, всех, кто пока еще оставался в живых.

Мрачно глядел на него, потрескивая цигаркой, огромный дядя Юра в своей распахнутой настежь, выцветшей гимнастерочке; пьяно улыбалась Сельма, развалившаяся в кресле с ногами, задранными так, что видна была попка в кружевных розовых трусиках; серьезно и понимающе смотрел Кэнси, а рядом с ним — взлохмаченный, как всегда зверски небритый, с отсутствующим взглядом Володька Дмитриев; а на высоком старинном стуле, с которого только что поднялся и ушел в очередную свою и последнюю таинственную командировку Сева Барабанов, восседал теперь брезгливо сморщенный, со своим аристократическим горбатым носом Борька Чистяков, словно готовый спросить: «Ну, что ты орешь, как больной слон?» — все были здесь, все самые

близкие, самые дорогие, и все смотрели на него, и все по-разному, и в то же время было в их взглядах и что-то общее, какое-то общее их к нему отношение: сочувствие? доверие? жалость? — нет, не это, и он так и не понял, что именно, потому что вдруг увидел среди хорошо знакомых и привычных лиц какого-то совсем незнакомого человека, какого-то азиата с желтоватым лицом и раскосыми глазами, нет, не Вана, какого-то изысканного, даже элегантного азиата, и еще ему показалось, что за спиной этого незнакомца прячется кто-то совсем маленький, грязный, оборванный, наверное, беспризорный ребенок...

И он встал, резко, со скрипом отодвинув от себя стул, и отвернулся от них всех, и, сделав какой-то неопределенный жест в сторону и адрес великого стратега, поспешно пошел вон из зала, протискиваясь между чьими-то плечами и животами, отстраняя кого-то с дороги, и, словно чтобы успокоить его, кто-то пробубнил неподалеку: «Ну что ж, это правилами допускается, пусть подумает, поразмыслит... Нужно только остановить часы...»

Совершенно обессиленный, мокрый от пота, он выбрался на лестничную площадку и сел прямо на ковер, недалеко от жарко полыхающего камина. Фуражка снова сползла ему на глаза, так что он даже и не пытался разглядеть, что это там за камин и что за люди сидят около камина, он только чувствовал своим мокрым и словно бы избитым телом мягкий сухой жар, и видел подсохшие, но все еще липкие пятна на своих ботинках, и слышал сквозь уютное потрескивание пылающих поленьев, как кто-то неторопливо, со вкусом, прислушиваясь к собственному бархатному голосу, рассказывает:

— ...Представляете себе — красавец, в плечах косая сажень, кавалер трех орденов Славы, а полный бант этих орденов, надо вам сказать, давали не всякому, таких было меньше даже, чем Героев Советского Союза. Ну, прекрасный товарищ, учился отлично и все такое. И была у него, надо вам сказать, одна странность. Бывало, придет он на вечеринку на хате у сынка какого-нибудь генерала или маршала, но чуть все разбредутся шерочка с машерочкой, он потихоньку в прихожую, фуражечку набекрень и — привет. Думали сначала, что есть у него какая-то постоянная любовь. Так нет — то и дело встречали его ребята в публичных местах — ну, в парке Горького, а клубах там разных — с какими-то отъявленными лахудрами, да все с разными! Я вот тоже однажды повстречал. Смотрю — ну и выбрал! — ни кожи, ни рожи, чулки вокруг тощих конечностей винтом, размалевана — сказать страшно... а тогда, между прочим, нынешней косметики ведь не было — чуть ли не ваксой сапожной девки брови подводили... В общем, как говорится, явный мезальянс. А он — ничего. Ведет ее нежно под ручку и что-то ей там вкручивает, как полагается. А уж она-то — прямо тает, и гордится, и стыдится — полные штаны удовольствия... И вот однажды в холостой компании мы и пристали к нему: давай выкладывай, что у тебя за извращенные вкусы, как тебе с этими б...ми ходить не тошно, когда по тебе сохнут лучшие красавицы... А надо вам сказать, что был у нас в академии педагогический факультет, привилегированная такая штучка, туда только из самых высоких семей девиц набирали... Ну, он сначала отшучивался, а потом сдался и рассказал нам такую удивительную вещь. Я, говорит, товарищи, знаю, что во мне, так сказать, все угодья: и красив, и ордена, и хвост колом. И сам, говорит, о себе это знаю, и записочек много на этот счет получал. Но был тут у меня, говорит, один случай. Увидел я вдруг несчастье женщин. Всю войну они никакого просвета не видели, жили впроголодь, вкалывали на самой мужской работе — бедные, некрасивые, понятия даже не имеющие, что это такое — быть красивой и желанной. И я, говорит, положил себе дать хоть немногим из них такое яркое впечатление, чтобы на всю жизнь им было о чем вспоминать. Я, говорит, знакомлюсь с такой вот вагоновожатой или с работницей с «Серпа и молота», или с несчастненькой учительницей, которой и без войны-то на особое счастье рассчитывать не приходилось, а теперь, когда столько мужиков перебили, и вообще ничего в волнах не видно. Провожу я с ними два-три вечера, говорит, а потом исчезаю, прощаюсь, конечно, вру, что еду в длительную командировку или еще что-нибудь такое правдоподобное, и остаются они с этим светлым воспоминанием... Хоть какая-то, говорит, светлая искорка в их жизни. Не знаю, говорит, как это получается с точки зрения высокой морали, но есть у меня ощущение, что я таким образом хоть как-то частичку нашего общего мужского долга выполняю... Рассказал он нам все это, мы обалдели. Потом, конечно, спорить принялись, но впечатление это все на нас произвело необыкновенное. Вскоре он, впрочем, куда-то исчез. Тогда многие у нас так вот исчезали: приказ командования, а в армии не спрашивают, куда и зачем... Больше я его не видел...

И я, подумал Андрей. И я его больше не видел. Было два письма — одно маме, одно мне. И было извещение маме: «Ваш сын, Сергей Михайлович Воронин, погиб с честью при выполнении боевого задания командования». В Корее это было. Под розовым акварельным небом Кореи, где впервые великий стратег попробовал свои силы в схватке с американским империализмом. Он вел там свою великую игру, а Сережа там остался со своим полным набором орденов Славы...

Не хочу, подумал Андрей. Не хочу я этой игры. Может быть, так все и должно быть, может, без этой игры и нельзя. Может быть. Даже наверняка. Но я не могу... Не умею. И учиться даже не хочу... Ну что же, подумал он с горечью. Значит, я просто плохой солдат. Вернее сказать, я просто солдат. Всего-навсего солдат. Тот самый, который размышлять не умеет и потому должен повиноваться слепо. И я никакой не партнер, не союзник великого стратега, а крошечный винтик в его колоссальной машине, и место мое не за столом в его непостижимой игре, а рядом с Ваном, с дядей Юрой, с Сельмой... Я маленький звездный астроном средних способностей, и если бы мне удалось доказать, что существует какая-то связь между широкими парами и потоками Схилта, это было бы для меня уже очень и очень много. А что касается великих решений и великих свершений...

И тут он вспомнил, что он уже не звездный астроном, что он — следователь прокуратуры, что ему удалось добиться немалого успеха: с помощью специально подготовленной агентуры, особой сыскной методикой засечь это таинственное Красное Здание и проникнуть в него, раскрыть его зловещие тайны, создать все предпосылки для успешного уничтожения этого злокачественного явления нашей жизни...

Приподнявшись на руках, он сполз ступенькой ниже. Если я сейчас вернусь к столу, из Здания мне уже не вырваться. Оно меня поглотит. Это же ясно: оно уже многих поглотило, на то есть свидетельские показания. Но дело не только в этом. Дело в том, что я должен вернуться в свой кабинет и распутать этот клубок. Вот мой долг. Вот что я сейчас обязан сделать. Все остальное — мираж...

Он сполз еще на две ступеньки. Надо освободиться от миража и вернуться к делу. Здесь все не случайно. Здесь все отлично продумано. Это чудовищный иллюзион, сооруженный провокаторами, которые стремятся разрушить веру в конечную победу, растлить понятия морали и долга. И не случайно, что по одну сторону Здания этот грязный кинотеатрик под названием «Новый иллюзион». Новый! В порнографии ничего нового нет, а он — новый! Все понятно! А по другую сторону что? Синагога...

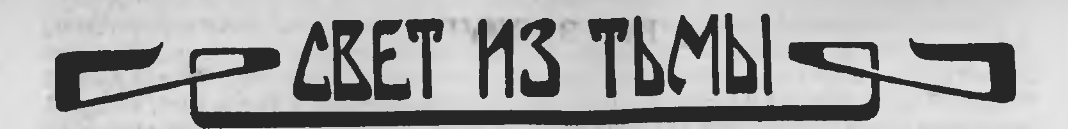
Он быстро-быстро пополз по ступенькам вниз и добрался до двери, на которой было написано «Выход». Уже азявшись за дверную ручку, уже навалившись, уже преодолевая сопротивление скрипящей пружины, он вдруг понял, что общего было в выражении глаз, устремленных на него там, наверху. Упрек. Они знали, что он не вернется. Он сам еще об этом и не догадывался, а они уже знали точно...

Он вывалился на улицу, жадно хватил огромный глоток сырого туманного воздуха и с замирающим от счастья сердцем увидел, что здесь все по-прежнему: туманная мгла направо вдоль Главной улицы, туманная мгла налево вдоль Главной улицы, а напротив, на той стороне, рукой подать — мотоцикл с коляской и совсем заснувший полицейский водитель, погрузившийся в воротник с головой. «Дрыхнет жиряга,— с умилением подумал Андрей.— Умаялся». И тут голос внутри него вдруг громко произнес: «Время!», и Андрей застонал, заплакал от отчаяния, только сейчас вспомнив главное, самое страшное правило игры. Правило, придуманное специально против таких вот интеллигентных хлюпиков и чистоплюев: тот, кто прервал партию, тот сдался; тот, кто сдался, теряет все свои фигуры.

С воплем «Не надо!» Андрей повернулся к медной ручке. Но было уже поздно. Дом уходил. Он медленно пятился задом в непроглядную тьму мрачных задворков синагоги и «Нового иллюзиона». Он уползал с явственным шорохом, скрежетом, скрипом, дребезжа стеклами, покряхтывая балками перекрытий. С крыши сорвалась черепица и разбилась о каменную ступеньку.

Андрей изо всех сил давил на медную ручку, но она словно срослась с деревом двери, а дом двигался все быстрее и быстрее, и Андрей уже бежал, почти волочился за ним, как за отходящим поездом, он рвал и дергал ручку и вдруг споткнулся обо что-то, упал, скрюченные пальцы его сорвались с гладких медных завитков, он ударился обо что-то головой, очень больно, искры посыпались из глаз, и хрустнуло что-то в черепе, но он еще видел, как дом, пятясь, на ходу гася свои окна, свернул за желтую стену синагоги, исчез, снова появился, словно выглянул двумя своими последними горящими окнами, а потом и эти окна погасли, и наступила тьма.

Окончание следует



Эти стихи — из готовящейся к изданию книги Даниила Леонидовича Андреева, сына классика русской литературы, одного из самых в свое время знаменитых писателей — Леонида Николаевича Андреева.

Даниил Андреев родился в 1906 году. Мать его умерла сразу после родов, и он воспитывался в семье родной тетки по матери, жены московского врача Филиппа Александровича Доброва. Он считал эту семью своей родной и поэтому не оказался вместе с семьей отца в эмиграции.

После окончания гимназии и каких-то Высших литературных курсов Даниил Андреев работал художником-оформителем. Эта работа была для заработка, а все остальное время было посвящено литературе — стихам и прозе.

На фронте во время Великой Отечественной войны он был по состоянию здоровья нестроевым солдатом — подносил патроны, хоронил убитых, был братом милосердия. В составе 196-й Стрелковой дивизии перебрался по Ладожскому льду в блокадный Ленинград.

В 1945 году демобилизовался, а в 1947 году вместе с женой был арестован и после следствия, которое длилось полтора года, был осужден Особым совещанием — «тройкой» — на двадцать пять лет тюремного заключения. В 1957 году он был выпущен на свободу, в 1958-м полностью реабилитирован. После инфаркта, перенесенного в тюрьме, на вольной воле он успел прожить два года, из которых более полутора провел на больничной койке. За это время он успел восстановить по памяти и привести в порядок все, что ранее написал.

Я читал рукопись книги Даниила Андреева, читал и дивился характеру поэта, его таланту и самоотверженности. Он не жаловался на судьбу. Он был стойким и гордым, как это и положено подлинному поэту. Он верил в человека, в его духовную силу, в его мужество. Он сам был примером мужества. Он верил в свое назначение.

Наследие Даниила Андреева, чудом сохранившееся и дошедшее до нас, достойно духовного внимания живущих наследников культуры русского языка. Оно, это наследие, бьет из прошлого, из его мучительных провалов тьмы, бьет ясным и ярким светом Истины в наш тревожный день забот, надежд и прозрений.

Михаил ДУДИН

Даниил АНДРЕЕВ

◘ ◘ ◘

Есть праздник у русской природы:
Опустится шар огневой —
И будто прохладные воды
Сомкнутся над жаркой землей.

Светило прощально и мирно
Алеет сквозь них и листву,
Беззнойно, безгневно, эфирно,—
Архангельский лик наяву.

Еще не проснулись поверья,
Ни сказок, ни лунных седин,
Но всей полнотой предвечерья
Мир залит, блажен и един.

Росой уже веет из сада
И сладко — бог весть почему,
И большего счастья не надо
Ни мне, ни тебе, никому.

1936

◘ ◘ ◘

Поздний день мой будет тих и сух:
Синева безветрена, чиста;
На полянах сердца — тонкий дух,
Запах милый прелого листа.

Даль сквозь даль синеет, и притих
Успокоился от перемен,

И шелками белых паутин
Мирный прах полей благословен.

Это Вечной Матери покров
Перламутром осенил поля:
Перед бурями иных миров
Отдохни, прекрасная Земля.

1950

БЕЗ ЗАСЛУГ

Если назначено встретить конец
Скоро,— теперь,— здесь —
Ради чего же этот прибой
Все возрастающих сил?

И почему — в своевольных снах
Золото дум кипит,
Будто в жерло вулкана гляжу,
Блеском лавы слепим?

Кто и зачем громоздит во мне
Глыбами, как циклоп,
Замыслы, для которых тесна
Узкая жизнь певца?

Или тому, кто не довершит
Дело призванья — здесь,
Смерть — как распахнутые врата
К осуществленью т а м?

1950

◘ ◘ ◘

Про всенародное наше Вчера,
Про древность я говорю.
Про вечность. Про эти вот вечера,
Про эту зарю.

Про вызревающее в борозде,
Взрыхленной плугом эпох,
Семя, подобное тихой звезде,
Но солнечное, как бог.

Не заговорщик я, не бандит,—
Я вестник другого дня.
А тех, кто сегодняшнему кадит,—
Достаточно без меня.

1950

◘ ◘ ◘

О, не так величава — широкою поймой цветущею
То к холмам, то к дубравам ласкающаяся река,
Но темны ее омуты под лозняковыми кущами
И душа глубока.

Ей приносят дары — из святилищ — Нерусса цветочиая,
Шаловливая Навля, ключами звенящая Знобь;
С ней сплелись воедино затоны озер непорочные
И лукавая топь.

Сказок Брянского леса, певучей и вольной тоски его
Эти струи исполнены, плавным несясь серебром
К лону южных морей мимо первопрестольного Киева
Вместе с братом Днепром.

И люблю я смотреть, как прибрежьями, зноем сожженными,
Загорелые бабы спускаются к праздной воде,
И она, переливами, мягко-плескучими, сонными,
Льнет к веселой бадье.

Это было всегда. Это будет в грядущем, как в древности,
Для неправых и правых — в бесчисленные времена,
Ибо кровь мирозданья не знает ни страсти, ни ревности,
Всем живущим — одна.

1950

СКВОЗЬ ТЮРЕМНЫЕ СТЕНЫ

Завершается труд,
раскрывается вся панорама:
Из невиданных руд
для постройки извлек я металл,
Плиты слова, как бут,
обгранил для желанного храма,
Из отесанных груд
многотонный устой создавал.

Будет ярус другой:
в нем пространство предстанет огромней:
Будет сфера — с игрой
золотых полукруглых полос...
Камня хватит: вдали,
за излучиной каменоломни,
Блеском утра залит
непочатый гранитный колосс.

Если жизнь и покой
суждены мне в клокочущем мире,
Я надежной киркой
глыбы камня от глыб оторву,
И, невзгодам вразрез,
будет радость — все шире и шире
Видеть купол и крест,
довершаемые наяву.

Мне, слепцу и рабу,
наважденья ночей расторгая,
Указуя тропу
к обретенью заоблачных прав,
Все поняв и простив,
отдала этот труд Всеблагая,
Ослепительный миф —
свет грядущего — предуказав.

Нет! не зодчим, дворцы
создающим под солнцем и ветром,
Купола и венцы
возводя в голубой окоем —
В недрах русской тюрьмы
я тружусь над таинственным метром
До рассветной каймы
в тусклооком окошке моем.

Дни скорбей и труда —
эти грузные, косные годы
Рухнут вниз, как обвал —
уже вольные дали видны,
Никогда, никогда
не впивал я столь дивной свободы,
Никогда не вдыхал
всею грудью такой глубины!

В круг последних мытарств
я с народом безбрежным вступаю —
Миллионная нить
в глубине мирового узла...
Сквозь крушение царств
проведи до заветного края,
Ты, что можешь хранить
и листок придорожный от зла!

1956

Студия „НЕВЫ"

Сегодня мы представляем сразу трех авторов: И. БОЯШОВА, А. МЕЛИХОВА и А. ОБРАЗЦОВА. Александр Мелихов уже знаком нашему читателю по неоднократным публикациям на страницах «Невы». Он автор книги прозы «Провинциал», вышедшей в прошлом году в издательстве «Советский писатель». Александр Образцов также является автором книги «Поющие люди», вышедшей в том же издательстве. Он — драматург, но нередко выступает и как прозаик. Книга прозы «Играй свою мелодию, парень» Ильи Бояшова готовится к выходу в свет в издательстве «Лениздат». Он самый молодой автор из представленных сегодня в данной подборке. Ему 26 лет.

Много можно рассказать о каждом из представленных прозаиков. Все они — люди интересных судеб. Надеемся, проза их не оставит читателей «Невы» равнодушными, и замолвит словечко за своих авторов.

Александр МЕЛИХОВ

СЛОЖНАЯ ШТУКА

Курировать общежитие... А что? Придут жаловаться — внимательно выслушать, умно поговорить. Ему в свое время не хватало общения со взрослым, умудренным человеком. И даже лестно в качестве власть имущего вновь оказаться в стенах, видавших тебя желторотым юнцом.

— Как раз сегодня встреча студентов с представителями технических служб,— напутствовал его декан.— Постарайтесь, чтобы студенты не отправляли письмо.— И резюмировал в рифму: — Во всяком случае, наверху не должно возникнуть впечатления, что мы упустили бразды управления.— Как будто боялся, что прозой Олег не запомнит.

Олег сам догадался, что заседать будут в комнате для занятий — *рабочке*. Сердце слегка защемило, когда он увидел знакомый коридор, хотя и по-новому выкрашенный. У двери в рабочку курили двое основательных мрачноватых мужчин — наверняка те самые представители технических служб. Им, казалось, все давно и основательно осточертело, и словами перебрасывались они о чем-то непонятном, но явно не о предстоящем сражении. Кажется, сам Олег волновался больше, чем они. Один из них, белобрысый, тоскливо зевнул, пискнув горлом и клацнув зубами, как дворняга.

— Время, товарищи,— выглянул председатель студсовета, аспирант в больших умных очках. Таким научным лицам Олег завидовал когда-то, пока не понял, что одаренный человек может позволить себе любую внешность и даже украситься ею,— там, разумеется, где его дарования признаны.

Председатель вел собрание с тонкой, как бы дирижерской, рейкой в руке. При каждом взрыве чувств он стучал рейкой, как бы по пюпитру, и предостерегал:

— Товарищи, мы теряем информативность!

И вообще, выражался примерно в таком стиле:

— Джентльмены, прошу переместить сюда недостающее количество седалищных мест, дабы не обременять дам.

Среди публики попадались и знакомые лица, но напористые, при деле, они казались Олегу взрослее его. Стало уже не до лирики, хотя и в рабочке все, казалось, было по-старому,— даже угловато-сквозная кучка сломанных стульев в углу.

Олег занял место в традиционно пустом, как на экзамене, первом ряду. Один из мужчин, зевавший, представил себя — «Филиппов» («...тель начальника ЖЭКа»,— выловилось из шума), и своего спутника — «...вный механик Антипенко»,— произошла маленькая потеря информативности. К удивлению своему, Олег обнаружил у Филиппова поразительно простодушное выражение лица, которого почему-то совершенно не заметил в коридоре. Представившись, Филиппов грузно опустился на один из приготовленных стульев, лицом к студентам, но без задержки, с треском и рассыпающимся деревянным звоном проследовал на пол, как-то боком, потому что сначала подломились левые ножки.

Взрыв хохота и стук по пюпитру:

— Товарищи, мы теряем информативность!

Антипенко переменился в лице, заикался даже:

— Эт-то... что за... какие стулья вы нам поставили?!

— Это вы́ их нам поставили,— ответил с подоконника спокойный иронический голос.

Одобрительный смех, стук, «товарищи, мы теряем информативность».

— Да это... это как назвать?.. это хулиганство!..— не находил слов Антипенко, но его благодушно прервал наконец

выкарабкавшийся из обломков Филиппов:

— Брось, брось! Ребята — молодцы! Так с нами и надо! Мы в армии тоже один раз...

— С боевыми воспоминаниями мы пригласим Вас на двадцать третье февраля,— прервал его тот же голос.— Костя, оформи, это по культсектору. А в преддверии седьмого ноября не лучше ли перейти прямо к существу дела.

Обладатель спокойного иронического голоса сидел на подоконнике в позе Мефистофеля работы скульптора Антокольского,— кажется, под него он себя и стилизовал,— правда, в отличие от своего прототипа, он не был совершенно голым, а имел на себе солдатское галифе и диковинный жилет — пиджак с отрезанными рукавами. При Олеге многие тоже напяливали на себя что-нибудь из ряда вон для пощечины общественному вкусу, хотя странный это какой-то общественный вкус, которому чуть ли не каждый второй норовит отвесить пощечину. Мода эта и Олега не миновала в свое время, но парень этот не сильно ему понравился, чересчур уж он был спокойный, а кто никогда не волнуется — тот никого не уважает.

— Ну и братва! Ну и братва! — восхищенно крутил головой Филиппов, в чистосердечнейшей улыбке открывая простодушнейшую в мире щербинку между передними зубами.— Таких никому не обкрутить! Чуть что: а ну, давай-ка ближе к делу! Идет! — к делу так и делу. Делу, как у нас говорят, время, потехе — час. Да... Ну, так вот. Вот... Кто такие работники ЖЭКа? Работники ЖЭКа — это борцы за комфорт. А что такое сам ЖЭК?

И, набрав разгон, развернулся по нарастающей, как с трибуны, но и мужиковато вместе с тем:

— ЖЭК — это четыре с половиной тысячи жильцов, это тысячи метров коммуникаций, это...— его прервали ленивые аплодисменты с подоконника:

— Браво, браво! Но Вы, вероятно, невнимательно слушали — мы вовсе не просили, чтобы Ваша речь продолжалась до седьмого ноября. Начнем лучше прямо с мебели.

Смех, стук, «теряем информативность». Филиппов смеется вместе со всеми.

— Я — технический человек. Но могу и про мебель. Мебель распределяется... вы знаете... есть лимиты... Лимит на год — двадцать пять тысяч, нам надо — тридцать пять. Кроватями мы вас укомплектовали, столы будут вот-вот, но и на складе надо что-то придержать. Скажем, вы были бы хозяевá... Все вам отдать — так с нового года пятое общежитие оставить нагишом. А мы стараемся, чтобы и у других было похоже на вас.

Смех, стук, «теряем информативность». Но тут же дерзкий выкрик с места:

— Когда будут новые телевизоры?

И — как прорвало:

— Когда столовая?!

Столов в половине кухонь так и нет!

— У вас дома, наверно, целые унитазы?

— Электроплиты вместо холодильников предполагаете использовать?

— Лифт! Лифт! Забодаешься бегать по десять раз в день наверх! Да еще с детской коляской!

— Не обеспечиваете телефона — сами и бегайте за врачом!

Словом, полная потеря информативности. Председатель еле достучался своей дирижерской рейкой:

— Товарищи! Товарищи! Для облегчения участи выступающего приберегайте эмоции напоследок или изливайте их в записках!

Но Филиппов с готовностью улыбался дерзостям, остротам, шпилькам. Насчет посмеяться — это он пожалуйста, с этим всегда прошу. Он не отбрехивался, он делился своими заботами, которые были также их заботами. И, ой, сколько же забот у него оказалось!

— Телевизоры приказано срочно отремонтировать старые. В приказе минвуза о мебельном довольствии студентов нет ничего о комплектации телевизорами. А телефон — обязательно установим на этой неделе. А то без телефона инспекция по лифтáм развернется я уедет, и разговаривать не станет. А электроплиты, ребята, для нас дело новое. Хоть я и технический человек. Но сейчас — ни одной запчасти. Что я могу сделать — нету! Писал заявки, докладывал — нету и нету. Вот и двенадцати рукавов не хватает, в лампочек нету — хожу и набиваю себе шишки. Шаровые светильники получили — так у них шестьдесят процентов боя. Я хлопочу, выбиваю — но нету. Было бы — не дал бы я, что ли? Вы думаете все, что у нас, вредители сидят... Вот со столовой легче. Комиссия ее уже приняла. Как всякая хорошая комиссия, она сначала бракует даже здание, но потом мягчает... В столовой холодильное оборудование требует наладки, хотя принято монтажом, жалюзийные вентили то же самое требуют наладки. Но теперь ключи уже в кармане, акт о приемке родился сегодня. Но кушать можно только к празднику.

— Какому?

— Что, кушать только перед праздниками?

Смех, стук, «теряем информативность».

А Филиппов все клял и клял свою горькую долю. Сантехническое оборудование они поставили старое, чтоб не разворовали. Увы, и это приходится принимать в расчет! Как студенческая вахта работает — сами знаете, неси кто что хочет. Студенты же не то, что старушки.

— Вот вы смеетесь, а у нас даже плиту хотели вытащить — нашли на пожарной лестнице. Зато на складе мы собрали хороший запас, подавайте заявки.

Олег слушал и диву давался. Если бы сейчас запросили его мнение, он порекомендовал бы, как минимум, представить Филиппова к ордену Трудового Красного Знамени. Он успел уже удостовериться, что поставь его на место Филиппова — через полгода с археологами пришлось бы искать место, где стоял их студгородок. И он вот должен судить этого человека, способного удержать в голове и как-то все-таки управиться с целой клубящейся вселенной лифтов, вентилей, нехваток, протечек, запоев, отпусков, котельных, прачечных, шоферов, маляров, актов, комиссий, РСУ, СМУ и прочая, и прочая, и прочая.

И чем больше вспухала от всего этого Олегова голова, тем отчетливее звучало в ней: «Какие мы все сосунки, до чего мы все-таки ничего не смыслим в настоящей жизни. Способные, остроумные, насмехаемся над машинищей, о сложности которой и отдаленнейшего представления не имеем. Нас послушать, так все, кроме нас, дураки или лодыри».

Кажется, голова вспухла не у одного Олега.

Весь разговор уже крутился вокруг последнего яблока раздора — лифтов. Но уже не выкрикивали спрашивали. А Филиппов отвечал. Оказалось, что и лифты этот ямыслимый человек не оставил без внимания.

— Лифты,— говорил Филиппов,— представляют один из видов вертикального транспорта, и это хорошо знает гостехнадзор, что не дай бог вам упасть. Без телефона их обязательно не примут. Застрянет, вы царапаетесь где-то, а я бегаю, ищу на каком вы этаже. Первый акт был чистый, но гостехнадзор признал, что грязный, и начальник участка отхлопотал выговор. Теперь гостехнадзор выберет любой из десяти дней, но я за него ничего сказать не могу,— может, он опять сделает грязный акт...

Все, похоже, были удовлетворены, всех, похоже, именно то и злило, что они здесь сидят без лифтов и телефонов, а всем на это начихать. Ну, а раз столько всяких служб сражается за их комфорт и безопасность...— в конце концов, не в лифте счастье. А в унитазе.

Что-то очень растроганное шевелилось у Олега в душе, что-то вроде: «один из скромных тружеников, на чьих плечах...» или: «мы только требовать умеем, а сами...» Вдруг он заметил, что старательно обводит шариковой ручкой контуры нацарапанной на столе скифской бабы, чем не занимался вот уже лет десять-двенадцать. Он поспешно спрятал ручку и стал поедать Филиппова глазами с еще большим восхищением: если он, Олег, от одного только рассказа одурел до такой степени, каково же этому человеку изо дня в день жить в этом мире. Вот уж действительно сложная штука жизнь! Настоящая жизнь, конечно, а не та детская комната, в которой он пребывал до сих пор.

Потом Олег обнаружил, что и Антипенко увлечен разворачивающейся перед ними картиной до такой степени, что, забывшись, машинально постукивает об пол стулом, поставленным на передние ножки.

И вот тут-то, когда оставалось закрыть собрание и разойтись, положась в дальнейшей борьбе на Филиппова,— человека, которому, безусловно, можно довериться на все сто процентов,— с подоконника вновь раздался знакомый ленивый голос:

— Можно мне?

Все разом стихли,— от Мефистофеля в пиджачном жилете ждали чего-то не менее интересного. И он же ударил лицом в грязь — заговорил под экскурсовода:

— Сейчас, товарищи, мы имели возможность ознакомиться с типичной демагогической речью образца последней трети двадцатого века. Перед начальством создается фикция благополучия, а от нас прикрываются заявками: мы писали, мы докладывали.— Мефистофель стыдливо прикрылся воображаемой заявкой.— Надо *нажимать*, а не отписываться. Мы вот *нажали*, подготовили письмо в райком — и сразу нашлись новые возможности.

— «Нашлись возможности...» — часто-часто с горькой иронией кивал Филиппов.— Вам сделали — значит кому-то не сделали. Кому, может, еще нужней вас было.

— Ничего страшного. Пусть и они *нажимают*. Тогда, глядишь, и вы начали бы работать неформально, изыскивать резервы, а не заниматься отписками.

— «Неформально...» Вот вы бы сели на мое место...

— А это не входит в *мои* обязанности — сидеть на *вашем* месте. Вам, кстати, тоже стоило бы посидеть ков-где. Принимать здание с недоделками — это в прокуратуру надо...

— Всех в прокуратуру, а вы караулить будете? Кто же допустит, чтоб здание в четыре миллиона из-за рукавов простаивало! А зданий без недоделок *не бывает*.

— Святая простота...

Олег почувствовал, что пора и ему приступить к своим кураторским обязанностям. Мефистофель ему не нравился, но черт его знает, может, Филиппов, и вправду, не все делает, что в его силах,— доказательств ведь, в сущности, никаких (сложная, однако, штука...). Но вот что

Олег мог сказать с полной уверенностью: любой из нас на его месте сделал бы еще меньше.

Плохо только, что он обязательно покраснеет, запнется где-нибудь, и будет иметь жалкий вид рядом с железной невозмутимостью Мефистофеля... Но тут взорвался Антипенко:

— Слушаю я, слушаю, как вы издеваетесь над трудящимся человеком, и думаю: знаете, как это называется? Иждивенческие настроения! — Антипенко торжествующе засмеялся, весь малиновый, как из бани. Вошедшее в дурную привычку постукивание превратилось в весомые удары стула об пол, чуть ли не по два на каждое слово.— Радуюсь стою: слава богу, дождались! — вот покончают они институты, и пойдут у нас здания без недоделок — слава богу! Вы с нас неформальной работы требуете, а свою работу вы как делаете? Государство на вас деньги тратит, чтоб вы науку изучали, а у вас целый день из окон музыка орет, как все равно на первомайском параде. С утра все должны быть на уроках, а пойти по общежитию — половина дрыхнет!

— А вы нас будите! — крикнул кто-то.— Вместо петуха!

— Ку-ка-ре-ку-у!

— Мя-ау! — всегда находится кто-то, в каждой суматохе, радующийся прежде всего возможности заорать по-кошачьи.

— Ах, ах, расплакались,— перекрикивал Антипенко,— столов кухонных нет... Вам же завозили! А ваша бригада грузить не собралась, их и отвезли в шестерку.

— Как, как?!

— Закакали,— позлорадничал Антипенко, уже пурпурный.

— Унитазов же не даете!

— А почему вы не скажете, что нас три раза собирали, а машина не приходила?!

— Слушайте, откуда он сбежал? Ему лечиться надо!

— Таких уже не лечат.

Во втором ряду — Олегу видно было сбоку — вскочила тоненькая девичья фигурка и прокричала звонким оскорбленным голосом:

— Вы предъявляете требования к молодому поколению, а сами устроили здесь,— она приостановилась и выкрикнула убийственные слова: — Настоящий базар!

Это была Верочка Голева, Олег тоже что-то когда-то ей растолковывал. Вечно она перепархивала от одного к другому: «Витенька, спаси», «Васенька, выручи» — и вот допорхала до пятого курса. В том, что выкрикнула это именно Верочка, которая, ясное дело, так всю жизнь и проживет на шармачка, почудилось Олегу что-то почти символическое. Что-то не умилил его этот «юношеский максимализм». Прямо в подтверждение Антипенко она выскочила. Только зря Антипенко взял этот тон. Кажется, все теперь испортил.

— Коля, погоди, не кипятись, на отопление они еще не жаловались,— вполголоса пытался перевести дело в шутку Филиппов, но Антипенко так отмахнул его руку, что он слегка провернулся на пискнувшем каблуке.

— Ваш же стройломотряд у нас летом работал. Иду мимо, гляжу — а они кафельными плитками кидаются, кто дальше запустит!

— Не валялись бы по всей территории — не кидались бы!

— Электроарматуру вашим ладили, все позатыкали кое-как, искрит. Щиток не лезет — его бах молотком, замазали — и готово. Мебель у них старая... Так вы и новую всю уже вон порасписали.— Антипенко кивнул на Олегову скифскую бабу. Олег поспешил задуматься о чем-то.

— Вы бы так-то коридор покрасили! Стулья вам плохие? А вы поглядите — половина вас прямо и сейчас на них качается. Сидит и качается. Дома ведь, небось, не качаетесь?

По залу прошел торопливый перестук стульев, опускающихся с двух ног на четыре. Перестук завершился ленивым голосом, которого все уже невольно ждали. Все разом смолкли. Стихия уже выдвигала своего вождя.

— А мы уже полчаса наблюдаем, как Вы всенародно ломаете стул. А от этого казне убыток.

Антипенко остервенело глянул на свой стул и с сердцем припечатал его в сторону. А потом ногой утолкал к нему же обломки филипповского стула.

— Следить за браком в работе стройотряда не входит в наши функции, так что Вы обратились не по адресу. Обратитесь к тому, в чьи обязанности входила организация технического контроля и кто эти обязанности не выполнил. Это также и недостатки в чьей-то воспитательной работе.

«Стоило нас хорошенько посечь...» — вспомнил Олег.

— А то мало вас воспитывают,— пробурчал Антипенко.

— Теперь о нашем отношении к занятиям. Постарайтесь усвоить простую истину: удовлетворять *наши* требования входит в *ваши* обязанности, а удовлетворять *вашим* требованиям не входит в *наши* обязанности. Для контроля над нами существуют специальные чиновники Министерства высшего и среднего специального образования.

— Только мы всем обязаны, а нам никто ничего не обязан.

— Обязан. Только надо *нажимать* энергичнее. Понятно?

— Понятно. Все хотят нажимать, только работать никто не хочет.

Смех, «теряем информативность».

Уже и Олег завелся от непрошибаемой уверенности творения Антокольского. Это хорошо, теперь он уже заикаться не будет. Физиономия, правда, все равно разгорится, но совсем другим — боевым — накалом. С чего бы только начать? Осел! Ясно же...

— Товарищи! — снова тишина. Все ждут: что это еще за птица? Олег и возрастом не старше всех в этом зале.— Товарищи, я здесь представляю профсоюзное бюро и деканат. Ваши требования совершенно справедливы, и мы постараемся удовлетворить их в ближайшее время. Вы сами видите, что многое уже сделано.

Олег так спокоен, словно душа самого проректора Синицына временно переселилась в его оболочку.

— Я хочу сказать несколько слов лишь о моральной стороне проблемы. Все же, не кажется ли Вам, что полное моральное право *нажимать* на других имеет лишь тот, кто собственные обязанности выполняет абсолютно добросовестно?

Но и Мефистофель не лыком шит.

— Не кажется, товарищ представитель бюро и деканата (простите, не знаю Вашего имени-отчества). Вообразите ужасную картину. Вы в столовой спросили бифштекс, а раздатчица вам: не-ет, погодите, докажите мне сначала Вашу абсолютную добросовестность. Хорошо, если она окажется человеком снисходительным,— а ну, как принципиальным? Вроде Вас. Что тогда?

Смех, «теряем информативность». Но синицынский дух прочно сидит в Олеговом теле.

— Вы невнимательно слушали. Я ведь и начал с того, что требования ваши справедливы и будут выполнены. Но, согласитесь, ведь очень немногие из нас на месте этих товарищей сделали бы больше?

— Мы готовы согласиться с тем, товарищ представитель бюро и деканата, что деловое собрание — не самое удобное место для евангельских проповедей. Нужно выполнить сначала работы нулевого цикла, выражаясь языком наших почтенных гостей,— выполнить то, что требуется по закону,— а потом уже, на досуге, можно заняться и морально-отделочными работами.

Оживление в зале: каков, мол, наш-то, а? Но без потери информативности.

— Я считаю, что мораль — это именно и есть нулевой цикл. Без нее к каждому гражданину пришлось бы приставить по контролеру и милиционеру, а это слишком нерентабельно. А самое главное — кого приставить к контролерам и милиционерам?

Тоже оживление в зале. И не давая себя перебить:

— Но эту дискуссию мы проведем в другой раз в рамках культсектора. А пока...— Олег вдруг повернулся к Мефистофелю: — ...Разрешите узнать Вашу фамилию?

— А не все ли равно? — Мефистофель вдруг утратил свою изящную лень.

— Я завтра буду у декана и поинтересуюсь, насколько Вы удовлетворяете требованиям специально назначенных чиновников. Я попрошу его в порядке эксперимента применить к Вам Ваш метод нажима. И если он действительно даст такие блестящие результаты, как неформальное отношение к труду и все остальное, что Вы предсказываете, мы будем внедрять его в качестве единственного универсального средства. Так Ваша фамилия?..

— Ну, Сойгин, Вас устраивает? — Мефистофель принужденно улыбнулся, но даже лацканы на его пиджаке-дегенерате уже сникли.

— К фамилиям у меня почти не бывает претензий. А выполнение ваших требований, товарищи студенты, я лично возьму на контроль,— откуда только оказались в нем эти слова: «возьму на контроль»? — Ведь речь практически идет уже только о лифтах,— Олег неожиданно произнес «о лифта́х», но так вышло как бы даже профессиональнее.

Заговорили громко, гремя стульями, тронулись к выходу — неужто мирное урегулирование? Да — рабочка пустела на глазах. Кажется, на него поглядывали с интересом. Две девушки подошли к нему что-то объяснить, но взволнованно повторяли только: «Мы не пешки, понимаете, мы не пешки!» — и он с готовностью кивал им,— это он во всяком случае готов был засвидетельствовать, хотя и не совсем понимал, при чем здесь пешки.

Успокоив девушек, Олег подошел к борцам за комфорт. К ним же вдоль стены, путаясь в стульях, пробирался Сойгин, и Олега скребнуло по душе, что с Сойгиным он обошелся каким-то недозволенным приемом,— но, видно, это будет вечной проблемой на его пути практического деятеля. Председатель у стола укладывал в папку роковое письмо. Больше никого уже не было в рабочке.

Подходя ближе, Олег услышал, как Филиппов согласился с чем-то:

— Да, никому не надо. Сами не выключим — целый день будет гореть.

— Они же сами лампочки бьют,— все не мог успокоиться Антипенко.— Чтоб темней было по углам жаться. Котами орут... Они и есть коты! Девчонки все насквозь беременные!

«Сплетни — венец аргументации,— отметил Олег.— Как всегда».

Подошел председатель:

— Итого, снисходя с небес на грешную землю, чем реальным вам предстоит нас порадовать?

«Обо всем ведь, кажется, уже договорились?» — удивился Олег.

— Ну, с лифтами, сами понимаете...
— Будут пребывать в мертвецкой неподвижности?
— Ну, может, и не в мертвецкой... Но больше — да.
— Извольте, с лифтами мы окажем вам снисхождение.
— Что? Что? — дуплетом вскричали Олег с Сойгиным и напряглись, чтобы не покоситься друг на друга. Антипенко ухмыльнулся. Филиппов развел руками, еще с готовностью, но уже без простодушия. И снова Олегова голова пошла кругом — все возвращалось на круги свои: «Поломки... Договор с „Лифтреммонтажом“... Мы должны запчасти... Фондированные материалы... Не выполняем поставок... Звонят от нас — а эти подождут... А что — скажут: нету троса́» — и бу-бу-бу-бу-бу, и бу-бу-бу-бу-бу-бу, и — безысходное отчаяние охватило Олега, отчаяние понять хоть что-нибудь окончательное в этих...— уйти бы куда-нибудь, лечь и полежать, стиснув ладонями виски! Хотя бы недельки три.
— Остановитесь, ради бога! Ведь это же *новые* лифты — почему они должны ломаться?!
— Они и не должны. Когда нормально эксплуатируют. А ваши студенты их зверски эксплуатируют,— Филиппов начал перечислять по пальцам: — Двери раздирают, набиваются по двадцать человек — у всех ноги длинные, они, чтоб на пол не становиться, упрутся ногами в стенку и висят.
— Естественно, набиваются, когда работает один лифт из трех,— пробормотал Сойгин. Раньше Олег не понимал, как это в пьесах говорят «в сторону», а теперь понял.
— Им хоть десять повесь, через два дня они и десять сломают.
Словом, старое начиналось сызнова.
— Се ля ви,— подытожил председатель.— Лифтами придется пополнить грустную картину несовершенств подлунного мира.
— Ты заранее это знал? — в упор спросил Сойгин, и председатель улыбнулся.
— А вот хрен им! — вдруг сорвался Сойгин, шлепнув кулаком себя в ладонь, и что-то искреннее, почти симпатичное проглянуло в нем.
— Милостивые государи! — это председатель к Филиппову с Антипенко.— Не почтите за обиду, если мы с правой рукой моей удалимся из сей залы для свершения наиудобнейшего обмена мнениями.
Олег вышел с ними.
— Витя! — внушительно начал председатель.— Ты был великолепен, оказывая давление на наших оппонентов, но... Чем-то нужно поступиться — увы! Нам ведь и далее сотрудничать с данными джентльменами.
— Какого же... какого дьявола мы народ будоражили?! — Сойгин становился положительно симпатичен.
— Без этого с нами бы и разговаривать не стали. А теперь мы им показали наши козыри, они убедились в решимости масс идти до конца,— теперь можно запрашивать,— председатель начинал временами срываться на человеческий язык.— Но условия мира должны быть реалистическими.
— Тогда эти реалистические условия и надо было обсудить на собрании!
— Тебе сколько лет? Кто же выносит на собрание *неподготовленный вопрос?* Это будет не обсуждение, а горлодерня.
Олег в жизни еще так не изумлялся. Он разглядывал председателя с чувством: да не снится ли мне это? Чтобы не показаться простачком, он заговорил как можно небрежней:
— Но все же, зачем было выдвигать невыполнимые требования? Тем более, вы их считаете второстепенными, раз готовы ими поступиться?
— А для иных индивидов как раз лифты и есть первостепенное дело. На эмбриональных стадиях следует все требования признавать первостепенными, дабы не отвратить никого из вожделеющих. Посредством бессонных умозаключений мне открылось мудрое правило: обращая глас свой к обширному скопищу вожделеющих, финальные цели с неизбежностью следует обрисовывать в упрощении, дабы не породить раскола и растекания по утонченностям, а в умах сумятицы, суемудрия и прекословия.
— А вы не боитесь, что ребята возмутятся? Что их водят за их коллективный нос?
— Без нас они никогда не соберутся вместе. Будут возмущаться индивидуальным порядком.
— А Вы, лично Вы, из чего тогда хлопочете?
— Я дорожу своей репутацией в глазах деканата. Репутацией успокоителя коммунальных бурь.
В рабочке Сойгин немедленно вернулся в позу, предписанную Антокольским, уже на одном из столов, раздражая этим Антипенко, то и дело бросавшего на него разгневанные взгляды.
Олег обратился к Филиппову. Синицынская душа еще поддерживала в нем механические функции.
— Почему же Вы сами не сказали о лифтах? Получилось, что мы обманули ребят,— только этим «мы» он и смягчил обвинение.
— Почему обманул? Я говорил про те неприятности, которые сейчас стоят на повестке дня. А если бы я начал говорить про все, которые еще будут, так мы, и правда, проколготились бы до ноябрьских.— На всех на них словно броня была надета.

Потом председатель с Филипповым торговались еще о чем-то, Сойгин саркастически на них поглядывал, а Олег смотрел в окно. Он был сыт по горло.
Пришло же кому-то в голову поручить разбор дела, для которого не хватило бы всей мудрости царя Соломона, ему, двадцатитрехлетнему карапузику. Вот если бы ему велели стишок пробарабанить — это мигом. Или задачку подбросили: один пионер посадил два дерева, а другой на пять деревьев меньше...
За окном на черной ветке еще держался букетик листьев, уж до того золотых, что в первый миг почудилось, будто проглянуло солнце. Но день так и оставался пасмурным, еще и смеркаться начало. Странно даже, что где-то еще сохранились листья, деревья, сумерки...
Вспомнилось: мы не пешки. Девчонки показались ему полными дурами, а ведь, говорят, простейшие организмы лучше чуют близость землетрясения. Вот уж кто оказался пешкой — так это он сам. Вспомнил: возьму на контроль. Лицо, кажется, даже вздулось слегка от ударившей в него крови. Стоп-стоп — а ведь в глазах студентов он наверняка окажется не просто треплом, а — сознательным обманщиком. По той именно схеме: соврал, чтоб разошлись, а потом, глядишь, уже и не соберутся...
Если только намечалась какая-то связь его души с проректорской, то в этот миг Синицын в своем кабинете схватился за сердце и откинулся в кресле. А из Олега остаток взрослой умудренности выскочил, как пробка из перебродившего пива.
Переговоры, судя по нарастанию воркующих тонов, близились к благополучному концу. Сейчас все разойдутся, а он будет продолжать свое курирование: ходить мимо безмолвных лифтов, взятых им «на контроль», улыбаться, говорить что-то искреннее — и с какой же рожей? Может и по институту пойти... Так теперь, выходит, ему вообще нельзя будет говорить от души — вдруг подумают: болтай, болтай, тебя-то мы знаем! Кровь из лица его хлынула куда-то назад.
— Кто может решить вопрос с лифтами — с запчастями, с поставками — кто? — внезапно обратился он к Филиппову. Ого! Все же он был и не совсем самим собой — в его голосе прежде не замечалось этих решительных обертонов.
— Кто может, кто может,— забормотал Филиппов, будто сбитый с мысли.— Ну, кто — Синицын. Да что Синицын! Он Синицын, а я Филиппов. У меня для вас *нету*, а у него — для меня. Даст на лифты — не хватит на ремонт зданий. Фондированные материалы!
А Олег не отступил, не запоминал поспешно: да, мол, да, на нет и суда нет,— словно и впрямь, это был не он. Что значит — *не за себя* хлопотал. И в арсенале своем имел непререкаемые формулировки, против которых, может, кто и хотел бы — а не попрешь: дал честное слово, получил общественное поручение. Олег и не подумал отступать.
— Вы уверены, что никаких резервов уже нельзя изыскать?
— Мне отсюда не видать... Но я с лифтами *входить* к нему не буду. Раз уж на откровенность пошло.
— Почему?
— Если он даст, чтобы мы к нему с каждой своей нуждой *входили*,— мы у него будем торчать с восьми до восемнадцати. Ему свою работу некогда будет делать. А так: выкручивались как-то? — выкручивайтесь дальше. Хоть про нас у него голова болеть не будет.
А Олег не подумал отступать.
— Ясно. Сойгин, собирайте снова ребят. Кого найдете. Чем больше, тем лучше.
— Как? Как? — тоже дуплетом вскричали Филиппов и Антипенко, и Олег едва не напомнил им об остроумной реплике Антипенко по аналогичному поводу.
— Что Вы собираетесь делать? — председатель тоже слегка встревожился.
— Собираюсь сказать студентам, что работа лифтов зависит от них. Сказать, чтобы они обращались с лифтами по-человечески.
— Утопия,— успокоился председатель.
— И еще скажу, что если это утопия, то так им тогда и надо. Если мы свиньи, то и должны жить по-свински,— «мы» снова смягчило резкость формулировки.— Но мы еще посмотрим, утопия это или нет. Устроим дежурства в часы пик, назначим ответственных, проведем как комсомольское поручение. Сойгин, давайте!
Сойгин, недоверчиво косясь на Олега, все же начал спускать ноги со стола, но вдруг застыл:
— То есть Вы все перекладываете на наши плечи, чтобы у начальства не болела голова? Мы не пирамидон!
— Поймите, нет на свете других плеч, кроме наших с вами. Мы за час можем напакостить столько, сколько десять проректоров за десять лет не починят.
Сойгин стал подтягивать ноги обратно. Олег заторопился:
— А к Синицыну *войду* я. Не будем, как Вы выражаетесь, создавать фикцию благополучия.
— Почему-то самое простое дело должно превратиться в подвиг,— пробормотал Сойгин и долго-долго слезал со стола. У выхода он раздирающе зевнул и исчез, словно был Меркурием, а не Мефистофелем. Антипенко передернуло: хоть бы двери за собой прикрывали.
— Можно и к министру пойти, если скромности не хватает,— повернулся он к Олегу.— Вас сюда послали анархию разводить?

— Меня сюда послали урегулировать конфликт.

— Глядите, будете диссертацию защищать, а Синицын шепнет вашему декану: этот у тебя чего-то чересчур настырный.

— Синицын не будет шептать,— поморщился Филиппов.— Только он Вам же и поручит это дело: у нас, кто больше всех гоношится, тот пускай и делает.— И вдруг спросил доверительно: — *А зачем тебе это надо?*

«Чтобы не чувствовать себя сосунком» — чуть не ответил Олег, но успел удержать дистанцию: — Это моя общественная работа.— И слова эти, и интонация тоже, оказывается, где-то в нем ждали своего часа. Он уже репетировал разговор с Синицыным.

Он просматривал свой арсенал непререкаемых формулировок и радовался, какие там у него замечательные вещи: гуманизм, взаимопомощь, непримиримость к несправедливости, нечестности, забота о сохранении общественного достояния. Кажется, впервые в жизни он всерьез ощутил, до чего это здорово — сколько пришлось пройти человечеству, чтобы эти формулировки стали непререкаемыми, чтобы даже жуликам приходилось хитрить с ними, а не переть сквозь них напролом.

— И насчет лифтов я же слово дал, куда же мне теперь деваться? — вдруг решил он извиниться перед Антипенко, как более недовольным.

— Скажите, дело какое — слово он дал! Принц!

— А что, только принцы должны выполнять, что пообещали?

— Почему принцы? — рассудительно примирил Филиппов.— Между собой — конечно, раз пообещал — надо сделать. Ну, а работа, конечно, дело другое. Жизнь требует — ты и обещаешь.

— Брось ты с ним спорить,— отмахнулся от Олега Антипенко.— Видишь, он себя показать хочет.

За незапертой дверью уже слышались приближающиеся голоса, и Сойгин лениво, но громко объяснял кому-то:

— Ничего, сейчас товарищ из деканата вам лекцию прочтет про умеренность и аккуратность. Вместо лифтов назначат дежурных, чтобы они нас по этажам разносили. Вместо унитазов тоже поставят дежурных...

И снова холод вошел Олегу под ложечку: ужасным детским лепетом показалось ему все, что он собирался сказать. Вот, оказывается, каков роковой вопрос эпохи: не «быть или не быть?», а — «*нажимать* или помогать?».

С любопытством на Олега поглядывая, в зале рассаживалась публика. Но ее уже было гораздо меньше. Гораздо-гораздо меньше.

Илья БОЯШОВ

ВИШЕНКА

В группе новый ударник, черноволосый худенький паренек, не очень-то разговорчивый, с цепкими зелеными кошачьими глазами. Привел его Саша-гитарист. Нельзя сказать, что ударник странен, но что-то в нем не от мира сего... Хотя обычный, вроде... Где-то учился, что-то бросил, куда-то вновь собирается поступать. А сейчас по субботам сидит за своими барабанами и работает палочками, и выкладывается до конца.

А на улице открыли новый бар. Безалкогольный. Прямо перед моим окном дворничьей — они часто собираются там.

Я молод, я достаточно честолюбив. И статью о них обещал сдать в журнал во что бы то ни стало. Но главное — увидеть изнутри! Я устроился дворником и подрабатываю осветителем на танцах. Недавно я обзавелся прекрасным письменным столом.

Девочки моей улицы свеженькие, лет по семнадцать — холеные ручки в карманах надувных курток, надутые шаровары «бананы», «кроссовки» и короткие стрижки. И как интересно танцуют под грохот «новой волны», сжимают кулачки и передвигаются по освещенному прожекторами кругу, почти что семенят — сосредоточенные, серьезные. И ведь любят со знанием собственного превосходства поглядывать на все сверху вниз, любят улицу, впитывают в себя ее гудки и шарканье. Да они сами созданы из пестроты и суеты города, и мир для них просто должен состоять из громких звуков.

По субботам в клубе танцы до двенадцати. Блестящие барабаны, грохочущие барабаны, звенящие тарелки... Раз, два, три... Лучше всего — вертеться на одном месте. Много народу набивается! Душно! Лучше на одном месте... Раз, два...

...Клуб, танцы. Все это уже надоело, осточертело до крайности, у меня голова болит от криков. И все-таки слышу, о чем они щебечут, обрывки разговоров:

— Ударник новый, симпатичный, черненький, смущается (когда ему свистят, действительно смущается)... Красный от натуги. Рубашку снял — жарко. В одной майке. А на майке что написано? Рассмотрели? «Буги-вуги — каждый день» — вот что написано на майке!

Динамики. Ритм, ритм, ритмично... В клубе Саша-гитарист хорошо знаком, ему кричат хором: «Саша, сыграй!»

Саша — любимец, может быть, и не такой красивый, но идол. Волосатый идол, до самозабвения терзающий гитару. Тонкие пальцы, рыжеватая бородка под Христа. Он в длинном, до пят, белом балахоне, на груди маленький серебряный крестик. Девчонки визжат от восторга, когда, прихрамывая, он появляется на сцене. Он дарит им редкие минуты полного счастья. Он своим поведением, своей гитарой заставляет их визжать! И ансамбль, впрочем, какое там — ансамбль, группа, как все привыкли называться, «Воздушный шар» или «Викинги», или еще что-нибудь в этом же роде — группа подтягивает, микрофоны «стреляют», музыканты, одетые кто во что, восторженно кричат грохочущему залу:

— Не уходи, не уходи,
Хоть пять минут побудь со мной...

Одна из вишенок, Вишенка — девочка маленького роста, волосы были когда-то каштановыми (но сейчас посветлели, назад зачесаны), курносая, тоненькая, простодушная. Всегда улыбается — наивная улыбка, не глупенькая, а наивная... Ребенок, хоть уже и завивка, и «бананы».

Вишенка! Оказывается, живешь этажом выше с матерью и сестрой в двухкомнатной квартире, а мать заботится только о том, чтобы накормить вас... И после школы, длинной тягучей школы — ПТУ. Это еще не так плохо, если не тянет к учебе. Швейное ПТУ. Это не маляр, не каменщица — это швея... Ты сшила себе «бананы» (замечательно сшила, добротно) и с новыми подружками не расстаешься (а подружек много) и после восьмого класса, сразу откинув жизнь, серую, как школьное платье, потянулась к другой. И однажды, задыхаясь от восторга (ну, почему маленькие радости не могут вызвать большой восторг?), лизнула французскую помаду и провела едва заметные линии.

Волосы ножницами чуть снять, каштановые локоны осыпаются — их выметут шваброй, подметут равнодушно и быстро,— следишь, как подметают, а волосы были удивительно густыми, а ножницы небрежно — щщелк! Щщелк!..

И вот в зеркале мальчишка — коротенькая стрижечка, химическая завивка. Парикмахер, лощеный щеголь, пристально оглядывает клиентку, любуясь работой, словно ненароком обращая чуть больше внимание на вырез блузки.

Были густые длинные волосы, а сейчас массажной щеткой Вишенка зачесывает назад то, что осталось, и в вестибюле никак не попрощаться с зеркалом, большим, во всю стену. Она пытается охватить себя со стороны, спрятав ладони в карманах джинсовых шаровар. И вот теперь-то совершенно не отличить — растворилась успешно в толпе возле нового бара, встала на одну ступень с другими. Тебя теперь трудно найти, трудно описать — ты этого хотела, ты этого добилась, да еще и шепчешь тихо, чтобы никто не слышал:

— Хочу итальянские колготки.

И тебе дела до меня нет, дрянная девчонка, тебе нет дела до моего письменного стола — тебе есть дело только до грохочущих барабанов по субботам.

— Не уходи, не уходи,
Хоть пять минут побудь со мной...

Танцы — магнит, и в клубе другой мир. Барабаны, блестящие барабаны и тарелки звенят неистово — и дребезжание струн, и резкие восторженные голоса певцов.

Гитарист Саша к балахону прицепил еще и собачью медаль, но сегодня он не в ударе, гитара фальшивит. Зато ударник как работает! Сплошной треск. Ритм, ритм, ритмично, из последних сил, на износ выбиваясь, работает палочками. У ударника злые зеленые кошачьи глаза. Не отрываясь, уставился на тебя. Ты ему нравишься, Вишенка?

Сжатые кулачки, отсчитывай такт и танцуй, и временами подглядывай по сторонам.

«Буги-вуги — каждый день»!

Рок-н-ролл лучше диско, или диско лучше рок-н-ролла? Вишенка не задумывается, она привыкла просто крутить кулачками, но многие взахлеб кричат. Ах, эта «новая волна»! Все-таки «новая волна». Конечно же, «новая волна»! Гитарист Саша, прихрамывая, бродит по сцене лохматым привидением и играет для них. Прожектора его высвечивают... А внизу прыгают. Визжат и хлопают внизу... Ритм, ритм, ритмично...

Главное начинается с вечера — поздно вечером пустой Лиговский, малолюдный Невский, фонари, хохот и музыка. Компания, а там знакомое простодушное личико. Все начинается с вечера, Вишенка? С утра — ПТУ, и разговоры, бесконечные разговоры на задних столах (А в группе есть мальчики? Есть. Один? Смешно!). Конечно, разговоры. И сигаретка в туалете. И еще одна сигаретка.

Ты появляешься дома и запираешься в своей комнате.

Хлопаешь дверью, чтобы не так стучала с кухни швейная машинка матери, забираешься в кресло совсем по-детски подогнув ноги, маленькая в большом кресле.

Комнатка кажется тесной и скучной, и скучен детский шкафчик, где скучно доживают свой век старые куклы. Конопатая нахальная сестра открытками облепила все стены. Сестра тебе завидует — ты ходишь на танцы и знакома с настоящими музыкантами. Она тебя догоняет, моложе на три года, а уже расклеивает открытки и клянчит у матери электронные часы. А мать обращает внимание лишь на розовые щеки своих дочек, причмокивает, гремит кастрюлями и каждое утро на работу берет вязанье.

Но сейчас вечер. Часами просиживаешь в кресле, подогнув ноги — две комна-

ты, кухня, швейная машинка, и шкафчик, и стены, облепленные открытками — а вечер там, за стенами и окнами. Пустые проспекты, шарканье машин. На улицах знакомые ребята, прокуренные, взъерошенные.

— Бар открыли на углу!.. Ничего, под камень заделано. И бармен знакомый. Коктейли. Телевизор цветной есть... Игральные автоматы там выставили.

— В команде ударник новый, на майке написано «Буги-вуги — каждый день»!

Саша-гитарист крут!

— Диск восемьдесят третий у меня. Тридцать!

— За двадцать беру!

У кого-то магнитофончик крошечный в руках попискивает. Разговоры, музыка. Между прочим, многих привлекает курносое милое личико. Но им-то, им ничего не нужно, кроме этого.

Буги-вуги...

Вишенка, ты же не можешь быть прозрачной, как бутылочка, пустая? Ну, признайся, не всегда же улыбаешься и кулачками крутишь — плачешь, страдаешь, ну, из-за чего угодно, из-за пустяков! И стихи пишешь в тетрадке какой-нибудь тонкой, ну, признайся хоть ненароком. Ведь должно что-то наболеть.

И прекрати свое дурацкое хихиканье!

Грызя карандаши, прихожу в ярость. Слышу на лестнице знакомый смех — хочется выскочить на лестничную площадку, схватить ее, вытащить из визжащего клубка вишенок и трясти за шиворот, и выбивать, выколачивать признание, что за этими прозрачными глазами доверчивой болонки, за этой простодушной улыбочкой, за этими кулачками хоть что-то... Пусть вывернет душу наизнанку — всю, всю, пусть крохи соскребет, какие только есть!

Но она, в лучшем случае, расплачется, эта маленькая дрянь, расплачется от испуга, а в худшем — просто-напросто захихикает, и вытащит массажную щетку, и зачешет назад встрепанные волосы.

Где-нибудь, у кого-нибудь можно позволить себя обнять — из любопытства. Он дурачок самоуверенный, на руке наколот якорь, сам в техникуме прозябает третий год и хвастается, что любит Майкла Джексона. Рубашка расстегнута, глаза блестят и нахальный. От него исходит запах табака — он, джинсовый переросток, садится пока осторожненько на край дивана.

Если здесь темно и горят свечи в углу, бросая танцующие тени, то его рука обязательно натолкнется раз-другой на тебя. Это тоже можно ему позволить, если ненароком. Можно и поцеловаться осторожно, дразня, краешком губ... Но только чтобы не больно, а он не умеет не больно, он уже жмет изо всей силы... Ладно, на диване можно позволить ему откинуть голову на спинку. Но потом шепчешь «нет» и хихикаешь. Поджала губы, а он тычется, шлепает ртом, злится. И все-таки приятно целоваться, приятно слышать его беспомощное повизгивание.

Ведь даже на улице, прижавшись, что-то лепечет.

И, разумеется, один в квартире. Огромной, не чета твоей, в пустой пещере-квартире — и папа, и мама уехали, а в прихожей сразу с порога тычутся огромные рога. Папа и мама уехали на дачу, в гости, куда угодно. Самоуверенно, хозяином, он тянет за собой в гостиную, открывает бар, достает хрустальные фужеры. Сверкающий хрусталь, фужеры — тонкие ножки, картинки на каждом, милый песочный человечек, немецкие фужеры, папа из Дрездена, или мама из Берлина,— он не помнит, он бежит за музыкой в другой угол гостиной, и его ноги утопают в ковре по щиколотку.

— Ну, что молчишь все? Хоть слово, слышь... Ну, как в рот воды набрала!

Ногтем Вишенка постукивает по фужеру, бар открыт (а недавно открыли на улице новый бар), и опять музыка, шипит кассета.

— Подожди,— шепчет он, мурлыча. Подожди, я принесу конфеты...

А мать знает — сегодня ночуешь у подружки, мать на кухне готовит салат, а в комнате кричит магнитофон, и сестра возле зеркала вертится, пытаясь станцевать «буги-вуги»

Я в восторге от твоих подружек!

Одна из них, маленький шустрый лисенок, тоже иногда приводит к себе и гостеприимно улыбается. Разноцветные, с глянцевыми обложками журналы кокетливо разбросаны на журнальном столике. Можно, взобравшись с ногами на тахту, рассматривать их, пока никого нет. Потягивая сигарету, можно смотреть. И вот там, на последней странице пестрого журнальчика, еще пахнущего полиграфической краской,— магазины. Ой, сколько же магазинов и сколько ценников. Сколько сапожек. И, посмотри, улыбка продавца, симпатичного парня в белом комбинезоне. Красивый, черноволосый, на последней странице... Читай — «Мэйд ин Итали, мэйд ин...» Сколько все-таки там магазинов и улыбающихся лиц, и красивое солнце над красивой улицей. И веселые девушки.

— О, там не так плохо, Италия! — шепчет подружка, подхихикивая, протягивая очередную сигарету, и, соскочив с тахты, бежит к двери, и еще плотнее прикрывает ее.

(Здесь тоже не так плохо стало, когда открыли новый бар, недалеко, на углу, там работают игровые автоматы, ко всему прочему. Среди них есть один, который всегда народ привлекает — «Охота». Ружье и экран, и множество мелькающих птиц в глубине экрана, а стоит попасть — раздается оглушительный гомон и крик раненой птицы. Когда кто-нибудь стреляет, многие толпятся рядом. Попасть трудно, но очень хочется — уж больно правдоподобно раздается в ответ оглушительный надсадный крик.)

— У меня отец в Италии был. Два раза был,— вздыхая, продолжает подружка.— А я нигде не была, только на море ездила... Мы однажды учителке подарили итальянские колготки. Три пакета, а пакеты такие интересные, отец привозил, прелесть, склеены, упакованы, колготки итальянские, не знаю, мне почему-то так нравятся! Хочешь еще сигарету? Тебе пойдут итальянские колготки, жаль, у меня ничего не осталось, так бы продала тебе... Господи, да их можно достать в порту — да, да, там так весело, шумно, ты живешь ведь в портовом городе, заруби себе на носу. Это даже не Москва, это порт — корабли. И можно с чьих-нибудь рук, разумеется... Ну, с рук купишь. Продаст моряк какой-нибудь, они же все промышляют, да нет, не хлопай глазами — они отличные ребята! По сходной цене продают, ну, берут там лишнюю десятку, это же их жизнь, дурочка. Я бы хотела, честно, так жить, хотя и утомительно, но отчего бы не поплавать? Правда, пристают во время плавания, о, еще как пристают... И знаешь — платят бонами. Ты уже должна знать, что такое боны, тебе уже семнадцать!.. И все-таки «бананы» сшила себе отлично, правда! Не отличить. Ты молодец! Ну, будем еще журналы листать?

Иногда, Вишенка, все-таки появляешься.

Вырастаешь за спиной, пользуясь тем, что дверь не заперта. Появляешься, когда проходит на тебя вся злость. Вот ты здесь — маленькая, простодушная, улыбчивая. Косишься на рукописи, разбросанные там и сям, и листаешь, не читая, равнодушно, как и все, что ты делаешь (кроме танцев) — листаешь, чтобы занять руки.

Я вскакиваю и собираю исписанные листы.

Вишенка забирается уже в мое кресло, ладошками постукивая по подлокотникам. Я внимательно ее рассматриваю, но я плохой врач. Вместо того, чтобы поставить диагноз наверняка, путаюсь и стараюсь найти хоть одно подтверждение тому, что в ней пусть не огонь горит — фитиль тлеет... Маленький фитилек какой. А Вишенка улыбается, и после ее ухода разорву, сожгу то, над чем корпел раньше. Там фальшь, а правда преспокойно сидит в кресле, шмыгая, ладошками постукивая по подлокотникам.

Мне обидно за бессонную ночь, а Вишенка постукивает ладошками, и разговор наш примерно следующий.

Она: «Дай сигарету! Я возьму, можно?» (И посматривает доверчивой собачонкой.)

Я: «Возьми в ящике стола».

Она (вытаскивая зажигалку): «Сегодня опять метлой махал?»

Я: «Ага! А ты опять пэ-тэ-у профилонила?»

Она: «Ага!»

Как-то спросила, почему я так заинтересовался танцами, и я ответил. ...Хотя, что я мог толком ответить? В последнее время все забросил. Пишущая машинка пылится на столе. Что касается действительной правды, не могу ничего выдавить, кроме того, что ей пошли бы итальянские колготки.

— Я возьму еще сигарету? — просит Вишенка.

Она рассматривает комнатку, словно жилище странного зверя, рассматривает насмешливо — становится неудобно даже за бюст Толстого, дешевый гипсовый бюстик.

Она берет бюст, гладит и щелкает ногтем.

Потом мы уставимся на улицу. Из окна видно, девочки собираются возле бара. И начинаю уже серьезно подумывать — не засунуть ли в ящик стола это безнадежное дело.

Правда, вчера на последней репетиции ударник сорвал майку с дурацкой надписью. И наотрез отказался играть.

Все онемели.

Как разволновался Саша-гитарист!

Он взвился на дыбы. Он кричал, чтобы парень не дурил и не бросался такими вещами. «Буги-вуги — каждый день!» здорово, красиво, привлекательно для них... «И вообще! — орал Саша-гитарист.— Ничто их так не привлекает, как твоя майка! Нам нужен лозунг, он есть, а то, что они визжат и хлопают — никого не волнует! Сиди за своими барабанами. Главное, чтобы на танцы ходили, понял?»

Саше-гитаристу тоже не откажешь в честолюбии, а Вишенка шепчет восторженно, я же слышу:

— Сегодня вечером буги-вуги!

Александр ОБРАЗЦОВ

СОФИ ЛОРЕН

Леня увидел в кино Софи Лорен. Он долго не мог уснуть ночью. А часа в два подскочил от одной мысли. Мысль была такая, что он натянул ха-бе, сапоги, и мимо задремавшего дневального прошел в бытовую комнату. С собой он нес авторучку в тетрадь в клетку.

Леня писал долго. Напротив висело зеркало, он хмурил брови и смотрел на себя твердым взглядом. За окном стало светать, когда он поставил точку и перечитал письмо.

«Уважаемая Софи Лорен!

Простите, что я обращаюсь к вам без отчества. Не знаю его, поэтому. Вечером мы всей ротой смотрели кинофильм. В нем я увидел вас. С тех пор не могу думать ни о чем. Письмо я пишу ночью. В казарме все спят, а я не могу, асе думаю о вас. Вам, наверно, много кто пишет. Но если вы не очень заняты на съемках, то пришлите фото и роспись на обороте.

С солдатским приветом, или, как у нас говорят, жду ответа, как соловей лета.

Леонид.

Еще чуть не забыл. Пришлите ответ до востребования, а то старшина проверяет письма.»

В увольнении Леня побывал на почте и выяснил, как отправлять письма за границу. Когда он наклеивал марки на конверт, то услышал:

— Ничего себе марок — на три пачки папирос!

Сзади стоял Студент из их отделения. Леня прикрыл конверт рукой. Но Студент, мигая глазами за стеклами близоруких очков, забубнил:

— Ну, че ты, Лех?.. Ну, покажи, че ты?.. Да никому я не скажу, ну, Леха, ну, че ты?..

И Леня показал ему письмо. Он сказал, что покажет и ответ. Он уже подсчитал, что если до Москвы идет пятеро суток, а из Москвы авиапочтой до Рима сутки, и если Софи Лорен сейчас дома, то самое большое через полмесяца должен прийти ответ. Студент молча кивал во время Лениных рассуждений, кашлял и прикрывал рукой свой губастый рот.

Вечером Леня увидел у себя на койке сложенный лист бумаги. Там было написано:

«Уважаемый Леня!

Я получила Ваше письмо и почувствовала, что тоже люблю Вас. Правда, я не видела Вас в кино, но говорят, что Вы самый красивый пацан после Мастроянни. Я скоро пойду в отпуск и приеду в Вашу часть, чтобы встретиться с Вами.

До свидания. Нежно целую тебя, малыш.

Твоя Софи.»

Ниже была обведена карандашом какая-то лапа и приписано: «а это моя ручка, милый. Всегда с тобой».

После этого Леню стали звать «Уважаемая Софи Лорен», затем просто «Лоретти» и, наконец, «Софин друг».

Леня порвал на Студенте гимнастерку и получил за это два наряда. Старшина, прохаживаясь перед строем, останавливался теперь перед ним, оглядывал с головы до ног, хмыкал и начал чаще отпускать в увольнение. Студент после отбоя задумчиво говорил:

— Брижитт написать, что ли? Еще и отпуск дадут...

Прошел месяц, два, про Ленино письмо уже никто и не вспоминал, но звали его по-прежнему: Софин друг. Даже Студент перестал строить предположения и сказал однажды:

— Ну, че ты, Лех, шуток не понимаешь, что ли? Ну, дай закурить, ладно, че ты...

Но Леня закурить не дал, а так посмотрел на Студента, что тот отошел.

Леня и сам уже не верил, что Софи Лорен ответит ему. Себя он успокаивал тем, что письмо затерялось в дороге или его не пустили органы. Иначе думать он не мог.

И вот однажды, когда старшина перестал уже отпускать его в увольнение вне очереди, а в нарядах по кухне он безнадежно застрял в посудомойке из-за нежелания спорить и чего-то добиваться в своем положении, когда его коллекции журнальных вырезок достигла полноты солдатского альбома, он пошел в очередное увольнение.

Обратно он примчался через полчаса. Бледный и очень тихий, он подошел к Студенту, который сидел на табуретке и подшивал свежий подворотничок, и щелкнул его по макушке.

— Ну, ты, че ты...— сказал Студент и поднял глаза.

— Получил,— шепотом сказал Леня.

Студент сразу понял.

— Врешь!..— тоже прошептал он.

— А вот! — торжествующе помахал Леня конвертом.— Видал? Италья!

На цветном фото по-русски старательно было написано:

«Моему русскому солдату.
Софи Лорен»

Измаил ГОРДОН

СТЕПНОЙ ОРЕЛ

Смерть в степи орла брала —
И в полынь — туда — на слом.
Кровь, как ржавчина была,
На крыле его стальном.

От презренья к воронью,
К черноте коварных крыл —
Чтоб увидеть смерть свою,
Бельма медленно открыл.

Он взлетел не по прямой,
Он, стеная и сипя,
На одно крыло хромой
В небо ввинчивал себя.

Будто падал в высоту —
По спирали над собой,
Он подобен был винту
С трижды сорванной резьбой.

В поднебесье синий зной —
Высь падения орла.
А в полыни — свет стальной
И окалина крыла.

МЕЛОДРАМА

...Как в старинной мелодраме,
Не поставленной нигде,
Поклонюсь Прекрасной Даме
От звезды, склонясь к воде.

И рыбачка на пороге
Голубого куреня —
Тронет в море луч пологий,
Руку лодочкой креня.

Тень мою не замечая
На плетне из лоз витых,
Где сверчки средь молочая —
И в кувшине отзвук их...

Звездный свет держа в ладони,
Сдвинув набекрень венец,
Подойду, как Марк Антоний,
В тоге серой, что свинец.

И увижу на пороге,
Что до самого плеча
У нее рука в ожоге —
От пологого луча.

Спросят прямо — без претензий:
— Что на сердце затаил?
Кто ты — Стронций или Цезий?
Я отвечу: — Измаил.

О НЕОКОНЧЕННОМ РАЗГОВОРЕ

— Ты говоришь удалость?..
Лет сорок пять тому
Мне славно голодалось
Во вражеском плену.

Вообще-то повезло мне,
Лежал, теряя пыл,
Под небом на соломе —
Мной перетертой в пыль.

Средь раненых к рассвету
Кому вовек не встать?..
Вот был солдат — и нету,
И нечего сказать.

В самообмане тонком
Мерещилось сквозь боль —
Не я умру, а только
Сыграю эту боль.

От голода у драмы
Железны голоса.
Не заживали раны
И ржавели глаза.

Как проволок колючих
Тронились острия,
Нанизанных на лучик
Снежинок — и не зря

Пресладкий привкус ржавчин
Мне прожигал гортань.
А голод бьет лежачих —
Возьми, попробуй, встань...

Едва баланду выев
Прилег на бок иной —
И фея Дистрофия
Витала надо мной...

Черна бинтами, потом
И кровью не красна
Та смерть в ряду пехотном,
Упавшем. И до сна

До вечного дойти хоть
На животе ползком...

Ты говоришь про лихость?..

О РУССКОЙ ПЕЧИ

Метель ночная по войне скиталась,
Мороз такой — ни сесть и ни прилечь.
От хутора вчерашнего осталась
Всего одна единственная печь.

Зловещий снег на всем на свете белом —
Стояла печь высокая на нем,
Как будто черным выбелена мелом —
Чтоб впредь горела траурным огнем.

А на печи старуха умирала,
Закутанная в изморозь до глаз.
Поземка ей заместо покрывала,
Свеча — сосульки в головах как раз.

Когда саперы проходили мимо —
Увидели старуху на печи.

Она солдатам показалась мнимой,
Бесплотным духом, призраком в ночи.

В их вещмешках меж концентратов
пшенных
В наличии: бикфордов шнур и тол.
В их душах, милосердью обнаженных,
Не охладели мужество и долг.

Шутили горько: «В гости не зайти ли?»
И откопали полоз розвальни,
И толом печь старухе затопили,
И концентрат пургою развели.

Они спешили. Не сказав ни слова,
Ушли в метель, в ее печальный свет.
И печь, как паровозик Ползунова,
Дымя трубой, за ними
мчалась вслед.

О НАТУРЩИКЕ

Стоит старик с натужным форсом
Полураздетый и причем —
В пожарной каске, с бутафорским —
В руке немеющей — мечом.

Кто он — Спартак иль римский воин?
Обожжено плечо войной,
В груди отверстье выходное
От черной пули разрывной.

Как знать юнцам в учебном классе,
Искусству высшему учась,
Что в схожей с амбразурой кассе —
Он получает рубль за час.

Что, как ни странно, по карману
Им тихий свет его души.
И, словно дротики, на рану
Нацелены карандаши.

И от наколки сине-красной:
«Прощай, Варвара, и прости»,—
Не отвернуться понапрасну
И веуе глаз не отвести.

Он зябко вздрагивает, мучась
Подагрой. И по простоте
Свою не хочет выдать участь
И дрожь оставить на холсте.

Зоя МАСЛЕНИКОВА

ПОРТРЕТ БОРИСА ПАСТЕРНАКА

Предлагаемые записки о встречах с Борисом Леонидовичем Пастернаком не что иное, как дневник. Я делала записи обычно на следующий день после встречи, стремясь как можно точнее воспроизвести диалог по свежим следам. Писала я затем, чтобы сохранить для себя — и только для себя — наши разговоры.

Семь лет после смерти Бориса Леонидовича я не решалась даже отдать тетрадки на машинку. В числе прочих смущали меня и следующие обстоятельства: возможные погрешности памяти, да и не все я могла понимать из его высказываний; невольное навязывание читателю моей особы: как я ни сокращала, но диалог есть диалог; резкие его суждения о многих здравствовавших тогда или ныне здравствующих близких; откровенности, которые явно не предназначались для посторонних ушей и могли в те времена, как я опасалась, повредить публикации его произведений.

Но постепенно одержало верх сознание, что, заканчивая свой жизненный круг, Пастернак через меня хотел что-то еще сказать на прощание людям, от которых его отлучили клевета и публичное осуждение. Недаром же он так горячо благодарил, когда я призналась ему, что веду эти записи.

Я нашла выход в том, что сделала некоторые сокращения, не изменив, однако, ни слова в самих записках. Далеко не подо всем, что говорила тогда, готова я и теперь подписаться, но думаю, что менять ничего не нужно: тогда я так думала и так говорила.

22 июнн 1958 г.

Как все это началось? В конце апреля мы отправились в поселок Мичуринец искать дачу для дочки, но, выйдя из вагона, оказались в Переделкине: сошли станцией раньше по ошибке.

Месяц спустя ко мне зашел один знакомый.

— Вы сняли дачу в Переделкине? А знаете, что там живет Борис Леонидович?

— Нет, понятия не имела.

— Вы должны его лепить.

С тех пор эта мысль не выходила у меня из головы. Я не верила в возможность ее осуществления. Слишком давно, слишком глубоко жили его стихи у меня в душе как самое драгоценное и заветное впечатление от поэзии. Но и знала, что не прощу себе, если не сделаю хотя бы попытки.

И вот в это воскресенье я подходила к двухэтажной деревянной даче, за которой черной стеной стоят сосны.

В сад ко мне спустилась Зинаида Николаевна, жена Бориса Леонидовича.

Я назвалась и объяснила цель прихода.

— Не думаю, чтобы Борис Леонидович согласился позировать,— сказала она.— Но я ему передам, сейчас его нет дома, а вы приходите во вторник или среду около часу за ответом.

На этот раз с крыльца сошел хозяин дома. Первое впечатление: лицо давнего друга. Он был в летних серых брюках и голубой рубашке с засученными рукавами и раскрытым воротом, чуть загорелый. Если б не белая голова, то и в голову не пришло бы, что он уже очень не молод.

— Пойдемте, Зоя Афанасьевна, поговорим,— и он повел меня по немятой траве к террасе. Мы сели друг против друга за большой, покрытый клеенкой стол.

— Должен вас огорчить. Я сам из художнической среды, отец мой был художник, может быть, вы знаете. И меня не раз просили позировать — и Кончаловский, и Фаворский, и Коненков, и Сарра Лебедева... Года два назад скульптор Григорьев просил меня. Но надо быть идиотом, чтобы хотеть видеть себя изображенным: выходишь или непохожим, или, если уж похожим, то обезьяной. И, кроме того, я полгода болел, теперь хочется наверстать упущенное.

— И потом вы, наверно, думаете: почему именно она и почему именно меня хочет лепить?

— Ну, имя и все такое.

Я объясняю, что люблю поэзию больше того искусства, которым занимаюсь, а в современной поэзии выше всех ставлю его и что особенно ценю его нравственный облик, то, как он выдерживает испытания временем.

— Спасибо. Это самая высокая похвала, которую может получить человек. Я, вероятно, самый обыкновенный обыватель, но, правда, есть случаи, когда меня ничто не может заставить поступить против совести. В связи с венгерскими событиями ко мне приезжали за подписью под одним документом. И, как ни настаивали,

---

Рукопись публикуется в сокращении.

я наотрез отказался. Но вообще я обыватель, как и герой моего романа Живаго.

Он принимается говорить об этой книге.

— Роман имел успех за границей. Он о жизни и смерти, о человеческом бытии, но в какой-то исторической раме. И революция там изображается вовсе не как торт с кремом. Меня упрекают в том, что я пренебрег установившимися взглядами на исторические события и этим якобы нарушил кем-то как-то толкуемые интересы государства. Это похоже на то, как большой пароход отчаливает от пристани, уходя в дальнее плавание, а на берегу кричат: корзинку забыли! Ну, не может он вернуться назад за корзинкой!

Мы разговорились, и вскоре я вернулась к цели своего прихода, предложив посмотреть фотографии с моих работ.

Он внимательно разглядывает снимки, расспрашивает о моделях.

— Очень жизненно и выразительно. И я верю, что похоже, потому что убедительно. Внутреннюю сущность все хотят передать, без этого желания в искусстве не идут, но владение формой, умение передавать сходство — это очень важно. Ну, что ж, когда вы хотите начать?

Я чуть не вскакиваю со скамьи. Мы назначаем первый сеанс на второе воскресенье июля.

— Вам, вероятно, будет интересно познакомиться с моим «Биографическим очерком»,— говорит Борис Леонидович,— я могу вам дать.

Он уходит в дом и возвращается с зеленой папкой.

— Огромное вам спасибо. А можно «Очерк» перепечатать?

— Да, конечно. Я очень рад, что с вами познакомился. Жду вас в двенадцать,— говорит он, прощаясь.

Я ухожу степенным шагом, но мне стоит большого усилия не оторвать ног от дорожки и не полететь над землей.

Неужели все это — правда?

13 июля 1958 г.

В дни, оставшиеся до первого сеанса, я волновалась: а вдруг раздумает.

Поэтому мои первые слова, когда я увидела Зинаиду Николаевну, были:

— Не передумал?

— Он пошел гулять и скоро придет,— отвечала она.

Мы сидели с ней на нижней веранде, где решено было работать, когда, наконец, пришел Борис Леонидович.

— Простите, Бога ради. Я больше не буду опаздывать. Где мне сесть?

Я ставлю соломенное кресло на нужное место, достаю приготовленный эскиз. Он застывает. Лицо неподвижное. Я принимаюсь за работу.

Проходит время, и он говорит:

— Я, кажется, повернул голову.

— Сидите совершенно свободно. Можете менять положение, двигаться, разговаривать с кем-нибудь.

— Нет-нет, я вам хорошо буду позировать.

— Хорошо позировать — значит существовать независимо от меня.

Он садится свободнее и через некоторое время, когда, как мне кажется, он отрывается от мыслей, на которых был сосредоточен, я отваживаюсь заговорить.

— Борис Леонидович, от кого это пошло, что вы похожи сразу и на араба и на его коня? От Ахматовой?

— От Цветаевой. Правда, есть что-то лошадиное? — улыбается он милой улыбкой.— А вас ничего не задело из того, что я написал об Ахматовой в «Биографическом очерке»?

— О ней — нет. А вот то, что вы о Маяковском написали, задело.

— Вот как? А что именно?

— Мне кажется, вы несправедливы к нему. Можно по-разному воспринимать мир, с разным углом охвата. И талантливость или неталантливость не зависят от этого. У Маяковского был общественно-исторический строй мировоззрения, и я убеждена в полной его искренности. А у вас выходит, что он как бы...

— Покривил душой? — подсказал Борис Леонидович.

— Да.

— Я этого не хотел сказать. Я очень любил раннего Маяковского, испытал огромное воздействие его таланта, но то, что он писал в последние годы, мне кажется риторическим.

Я заговариваю о «Биографическом очерке». Рассказываю, что он действует на меня так же, как музыка: порождает ток внутренней жизни, будит мысли, прямо даже не связанные с ним.

— Это как раз то, чего я хотел. Чтобы реальные картины вызывали к жизни какие-то состояния, настроения. Но вы заметили, он как бы распадается на две части, неодинаково написанные? Первая состоит из таких вот реальных картин жизни, а вторая — из портретов. Мне доставляло огромное удовольствие заключать в несколько строк знакомый образ. Мне вообще всю жизнь хотелось писать прозу. Стихи писать легче. Но во второй части «Очерка» я ограничился портретами вовсе не потому, что боялся честно говорить о послереволюционном периоде. Все, что в такой книге было бы ценного, вошло в роман.

— Как же это получилось, что его у вас нет?

Почему-то он понял, будто я его спрашиваю, почему роман не издан.

— Мне очень хотелось видеть его напечатанным. Я его послал в разные редакции, но его отклонили и разругали. В Союзе писателей было обсуждение, а я не поехал и хорошо сделал, оно было мне враждебным. Но там были люди, представлявшие мои интересы. Роман Сурков назвал антисоветским, и он был прав, если под советским понимать нежелание взглянуть на жизнь такую, как она есть. Там решили создать комиссию по этому поводу. На комиссии я был. К сожалению, в нее вошли Федин и Твардовский, к обоим я очень хорошо отношусь, и я не мог быть с ними так резок, как надо бы. Когда было решено издать роман в Италии, я обрадовался. Здесь об этом узнали и просили меня задержать издание на полгода с тем, чтобы он успел выйти у нас раньше. Я это сделал, но потом убедился, что это только проволочка, что его не собираются у нас издавать. Там стали готовить его к печати. Тогда меня заставили подписать телеграмму о прекращении издания. Я сделал это с легким сердцем, потому что знал, что там сразу по стилю телеграммы поймут, что она не мной написана. Роман вышел и имел большой успех. За полгода появилось одиннадцать изданий.

— А какой тираж?

— В Италии тиражи несоизмеримы с нашими. Первый — три тысячи, второй — пять тысяч, остальные — по десять тысяч. Сейчас идут отклики на роман, и много времени занимает переписка.

— А сейчас вы что-нибудь пишете?

— Только письма. Но мне хочется писать. Хочется написать пьесу о русском актере, об обаянии русской интеллигенции. И в реальной жизни, где-то на рубеже, где кончается крепостное право и начинается другая жизнь. Так, как это делал Островский, но у него среда — купечество, а я хочу взять другую среду — разночинную интеллигенцию. Это должен быть очень талантливый человек, ищущий и мятущийся.

Поработав молча, я говорю:

— А знаете, кто мне вас открыл? Асеев.

— Николай Николаевич? Что вы говорите! Расскажите! Не о том, как он вам меня открывал, а о том, как вы с ним познакомились.

Я рассказываю о том, как пятнадцатилетней севастопольской школьницей стала партнершей Асеева по теннису в Ялте, и о том, как впервые услышала стихи Пастернака из уст Асеева.

— Асеев чудный человек, он гораздо лучше меня. Но ему хотелось бы услышать от меня о его стихах то, чего я не могу сказать. Им чего-то не хватает...

20 июля 1958 г.

— Борис Леонидович, мне понадобятся ваши фотографии разных лет. Вы их дадите?

— Их очень мало. Я редко снимался, а из того, что было, почти ничего не сохранилось. Но кое-что наберу. Удачных мало.

— В портрете я стараюсь выразить человека не только таким, какой он сейчас, но и таким, каким он был на протяжении всей жизни. Вы помните себя в четырнадцать лет?

— Отлично помню.

— Расскажите!

— Я в то время страстно увлекался музыкой, находился под сильным воздействием Скрябина. Уже тогда была и до сих пор осталась жалость к женщине как к существу поруганному, оскорбленному. Был крайне застенчив, излишне целомудрен и в отношениях между полами боялся всего, что называл пошлостью. Это, вероятно, была обратная сторона просыпающейся мужественности, через это обычно проходят нормальные неиспорченные дети. Мог влюбляться в товарищей и страшно ревновал, когда такой товарищ оказывал кому-нибудь предпочтение, ну, например, становился в паре не со мной. Уже тогда знал Рильке, увлекался Белым, Пшибышевским, вкусы в искусстве были самыми левыми, отрицал всю классику, чем очень огорчал отца. Об этих огорчениях я узнал сравнительно недавно. Отец умер в сорок пятом в Оксфорде. Там живут мои сестры. После гастролей МХАТа Зуева привезла от них большое письмо. Они прислали мне фотографии последней выставки работ отца, а также его записки. Это разрозненные заметки разных лет — тут и счета, и деловые письма, и записи в дневнике. И вот я прочел прекрасное описание переезда на дачу, и встречи с весенней природой, и слова о ссоре с Борей. И в другом месте: «После скандала с Борей...»

— Повлиял на творчество вашего отца контакт с современным западным искусством?

— Нет, он, по-видимому, еще больше укрепился в реалистическом направлении.

Поработав молча, я говорю:

— Вы выглядите так, как будто занимались спортом. Это верно?

— Нет, спортом я никогда не занимался. Я люблю ходить. До болезни возился на огороде, копал. В молодости ходил на охоту.

— Но ведь вы не можете убить!

— Я вам даже хуже скажу. В тысяча девятьсот пятнадцатом году я жил в имении Морозова на Урале. Это замечательные места, там, между прочим, Чехов бывал. Я ходил с ружьем. То ничего не встретишь, то промажешь. И вот, возвращаясь, я как-то увидел птичку. Она взнес-

лась высоко в небо и пела себе. Я подумал,— все равно не попаду, и выстрелил. И попал. До сих пор неприятно, когда об этом вспомнишь.

27 июля 1958 г.

Я долго сосредоточенно работаю. Чувствую, что Б. Л. начинает привыкать ко мне. У него напряженное, размышляющее лицо, в нем идет еле уловимая работа. Потом губы начинают шевелиться, мне кажется, что он беззвучно шепчет стихи. Вдруг он спохватывается, бросает на меня быстрый взгляд и смущенно улыбается. И, видимо, велит себе перестать.

— Борис Леонидович, меня очень смущает одно изречение: если можешь не писать — не пиши. Я вот могу не работать.

— Это сказал Толстой, и тут он впал в преувеличение. Нам иногда бывают неподвластны дурные побуждения, мы часто не можем преодолеть темные звериные инстинкты, но добрые наши поступки всегда в нашей власти. У меня бывает очень сильное, страстное желание писать, но в то же время я могу и не работать, это от меня, к сожалению, зависит. Вот этим летом я писал прекрасные стихи. Но я мог бы переключиться и вместо них написать статью или письмо.

Вдруг он увидел в окно, как к дому приближаются мужчина с женщиной. Он вышел к ним в сад, а я стала убирать после работы. Вскоре он познакомил меня с Еленой Ефимовной и Евгением Борисовичем Тагерами и попросил их дать мне роман, мы немного поговорили и потом ушли втроем.

3 августа 1958 г.

— Борис Леонидович, мне не совсем понятно ваше отношение к религии,— отважилась я наконец задать давно волновавший меня вопрос. К моему удивлению, он встретил его так, будто заранее ждал, что я его об этом спрошу.

— Не в том смысле, что я верю в установленных формах, но мне нравится думать, что существование не случайно и не бесцельно, что у нашей драмы есть Режиссер, который следит за ходом действия, направляет его и знает его смысл, и что и мне он отвел какую-то свою роль.

5 августа 1958 г.

Я приехала с фотографом, чтобы сделать снимки.

Борис Леонидович встретил нас приветливо. Пока устанавливали аппаратуру, он советовался со мной, какие из старых его фотографий лучше репродуцировать. Самым удачным он считает снимок, сделанный после больницы, на котором он в арестантской полосатой пижаме.

Наконец все было готово, и Борис Леонидович сел сниматься. Но фотограф так долго возился с освещением, что лицо Бориса Леонидовича стало каменеть. А когда фотограф к тому же стал поправлять ему галстук и руками поворачивать и наклонять голову, то по выражению глаз Бориса Леонидовича я поняла, что он разозлился.

Съемка длилась долго, наконец, фотограф взмок и попросил время на перекур.

— Сниматься надо сознательно,— говорил Б. Л.— Когда снимают врасплох, то получается уродство — разинутый рот, перекошенные черты. Но модель не может по двадцать минут быть моментальной.

Он сходил наверх и принес несколько иностранных газет с его портретами и итальянское издание романа с его фотографией во всю суперобложку. Хотел объяснить фотографу, что считает хорошим снимком, но тот был во власти штампов.

Я в этот день была несколько подавленной и сидела задумавшись. Вдруг, подняв глаза, я встретилась с добрым пристальным взглядом.

— Вы нехорошо себя чувствуете? Не надо грустить. Ну, мало ли что бывает в жизни. И у меня было. А я вот жизнью очень доволен.

— Для широкой публики?

— Нет, зачем же, в самом деле доволен и ничего не хотел бы в ней менять.

10 августа 1958 г.

Я привезла снимки и показала их Борису Леонидовичу.

— Нет, это все-таки не так плохо, как я ожидал, вот эти два ничего. Но невозможно столько времени присутствовать. Приготовишься, сосредоточишься, а он так долго возится, что все исчезает и остается одна оболочка.

Поработав молча, я говорю:

— Наконец-то Тагер дала мне роман.

— Вот как? Когда же? И вы успели что-то прочесть?

— Да, довольно много. Но мне не стоит высказываться, пока я не прочла всего.

Однако ему интересно, и, поговорив о другом, он вдруг спрашивает:

— И вас в романе ничего не задело, не нашло в вас отклика?

— О, этот роман — огромное личное событие в моей жизни, какой-то переворот, все последствия которого я еще не могу предвидеть. Как будто открыли двери к новым незнакомым горизонтам. Трудно об этом говорить. Но при всех его откровениях роман мне близок, слишком близок. Ваш Живаго — это то худшее, что есть во мне.

Этого он, видимо, не ожидал.

— Как так? Почему?

— И во мне сидит это стремление уйти от напряжения общественных исторических бурь, сохранить, уберечь от них себя и свой мир, но я вижу здесь свою слабость, стыжусь ее и борюсь с нею. И в этой борьбе ваш Живаго мне не помощник, а противник.

— Он обыватель, да?

— Не знаю, может быть. Со всем его необоримым обаянием, его талантливостью — он эгоист: в такое время жить по принципу: «моя хата с краю»!

— Это вы оттого говорите, что он оказался эгоистом в отношении Лары?

— Нет. Меня особенно задело то, что он, врач, отказывался от помощи больным и несчастным. Все это написано с гипнотизирующей силой, и требуется большая внутренняя борьба, чтобы противостоять этим идеям. Мне кажется, что роман — вершина русской прозы. Иногда от его красоты, от пейзажей — хочется плакать. Этот приезд в Варыкино, когда уходит поезд и они остаются с природой!

— А вы заметили, как Вакх говорит?

— Да. Где вы это подслушали? Такое своеобразие и все так убедительно, слышишь каждое слово. А заклинание над коровой? Неужели сами выдумали?

— Кое-какую ворожбу я слышал, кое-что вычитал, а частью придумал. А вот песню о рябине я сам сочинил.

— А я догадалась. Не из-за формы, она совершенно народная, а из-за хода мысли. Роман меня ошеломил. Я его уже на всю жизнь люблю и притом многое не могу принять. Вы относитесь к жизни с позиций прошлого. Почему Живаго не выносил избитости советских идей, но не бунтовал раньше против пошлости идей его круга до революции? Раньше разве было больше свободы? Почему же инакомыслящие были в подполье, в тюрьмах, ссылках? Я ведь помню ваше обещание:

Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены, и сойду.

Может быть, хранить верность такому обещанию и очень благородно, но, по-моему, глупо. Вы же сами не очень высоко эту среду ставите, и что за смысл ложиться жертвой под колеса истории?

— Вероятно, вы во многом правы. Но что я могу поделать? Я не могу не думать об обмельчании личности в наше время. Все те неисчислимые жертвы, которые были принесены, стоили ли они результата? О, я вижу какое-то улучшение материальной жизни, но ведь все, что было сделано, делалось ради человека, а человек-то духовно оскудел, и процесс этот идет дальше. Люди уже почти добровольно отказываются от собственного мнения, думают по указке.

— Но почему вы не хотите видеть, что лучшие люди этому сопротивляются и от их усилий жизнь улучшается? Просто те люди, с которыми вы сталкиваетесь, дают вам пищу для таких размышлений, но есть и другие. Ведь сейчас положение иное, чем было лет десять назад. Не само же собой это сделалось?

— Да. Но мне кажется, будут опять изменения. И не в лучшую сторону. Может быть, вы правы, если только где-то существуют такие люди, очень может быть, что мне не везет.

Я принимаюсь рассказывать о Кислициных, о Лизе Драбкиной.

— Я вашей Лизе Драбкиной в подметки не гожусь! — восклицает он.

— Ну, вот видите, есть же отдающие себе во всем отчет, по-настоящему честные, стойкие люди. Их жизнь трудна, труднее, чем у вашего Живаго, и прекраснее. А в романе так заметно, что вы несравненно шире своего героя и в нем не уместились, и вам понадобились еще герои, чтобы выразить себя,— и Гордон, и Дудоров, и Лара, и даже Симочка.

— Это вы верно подметили.

Борис Леонидович стал говорить о состоянии нашей литературы.

— Кажется, никогда еще уровень русской литературы не был так низок, как теперь. Ну, а что можно тут поделать? Вот писатели отправляются в творческие командировки изучать жизнь. Но ведь жизнь не изучают, жизнью живут. Что можно понять о жизни из такой поездки? Мне тоже предлагали поехать на бакинские морские нефтепромыслы, написать серию очерков для газеты. Вы знаете об этих нефтевышках на искусственных островах среди моря? Люди работают в страшно трудных условиях, рискуют жизнью, иногда гибнут, а я приеду на гастроли! Надо не уважать их труд, чтобы согласиться! Мне говорят, что я оторван от народа. Я тоже понимаю, что такое народ! И навряд ли из какого-нибудь другого места я увижу жизнь лучше, чем из моего дома в Переделкине.

17 августа 1958 г.

— Я прочла «Царь-Девицу»,— сказала я,— но она мне не понравилась — смесь эротики и стилизации. Расскажите мне о Марине Цветаевой. Она начинает небескорыстно интересовать меня.

— Небескорыстно? — переспросил Борис Леонидович.— Хорошо.

Он помолчал, собираясь с мыслями.

— Марина воспитывалась в женском монастыре в Швейцарии. Она рано начала писать стихи. У нее сестра Ася, тоже одаренная и своеобразная... В их доме бывал поэт-символист Эллис, и он начал портить девочек, в том смысле, что забивал им головы стихами, приобщая их к декадентской поэзии. В то время существовало Общество эстетики, куда входи-

ли многие поэты-символисты, и этот кружок стали посещать сестры. Так как они были очень молоды и застенчивы, то читали стихи в унисон, держась за руки. Их там даже Брюсов слушал.

Цветаева была похожа на Наполеона: круглое решительное лицо с правильными чертами. Все ее поступки, жесты, движения были целесообразны. Так она была воспитана: каждый ее час должен был быть занят определенным делом.

Вначале я ее не оценил. Прочел ее стихи и как-то их не воспринял. Мы были знакомы, но не коротко. Помню, она приходила ко мне приглашать выступить на каком-то благотворительном вечере.

В начале тридцатых годов было такое движение среди писателей: стали ездить по колхозам, собирать материалы для книг о новой деревне. Я хотел быть со всеми и тоже отправился в такую поездку с мыслью написать книгу. То, что я там увидел, нельзя выразить никакими словами. Это было такое нечеловеческое, невообразимое горе, такое страшное бедствие, что оно становилось уже как бы абстрактным, не укладывалось в границы сознания. Я заболел. Целый год я не мог спать.

В тридцать пятом году был Антифашистский конгресс в Париже. Туда поехала наша делегация, а там стали спрашивать, почему меня нет, и настаивать на моем приезде. Меня вызвали в цэ-ка и сказали, что я должен ехать. Я отказывался, объяснял, что болен, но мне говорили, что это необходимо. Я поехал через Германию. Мои родители жили в то время в Мюнхене и ждали, что я проеду через Мюнхен, чтобы с ними повидаться. Но я не поехал из глупого самолюбия, мне не хотелось, чтоб они видели меня в таком жалком, раскисшем состоянии.

— Так вы их и не повидали?

— Нет. Оказалось, что это была единственная возможность. Думал встретиться с ними на обратном пути, но назад я возвращался через Англию... В Берлин, правда, к приходу моего поезда приезжала сестра, но отца с матерью я так больше никогда и не видел. На конгрессе меня почему-то приняли восторженно. Весь зал поднялся, когда я появился. Я стал говорить, сказал, что болен, но вот все-таки приехал. Тут меня дернули сзади, оказывается, этого не надо было говорить. Потом еще предстояло выступление. Его для меня составили. Когда я начал выступать, оказалось, что я забыл взять текст, и я опять что-то ляпнул. К моему удовольствию, меня освободили от необходимости присутствовать на конгрессе, руководитель делегации Щербаков объяснил, что я заболел. И я прекрасно проводил там время. С утра ко мне в номер являлась дочь Марины Цветаевой Аля. Она приходила с клубком шерсти, вязала и болтала со мной. Потом приходили Марина и Ходасевич, и мы отправлялись куда-нибудь в Булонский лес, Фонтенбло или Версаль. Я начал понемногу спать. Марина Ивановна много говорила о том, что хочет вернуться в Россию. Это было настойчивое желание ее мужа и дочери, они постоянно толкали ее к этому. Я ей отвечал, что считаю это глупостью, решительно отговаривал. Я спрашивал: ну, зачем тебе это, что это тебе даст? Она отвечала, что у поэта должен быть резонанс. Но, помилуй, какой у нас резонанс? Но она была очень упрямой. После поездки мы много переписывались, она присылала стихи.

— А сохранились у вас ее письма?

— Нет. Во время войны я отдал ее письма и кое-какие другие, в том числе Ромэна Роллана, на хранение одной женщине. Она была сотрудницей музея Скрябина, преданный и надежный человек. Она их хранила необычайно тщательно, никогда с ними не расставалась, но именно эта тщательность и погубила письма. Она жила за городом и однажды вечером возвращалась домой. Письма были с ней в чемоданчике. В электричке, видно, она задремала, была очень усталой и вышла на платформу без чемоданчика, опомнилась, когда поезд уже ушел. Так все и пропало.

А Марина Ивановна приехала в Россию в тридцать девятом году. Дочь ее и муж вернулись немного раньше. Когда она приехала, то узнала, что они арестованы. Ее не печатали, конечно, и жить она могла только переводами. Она не понимала, как можно переводить с языков, которых не знаешь. Жаловалась мне, что делает только двадцать строк в день, да потом их еще четыре дня переделывает. Я ей говорил, что для того, чтоб имело смысл этим заниматься, надо делать сто строк в день, я в то время мог делать по сто пятьдесят.

Когда началась война, писательские семьи эвакуировали в Чистополь на Каме. Марину с сыном Муром — ему было лет шестнадцать — отправили не в Чистополь, а в Елабугу. И они остались без средств к существованию. В Чистополе был детский дом. Зинаида Николаевна работала там сестрой-хозяйкой. Работала с такой честностью, что похудела на двадцать килограммов и нажила чахотку. Цветаева написала письмо в Чистополь, прося взять ее в детский дом судомойкой. Решение это зависело от Тренева и Асеева, они были во главе чистопольского «правительства» и заправляли там всеми делами. Но они испугались ответственности, того, что их обвинят в контакте с эмигранткой, только что приехавшей из-за границы, и в помощи ей. Стали говорить, что судомойкой неудобно, надо поднять вопрос о принятии ее в Союз, что было, конечно, делом безнадежным.

Мур был красивый, избалованный, не по летам развитой мальчик, наверно, он томился в Елабуге. И вот однажды Марина ему сказала: «Мур, я стою помехой на твоем пути, но я этого не хочу, надо устранить препятствие». Мур ответил: «Об этом надо подумать»,— и ушел гулять. Когда он вернулся, то нашел мать повесившеюся.

Мур уехал в Чистополь. Он привез с собой сундук, набитый рукописями матери. Кое-что он продавал и на это жил. Но тут его призвали в армию. Кажется, ему еще не вышел возраст, но он был крупный, сильный, рослый, и его документам не поверили. Он оставил рукописи на хранение у поэта-символиста Садовского, жившего в Новодевичьем монастыре.

Вероятно, из-за матери он попал в штрафную часть и очень скоро погиб.

Дочь Марины Аля была в лагере, но сейчас она живет в Москве, работает в издательстве. Она мне говорила: «Ты не знаешь (мы с ней на ты), как мама к тебе относилась, как она о тебе писала, у нее сундуки были набиты письмами о тебе. Ты к ней совсем не так относился, как она к тебе».

Аля ездила в Елабугу, но не могла найти могилы.

Сестра Марины Ася живет в Павлодаре, иногда приезжает в Москву.

31 августа 1958 г.

Это был первый вечерний сеанс. Борис Леонидович встретил меня на кухне. Дверь в столовую была отворена, и было видно, что за столом, накрытым к чаю, сидят Зинаида Николаевна и еще кто-то.

— У вас гости?

— Ей-богу, я тут ни при чем, я никого не ждал. Не можете ли вы сегодня поработать без меня?

— Один час могу, а потом надо, чтобы вы посидели.

— Вы знаете Симона Ивановича Чиковани? — громко сказал Борис Леонидович, вводя меня в столовую.

— По стихам — да.

Я поздоровалась и, отказавшись от чая, ушла работать.

Дверь с веранды в столовую была открыта, и, если б не моя глуховатость, я могла бы слышать все до слова. Там помянули меня, и затем Борис Леонидович громко спросил:

— Зоя Афанасьевна, а не покажем ли мы Симону Ивановичу работу?

— Не стоит, в вечернем освещении она смотрится ужасно. Разве при условии, что вы будете позировать.

Я успела исправить главные дефекты, выступившие в новом освещении, и тут снова раздался его голос:

— Зоя Афанасьевна, мы к вам идем.

Чиковани остановился в дверях, разглядывая портрет в три четверти сзади, а Борис Леонидович зашел с фаса. Он впервые видел работу: до сих пор я запрещала смотреть.

— Да ведь это очень хорошо! Вы уловили что-то существенное. И то, что вы делаете меня птицей, правильно. Но вы испортите. Так хорошо уже не будет. Начнете исправлять, вносить какую-то идею и испортите. А сейчас это и я, и довольно приятный молодой человек.

Чиковани тоже похвалил работу.

Я смущенно отшучивалась, а потом погрузилась в лепку. Разговор между ними сначала шел о грузинской литературе, а затем почему-то заговорили о переводах стихов Бориса Леонидовича на французский.

— Там хотели поручить перевод маститым поэтам, но мне помог Альбер Камю, и дело кончилось тем, что стихи переводили никому не известные молодые переводчики, в том числе Окутюрье, и прекрасно получилось. Они ничего не вносили своего и только добросовестно следовали за мыслью. Это и есть хороший перевод, где нет индивидуальности переводчика.

— Но позвольте,— не выдержала я,— это находится в полном противоречии с тем, как вы сами переводите.

— Я тоже стараюсь добросовестно передать мысль.

— Почему же тогда, читая стихи в разных переводах, я сразу узнаю, что вот это переводили вы?

— Вы выдумываете.

— Выдумываю? Можно проделать эксперимент.

Но он уже сам почувствовал, что запутался, и махнул рукой.

— А при чем тут логика...

Не знаю, как они перескочили на эту тему, но вдруг я услышала, как Борис Леонидович говорит:

— Вероятно, это происходит потому, что я недостаточно знаю английский язык, но я не чувствую архаичности языка Шекспира. В то же время язык писем его современницы Елизаветы для меня труден. Шекспир — это река, которая омывает наши берега. Есть два времени: одно физическое, а другое органическое, измеряемое рождениями, смертями, большими событиями человеческой жизни, и оба они движутся не одинаково. И Шекспир, существующий в органическом времени, ближе к нам тех, кто не так отдален во времени физическом.

Он стал рассказывать о стихах одной немецкой поэтессы, присланных ему в письме:

— Там есть такой пейзаж. Старое, брошенное поместье. Серое туманное утро. Трое молодых людей уезжают. Они едут верхом вдоль ограды парка. Они оглядываются на старый дом. Они никогда не вернутся. Движутся три фигуры. Это вой-

на. И другое стихотворение. Глухой Бетховен. Все звуки, которых он не слышит и не услышит никогда, он собирает и бросает как крик отчаяния в мир. Это поражение.

Он говорит ровным, глухим голосом, а из глаз сбегают слезы, и он, не прерывая речи, смахивает их пальцем. Кажется, Чиковани ничего не замечает, а я не могу оторвать глаз от прекрасного взволнованного лица.

5 сентября 1958 г.

Опять я работала одна и опять во втором часу зашел Борис Леонидович переброситься несколькими фразами. Я рассказываю, что накануне видела фильм, произведший на меня самое тягостное впечатление — не оконченную Эйзенштейном вторую серию «Ивана Грозного».

— Картина возмутила меня — это попытка не только оправдать, но и возвеличить опричнину.

— Какая подлость! Все они свиньи... Я не терплю нашей интеллигенции за раболепие перед силой и половинчатость. Это какие-то полулюди! Полулюди! — восклицает он с горечью и гневом.

Никогда я не видела его, ни до, ни после, таким рассерженным и расстроенным.

7 сентября 1958 г.

Снова я лепила вечером. Борис Леонидович был приглушенный, тихий, грустный. Он был добр и даже ласков со мной, но как-то рассеян.

— Я второй раз вижу вас вечером, и вы в каком-то особенном настроении,— заметила я.

— Нет, бывает по-разному. Просто я огорчен.

— Чем, Борис Леонидович?

— Всем, что делается вокруг, направлением, которое принимает жизнь, людьми. А то, что вы рассказали мне о картине Эйзенштейна,— разве это не мерзость?

— Это ужасно. Я тоже страдаю от многого, что было и есть в нашей жизни. На мой самый впечатлительный возраст пришлись тридцать седьмой—тридцать восьмой годы. И, может, поэтому я так радуюсь всем тем изменениям, которые происходят.

— Да ведь все они лишь на поверхности. Что изменилось по существу?

— Уверяю вас: перемены есть. Они не так велики, как хотелось бы, но они есть. Разве возможна была книга Дудинцева пять лет назад?

— Но мне кажется, что опять будут изменения и не к лучшему. Испугаются той небольшой свободы, которую дали, и подвинтят гайки. И одной из первых жертв буду я со своим романом.

Он говорит это тихо и убежденно, как бы про себя.

— Ну, даст Бог, вы окажетесь неправы. Ведь эта демократизация нашей жизни произошла не сама собой, а потому что в народе есть здоровые силы, которые ведут за нее борьбу, и надо им помогать.

— А что я могу сделать?

— А вы и делаете. Никто от вас не ждет готовых рецептов — как жить и действовать. У каждого своя роль. Ваша состоит в том, чтобы множить связи человеческой души с бытием, вызывать любовь к жизни могучую, как страсть, выстаивающую и тогда, когда жизнь трагична. Это нужно. Это придает силы.

— Да, вы правы. Я и пытаюсь это делать.

Мы надолго замолчали. Но мне хотелось отвлечь его от нерадостных мыслей, и я попросила:

— Борис Леонидович, вы мне обещали рассказать о том, как говорили со Сталиным по телефону. Или сегодня у вас нет настроения?

— Нет, почему же. Хорошо,— он задумался.— Но я издалека начну.

И он действительно начинает с предреволюционных лет, обрисовывает штрихами литературную обстановку, расстановку сил, рассказывает о своем к ним отношении, о знакомстве с Осипом Мандельштамом.

— Он был человек одаренный, но необычайно ленивый, вечно валялся на диване и бездельничал. Однажды мы с ним откуда-то возвращались поздно вечером, шли по Тверской-Ямской. Тогда — это было, кажется, в тридцать втором году — Москва была совсем другой, малолюдной, движения почти не было, можно было идти посреди мостовой и спокойно разговаривать.

И тут Мандельштам прочитал мне страшное стихотворение о Сталине, о том, что он наставил между людьми непроницаемые перегородки, отец не доверяет сыну, муж — жене, и все заключены в стены одиночества и страха, как в первобытные времена, что это — уничтожение цивилизации, сближающей людей.

Я его спросил:

— Кто-нибудь, кроме меня, знает эти стихи?

— Я их читал одной женщине.

— Но больше никому?

— Нет.

— Тогда уничтожь их немедленно. Не будь дураком, они ничего не изменят, но ты погибнешь. Обещай мне, что ты это сделаешь.

Он обещал.

А через некоторое время стало известно, что Мандельштам арестован. Мне позвонила его жена и стала умолять, чтоб я что-нибудь предпринял. В этот день из Ленинграда приехала Анна Радлова, я с ней встретился в Камерном театре, и она и другие знакомые тоже настаивали, чтобы я действовал.

Вы знаете, что Камерный театр и «Известия» находятся близко друг от друга. В то время главным редактором «Известий» был Бухарин, он ко мне хорошо относился, и в антракте я пошел к нему.

Я ему сказал: я понимаю, что мое ходатайство глупо и не имеет смысла. Я знаю, что к аресту Мандельштама вы относитесь так же, как и я, и что если вы что-нибудь можете сделать, то вы сделаете или уже сделали и без моей просьбы. Но если нужно мое ручательство за Мандельштама, то, пожалуйста, я за него ручаюсь. Бухарин ничего определенно не обещал, но, видимо, поговорил об этом со Сталиным.

В то время мы жили в старой отцовской квартире на Волхонке у брата. Квартиру разделили, туда вселили пять семейств, и жило в ней двадцать два человека. Телефон был общий, в передней. И вот как-то поздно вечером позвонил телефон, я подошел, и мне сказали, что со мной сейчас будет говорить Сталин. Я подумал, что это меня разыгрывает кто-нибудь из друзей. Тогда говоривший — видимо, это был секретарь — дал мне номер кремлевского телефона и попросил позвонить самому. Я набрал этот номер. Ответил Сталин. «Чему я обязан этой честью?» — спросил я. «Скажите, вы знаете поэта Мандельштама? Какова о нем молва?» Он так и выразился, он говорил по-русски слишком правильно, слишком литературно и, как мне показалось, в то время с гораздо меньшим грузинским акцентом, чем после.

— А вам пришлось еще с ним разговаривать? — спросила я.

— Нет, но был фильм с его выступлением на съезде, когда принимали Конституцию, да и по радио я его слышал.

— Да, ну так что вы ему ответили?

— «Вы слишком хорошего мнения о нас, писателях, если думаете, что у нас существует какое-то общественное мнение. Каждый слишком занят своими делами».— «Но каково ваше личное мнение о нем?» — «Поэты, как красивые женщины: им трудно оценить достоинства друг друга».— «На вашем месте я не стал бы топить товарища, а постарался бы все сделать, чтобы его спасти».— «Но, помилуйте, Иосиф Виссарионович, ваш звонок ко мне, вероятно, и вызван тем, что я за него просил и прошу. Я уверен, что вам так же тяжело, когда происходят подобные вещи, и что вы не упускаете возможности исправить зло. Но если вам нужно мое заверение, что Мандельштам вполне советский человек, я его даю. Как жаль, что нам с вами приходится разговаривать на такую тему, нам бы надо было говорить с вами совсем о другом».— «А о чем бы вы хотели со мной говорить?» — «Ну, мало ли о чем? Ну, о жизни, о смерти».— «Хорошо. Как-нибудь, когда у меня будет больше свободного времени, я вас приглашу к себе, и мы поговорим за чашкой чаю. До свидания».

— В этот вечер, после звонка секретаря, у меня возникло особое состояние собранности,— продолжал Борис Леонидович,— я говорил и делал то, что нужно, и когда впоследствии вспоминал разговор, мне не хотелось изменить в своих ответах ни слова. Когда он повесил трубку, я тут же набрал этот номер снова. Ответил секретарь. «Я только что разговаривал с Иосифом Виссарионовичем,— сказал я ему.— Я хотел бы узнать, могу ли я рассказывать об этом разговоре?» — «Иосиф Виссарионович уже занят, я об этом спросить его не могу, но, по-моему, можете». Представляете переполох, когда в квартире узнали, что я разговаривал со Сталиным? Вскоре Мандельштама выпустили.

— Но он, кажется, погиб в лагере? — спросила я.

— Да, через несколько лет его снова арестовали, и на этот раз он не вернулся. Но потом начали распространяться всяческие слухи об этом разговоре со Сталиным, и стали говорить, что я погубил Мандельштама. Но ведь о содержании разговора могли знать только от меня. Не стал же Сталин бегать по знакомым и рассказывать, о чем он говорил с Пастернаком.

— Ну, что же, приглашал он вас на чашку чаю?

— Нет,— улыбнулся Борис Леонидович.

И рассказал, как однажды написал Сталину письмо по сходному случаю. Арестовали мужа Анны Ахматовой Пунина. Она приехала из Ленинграда хлопотать и остановилась у них в доме. Но что предпринять, куда обращаться, никто не знал.

— Меня стали уговаривать написать Сталину. Ахматова от переживаний заболела, ночью был переполох в доме, и утром я вышел на улицу и сам опустил в почтовый ящик Кремля письмо Сталину. Ответ получился как-то очень быстро, чуть ли не на следующий день. Ахматовой предложили взять его на поруки.

Я еще раз обращался к Сталину. В тридцать седьмом году, когда был процесс по делу Якира, Тухачевского и других, среди писателей собирали подписи под письмом, одобряющим смертный приговор. Пришли и ко мне. Я подписать отказался. Это вызвало страшный переполох. Тогда председателем Союза писателей был некий Ставский, большой мерзавец. Он испугался, что его обвинят в том, что он не досмотрел, что Союз — гнездо оппортунизма, и вообще, что расплачиваться придется ему. Меня начали уламы-

вать, я стоял на своем. Тогда руководство Союза приехало в Переделкино, но не ко мне, а на другую дачу, и меня туда вызвали. Ставский начал на меня кричать и пустил в ход угрозы. Я ему ответил, что если он не может разговаривать со мной спокойно, то я не обязан его слушать, и ушел домой.

Дома меня ожидала тяжелая сцена. Зинаида Николаевна была в то время беременна Леней, на сносях, она валялась у меня в ногах, умоляя не губить ее и ребенка. Но меня нельзя было уговорить. В ту ночь мы ожидали ареста. Но, представьте, я лег спать и сразу заснул блаженным сном. Давно я не спал так крепко и безмятежно. Это со мной всегда бывает, когда сделан бесповоротный шаг.

Друзья и близкие уговаривали меня написать Сталину. Как будто у меня с ним переписка, и мы по праздникам открытками обмениваемся. Но все-таки письмо я послал. Я писал, что вырос в семье, где очень сильны были толстовские убеждения, всосал их с молоком матери, что он может располагать моей жизнью, но себя я считаю не вправе быть судьей в жизни и смерти других людей. Я до сих пор не понимаю, почему меня тогда не арестовали.

— Вероятно, вас оградила известность за границей?

— Ну, тогда никакой известности не было. Если о ней можно вообще говорить, то она только сейчас начинается... Да! Я и еще раз писал Сталину. Когда он сказал, что Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей эпохи, я его поблагодарил. Я ему написал, что рад тому, что с меня тем самым снимается ответственность, которую пытались возложить своими преувеличениями некоторые поклонники.

Мы с ним говорим о всеобщем гипнозе, связанном со Сталиным, и он признается, что тоже не избежал его действия. Рассказывает, как тяжело переживал смерть Сталина.

— Когда он умер, Зинаида Николаевна стала просить меня, чтоб я написал о нем стихи,— пусть они никуда не пойдут, но пусть они будут в доме...

— Быть может, это чудовищно, что я скажу, но, кажется, я никогда не был так счастлив, как во время войны,— говорит вдруг Борис Леонидович.— Уже незачем было бояться чего-то неведомого и темного, была налицо реальная опасность, исчез тот искусственный гнет, который давил на жизнь перед войной,— и каким это явилось облегченьем! И были надежды, что произойдет общее оздоровление и прошлое не вернется. Некоторое время я жил в Лаврушенском. Во время налетов подымался на крышу дежурить. Эти ночные дежурства вызывали у меня состояние, близкое к опьяненью. Я подымался вверх по лестнице в полной темноте, а вниз спускались в убежище люди, и я, встречаясь с ними, вдруг проводил рукой по чьему-нибудь лицу — так мне весело было! — и вообще позволял себе разные озорные выходки. Семьи писателей уехали в Чистополь, я остался один, проходил на ополченском пункте военную подготовку.

— Меня удивило в ваших военных стихах знание дела, полное отсутствие развесистой клюквы.

— Я ведь ездил во фронтовую полосу вместе с другими писателями. А потом пришлось уехать в Чистополь. И там неплохо жилось, радовала определенность и подлинность существования, внесенная войной. Вы, наверно, думаете, что это отвратительно, ведь война — это такое всеобщее бедствие?

Мы кончили работать, Борис Леонидович пошел меня проводить.

На востоке на холодном зеленоватом небе светилась крупная звезда.

— Это Марс,— сказал он.— В прошлом году было великое противостояние. Я изо всех сил смотрел, но не заметил, чтоб он стал больше.

Звездное небо навело его на космические размышления, и он стал с восхищением говорить о спутниках.

12 сентября 1958 г.

Я работала одна. Прошло часа два, я с головой погрузилась в работу и вдруг всем телом вздрогнула от громкого «Здравствуйте, Зоя Афанасьевна!».

— О, простите, Бога ради, я вас испугал! Простите меня.

Он остался перемолвиться словечком, и я сообщила, что в субботу иду в Политехнический музей на вечер встречи с итальянскими поэтами. Он не знал об их приезде.

— Тогда, наверно, ко мне приедет Рипеллино. Он меня переводил, писал обо мне. Он тут у меня был, и мы переписывались. А кто еще приезжает?

— Сольми, Кадорези, Буттито, Мунчи, Квазимодо.

— А, и Квазимодо приезжает? Это, пожалуй, самый значительный, самый интересный из поэтов Италии. Он основоположник школы герметизма.

И Борис Леонидович принимается рассказывать о принципах этой школы.

— Борис Леонидович, почему вы так много переводите? Ведь вам есть что сказать и самому.

— Не спрашивайте меня. Я к вам так хорошо отношусь, что не смогу вам не ответить. А потом я начинаю мучиться, зачем был с вами так откровенен.

— Вам незачем беспокоиться. Я ни с кем не делюсь содержанием наших разговоров.

Ленинградские этюды ИГОРЯ СУВОРОВА



Цирк. Зима на Фонтанке

Сухие цифры справочника, не ведая стыда и боли, сообщают, что с 1914 года наш город потерял (разрушено, разобрано, взорвано) шестьдесят храмов и три ста ансамблей. Необратимо уничтожены творения выдающихся зодчих, вошедшие в мировые справочники шедевры архитектуры и градостроительства. Словно предчувствуя это еще в начале века, Александр Бенуа писал: «Хотелось бы, чтобы художники полюбили Петербург и, освятив, выдвинув его красоту, тем самым спасли его от погибели, остановили варварское искажение его, оградили его красоту от посягательств грубых невежд».

Этим сегодня и занимается живописец Игорь Суворов, потомственный ленинградец, чье детство прошло на канале Грибоедова, недалеко от Николы Морского. Ленинград — главная тема творчества художника, и Суворов, «выдвигая его красоту», долгие годы не устает во многих десятках работ открывать с любовью все новые ее стороны. Интерес к истории родного города естествен. Живописец стал изучать справочники, архивы, пересмотрел десятки старых фотографий и альбомов — и увидел потери, убитые силуэты, пластику, ритмы неповторимого. Для него прошло время только любоваться Ленинградом. Энергия гражданской зрелости, желание предостеречь, напомнить, что слишком долго мы неумело распоряжались нашим сокровищем, изменили угол зрения художника. Одна за другой у Игоря Суворова стали появляться работы из серии «Петроградская старина». В стремлении воссоздать утраченное в зримых образах он рисует Благовещенский собор, что составлял неповторимый ансамбль с Крюковскими казармами (площадь Труда), памятник (а он был двойным) Петру I — строителю, что стоял перед Адмиралтейством, Храм Спаса на Сенной (площадь Мира), Вознесенский проспект с уникальным ансамблем Вознесенского собора (проспект Майорова)...

В культурном наследии Отечества — духовный источник, питающий нас. Высокая цель работ Игоря Суворова — не давать покоя памяти нашей, а главное — разуму и совести дня сегодняшнего.

Александра ЛАНКИНЕН



Из цикла картин «Петроградская старина». Набережная Мойки у Почтамтского моста



Сенная площадь. Ныне — площадь Мира



Из цикла картин «Петроградская старина». Благовещенский собор. (Ныне — площадь Труда)



Памятник Петру Великому на Неве у Адмиралтейства



Нева. Вдали Охтенский мост



Нева у Гренадерского моста

— Да, мне есть что сказать и хочется писать и сделать что-то значительное, раскрыть и развить многое из того, чего в романе я только коснулся или к чему так и не подошел. После романа прошел кусок жизни, появились новые мысли, сделаны какие-то открытия, и хочется их выразить. Но вокруг меня создалось целое финансовое управление, много людей от меня зависит, и очень много денег надо зарабатывать.

— А вы махните на все рукой и пишите. Это ведь самое главное. Вам самому надо немного, а остальные обойдутся.

Он погладил мою руку.

— Наверно, так и надо бы сделать. Но это невозможно.

14 сентября 1958 г.

— Я вам принес сегодня стихи,— сказал Борис Леонидович, кладя на стол тетрадь,— но я не могу вам их подарить, у меня больше нет.

— Зачем же? Но вы позволите мне перепечатать?

— О да, пожалуйста. Только знаете что, перед тем, как переписывать, дайте их мне. Там, наверно, много ошибок и опечаток, я посмотрю. И у меня к вам просьба, если вы заметите описки или какие-нибудь неясности, покажите мне и вообще отметьте все, что непонятно. В этих стихах я добивался предельной ясности смысла, и там не должно быть никаких темных мест. Я вам буду очень благодарен.

Он уселся на станок, и, поработав в молчании, я сказала:

— Я вчера была на вечере итальянских поэтов. Вы о нем ничего не знаете?

— Нет, ничего.

— Тогда я должна вам рассказать. Но во время работы трудно связно говорить, давайте после сеанса.

Но он все же задает вопросы о том, кто был, что читал, как принимали. Голос его потеплел от сочувствия, когда он узнал, что с Квазимодо случился инфаркт и он лежит в Боткинской.

Я упомянула о выступлении Андрея Вознесенского, и он рассказал мне о нем.

Я уже кончила лепить и, убирая вместе с ним станки, сказала:

— Теперь я должна вам рассказать о вечере.

— Да вы уже все рассказали.

— Ничего не рассказала, а вам надо знать, что вчера было. Там Сурков отвечал на записки. В одной из них спрашивали, существуют ли ваши переводы с итальянского и переводы ваших произведений на итальянский. Сурков отвечал, что о первых ему ничего не известно, а вторые есть, и даже много. А в следующей записке задавался вопрос, почему вы не приняли участия в этой встрече с итальянскими поэтами. Сурков ответил, что вы написали антисоветский роман и отдали его для публикации за границу. В зале была бурная реакция на это сообщение. Сурков долго не мог успокоить публику. Кто-то спросил, как называется роман, Сурков ответил. Он сказал, что это второй случай такой нелояльности за время существования советской литературы. Из зала крикнули: а какой первый? Сурков сказал, что это был роман Пильняка «Красное дерево». По его словам, ваш роман направлен против сердца русской революции.

Борис Леонидович жадно слушал, расспрашивал о реакции зала, а когда я заговорила об итальянцах, перебил:

— Погодите, так вы говорите, что в зале...

Я добавляла новые подробности.

— А Сурков ко мне правильно относится, он так и должен относиться,— заметил он.

— Это первый случай публичного разговора о романе? — спросила я.

— По-видимому, да.

Мне показалось, что его не огорчило то, что я ему рассказала, во всяком случае, прощаясь, он был особенно мил со мной и шутил.

16 сентября 1958 г.

Я лепила одна. Прошло довольно много времени, и неожиданно в дверях появился одетый, в плаще, Борис Леонидович.

— Я пойду погуляю, а потом вам попозирую. Только недолго, с полчаса. Хотите?

— Хочу, Борис Леонидович, спасибо!

— О, пожалуйста, пожалуйста,— сказал он тоном, которым отвечают на благодарность при возвращении занятой десятки.

— Вы не поняли, я за стихи.

— Нет, я понял,— улыбнулся он.

Гулял он долго, но наконец пришел, и я усадила его спиной. Весь этот недолгий сеанс я работала над затылком, и разговаривал он спиной ко мне.

Поработав, я тихо сказала:

— А стихи ваши меня поразили...

— Да? — встрепенулся он.

— В них вы настолько выше себя прежнего, насколько в старых стихах вы выше всех остальных. «В перерыве» — чудо. С трудом представляется, что стихи созданы руками человека, который сидел за столом, что-то марал, перерешал. Они кажутся нерукотворными. Чувствуешь, что они всегда были в душе, что пережита не хорошая книга, а прожит оставивший глубокий след день подлинной жизни. И от этого ощущение внезапного богатства, свалившейся на голову долгожданной удачи. Ведь это земля и небо, красота и жизнь стали больше своими, обжитыми. И совсем не хочется думать, почему это так хорошо, откуда эта берущая в плен

сила, просто ей подчиняешься безоглядно. Спасибо!

Он отвечал мне взволнованно, задушевно, с силой.

— Я очень рад, что вы так к ним отнеслись. Я рад всему, что вы мне сказали. Вы — умный, чуткий, современный и очень одаренный человек. Не знаю, почему меня так взволновал этот разговор. Может быть, он потому такой особенный, что происходит спиной. Мне дорог ваш отклик. Но это сказано и не оставит следа. Вы спрашиваете, почему я трачу время на переписку — люди откликаются, а письма — это документ, это остается.

— Я понимаю. Но кое-что из того, что я вам говорила, я записала.

— Вы ведете дневник?

— Это нельзя назвать дневником. Я записываю только то, что относится к моему становлению как художника.

— Это должно быть очень интересно. Меня часто спрашивают, веду ли я дневник. Нет, не веду. Я мысли вынашиваю долго, иногда годами, а когда они созревают, то отливаются в форме стихов или художественной прозы.

— Вам дневник даже вреден был бы. Как бы ни была зафиксирована мысль, но она уже выражена и возвращаться к ней обычно не хочется.

— Вот видите, вы это лучше меня выразили. Вы любите грибы? Пообедайте с нами, у нас сегодня грибы.

Вскоре нас позвали. За обедом Зинаида Николаевна стала говорить о портрете.

— Мне портрет кажется мало похожим. Лицо у вас заостренное и резкое, у Бориса Леонидовича все гораздо мягче и спокойней. Сходство есть, конечно, но портрет похож скорей на карикатуру.

— А у меня другое мнение. У меня физическое ощущение, что это я, я сам. Уловлено что-то очень существенное, и портрет мне нравится. Вы ее не слушайте, а то собьетесь. Вы на правильном пути, так и продолжайте.

21 сентября 1958 г.

В эту встречу я спросила его о Фаворе, и он подробно, с большим знанием дела объяснил мне про гору Фавор и про свет, окруживший на ней Христа в день Преображения.

— Откуда вы все это знаете? — удивилась я.

— Но ведь столько служб отстоял в детстве, я мальчиком очень религиозным был, все это западает в душу на всю жизнь. Когда я лежал в Боткинской, там были ночные сиделки-старушки. По ночам я часто не мог заснуть и разговаривал с ними на эти темы. Оказалось, что я помню псалтырь, литургию.

Но однажды я напутал. Выяснилось это так. У меня есть один знакомый старичок, Звенигородский. У него замечательная память, и он отлично знает старую Москву, а главное — все помнит: кто с кем связан родственными узами, где и когда происходило то или иное событие. Им часто пользуются, когда надо установить какой-нибудь нигде не зафиксированный факт. Он мой поклонник, и для него отведен один день в году, на благовещенье, когда он ко мне приезжает. И вот как-то на благовещенье я оказался занят и сказал ему по телефону: я помню, что это ваш день, но, ей-богу, сегодня мне некогда. Он ответил, что непременно должен меня видеть, он обнаружил серьезнейший промах в романе. «Так скажите мне по телефону»,— прошу. «По телефону никак нельзя».— «Но это действительно что-нибудь существенное?» — спросил я. «Да, очень». У меня сердце екнуло. «Хорошо, приезжайте обедать». Он приехал, и я попросил его сказать в чем дело, я беспокоился, что я там мог такое ляпнуть,— роман был уже напечатан. Но он таинственно дал знать, что может говорить об этом лишь наедине. Представляете мое волнение? Наконец обед кончился, и мы пошли с ним в кабинет. Сначала он удостоверился, что дверь закрыта, а потом вполголоса сообщил, что в разговорах Симочки о христианстве я перепутал двух Марий: то, что там написано о Марии Магдалине, на самом деле относится к Марии Египетской. У меня отлегло от сердца. И хотя он оказался прав, но я ничего не стал менять, все оставил как было.

Он принимается говорить о Симочкиных рассуждениях.

— А что вы думаете делать с портретом? — спросил он.

— Если что-нибудь выйдет...

— Уже вышло,— перебил он.

— Отолью в гипсе два экземпляра, один подарю вам.

— Спасибо. А с другим что станете делать?

— Может быть, покажу на выставке.

— А в бронзе отлить можно?

— Да, конечно, были бы деньги.

— И даже не официально заказанный портрет?

— Да. У нас есть скульптурные мастерские, там можно перевести в мрамор или бронзу любую работу. Но об этом рано еще говорить.

Без всяких побуждений с моей стороны он принимается рассказывать мне о своем романе с Зинаидой Николаевной. Вероятно, он подумал, что после обеда втроем у меня могли возникнуть вопросы.

— Когда я познакомился с Зинаидой Николаевной, она была женой Нейгауза. Она была тогда очень хороша собой, и я влюбился. Я был женат, у меня был семилетний сын, у нее тоже было двое сыновей. Мое влечение было мучительным. Я ни о чем другом не мог думать, рвался к ней и боялся этих встреч, и презирал себя, и заставлял себя приходить на свидание в наказание за трусость. Такое состояние очень точно описал Стендаль — помните роман Жюльена Сореля с мадам Реналь? Эта страсть должна была сломить препятствия, иначе кончилось бы каким-нибудь несчастьем. И вот, наконец, мы оказались вместе, у нас не было даже крова над головой, негде было приткнуться. По счастью, нам предоставил свою квартиру на Ямском поле Пильняк, а сам куда-то уехал. А потом мы поехали в Грузию. Это было чудесное время. Нас замечательно принимали — знаете эти грузинские пиры по трое суток и пламенные тосты? Нас возили по Грузии в какие-то средневековые замки, в одном таком замке мы жили у Леонидзе. Там я сошелся с Тицианом Табидзе и Паоло Яшвили. Табидзе был замечательный тамада, он обладал огненным темпераментом и даром импровизации и был украшением и душой этих сборищ.

Борис Леонидович набрасывает живые характеристики-портреты обоих и рассказывает об их трагических судьбах.

23 сентября 1958 г.

— Зоя Афанасьевна, я хочу вам что-то сказать. Сейчас у нас нет денег, но как только они будут, мы хотим приобрести портрет.

— Вы решили меня обидеть?

— Нет, нет, но это ваша работа, и работа удачная, и вы должны получить за нее деньги.

— Я не хочу на эту тему разговаривать.

— Ну, пусть вы не хотите, но я вынужден настоять. Выслушайте меня. Это только один раз, потерпите, мы больше не будем к этому возвращаться.

Выслушав его доводы и уговоры, я проговорила:

— Спасибо, Борис Леонидович! Но будет по-моему,— и принялась за работу.

— А мне иногда кажется, что надо бы сделать портрет с плечами. Не этот, этот отформовать так, но если бы можно было его сохранить и дополнить плечи?

— Такие достройки редко удаются. Надо тогда делать второй портрет,— отвечала я.

— Наверно, ваш портрет и будет моим надгробием,— сказал он как-то задумчиво. Увидев боль на моем лице, продолжал, улыбаясь: — Вот растерзают меня за роман, вы мне его и поставите.

— Борис Леонидович, когда вы рассказывали о пропаже писем Марины Цветаевой, вы упомянули, что вместе с ними пропали письма Ромэна Роллана. Расскажите о них.

— Хорошо. Я вам говорил, что я мало читаю и что многого не читал вовсе. Такой непростительный пробел был у меня и с РомэномРолланом. Я совсем не знал его, когда мне на глаза попались «Героические жизни». Меня захватило то, что он написал о Толстом, его постижение соединения гандизма и христианства на русской почве. Я написал благодарственное письмо. Он ответил, и мы стали обмениваться письмами. В это время развертывался мой роман с Зинаидой Николаевной. Я не мог решиться на разрыв с женой и чувствовал его неизбежность, и страшился этого шага, боясь причинить ей боль. И вот в этом состоянии духа я написал Роллану очевидно туманное письмо, намекая на предстоящий роковой шаг, за которым начнется неведомая жизнь. Он понял все иначе и прислал длинное доброе, полное тревоги и основанное на недоразумении письмо, в котором пытался удержать меня от страшного поступка. А его «Жан Кристоф» замечательная книга, правда? И как он хорошо музыку знает! А вот «Очарованную душу» и «Кола Брюньон» я так и не читал.

— Роман Роллан был наставником моей юности. Я ему написала несколько писем, но, конечно, ни одного не отправила.

— Почему?

— Мне всегда казалось назойливым и нескромным, когда писателю пишут о личном. Наверно, такие письма вызывают досаду?

— Нет, это не всегда так. Жаль, что не послали, вероятно, он был бы рад и ответил.

28 сентября 1958 г.

Этот сеанс был вечером. Позируя, Б. Л. все посматривал на портрет.

— Мне нравится, что в вашей голове при бесспорном сходстве есть благообразие. Что поделать, хочется быть красивым.

Занятая работой, я ничего не ответила. Но потом (он в это время сгибал и разгибал больную ногу), вспомнив эти слова и подумав, каким прекрасным я его вижу, я невольно фыркнула.

— Это вы надо мной из-за ноги смеетесь?

— Нет, над вашим желанием быть красивым.

— Разве оно не естественно? Все люди хотят быть красивыми.

— А знаете, в чем несоответствие между тем представлением, которое сложилось у меня о вас по книгам и по вашим вечерам, и моим новым знанием вас? Это ваше полное физическое и душевное здоровье.

— Да. Почему-то меня представляют неврастеником. Разве в стихах есть что-то болезненное?

— Нет, но там есть кое-что, наводящее на такие мысли. Стихотворение «Бо-



лезнь» и «Я, как грамматику, бессонницу знаю...»

— Нет, я здоров и сейчас хорошо сплю. Пожалуй, я раньше никогда так хорошо себя не чувствовал. А вы бывали на моих вечерах?

— Да.

— Я их очень любил. Перед выступлением я волновался, нервничал, но, когда выходил на публику, вдруг успокаивался и так легко и естественно себя чувствовал. И не знаю, может быть, мне это казалось, но протягивались какие-то нити между мною и залом, и я ощущал, что управляю публикой, веду ее, куда мне надо.

— Борис Леонидович, а как возник роман? Мне хочется знать, сразу ли вы его весь увидели целиком.

— Я его писал долго, семь лет. В сорок шестом году мы были на торжествах в Грузии по случаю столетия Бараташвили. Стояли чудесные солнечные дни, все цвело и было как-то празднично — кончилась война и появились новые надежды. И мне захотелось сделать что-то большое, значительное — тогда и возникла мысль о романе. Я начал со страничек о старом поместье. Так ясно представилась большая усадьба, которую разные поколения перекраивали по своим вкусам, и земля хранит следы еле видимых цветников, служб, дорожек. Чтобы втянуться в работу, мне важно взять разгон, и я зачастую начинаю с чего-то побочного, второстепенного, а потом иногда эти страницы совсем выбрасываю. Написано было гораздо больше, чем вошло в роман, примерно треть осталась за бортом. И не потому, чтобы эти страницы были хуже других, а потому, что приходилось себя ограничивать, меня захлестывал материал.

— Да, в романе много людей, событий, тем и идей, жизнь так и кишит, и не все концы сведены с концами.

— Это заметно?

— Да. Но может быть, в этом случае так и надо было писать?

— Не знаю, так ли вообще надо писать,— качает он головой.— Но я не одним романом в эти годы занимался. Я много переводил, в это же время перевел всего «Фауста», переводил Шекспира, написал несколько литературоведческих работ. В романе, может быть, десятки, сотни страниц скуки, но он подымает какие-то новые пласты, ставит важные для современности проблемы, и в этом его значение.

В саду ожесточенно залаяли собаки. Громкий лай не смолкал, и Борис Леонидович, взяв фонарик, пошел посмотреть, в чем дело. Вскоре он вернулся.

— Под яблоней собаки нашли ежа, вошли в охотничий азарт и лают на него.

— Что же вы его не спасли?

— Очень темно. Они ему ничего сделать не могут, он свернулся в клубок.

— А нравственные страдания ежа не в счет?

— О, нравственные страдания — это ужасно,— улыбнулся он.

Лай не смолкал, был одиннадцатый час, и Борис Леонидович предложил:

— Может быть, кончим? И пойдем спасать ежа?

Мы оделись и вышли в сад. Он позвал собак, и они тотчас повиновались. Тобик отправился с нами.

Мы идем, разговаривая приглушенными голосами, темной осенней ночью. За поворотом после кладбища мы расстаемся, и вслед он мне кричит, чтоб я не сворачивала на тропинку, а шла по шоссе.

30 сентября 1958 г.

Борис Леонидович не раз говорил мне, что не любит свой профиль, и я обещала ему доказать, что он ничего в этом не смыслит. И вот настал день моего торжества. Я работала над профилем, а он мне мешал, все поворачивал голову и смотрел на портрет.

— А знаете, вы меня примирили с моим профилем. Он выглядит, как на медали. Хорошо бы сделать такой барельеф. Вероятно, в тех редких случаях, когда я видел свой профиль, я бывал в том состоянии, которое так в себе не люблю, и снимки в профиль — их, правда, мало — делались, видно, в такие неудачные моменты. Вы — молодец, недаром я в вас поверил.

В конце сеанса Борис Леонидович вышел к почтальону и вернулся с пачкой писем. Он был доволен, что их так много.

— А мне все-таки жаль, что вы так много времени тратите на переписку. Когда еще все это будет собрано, переведено, опубликовано! И эпистолярный жанр мне представляется как-то ушедшим в прошлое.

— Какой там эпистолярный жанр! Пишу я на иностранных языках, а чего стоит мой французский или английский? Но идет поток писем и надо отвечать.

— А вы хоть сохраняете черновики?

Он даже руками замахал.

— Ну что вы! Терпеть не могу эту канцелярию. Я так не люблю себя прежнего, что избегаю те места, где есть следы моего прошлого.

7 октября 1958 г.

— Ну как, вы пописали маслом? — спросил он.

— Представьте, нет, начала этюд и бросила. Этого со мной еще не бывало, я чуть не заболеваю, если не довожу работу до конца.

— Я так и думал, что вы не будете писать.

— Почему?

— Ваши мысли сейчас заняты другим, и вы слишком втянуты в эту работу.

— Ну, а вы были на концерте? Как Стасик играл?

— Начал он скованно и по-ученически, но потом разошелся.

— Я его никогда не слышала. Что ему лучше дается?

— Как большинству пианистов — Шопен.

— Вы любите Шопена?

— Да, конечно. Я о нем даже написал. Так, пустячок, три странички. Я вам покажу. Пошел я на концерт, потому что во всем придерживаюсь принципа семейственности, мальчику это было приятно. После концерта все приехали к нам, пили тут, гости остались ночевать. Но меня расстроила публика, какие-то чужие, безразличные лица. Я не балерина, чтобы на меня смотреть, но в этот раз я остро ощутил, что их и меня ничего не объединяет, что им никакого дела нет до того, что важно для меня.

Он говорит это огорченно, с болью.

В ответ я рассказываю, что во времена моей юности одним из критериев, от которого зависело — может возникнуть дружба или нет,— было отношение к Пастернаку, о том, что в сохранившейся у меня переписке тех лет все время встречается его имя.

— Ну, когда это было!

— Правда, немало сделано для того, чтобы ограничить вашу популярность, и все же у вас много друзей — и здесь, и во всем мире. В конце войны я была в качестве военного переводчика за границей...

— А где вы были?

Я отвечаю и рассказываю, как им интересовались югославские интеллигенты, с которыми я познакомилась в доме одного белградского художника, и как мне пришлось по-французски пересказывать его стихи (за что я попросила у него прощения).

— Спасибо вам. Это меня удивляет. Меня мало знали за границей раньше, если говорить о какой-то известности, то она только сейчас начинается.

Я ответила, что дело не в широкой известности, а в глубине отклика, который рождают его стихи.

Был серый мягкий день. Стояла осенняя тишина. Я работала молча. Вдруг очень отчетливо и вместе с тем приглушенно раздался жалобный протяжный гудок.

— Какой осенний голос у паровоза,— медленно и тихо произнес Борис Леонидович.

Он принимается расспрашивать о моей жизни.

— Но вам, наверно, нелегко приходится — и няню содержать, и дочку, и дачу снимать?

— Нет, я вовсе не трудно живу в материальном отношении. Прожиточный минимум я обеспечиваю, этого достаточно, а мне самой немного нужно.

— Я понимаю. Но вы достигли какого-то материального уровня, а за ним ведь есть еще и еще.

— Вот именно. И так без конца. Первое, чему нужно научиться, если хочешь что-то сделать в искусстве, это самоограничению.

— В этом, как и во многом другом, у меня нет твердого правила. Мне тоже самому мало нужно, но бывают периоды, когда требуются деньги, и тогда я гоню переводы. Но оказывается, я плохо представляю себе, чего стоит мой труд. Бывали случаи, когда я приходил получать деньги и, расписываясь, видел в графе сумму и был вполне уверен, что это деньги, которые мне причитаются, а потом выяснялось, что это сумма вычетов.

10 октября 1958 г.

— На днях я была на выставке из Дрезденской галереи,— говорю я ему.

Он расспрашивает, я рассказываю.

— Там есть превосходные римские портреты. Они поразили меня глубоким сходством между римлянами и нашими современными военными.

— Такие жирные важные лица?

— Да, но главное — длинное расстояние от носа до верхней губы.

— Умница! Вы это верно подметили. Молодец! — радуется он.

— А вы пойдете на выставку?

— Нет. Я вам сделаю признание, оно вам покажется диким, чудовищным, но я не был и на первой Дрезденской выставке.

— Вероятно, вы все это видели в Германии?

— Нет, в Дрезденской галерее я не был.

Он принимается говорить о картинах, которые видел в Мюнхене, в Венеции и Флоренции, и я поражаюсь богатству и невыцветаемости его памяти.

В разговоре выясняется, что я тоже не была на какой-то важной выставке, потому что в это время лепила.

— Я это очень хорошо понимаю,— говорит он.— Воспринять сто и, может быть, тысячу чужих произведений, даже активно воспринять — несравненно легче, чем создать одно свое.

Уславливаясь о следующем сеансе, он сказал:

— Но вообще вашу работу пора кончать.

— Мне осталось четыре сеанса, через воскресенье я кончу.

— Это очень хорошо. Мне не хотелось бы вас торопить, но близятся важные для меня события, и мне надо быть свободным. И накопилась целая гора дел, больше откладывать нельзя. По-моему, портрет вышел очень удачным, и это совершенно законченная вещь. Если вы еще уточнять будете, то уже мне придется стараться быть похожим.

— Не выдумывайте. Лучше скажите, пока не поздно, что не нравится, может быть, можно переделать.

— Когда мне что-то нравится, то я принимаю всем сердцем целиком, и мне не хочется копаться в мелочах. Есть основное, существенное, а всего остального я просто не вижу.

— Что вы на меня так смотрите? — спросила я, смущенная его пристальным взглядом.

— Мне нравится, как вы работаете. Вы лепите, как будто комнату убираете.

Я вспыхнула. В романе есть похожая фраза о Ларе, звучащая как похвала ей.

— Я все ломаю голову над тем, кого я теперь лепить буду. Вы меня избаловали, и мне трудно будет выбрать модель.

— Ну, пустяки. А вы слепите когонибудь из вождей.

— Борис Леонидович!

— А почему бы и нет? Так, на скорую руку, не мучаясь. Ну, это будет для вас то, что для меня переводы. Вам же нелегко живется, вот из-за денег от дачи пришлось отказаться.

12 октября 1958 г.

Это был вечерний сеанс. Сговариваясь, Борис Леонидович предупредил, что днем будут гости. Мне не слишком улыбалась перспектива вырывать его у подвыпивших гостей, однако, когда я пришла, от них и следа не осталось. В доме было чисто, прибрано, проветрено. Но лицо у него было измученное.

— Я не умею себя держать. Слишком много ел и пил. Портрет смотрели и хвалили. Говорят, что я похож и что ваша мысль ясна. Было, правда, мнение, но вы можете слушать, можете — нет, что зря наклонена голова. Но мнения тут разделились, Иванов, например, говорил, что наклон не нужен, а его жена защищала вас.

Я долго работаю молча.

В столовой Зинаида Николаевна включает телевизор. Показывают австрийский фильм «Проделки близнецов». Борис Леонидович прислушивается.

— Смотри, смотри. Это город, в котором я учился, в этом городе учились (шутливо) Ломоносов и я.

— Какому это городу так повезло?

— Марбургу.

— Показывают Марбург? Пойдите посмотрите.

— Нет, не нужно.

— Посмотрите, вам приятно будет.

— Нет. Я там каждую улочку знаю. Красивый город. В нем двадцать девять тысяч жителей, в Переделкине, наверное, больше. Очень старинный, готический, весь в зелени. На горе огромный замок. Университет, в котором еще Джордано Бруно читал лекции. Со времен средних веков город мало изменился.

— Трудно представить, как в этих исторических декорациях живут современные люди.

— Я об этом не задумывался. Мне был двадцать один год, и я отлично себя чувствовал.

— И ни разу не соскучились по России?

— Нет. Тогда так просто было: захочешь, сядешь в поезд и через два-три дня дома.

Работаю молча, потом тихо спрашиваю:

— Борис Леонидович, а вы никогда не жалели, что не поехали с отцом?

— О, это трудный вопрос. Я знаю, что во многих отношениях мне там жилось бы легче. Можно было бы свободней писать и говорить, да и в материальном отношении было бы, вероятно, лучше. Но все было бы тогда гораздо мельче. Человек должен жить жизнью своего государства, даже если он со многим и не согласен. Он должен жить напряженной, естественной жизнью, и тогда в творчестве будет напряженная естественность, а если вырвать человека из родной среды, то к нему не поступают новые соки. Ведь эмигрантская литература ничего значительного не дала. Я бы поехал за границу с удовольствием, особенно в Скандинавию и Грецию — повстречаться с людьми, наговорить им приятного и самому услышать, но на полгода, не больше. Я не представляю своей жизни где-то в другом месте.

Через четверть часа:

— А как вы пойдете домой?

— Прекрасно пойду.

— Прекрасно! Я вас провожу.

— Не выдумывайте, вы еле живой; вам надо отдыхать.

— Нет, я вас провожу. И вот что, давайте сейчас кончим.

Очень темно. Идем молча, мне не хочется болтать, но Борис Леонидович заводит разговор:

— Этот Иванов такой комик, всегда смешные глупости выкидывает.

— Вы с ним старые друзья?

— Да, мы знакомы около двадцати лет. Это благодаря ему я начал переводить Шекспира. Собственно, я начал переводить «Гамлета» по заказу Мейерхольда. И вот как-то в гостях я читал первый акт. Там был Иванов, он расхвалил перевод Немировичу-Данченко, и кончилось это тем, что МХАТ расторг договор на перевод «Гамлета» с Анной Радловой, это нехорошо вышло, и заключил договор со мной. И кончал перевод я уже для них.

— А «Гамлет» шел во МХАТе?

— А, это целая история, я вам какнибудь расскажу.

Но рассказывать начинает тут же.

Ночь теплая, туманная, темная. Мы идем по краю шоссе. В свете фонаря вдруг появляется крупная фигура, шагающая нам навстречу.

— Катаев,— тихо говорит Борис Леонидович.

— МХАТ избалованный театр,— принимается он за рассказ.— Новую постановку там готовят долго, иногда годами. Гамлета очень хотелось сыграть Ливанову, но Бог его наказал.

В сороковом году он был как-то на приеме в Кремле. К их столу подошел с бокалом в руке Сталин, чтобы выпить вместе с ними. Ливанов сделал шаг к нему, но там всегда было много этих, ну, охранников, что ли, и один из них удержал его рукой. «Пáчему не пускаете Ливанова ко мне, если он хочет пáговорить»,— вдруг с акцентом произносит Борис Леонидович. А тот возьми да ляпни: «Иосиф Виссарионович, я хочу вас спросить: как бы вы стали играть Гамлета?» Думал, тот ответит... ну, черным, лиловым, отшутится, словом, и Ливанов, ссылаясь на это, сможет потом играть Гамлета как ему хочется. А тот вдруг спрашивает: «А кто ваш руководитель?» — «Немирович-Данченко».— «Это опытный режиссер, и он вам объяснит, как надо играть Гамлета. Но если хотите знать мое личное мнение, я вообще не стал бы играть „Гамлета“».

— Почему? — воскликнула я.

— Ну, пьеса упадочная, психологическая. Ливанов наивно думал, что если он об этом разговоре не станет рассказывать, никто и не узнает, но, когда он наутро пришел в театр, там все уже было известно. Так «Гамлет» и не пошел.

Мы прощаемся, я ухожу в сторону станции, и вдруг до меня доносится:

— Спокойной ночи!

Оказывается, он стоит на месте и смотрит вслед, чтобы удостовериться, что я благополучно прошла кладбище.

17 октября 1958 г.

Не сеанс, а катавасия. Шел дождь. Дверь мне открыл Борис Леонидович.

— Надумали, куда ставить портрет? — спросила я.

— Вероятно, в моей комнате наверху. Пойдемте, я вам покажу. Но позировать сегодня я смогу только час-полтора.

— А почему так мало? Ведь это последние дни.

— Мне надо дописать срочное письмо. В те дни, когда вы приходите, я встаю раньше, чтоб успеть что-то сделать до вас, но сегодня я не успел.

Мы идем к нему. На верхней площадке две двери. Он открывает левую, и вот я в первый раз в его комнате.

Она очень большая, соответствует столовой и комнате жены внизу. Просторно и светло, стены окрашены желтой клеевой краской. Левая часть комнаты — спальня, правая — кабинет. В «спальне» — кровать, застланная пестрым покрывалом, перпендикулярно к ней — коричневая кушетка. Там же шкаф с задернутыми белыми шторками стеклами, низенький столик и старенькая скамеечка для ног. На границе с кабинетом большой современный гардероб, рядом с ним на полу два изящных чемодана. Справа от двери черная рама с полками, как бы книжный шкаф без задней стенки и дверец, книг немного. Перпендикулярно к окну с синими шторами, чуть от него поодаль, дубовый, ничем не покрытый письменный стол, почти пустой. За столом, рядом с книжными полками, секретер-конторка с наклонным верхом из зеленого сукна. На стенах в ряд застекленные фотографии с отцовских иллюстраций к «Воскресению», пастельный автопортрет отца. Вот и все.

Борис Леонидович говорит, что хочет поставить голову на книжный шкаф.

— Лучше всего сделать полку,— говорю я.

— Этого я вам не обещаю, я слишком тяжел на подъем.

— Ну что ж, будете любоваться собственным подбородком.

Мы спускаемся. Когда проходим мимо открытой двери в комнату с роялем, я говорю:

— У вас, кажется, была еще мысль поставить портрет здесь?

Вдруг Зинаида Николаевна отрывается от глажения и заявляет:

— Нет, я против.

— Да, не стоит, комната слишком мала,— отвечаю я.

— Не потому. Портрет мне не нравится. Он очень далек от правды. Если Борис Леонидович хочет, пусть он ставит его у себя в комнате, а здесь внизу — я не хочу.

— Хорошо,— отвечаю я и иду на веранду. Борис Леонидович идет следом.

— Не понимаю, зачем ей понадобилось это говорить.

— Правду лучше говорить, какова бы она ни была,— возражаю я.

— Да? Тогда тем ценнее та правда, которую я вам говорю. Портрет прекрасный, лицо живет, и он очень похож.

Он еще что-то говорит о портрете, но я слышу как сквозь вату. Он помогает переставить станки и, уходя дописывать письмо, обещает через час прийти.

Я стою у окна, за которым льет дождь. Так, значит, все, что я вложила в работу,— все это зря, и они не знают, как от меня отделаться? Мне больше всего хочется сейчас же уйти и никогда не возвращаться.

Наконец из сумбура крайних решений вырисовывается план действий. Я заставляю себя приняться за работу над постаментом.

Проходит время, и вниз спускается Борис Леонидович.

— Простите, что я встреваю в вашу работу, но я могу посидеть.

— Я тут без вас хорошее надумала. Вам больше не надо позировать. В воскресенье я заберу работу в Москву, отливать буду там. И у меня будет время не торопясь закончить портрет.

— Нет, я хочу вам позировать. Можно?

Мы ставим станки в освещение, аналогичное тому, в котором голова окажется в его комнате. Он садится.

— Вы были наверху слишком недолго, у вас нет времени и у меня, а я хотел открыть пару ящиков и показать вам, что значит переписка. Это груда. Многие отзывы просто невероятные, и вместе с тем многие, в том числе друзья, говорили, что роман плохой, что это падение. Не мне вас учить, но никогда не бывает, чтобы работа нравилась всем.

— О, вы на эту тему? Не стоит.

— Да, я на эту тему. Я хочу, чтобы вы мне верили, что работа мне нравится. Это абсолютное попадание. С самого начала у меня ощущение, что это я, я сам. По-моему, это законченная вещь, и зря вы еще что-то делаете. Можно только сделать новую работу на эту же тему в новой концепции, а эта концепция выражена совершенно. А мысль отливать в Москве правильная, лучше не здесь. Но вы будете там доделывать без меня, и Бо-ог знает куда заедете.

— На днях я купила книжечку Заболоцкого. И одно стихотворение мне показалось подозрительным. Оно называется «Поэт».

— Да, он мне его показывал. А вы знаете, что Заболоцкий умер?

— Нет, что вы говорите? Когда?

— Два дня назад.

Мы молчим, как бы чтя его память.

— Он хороший поэт. У вас лиловая книжечка?

— Да. Мне кажется, нет другого поэта, который работал бы настолько в вашей традиции.

— Вы так думаете? Мне кажется, нет. У него есть одно редкое свойство — тематичность, точное соответствие содержания названию, как будто картине придана этикетка строго по назначению. Это еще встречается у французов, у Бодлера, например, но мало свойственно русской поэзии, которая скорее непрерывно льющийся живой поток самовыражения. И что такое поэзия вообще? Это чудо совершающегося на ваших глазах превращения, когда такой поток вдруг выливается, переходит в форму и застывает.

Он сам похож в этот миг на мага, руками совершает это чудо, и оно получается!

— Есть какие-то очень близкие мне люди, с которыми я встречаюсь регулярно, но не часто, а друзьями дома стали люди, которых я вовсе не люблю больше, чем других, скорее по привычке. Так было и с Заболоцким, мы виделись три-четыре раза с большими промежутками. Я очень ценю его отношение к моим стихам. Он не признавал всего, что мною написано до «На ранних поездах». Когда он тут читал свои стихи, мне показалось, что он развесил по стенам множество картин в рамах, и они не исчезли, остались висеть. Что вы так смотрите на работу? Вам что-то не нравится?

— Да. Надо вообще бросать лепить портреты и начинать писать пейзажи.

— Я понимаю, что у вас могло испортиться настроение, но ведь вы говорили, что родственникам вообще трудно угодить, так что это не в первый раз?

— Не в том дело. Просто пейзаж можно писать до тех пор, пока не сочтешь законченным. Если уж лепить, то натурщиков, они безотказны.

Он опять хвалит работу, я молчу.

— А скажите, если пластилин оставить, он сохнет или портится как-нибудь?

— Можно на двадцать лет оставить, ничего не будет.

— А можно отлить в гипсе и сохранить модель?

— Она при формовке разрушится.

— Ах, вот как! А что, если мы оставим работу до следующего лета и потом продолжим? Навряд ли я сильно изменюсь за год. И мы ничем не рискуем. Ну, случится что-нибудь со мной, умру я — законченная работа есть.

— О, это идея. Дайте подумать.

Я даже бросаю лепить и сажусь в кресло.

— Это очень хорошо. Я бы вам ни слова не сказала, кончила в воскресенье, но я еще не приступала к самому благодарному и увлекательному этапу уравновешиваний, пролепке деталей и уточнению психологического состояния. И я даже забирать не буду, пусть остается у вас.

— Но вам захочется показать, вам приятно будет.

— Борис Леонидович, совсем не так много людей интересуется моим творчеством. И сейчас я даже не знаю, кому мне хотелось бы показать.

— Вы всегда можете привезти кого захотите сюда... А это очень хорошо — прийти на готовенькое, это похоже на то, как сын наследует отцу, продолжает его дело. Такое наследование обычно сокращает дорогу. Хотя есть примеры и обратного, так что тут закона не выведешь.

— В смысле наследования у вас все складывалось благополучно. У меня же родные косо смотрели и смотрят на мою тягу к искусству. И вокруг нет той среды, которая была вокруг вас.

— Среда... Какие-то остатки ее сохранились и теперь. Это люди, которым сейчас шестьдесят-семьдесят лет. Образованные, знающие языки, со вкусом. Но что это за вкусы! Когда-то было принято считать Чехова — Чехова! — не таким уж большим писателем. В начале века в моде был мистицизм, а Чехов был реалистом. Жизнь давно опровергла эти представления, а они все еще живут ими. Произошло потрясение всего, все перевернулось, а они и не заметили, их тридцать раз за ноги подвешивали, но для них не это главное, а какие-то пустяки!

Мы помолчали. Потом я сказала:

— У меня за последнее время была еще удача в моих книжных приобретениях — я купила «Фауста».

— Да ну? В моем переводе?

— Конечно.

— Почитайте. Это хорошая книга.

— Меня «Фауст» потряс даже в переводе Холодковского еще в школьные годы. Знаете, что поражает? О чем бы Гёте ни писал, о большом или о малом, и даже там, где мысли просто ходульны,— все проникнуто, я боюсь этого слова, но гениальностью, что ли. Как это объяснить? Раз вы сумели передать, следовательно, знаете.

Он задумался.

— Что такое слово «оригинальный»? Корень его означает «источник». Вот это — сам бьющий родник, из которого рождается потом река, непосредственное начало всего — это и есть Гёте «Фауста». Он позволил себе большую свободу, разрешил себе быть самим собой, писать, не оглядываясь вокруг, и в этом мощь, буйство «Фауста». И только в «Фаусте» Гёте такой, этого нет ни в «Вильгельме Мейстере», ни в «Вертере», ни в других его вещах. Есть понятие «гетеанство», но оно не относится к «Фаусту».

— А что касается перевода, то мне показалось, его не существует, «Фауст» вам настолько близок, что вы с ним как бы одно. И под многими его отрывками могла бы стоять ваша подпись.

Улыбаясь, он качает головой:

— Нет. Это все-таки добросовестный перевод, а не повод для самовыражения. Но мы даже плохо себе представляем, насколько «Фауст» проник в наше сознание.

— Вы говорили, что писали роман и переводили «Фауста» одновременно?

— Да. И он помогал мне становиться смелее, свободней, рвать какие-то путы не только в смысле политических или нравственных предрассудков, но и в смысле формы. Я освобождался от стремления писать оригинально. Оригинальность «Живаго» как раз и состоит в отказе от оригинальности.

Но уже давно время кончать сеанс.

Прощается он с особой теплотой и, уходя, просит:

— Вы пока о наших планах никому не говорите, хорошо?

— Зинаида Николаевна, где вы? — зову я.

Она выходит из своей комнаты.

— Я хотела вам сказать, вы молодец, что сказали правду.

— Я всегда говорю правду.

— И я понимаю, что говорить такие вещи так же неприятно, как и выслушивать их.

— Еще неприятнее.

— Тем больше для этого нужно мужества. Но я хотела сделать как можно лучше. Если не вышло, значит, мне не дано.

— Нет, почему не дано? Есть и другие мнения. Многие находят, что похож и что это очень интересно. Но это не мой Борис Леонидович. Мне хотелось бы, чтобы он был мягче и добрее.

— Но это и не мог быть ваш Борис Леонидович. Взгляд вблизи и взгляд издали не одно и то же. Вы прожили тридцать лет с человеком и, конечно, видите его иначе, чем я, для которой он всегда был далекой горной вершиной.

— Вот видите, значит, я вижу его правильней.
— Не обязательно. В каких-то деталях — да, но не обязательно в целом. И даже если бы художник поставил своей целью создать произведение, которое нравилось бы всем, из этого ничего бы не получилось. Нельзя быть всеобщим угодником.
— Да, это невозможно. Вы меня не слушайте.
— Мне самой не все нравится в портрете, но навряд ли я многое смогу исправить, в моем распоряжении один только сеанс.
— А почему бы вам не оставить портрет до следующего лета? А тогда продолжите. Поговорите с Борисом Леонидовичем.
Я молчу, связанная его просьбой.
Мы долго еще разговариваем с ней, наконец я ухожу со страшной головной болью от пережитого напряжения.

19 октября 1958 г.

Я много думала о том, что меня не удовлетворяет в портрете. Как ни странно, при моем отношении к Борису Леонидовичу,— работе не хватает обаяния. Понять это помог отчасти и разговор с Зинаидой Николаевной.
Я мало спала ночью, но шла, воодушевленная этим открытием.
С помощью домработницы поставила станки и начала разглядывать голову. Вскоре я заметила, что в столовой стоит и тоже смотрит на портрет Борис Леонидович.
— Идите скорей, у меня рабочее настроение.
— Рабочее? Погодите, погодите. Ну что вам даст последний сеанс наспех? Еще напортите. Летом продолжите.
Но я настаиваю. Долго работаю молча.
То, что я представила отвлеченно, я вижу в его лице, и работа идет на подъеме. Наконец я говорю:
— Не злитесь, пожалуйста, что вам не удалось отделаться от этого сеанса. Но он принесет пользу.
— Ну чего уж. Я же сижу.
— Сидите в настроении, а то отразится на работе.
— Дело в том, что вчера я начал переводить «Марию Стюарт» Словацкого, а когда я работаю, вступает в силу строжайший режим, и никаких отступлений от него не делается. Да что вам говорить, вы ведь точно такой человек. Вы достойны всякого исключения, но у меня такое чувство — уступил сегодня, уступлю и завтра.
— Совсем необязательно. Вам и начинать надо было не вчера, а с понедельника. А как вы справляетесь с польским?
— Язык все же славянский. Есть большой хороший словарь и есть подстрочник. Чтобы имело смысл этим заниматься, нужно делать пятьдесят строк в день, вчера я эту норму выдержал.
Наш разговор был прерван приходом каких-то двух дам. Он вышел к ним и быстро с ними расправился. Вернувшись, посмотрел на портрет.
— Знаете, у меня была на губах совершенно готовая фраза, что зря вы надумали что-то менять, что эти идеи, приходящие в последний момент, до добра не доводят, и зря вы заставляли меня прищуривать глаза, но нет, вы внесли какие-то очень удачные изменения, стало лучше.
Я рассказала, что додумалась о недостатках портрета ночью и что в этом свою роль сыграл разговор с Зинаидой Николаевной.
— Вообще этой ночью мне лезли в голову странные мысли. Сложите вот так руки.
— Сложил.
— Смотрите. Тут вся готика.
— А, это очень хорошо. Тут и жест и архитектура.
— Потом я стала дальше думать в этом направлении, и теперь все архитектурные стили для меня связаны с руками. Представьте себе прямоугольный стол, за которым сидят люди, и стол обходят рабыни, неся в вытянутых вверх руках блюда. Похоже на греческую архитектуру?
— Похоже. Но это не так хорошо, как с готикой. Не надо переносить такие находки. То есть этим можно пользоваться как методом, но не придавайте ему значения конечного вывода.
Тут появляется почтальон, и он к нему выходит. Возвращается Борис Леонидович таким радостным, каким я его ни разу не видала.
— Все чудесно! — восклицает он.
— Что все?
— Все! И жизнь, и как с романом вышло, и голова хорошая!
— Ну вот, а вы с утра ворчали.
Он махнул рукой.
Его еще раз отрывают от позирования. Вернувшись, он говорит:
— А я вам полтора часа хорошо сидел, это последние полчаса мешали. Вы со мной делаете, что хотите, но в этом позвольте мне проявить твердость: позже двух часов я вам сидеть не буду, в полтретьего ко мне придут, а мне еще пробежаться надо, и работать одной вам сегодня не нужно. Надвигаются важные для меня события, может быть, радостные, и все это должно разрешиться на этой неделе. Мы с вами расстанемся на том, что я запишу ваш телефон. Мне захочется вас видеть, я вам позвоню... А будущим летом мы обязательно продолжим, если я жив-здоров буду.
— Спасибо, но я не хочу вас связывать словом. Может быть, вы будущим летом писать будете и вам будет не до меня.

— Может быть. Но вы убедитесь, что я не жулик какой-нибудь.
И опять его кто-то отрывает. Но уже два часа, и на этом работа кончается.
Я завязываю голову, снимаю со щитка фотографии, убираю пластилин и стеки. В окно я вижу, как Борис Леонидович выходит в сад к пришедшему к нему человеку.
Я захожу проститься с Зинаидой Николаевной и с грустью ухожу из ставшего мне таким дорогим дома.

31 октября 1958 г.

Последний сеанс состоялся девятнадцатого октября. Через два дня я позвонила фотокорреспонденту ТАСС, снимавшему Бориса Леонидовича, с тем, чтобы он отдал две вовремя не сделанные фотографии, и от него узнала новость.
На каком-то приеме к нему подошел корреспондент «Пари-Матч» и спросил, не знает ли он, как добраться до Пастернака. Оказалось, что Борис Леонидович выставлен кандидатом на Нобелевскую премию. Второй кандидат — Шолохов, но премию, по-видимому, получит Пастернак.
В пятницу двадцать четвертого октября я позвонила в «Литературную газету» и узнала, что премия присуждена Борису Леонидовичу.
В тот же день вечером я послала ему телеграмму:
«Страшно рада за вас. У ваших друзей большой праздник. Жму руки».
Утром двадцать пятого открылся неслыханный поход против Пастернака. В «Литературке» на двух с лишним полосах и в других газетах обвиняли его в предательстве, называли Иудой, отщепенцем, сорняком, лягушкой в болоте и поносили Бог знает как.
Я же считаю, что все ошибки и заблуждения, содержащиеся в книге, перекрываются ее значением как акта честности и мужества. Он единственный из писателей, кто посмел в наше время сказать все, что думает, и заставить оглядеться вокруг себя. Никакого предательства в этом нет, и нечего и говорить о том, что никаких умыслов повредить нашему государству у Бориса Леонидовича не было.
В воскресенье двадцать шестого, в десятом часу вечера, когда меня не было дома, зазвонил телефон. Подошла мама.
«Говорит тот, кого Зоя Афанасьевна лепила в Переделкине. Благодарю за телеграмму».
Кампания бушевала, и я решила пойти к нему.
В пятницу тридцать первого я снова подходила к этому дому...
На кухне была работница.
— Дома? — спросила я ее.
— Дома,— ответила она и продолжала готовить обед.
— Меня не ждут сегодня. Передайте, пожалуйста, что я пришла.
Она ушла в глубь дома, а я вошла в столовую. Почти сейчас же в дверях появился Борис Леонидович. Он взглянул мне в глаза, быстро пошел навстречу, протягивая руки, и вдруг обнял и крепко поцеловал.
— Я знал, что увижу вас в эти дни. Я вам звонил.
— Мне передали. Я не могла не прийти.
— Пойдемте наверх, поговорим?
Подымаясь по лестнице, он говорил:
— У меня разболелась левая рука и плечо. На плече у меня жировик, и он как бы стягивает болевые ощущения к себе. По поручению Литфонда при мне третий день безотлучно находится врач, тут в доме и живет.
И вот я во второй раз в его комнате. Мы сидим по обе стороны письменного стола. На столе в большом порядке лежит все, что нужно для перевода — папка с дешевой бумагой (пишет он карандашом), отпечатанный на машинке подстрочник, словари.
В углу стола зеркало, лекарственные таблетки, часы. Круглая стеклянная чернильница.
Борис Леонидович в неизменной серой куртке и голубой рубашке без галстука, как всегда, хорошо выбрит.
Мы говорим о последних событиях. Я рассказываю о возмущении, которое вызвали у меня оскорбительно грубые газетные статьи.
— И что значит в их устах Иуда? — пожимает он плечами.
Рассказывает, как к нему явились из Союза писателей (называет фамилии, в том числе Федина) и стали уговаривать его отказаться от Нобелевской премии.
— Они угрожали, что завтра же газеты откроют против меня неслыханный поход. «Ну что ж, открывайте, что я могу поделать»,— сказал я им. Говорят, «Би-би-си» передавала, будто я выгнал Федина. Вы представляете, сколько я выслушал за эти дни советов и уговоров. И вот позавчера утром я был в городе по делам. Тайком от всех, от брата, от жены, пошел на телеграф и отправил в Шведскую Академию телеграмму о том, что в связи с тем, как было встречено присуждение мне Нобелевской премии в том обществе, к которому я принадлежу, я считаю необходимым отказаться от нее и прошу не принять это как обиду.
— Так значит, вы все-таки отказались от премии...
— Да. Есть предположение, что меня хотят выслать из России.
— Что вы говорите! Только не это. Это было бы ужасно.

— Я сейчас же написал письмо, что я этого не хочу, что это вовсе не моя мечта.
— Сегодня общее собрание Московского отделения Союза писателей. Вы знаете об этом?
— Нет.
— Вероятно, оно связано с этими событиями?
— Да, очень может быть.
Я ему рассказываю о разных слухах, ходящих по Москве, о реакции на эти события.
— Вы давно меня покорили умом, мужеством, талантом — да я вам об этом надпись сделал. У меня есть несколько близких мне людей — известный музыкант, актеры, те самые, что вас хвалили, Асмус, вы по нему, наверно, логику изучали. Для них их советские, патриотические взгляды — это те костыли, без которых ни они сами, ни их мебель стоять не будут, рухнут. У вас могут быть какие угодно партийные, марксистские убеждения, но вы человек без костылей, а это большая редкость. Нет, я не хочу сказать, что вы единственная. Тут в поселке живут двое литераторов — муж и жена, я не хочу называть их в этих обстоятельствах, но это не первое испытание, через которое они проходят с честью. И есть у меня еще друг, я ее не называю, чтобы не огорчать жены, но это и все.
Глядя в глаза с какою-то особой добротой, он спросил:
— Ну, как вы? Как вы живете?
Я улыбнулась, кажется, грустно.
— Когда вы были здесь прошлый раз, я хотел дать вам денег.
— Зачем?
— Ну, просто так. Вам нелегко.
— Ну, что вы выдумываете! — воскликнула я.
— Да что об этом говорить, теперь это невозможно.
— Выбросьте это из головы,— твердо сказала я.— А между нами все по-старому, как мы договорились?
Он кивнул головой.
— Да. Меня растрогала ваша телеграмма.
— Спасибо. Вы, наверно, множество их получили?
— Да. Телеграмм было много, особенно из-за границы. Потом все сразу перестало поступать, и два дня ничего не было. Теперь снова приходят письма и телеграммы. Еще была такая... Вы помните стихотворение «Земля»? Обычные встречи друзей, пирушки — как бы тайные вечери:

> Для этого весною ранней
> Со мною сходятся друзья,
> Зачем же влачет даль в тумане
> И горько пахнет перегной?
> На то ведь и мое призванье,
> Чтоб не скучали расстоянья,
> Чтобы за городскою гранью
> Земле не тосковать одной.

Так вот, эта строчка «Чтоб не скучали расстоянья» — была в этой телеграмме латинскими буквами, по-русски.
Когда он это говорит и читает стихи, по щекам его скатываются слезы. Он совсем не строит из себя героя, он откровенно страдает, кладет временами голову на стол, смахивает, не отворачиваясь, пальцами слезы. Но как он мужественно, человечески прекрасен, как одухотворено страданием его лицо!
— Я уже решил, что если придется уехать, я ничего с собой брать не буду, поеду налегке...
— Нет, до этого не должно дойти!
Он открывает секретер. В одном из отделений большая пачка телеграмм. Он достает внушительный сверток, обернутый в газету и перевязанный, и показывает его мне.
— Это я приготовил на случай обыска, чтобы не искали. Здесь вся моя переписка, связанная с романом.
— Какая заботливость,— улыбаюсь я, а на душе скребут кошки.
— Здесь в поселке все моментально становится известным, каждый шаг. Когда я сказал, что хочу посоветоваться с друзьями, мне ответили, что знают, кто мои друзья. Мне настойчиво рекомендовали написать письмо Хрущеву. Это очень распространено, навряд ли в поселке есть писатель, который не состоял бы в переписке с Хрущевым или Фурцевой. Но что я мог бы написать? И это мне както не подходит, не того я склада человек.
— Было бы нелепо, если бы я стала вам что-то советовать. Одно мне хочется вам сказать — не падайте духом. Минут «Дурные дни» (так называется одно его стихотворение о Христе.— *Э. М.*), минут.
По всему было видно, что он понял, какой смысл я вложила в эти слова.
— Нет, я не падаю духом.
— У вас много друзей и тут, и во всем мире... А как договор — не аннулировали?
— Пока нет. Время от времени я сажусь работать, просто чтобы не оставаться без дела. Доктор недоволен.
— Я хочу, чтоб вы знали, Борис Леонидович, если вам в чем-нибудь понадобится помощь, хотя я сейчас и не могу представить, в чем, то нет ничего, что бы меня остановило.
В окно он видит, что кто-то к нему идет, но продолжает разговор.
— Будут идти годы. Романтизм будет от вас отходить, как шелуха. Будет оставаться ваше обыденное, будничное «я» — и оно-то и есть прекрасное, потому что ваша сущность прекрасна. И еще запомните, что я вам сейчас скажу. Это совсем не ново, об этом каждый день в газетах пишут, но важно, через какую призму это преломляется. Надо погружаться в жизнь, жить страстно и полнокровно, окунаться в нее с головой. И верьте в работу, она — главное в жизни. И верьте в себя.
Это звучит как завещание, и я потрясена тем, что в такое время он способен думать о других.
В этот же день я узнала, что Борис Леонидович сказал: если его вышлют, он сделает, как Марина Цветаева.
А на следующий день было опубликовано решение состоявшегося тридцать первого октября собрания Московского отделения ССП обратиться к правительству с просьбой лишить Бориса Леонидовича советского гражданства и выслать его из страны. Вечером в субботу по радио передали письмо Бориса Леонидовича Хрущеву тоже от тридцать первого и сообщение ТАСС по этому поводу.
Шестого ноября было напечатано письмо Бориса Леонидовича в редакцию «Правды».
Самое страшное миновало.

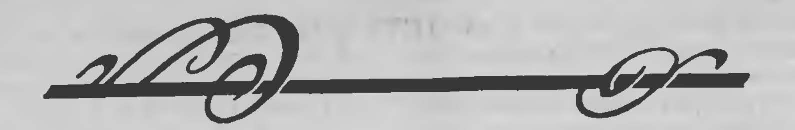
1 января 1959 г.

За последние два месяца я дважды заходила туда. Первый раз я шла только для того, чтобы дать Борису Леонидовичу понять, что мое к нему отношение после всех событий не изменилось. Поэтому я ограничилась тем, что осведомилась о его здоровье у домработницы и попросила передать привет.
Потом мне стало казаться, что он может воспринять это как нежелание с ним видеться из трусости при соблюдении внешних приличий. Через две недели я зашла снова и на этот раз спросила, дома ли он. Домработница ответила, что его нет. Уходя, я попросила передать о моем желании повидаться с ним.
Прошел еще месяц.
И вот после встречи Нового года около часу дня я подходила к его дому. В руках у меня был маленький пакет с парижским изданием «Colas Breugnon»; вместе с книгой было завернуто письмецо с несколькими словами новогоднего привета.
Мне вдруг захотелось положить книгу на перила крыльца и уйти — я боялась, что мой приход покажется назойливым. Но тут в окне кухни промелькнула какаято фигура, и я даже не успела постучать, как дверь распахнулась, и я услышала громкий глухой голос:
— Здравствуйте, Зоя Афанасьевна!
В дверях стоял, протягивая руки, Борис Леонидович.
— Входите скорей, а то холодно. Можно мне вас поцеловать?
Идя с ним в столовую, я спросила:
— Ну, как вы живете?
— Как я живу? Хотите чаю?
— Нет, спасибо. Я зашла только поздравить вас с Новым годом. Ну, как вы? Вы пишете?
— Сейчас нет.
— А перевод кончили?
— Да, уже сдал.
— Он будет напечатан?
— Пока неизвестно.
— Как вы теперь писать будете, я все думаю.
— А так же, как писал, изнутри, от сердца.
Он рассказывал о себе, говорил, что его гнетет неопределенность положения.
— Лучше бы самое страшное, но поскорей. А то после моих писем ничего не известно. Известно только, что меня исключили из Союза.
— А как ваши материальные дела?
— Мне ничего не платят.
Спросила, не было ли неприятностей у Лени.
— Не было. Может быть, он от меня скрывает, но нет, ничего такого, что выплыло бы наружу, не было... Да, а что это за книга?
— «Colas Breugnon» по-французски.
— Ну да? Что вы говорите! Спасибо! Я ведь вам рассказывал о своих отношениях с Ролланом?
— Да. И я запомнила, что вы этой книги не читали.
— Спасибо. Я почитаю. Вообще-то я мало читаю, Пруста так и не кончил.
Вскоре я прощаюсь.

2 января 1959 г.

Вечером зазвонил телефон.
— Можно Зою Афанасьевну?
— Я слушаю.
— Говорит... (не разобрала)
— Кто говорит?
— Пастернак.
— О, Борис Леонидович! Здравствуйте!
— Я прочел ваше письмо и уже звонил вам днем. Вы — прелесть. Я очень ценю ваше отношение, оно мне дорого и нужно. Спасибо, и целую вас еще раз.
— Я так рада! Борис Леонидович, можно мне к вам заглядывать?
Мне хотелось услышать подтверждение вчерашнего приглашения.
— Да, конечно. Но вы ведь знаете, какой я человек. Вот вы вчера пришли, мы обменялись несколькими фразами, и у меня было ощущение начала праздника. Но дело сейчас решают не отношения людей, а организации и учреждения.
— Но они, вероятно, ждут от вас каких-то шагов?
— Да, но это должно быть чем-то глубоко внутренним. Я этого делать не буду.
— Тогда, по-видимому, какое-то время все останется как есть, и к этому надо приспособить жизнь.
— Да. Но это трудно.
Мы еще немного поговорили, и я повесила трубку с решением выждать до дня его рождения.

Окончание следует



Юрий КАМИНСКИЙ

1945

В соседней хате — пир горой,
Поют в соседней хате.
Вернулся в отчий дом герой —
Худой, как жердь, солдатик.

Сидит он, сердцем всем припав
К молоденькой невесте.
А мама мнет пустой рукав:
А вдруг рука на месте.

Тугие кольца седины
Над лбом в лиловом шраме.
Четыре вечности войны
Легли у глаз кругами.

Солдату двадцать лет всего
И песнь его не спета.
А за спиною у него
Спасенная планета.

Не сосчитать на нем свинцом
Оставленных отметин...
Глядят на сына мать с отцом,
Притихнув, словно дети.

МАЙ

Под неуемный птичий гомон
И радостный собачий лай,
Играя бицепсами грома,
Ворвался в переулок май,

Где мимо старой вишни важной,
Крыльца, распахнутых ворот
Смешным корабликом бумажным
По луже облачко плывет.

И мой сосед, стоящий рядом,
Громивший крупповскую сталь,
Ощупывает цепким взглядом
Синеющую мирно даль.

НА РАССВЕТЕ

Встану раньше всех я на рассвете,
Окунувшись в синь семи небес,
Как встают влюбленные и дети,
В ожиданье тысячи чудес.

Встану добрый, крепкий, загорелый,
За порог размашисто шагну,
Где буренка чья-то каравеллой
Проплывает, хату обогнув,

Где, как в детстве, сбив росу с крушины,
Сигануть готов я в сонный пруд
И где в каждой глотке петушиной
Соловьи, прислушайся, поют.

СНЫ

Там, где звезды в речке тонут,
Где в окошке свет горит,
Снятся яблоням Ньютоны,
Снятся травам косари.

А за тыном, где пасется
Пегий мерин до утра,
Снится старому колодцу
Колокольный звон ведра.

Снится небу день на взлете,
Листьям — капельки росы,
Окнам в хате, что напротив,
Снятся детские носы.

Снится маю гром орудий,
С чьих стволов сошла весна...
Ночь плывет. И только людям
Снова снится тишина.

О ДЕТСТВЕ

Ночную тень смахнув с крылечка,
Луч солнца вспыхнул впереди,
Как будто горизонт за речкой
Рванул рубаху на груди.

Запел петух, от света пьяный,
И эту песню, мнится мне,
Вот-вот подхватит деревянный
Петух на крыше. А в окне,

Охваченном рассветом вешним,
Над ветхим детским пальтецом,
Дом озарив сияньем вещим,
Склонилось мамино лицо.

БАБА-ЯГА

Она ходила в кофте рваной,
Прихлебывала жидкий чай,
Не костяной, а деревянной
Ногой пугающе стуча.

Кричит, бывало, не уступит
На кухне общей никому,
Зато детей катала в ступе,
Смеясь чему-то своему.

Зато на лавочке щербатой,
Наговорившись с нами всласть,
Она паек свой небогатый
Нам отдавала, вся светясь.

И вот под звон железных мисок
Я разглядел в конце концов
В лице корявом — Василисы
Прекрасной мудрое лицо.

СТРЕЛЯЮТ СОБАК

Сжимается детское сердце в кулак,
Когда на рассвете стреляют собак.

Не в силах понять удивленный пацан,
Что больше не взвизгнет веселый Полкан.

Не майский грохочет над городом гром —
Стреляют собак в переулке глухом.

И падает, зла не держа на людей,
Добрейшая псина дворняжьих кровей.

Стреляют! И жалостью полнится грудь...
Ребенку в глаза не решаюсь взглянуть.

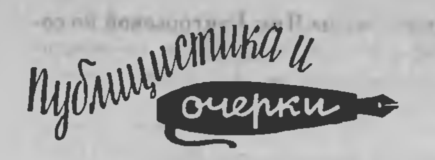
УТРО В ДЕРЕВНЕ

Упруго сбегаю с крылечка,
И вижу, уже не во сне,
Как ветры и кони за речкой
Пасутся в одном табуне.

Как в детстве могу я разуться
И видеть, к плетням подрулив:
Вот-вот от земли оторвутся
Колодезные журавли.

И снова листва молодая
В предчувствии первой грозы
Вдруг брызнет в лицо, обжигая
Сверкающей плазмой росы.

И внутренним зреньем стократно
Увижу я, глядя в зенит,
Какая страна необъятно
За каждой былинкой лежит.



А. ГЕРШАНИК

Надо и Нельзя

Учительские заметки об играх в школе и вокруг нее

Никогда так много и страстно не спорили у нас о школе. Спорят журналисты и писатели, психологи и социологи, юристы и врачи... Все вроде бы знают, как быть и что делать. Но странное дело: в этом споре почти не участвуют учителя. Создается впечатление, что они-то и не знают, к какому из многочисленных и противоречивых советов прислушаться. А может быть, это только кажется?

Судьбы школы сегодняшней, а в значительной степени и завтрашней, в руках учителя, и преимущественно того рядового учителя, который ни статей, ни даже писем в редакции не пишет. Школьную реформу предстоит осуществлять именно этому, до сих пор помалкивавшему учителю. И предсказать, какой дорогой пойдет школа, по-видимому, можно только после объяснения того, почему учитель отмалчивается.

Мне кажется, я знаю, в чем тут дело.

Первая моя статья о школе не была написана еще в 1974 году. Тогда — в первой же четверти первого моего учительского учебного года — я поставил 17 (семнадцать) двоек самым безнадежным из моих сельских учеников. Заведующий роно, с которым мне вскоре довелось по этому поводу беседовать, сообщил, что все учителя района за весь учебный год столько двоек никогда не ставили. Способ исправить положение был найден очень скоро: меня перевели в другую школу.

Хотя статью я не написал, мне было ясно, о чем писать. О том, что в сельской школе, где я начинал работать, учителя-словесники меняются ежегодно, что ученики даже в десятом классе чудовищно безграмотны. Надо было писать и о том, что заросли индийской конопли (той самой!) начинались в сорока метрах от школы и что спичечные коробки с «пластилином» (тем самым!) мы, учителя, отбирали у учеников почти каждый день. Надо было писать и о том, что одну из десяти недель первой четверти ребята фактически не учились, собирали очередной «украинский миллиард», очищая кукурузные початки вручную.

Короче говоря, уже через полгода моего учительства стало ясно: писать *надо* о том, что *нельзя*.

Следующая моя статья не была написана в 1977 году. О специальной школе для трудновоспитуемых, где мне довелось несколько лет проработать, упоминать в печати было не принято. А точнее — запрещено. Школа есть, нерешенных проблем — больше, чем в обычной школе, а говорить о них во всеуслышание, предавать гласности — не смей!

Позже, приблизительно при таких же обстоятельствах, не были написаны статьи и о других учебных заведениях, где мне пришлось работать. И всякий раз *нельзя* было писать как раз о том, что *надо*.

Мне, учительскому ребенку, прямо в школе выросшему, в школе выученному, в студенческие годы в школе подрабатывавшему, а потом пятнадцать лет в ней преподававшему, было ясно, что уже несколько поколений наших учителей думают одно, говорят другое, делают третье. И сор из школьной избы не выметают.

Со времени незабвенного чеховского Беликова в школе властвовало «футлярное»: «Как бы чего не вышло». Беликовы (по странному совпадению одна из учивших меня директрис носила именно эту фамилию) всегда жили в соответствии с правилом: «Раз это не разрешено циркулярно, то и нельзя». В практике далеких, но прямых потомков чеховского героя это вело к всеобъемлющему: «Надо — значит нельзя».

Первые три года обсуждение нынешней школьной реформы шло по сюжету знаменитой андерсеновской сказки.

На первом году: «Ни один человек не сознался, что ничего не видит, никто не хотел признаться, что он глуп или сидит не на своем месте».

На втором году послышалось: «Послушайте, что говорит невинный младенец!»

Наконец, на третьем году «закричала вся толпа»: «Да ведь он совсем голый!»

Тем временем учителя слушали и помалкивали. На их глазах происходило забавное превращение: по мере того как становилось *можно* говорить все то, что прежде было *нельзя*, оказывалось, что это уже *не нужно*. И самым рьяным критикам школы, и самым ревностным ее защитникам совершенно ясно, что по-старому учить больше нельзя. Но в отличие от ее критиков и защитников, убежденных в том, что они обладают монополией на истину, учитель видит и другое. И, пожалуй, самое главное — отсутствие отчетливой программы и конкретного плана преобразования школы. Ему, учителю, приходится работать все в той же (старой) школе, под шум споров и разногласий ощупью выбирать правильную новую дорогу. Выяснять, чего можно и чего нельзя требовать, чего можно и чего нельзя ожидать от школы.

1

В первый день прошлого учебного года ленинградская молодежная газета «Смена» напечатала письмо своей юной читательницы под названием: «Не хочу играть в активность». Публикуя его с сопроводительными словами: «Свое мнение о проблемах школы высказывает десятиклассница», газета давала понять, что позиция редакции может быть иной. Но сочинение десятиклассницы Яны Григорьевой не сопровождалось редакционным комментарием. Что называется: «Устами младенца глаголет истина».

В этом голосе легко узнаются интонации андерсеновского «невинного младенца», первым, как мы помним, закричавшего: «Да ведь он голый!». Яна Григорьева утверждает, что школа — это «производство, которое выпускает исключительно бракованную продукцию». И далее объясняет: «Продукция эта — мы».

Как отнестись к такому заявлению? Может быть, десятиклассница слишком обобщает? Ведь сама-то она, судя по тому, как написано письмо, явно не школьный «брак». Что ж, может быть, ее суждения грешат юношеским максимализмом?

Но вот несколько строк (тоже о школе) из письма ровесника Яны Григорьевой, написанные более 170 лет назад. Ученик выпускного класса жалуется старшему товарищу на свою школу, кажущуюся ему особенно несносной. «Правда,— пишет он,— время нашего выпуска приближается: остался год еще. Но целый год еще плюсов, минусов, прав, налогов, высокого, прекрасного!.. целый год еще дремать перед кафедрой... это ужасно». А далее: «Безбожно молодого человека держать взаперти...» Автор этих строк — шестнадцатилетний Александр Сергеевич Пушкин, а его адресат — двадцатитрехлетний Петр Андреевич Вяземский. Школа, о которой идет речь,— Царскосельский лицей. Перед нами, следовательно, отклик одного из лучших российских учеников об одной из лучших школ России. И что же? Ученик, прекрасно сознающий неизбежность своего школьного «заточения», слегка подшучивая и над собой, и над школой своей, жалуется на «уединение», которое «в самом деле вещь очень глупая»!

Вот это и есть, вероятно, юношеский максимализм. Суть его в том, что юноша рвется в большую жизнь. И качество образования при этом переходит в стремление поскорее реализовать полученные знания.

А что именуем юношеским максимализмом мы? Как правило, отказ от компромиссов, кажущихся нам, взрослым, неизбежными. Это мы возвели в ранг вечных истин добытую в собственном плачевном опыте мудрость: «Плетью обуха не перешибешь». Вот тут-то и обнаруживается, что совершенно реально в наши дни существуют диаметрально противоположные представления о «браке» и «норме» школьной «продукции».

В то самое время, когда Яна Григорьева писала в «Смену», другая ленинградская девушка, Марина Приставка, обратилась в «Комсомольскую правду», грустно поведав о том, как общественная активность привела ее в палату психиатрической

клиники. Правдоискательство и бескомпромиссность Марины, ее стремление заставить окружающих людей работать всерьез вызвало у них подозрение, что она «ненормальна» и нуждается в лечении. Активная жизненная позиция девушки, не желавшей «играть в активность», а проявлявшую ее не для показухи — в деле, встретила ожесточенное сопротивление тех, кто привык играть в эту самую активность.

«Игра», против которой протестуют и школьница Яна Григорьева, и выпускница школы Марина Приставка, не в школе родилась и не ею культивируется. И если в школе существует система воспитания «активной жизненной позиции» на словах и приспособленчества — на деле, то только потому, что «продукция» этой школы, к сожалению, пользуется спросом общества.

Сторонники коренной перестройки народного образования ратуют за школу безусловной правды, за школу подлинной общественной активности. Блистательное выступление Ю. Черниченко в телевизионном «Прожекторе перестройки» в защиту сельского учителя, статьи Н. Анисина в «Правде», И. Овчинниковой в «Известиях», Н. Скатова в «Литературной газете», И. Бестужева-Лады в «Учительской газете», Ю. Азарова в «Новом мире», Е. Куркина в «Знамени» утверждают в общественном сознании идею такой школы. Но как только заходит речь о школе как о *ведомстве*, определенность наших требований начинает размываться. Оказывается, у «потребителей» школьной «продукции» существенно различные требования к ней.

В вузе, например, посетуют на отсутствие самостоятельности у выпускников. А вот в армии, куда приходят те же парни, считают, что им не хватает исполнительности, без которой нет воинской дисциплины. Робкими, нерешительными, боящимися ответственности считают выпускников на заводе. А в отделении милиции их охарактеризуют как чрезмерно развязных, категоричных в суждениях, безоглядных в поступках.

Тренер спортивной школы может пожаловаться на мнительность и трусоватость подростков, на их гипертрофированную заботу о собственном здоровье. А вот врач будет уверять, что они крайне легкомысленны в обращении со своим организмом.

Куда сложнее с общественными идеалами и добродетелями, за неустойчивость или даже неопределенность которых чаще всего критикуют выпускника средней школы. Что здесь хорошо, и что — плохо?

Вот молодые ленинградцы вышли на Исаакиевскую площадь протестовать против поспешного сноса здания бывшего «Англетера». Немолодые или не совсем молодые ленинградцы, которые сами на площади не были, тотчас же взялись за газеты, чтобы узнать, что произошло, попытаться определить свое отношение к этим событиям. Но оказалось, что сделать это очень трудно: в одних статьях защитники «Англетера» объявлялись борцами за демократизацию, в других — нарушителями общественного порядка, демагогами и невежественными людьми. Чуть ли не год продолжалась полемика ленинградских газет с «Известиями», полемика, так и не приведшая, с точки зрения читателя-ленинградца, к определенному итогу.

Если так сложно оказывается ориентироваться в текущих событиях, то что же говорить о вещах более сложных... И ученик, и учитель вполне могут сегодня повторить давний вопрос знаменитого литературного героя:

> Где, укажите нам, отечества отцы,
> Которых мы должны принять за образцы?

Читая сегодня статьи о школе «с уклоном в будущее», я невольно вспоминаю Чехова: «Если Вы зовете вперед, то непременно указывайте направление, куда именно вперед. Согласитесь, что если, не указывая направления, выпалить этим словом одновременно в монаха и революционера, то они пойдут по совершенно различным дорогам».

Понять, что происходило, происходит и будет происходить в школе нельзя без понимания происходящего за ее стенами. Ведь вместе с обсуждением хода школьной реформы шло обсуждение всех общественных наших проблем. Статьи А. Стреляного и Н. Шмелева, Ю. Карякина и Ю. Буртина, И. Клямкина и А. Нуйкина, Г. Попова и Г. Лисичкина постепенно вытесняют из общественного сознания некоторые из устойчивых стереотипов прошлого.

И пошатнулся, наконец, краеугольный камень нашей горе-педагогики, долгое время бывший камнем преткновения школьной практики. Мы все пытались доказать своим ученикам, что «быть лучше» несравненно почтеннее, нежели «жить лучше», в то время как жизненный опыт и учеников, и учителей доказывал обратное.

Мораль, основанная на апологии «честной бедности», сохраняет обаяние, пока есть вера, что

> Настанет день и час пробьет,
> Когда уму и чести
> На всей земле придет черед
> Стоять на первом месте.

Но мы с каждым годом, с каждым днем, а то и с каждым часом все отчетливее видели, как уму и чести приходится отступать перед натиском глупости и бесчестья. Диалектика «разумного эгоизма» не

находила опоры в наших социальных реалиях. И все никак не удавалось уразуметь, что речь идет не о разных идеалах, а лишь о двух сторонах одного нашего идеала, что взамен схоластического противопоставления «бытия» и «жития» пора позаботиться об осуществлении самого идеала.

Всем нам еще предстоит выяснять собственные (а не в Америке или Албании позаимствованные) представления о мере наших потребностей. Предстоит разобраться, сколько и каких нужно нам жилых домов и дач, личных автомобилей и общественных автобусов, персональных компьютеров и игровых автоматов на душу населения. Но уже сегодня мы начинаем понимать, что именно общественные потребности формируют наши способности, а никак не наоборот. Первый существенный итог пересмотра наших общих представлений о целях школьного образования состоит в том, что мы осознали: индивидуальные способности наших детей могут развиваться только при условии общественной потребности в этих способностях.

И если мы все еще затрудняемся объяснить своим детям, а то и себе, что честность выгоднее жульничества, справедливость отрицает уравниловку, а добро разумнее зла, значит, ни внешние условия существования, ни внутреннее состояние культуры пока этого не позволяют. Вот почему отказ от «игры в активность» — отрадная примета общих перемен жизни, коснувшихся уже и школы.

Но готовы ли мы отказаться от такой игры?

На столе моей дочери-пятиклассницы лежит «Пионерская правда» с такими вот «Правилами октябрят»:

> Мы активные ребята,
> Потому что октябрята.
> Октябренок не забудь —
> В пионеры держишь путь.

Игры не только продолжаются, но и сызнова затеваются...

Но что такое школьная игра? Может быть, без нее нельзя обойтись?

Спору нет, без игр нет ни детской, ни взрослой жизни. Но игра тогда нужна и полезна, когда условия ее для всех одинаковы и всем известны. В детской игре больше условностей, во взрослой — реальностей. Но и в том, и в другом случае граница условности и реальности всем понятна и видна.

В школьных играх в их сегодняшнем виде условность принимается за реальность, желаемое выдается за действительное, видимость преподносится как сущность. И если учитель начинает восставать против этого, значит, три года реформы не прошли напрасно. Значит, мы подошли к пониманию того, что школа не столько «производство», сколько «продукт». Значит, не «колесики и винтики» как часть производительных сил общества выпускает школа, а воспроизводит в себе общественные отношения. Значит, теперь должен измениться и подход к проблемам народного образования.

И следовательно, суть происходящего не в том, что «кто-то кое-где у нас порой» не хочет учить и учиться. Дело в том, что есть реально существующий механизм снижения качества школьной «продукции». Речь должна идти о явлении, определенном Г. Лисичкиным как «мощный союз представителей трех сфер — неквалифицированного труда в производстве, управлении, науке, на котором основывает свою нынешнюю силу феномен иждивенчества и уравниловки» («Дружба народов», 1988, № 1). С этой точки зрения обнаруживается, что неудачи в делах школы отнюдь не случайны. Пороки школы, созданной в рамках Административной Системы, органически вырастают из естественной потребности «союза» представителей неквалифицированного труда и управления в расширенном самовоспроизводстве.

Нельзя не заметить связи между учеником и учителем, студентом и преподавателем, научным руководителем и диссертантом, имитирующими «учебный процесс». Шпаргалка на школьном экзамене, «стандартный» дипломный проект, заранее отпечатанный ответ «уважаемому оппоненту» — все это звенья одной цепи, эпизоды одной игры. Условия игры таковы, что цель — диплом — оправдывает средства.

Казалось бы Административная Система заинтересована в поддержании какого-то минимума образованности. Хотя бы для обслуживания своих внутренних бюрократических потребностей. Но Административная Система развивается в соответствии со своими законами, приводящими к неуклонному снижению уровня образованности в себе и вокруг себя.

Показателен в этом смысле опыт целевых наборов, задуманных как способ подготовки специалистов для отдаленных регионов. И если приехавшие в Ленинград, скажем, из Средней Азии будущие строители с грехом пополам получат в ПТУ только начальное образование и вопреки расчетам в большинстве своем вернутся домой, то «вузовские „целевики“», получившие только среднее образование, скорее всего останутся в городе. Что же касается целевого выпускника аспирантуры, в лучшем случае пополнившего высшее образование навыками делопроизводства при сооружении монумента «Диссертационного дела» для ВАКовского пантеона, то по возвращении он уж постарается понести в массы делопроизводство под названием своей науки.

Все это вполне устраивает функционеров Административной Системы, озабоченных как раз не отсутствием преемственности, а присутствием конкурентов. И вот дочка районного начальника везет в областной пединститут направление, где сказано, что «вследствие острой нехватки руководящих кадров в районе», ее необходимо зачислить на первый курс исторического факультета. А вот племянник известного литератора из автономной республики с таким же направлением является в крупный университет. Ни дочка, ни племянник так и не пополнят ряды руководящих кадров у себя на родине. Но наивно было бы полагать, что авторы направлений всерьез рассчитывали на их возвращение. Нет, дочки и племянники, отбывшие «хождение по наукам», останутся там, где учились, заполнив вакуум между звеньями Административной Системы.

Механизм отрицательной селекции, несущий в себе предпосылки саморазрушения Административной Системы, отчетливее всего проявляет себя в школе. Каждый новый руководитель здесь, как правило, оказывался менее компетентен, чем предыдущий, каждое нововведение — разрушительным. В таких условиях здание школы начинало буквально разваливаться на наших глазах.

Нигде неквалифицированная «рабочая сила» (удобная и послушная для директивного управления и выгодная дешевизной) и некомпетентное руководство не нуждаются друг в друге больше, чем в школе. Но идиллия этой части школьных игр оказывается непрочной.

Для того, чтобы учить и воспитывать, необходимо хотя бы минимальное превосходство воспитателя и учителя над воспитанником и учеником. Закон отрицательного отбора, привнесенный Административной Системой в школу, приводит к нарушению этого элементарного условия. И школа превращается в производство, ежегодно выпускающее множество андерсеновских «невинных младенцев», весьма непочтительно отзывающихся об учительских одеяниях.

Бывает и так, что от «игры в активность» отказывается и педагог. Неисчислимы беды, обрушивающиеся при этом на его голову. Но хуже всего директору, осмелившемуся поднять свою школу выше заданного условиями игры ординара. Чаще всего ему приходится уйти самому. Реже — его «снимают». Но всякий раз в уходе возмутителя школьного спокойствия равно заинтересовано и большинство его начальников, и большинство его подчиненных. Загадочной могла бы показаться быстрота, с которой неугодный «руководству» становится враждебным и «коллективу». Иной раз диву даешься, до чего совпадают оценки сверху присланных проверяющих и снизу возникших кляузников! Удивляться, однако, нечему. Перед нами вполне логичное проявление «блока неквалифицированного труда и управления» в школьных условиях.

Примеров тому — великое множество. Самый трагичный из них — самоубийство директора Икшанской колонии для несовершеннолетних Степана Арсеновича Туманяна («Учительская газета», 4.2.88). Как обнажились в этой истории совпадающие интересы «рядовых» педагогов и педагогов-«командиров», стремящихся сохранить болотную тишь да гладь в школе! Ведь до самоубийства директор был доведен дружным натиском как сверху, так и снизу.

И бурно протекающее обсуждение школьной реформы только еще начинает прояснять реальное положение. И далеко еще не всем ясна противоположность вчерашней показушной школьной игры и завтрашнего «учения с научением».

Если мы сегодня не можем сформулировать единый и универсальный перечень наших требований к школе, то только потому, что еще не разобрались в наших общественных отношениях. Естественно, что на время выяснения этих отношений школы не закроешь. Следовательно, все наши отношения — и общественные, и личные (границу здесь не всегда можно провести) — нам придется выяснять на ходу, перестраивая школу одновременно со всеми экономическими и социальными преобразованиями.

2

В первый день прошлого учебного года вместе с сочинением школьницы Яны Григорьевой ленинградская «Смена» поместила интервью с психологом Э. Ширяевым. «В апреле этого года мы, психологи университета,— сообщал он,— проводили исследования в ряде школ города. Выяснилось, что половина опрошенных причисляет себя к различным молодежным течениям. Причем, по нашим прогнозам, процесс этот будет развиваться, вовлекая в себя все больше подростков. Идея, что есть молодежь „чистая“ от влияния групп и объединений, не имеет под собой основы».

Профессия учителя требует осторожного обращения с прогнозами. Должен признать, однако, что опыт (как собственный, так и чужой) свидетельствует в пользу этого прогноза.

Подросток, рвущийся из школьного «заточения», представляет настоящую (не детскую уже) жизнь как жизнь в своем кругу, в своей компании, в своей «команде». В наши дни мы больше обращаем внимание на внешние атрибуты тяги молодых к группированию. Все эти металлические цепи, бритые виски, полосатые шапочки и шарфы, серьги в ушах у парней и трубки в зубах у девушек прежде и более всего бросаются в глаза, вызывают неприятие, уводят от трезвого и непредвзятого размышления.

Попробуем отвлечься от всего этого. Вернемся на минутку к письму юного Пушкина Вяземскому. Помните: «Безбожно молодого человека держать взаперти...»? Я оборвал цитату, далее следует: «...и не позволять ему участвовать даже в невинном удовольствии погребать покойную Академию и Беседу губителей российского слова».

В современном словоупотреблении «любезные арзамасцы» Пушкин и Вяземский должны именоваться «неформалами», а сам «Арзамас» — любительским объединением. Любезные арзамасцы, объединившиеся первоначально лишь ради «невинного удовольствия» высмеять официальные Академию и «Беседу», стали для нас классиками. Так почему же этот и многие другие уроки, преподнесенные нам историей нашей литературы и культуры, забываются, когда речь заходит о дне сегодняшнем?

Конечно, нужно различать стихийные течения, основанные на слепом подражании кому- или чему-либо, от самодеятельных творческих объединений, приверженцы которых пытаются создавать нечто свое, совершенно новое. Нужно понимать, что игры молодых — созидательные и разрушительные, добрые и злые — есть преломленное отражение многих наших взрослых дел. Нужно отличать молодежные группы, возникающие как подражание соответствующим взрослым (прежним или нынешним) кружкам, обществам, организациям, от групп, складывающихся в противовес таким взрослым группировкам. Короче говоря, нужно научиться видеть за внешними проявлениями протеста истинную суть побуждений, их вызвавших, научиться слушать и слышать, понимать прежде, чем принимать или отвергать.

11 июля 1987 года читатели были взбудоражены статьей «Штандартенфюрер с Малой Охты», опубликованной в «Ленинградской правде». Речь в ней шла о «серьезных общих просчетах в политическом, гражданском, нравственном, патриотическом, интернациональном воспитании молодежи», которые привели к появлению «фашиствующих подростков», которые дошли до издевательства над прохожими, силой заставляя их «становиться на колени, кричать „Хайль Гитлер!“», целовать руки своим «обер- и штандартенфюрерам».

Приводились в статье и факты пострашнее. «Недавно в районе Ульянки одна из таких групп затащила в пустующий дом сорокалетнего мужчину и учинила ему пытку с применением электронагревательного прибора. Когда мужчина терял сознание, его окатывали водой и продолжали пытать, втирая в раны соль. Только чудом этот человек остался жив».

Рассказывая о похождениях «доморощеных фашистов», автор статьи поставил вопрос о «нашем общем равнодушии», «нашем взрослом, не обижайтесь, недомыслии», попустительстве и родителей, и воспитателей в школе и ПТУ. И хотя автор просил «не обижаться», обиженные все же нашлись. Вот в их-то откликах, как мне кажется, можно обнаружить предпосылки «недомыслия» в подходе к проблемам воспитания.

Вскоре на страницах газеты был опубликован официальный ответ руководителей Главленпрофобра, протестовавших против «неправильного подхода в изложении фактов». В системе профтехобразования приняли слова о «наших» и «общих» просчетах в воспитании подростков исключительно на свой счет. И коль скоро в статье шла речь об учащихся конкретных ПТУ (учитывая опыт журналиста, я не стану повторять номера училищ и фамилии), последовало заявление о том, что нанесен «моральный ущерб конкретным людям». Все дело, оказывается, в том, что, как сообщается в официальном ответе, «описанные факты были вскрыты еще в 1981—1982 годах, когда подростки... учились в средней школе и, следовательно, никакого отношения к профтехучилищу не имели».

Как все, оказывается, просто: учителя в школе просмотрели — пусть они и отвечают. А мы приняли меры, в частности, провели воспитательную беседу с учащимся ПТУ, который действительно «был связан с подростками, увлекающимися экстремистской символикой. Однако после обстоятельной беседы с ним тотчас прекратил подобные контакты, всерьез задумался о своем поведении. После окончания учебного курса руководство училища приняло меры к его трудоустройству».

Наивно было бы полагать, что «обиженные» ограничатся в опровержении лишь «галочками» своей внутриведомственной отчетности. Они запаслись и бумагами солидных организаций — положительными отзывами командиров частей, где служат теперь бывшие учащиеся их ПТУ. Бумага — вот факт! Стоит к бумаге из милиции подшить бумагу из войсковой части, как первая бумага как бы перестает существовать.

В 1983—1986 годах в одном из ленинградских профтехучилищ мне довелось работать с «увлекающимися экстремистской символикой» парнями. Сознаюсь, что наблюдая за ними, пытаясь их учить и воспитывать, а также, чего греха таить, «бороться за полное искоренение», я убедился в полной несостоятельности

традиционных педагогических воззрений на подростка. Все привычные и естественные стереотипы подхода к нему в обычном учебном коллективе обращаются в прах, когда мы имеем дело с подростком из неформальной группы. В распоряжении учителя нет ровным счетом никаких сведений о социальной психологии этих ребят. Сведения эти приходится добывать самому, в одиночку.

За три года «борьбы» убедился: механизм формирования такой группы совпадает с механизмом формирования подростковой преступности. Ко всякого рода увлечениям, которых «не должно быть», дети приходят чаще всего непонятые семьей, школой и — если смотреть шире — обществом.

Собирая материал для статьи «Штандартенфюрер с Малой Охты», журналист В. Кошванец встречался с подростками, усмотревшими нечто привлекательное в атрибутике и идеологии национал-социализма, и пришел к выводу о том, что ими движет прежде всего скука, происходящая от формализма в воспитательной работе с молодыми. Так же думал и я при первом знакомстве со своими «увлекающимися» учениками. Но долго и безуспешно пытаясь их расшевелить и заинтересовать, я понял, что скука не причина, а следствие явления. Причина — там, где В. Кошванец (да и подавляющее большинство из нас) видят лишь сопутствующее обстоятельство.

Некоторые, как заметил журналист, «услышав о фашиствующих подростках, категорично ставят диагноз — „ублюдки“, мгновенно прекращая тем самым любую дискуссию на данную тему». При всем стремлении к объективности он не может не оговориться, что «не стоит сбрасывать со счетов» такого объяснения. Вот здесь-то, мне кажется, главная предпосылка возникновения всех наших молодежных проблем.

При столкновении со странными и страшными, безобразными и отвратительными, непонятными и необъяснимыми проявлениями в поведении подростков мы, взрослые, кажущиеся себе опытными, мудрыми, трезво мыслящими, относим все, для нас неприемлемое, за счет физической и психической аномалии. Это защитная реакция всякого взрослого.

Но вдумайтесь: разве мы не убеждены, что ни при каких обстоятельствах подросток не может быть равен взрослому? Поведение подростка кажется нам неадекватным обстоятельствам. Но обстоятельства мы представляем не так, как представляет себе подросток. Вот почему нормальный или даже привлекательный, с точки зрения товарищей, подросток часто почти автоматически, на основании одной только даты рождения, зачисляется взрослыми в «ублюдки», «недоумки», «дураки».

Наше отношение к молодому поколению осложняется еще и тем, что в последнее время участились патологические изменения в здоровье детей. Статистика об этом умалчивает, но практические наблюдения учителей свидетельствуют: в педагогических институтах пора вводить обязательный курс детской и подростковой психиатрии.

На фоне участившихся проявлений «отклоняющегося поведения» возникает угроза объявить «ублюдком» подростка, просто-напросто опережающего в своем развитии сверстников. Не так уж редко одаренного ребенка в младших классах зачисляют в разряд «недоумков». Еще чаще в средних классах «вундеркинд» превращается в «дурака». Уязвленное самолюбие маленького человека, успевшего обогнать своего учителя в интеллектуальном развитии и практически всегда более восприимчивого и проворного, чем любой взрослый, становится страшной разрушительной силой.

К началу «пика» переходного возраста, приходящегося на пору полового созревания, уже вырабатывается устойчивый стереотип: ненависть к миру взрослых, отрицание его моральных, культурных и политических ценностей.

В группе подростков, объединившихся на почве неприятия «лика мира сего» (не важно, что чаще всего они сами не способны внятно объяснить это и окружающим, и самим себе), оказываются в большинстве своем психически нормальные люди, намеренно или неосознанно надевшие маски и маскарадные костюмы. Чаще всего этот маскарад сами они называют словечком, произведенным из термина психиатров: «шиз».

И чем резче подростки отвергнуты взрослыми, чем оскорбительнее ярлыки, на них навешанные, тем грубее их протест, тем радикальнее их экстремизм. Сегодняшние школьники скажут вам, что «круче всего фанатеет» тот, кого еще вчера учителя считали самым «отпетым».

И тем временем, пока в школьной тетрадке пишутся гладкие правильные сочинения, на «тусовке» появляется записная книжка с такими вот стихами:

Выползая из вязкой общественной каши,
Положа руку на Библию,
Все, что во мне есть ваше,
Выблюю.

Соберу все свои шизни.
Брошусь в любовь-обрыв.
Если придет конец жизни,
Это, наверное, будет взрыв.

Шестнадцатилетние подростки форсированно осознают значимость и ценность своей личности. Взрослый же (а в глазах

подростка те немногие взрослые, с которыми он общается, и представляют для него взрослый мир) не хочет признавать его полноценной личностью. Взрослый обычно ссылается на нравственную незрелость подростка. Но и это не причина, а следствие. Нравственность — явление не врожденное, а приобретенное в социальном опыте. Нет социального опыта — нет и устойчивой нравственности.

Сколько бы я ни спорил с моими давнишними экстремистски настроенными подростками, сколько бы ни побивал аргументами и логикой всяческих «неформалов» из числа своих учеников, против одного их довода — самого главного — я безоружен. «Попробовали бы вы на нашем месте отстоять свои права»,— говорят они. И возразить мне нечего, ибо понимаю, что опекой педагога (даже самого лучшего) нельзя избавить подростка от социальной незащищенности.

Самое большее, на что может сегодня рассчитывать учитель (любой учитель!), это добросовестное выполнение учеником роли ученика. Самый лучший учитель при этом может гордиться тем, что играют специально для него (а не для того, скажем, чтобы угодить маме, понравиться девочке или заработать характеристику для престижного вуза). Самое большее, что может себе позволить учитель — это заметить игру, но, боже упаси, нарушить ее условия.

Ясно, что педагогические средства не годятся для решения социальных проблем. Тем более, что игра в учебу превращает знания из цели в средство существования системы образования. Для ученика игра в учебу — средство приспособления к миру начальствующих взрослых. Для школы — к миру властвующих над ней администраторов. Для учителя — к жизни между административным молотом и ученической наковальней.

3

В первый день прошлого учебного года, одновременно с публикациями «Смены», в «Комсомольской правде» появился материал о передовом опыте учителей-новаторов. Речь шла об уроке одного из последователей известного ленинградского учителя Е. Н. Ильина. Такого урока, восторженно замечает корреспондент, раньше быть не могло.

Но погодим радоваться вместе с ним.

Всякий раз, когда заходит речь о недостатках школы, в качестве традиционного «противовеса» появляются учителя-новаторы. Вот уже второй учебный год «Учительская газета» начинает с публикации материалов о педагогах-экспериментаторах. Но все сказанное новаторами, их пропагандистами и последователями свидетельствует: наша педагогическая общественность еще уповает на универсальное лекарство от школьных болезней, еще надеется на чудодейственный конспект на все до окончания своего учительского века уроки, все еще верит, что можно овладеть «секретными» приемами власти над ученическими душами.

Манифесты педагогики «сотрудничества» и практический опыт ее проповедников свидетельствуют пока только об одном: сложившаяся система образования, в рамках которой и осуществляется сотрудничество, позволяет надеяться на успехи только в начальном и среднем звене. Что же касается «верхних этажей» здания среднего образования — старших классов — «педагогика сотрудничества» здесь — добросовестное, но, увы, заблуждение.

Подлинное сотрудничество учителя и ученика на той стадии школьной игры, когда условностей должно оставаться все меньше, а реальностей появляться все больше, возможно только при условии совпадения интересов ученика и учителя. До тех пор, пока у обоих участников учебного процесса нет общей цели, лозунг «сотрудничества» — утопия, продолжение лицемерной «игры в активность». Самая горячая любовь к детям, самое активное стремление жертвовать для них собой, самое выдающееся актерское дарование не может заменить отсутствие социальных предпосылок, обусловливающих стремление ученика учиться, а учителя — учить. И если на первых ступенях школьной лестницы мастерство, вдохновение, самопожертвование учителя как-то компенсирует отсутствие у ученика желания учиться, то на этажах верхних учитель остается бессилен: он не может создать предпосылки мотивации учения, если их не создало общество.

Мне могут возразить: «Посмотрите на лица старшеклассников, послушайте, как горячо и заинтересованно они работают на уроках апологетов „педагогики сотрудничества“. Разве активность учащихся — не показатель их увлечения учебой?»

Возражение не принимаю. Ибо знаю, кто и как учитывает эту активность.

Все очень просто: подсчет строится на механическом перенесении законов педагогики младших и средних классов на педагогику старших. Всякий проверяющий непременно учитывает в школе (независимо от того, в какой класс он пришел на урок), сколько было отвечающих, сколько поднималось рук, сколько выслушано ответов. И чем больше — тем выше оценка урока. При этом проверяющему решительно все равно, что говорят на уроке ученики, что говорит учитель. Главное, чтобы ученики говорили побольше, а учитель — поменьше. Этот универсальный, удобный и простой способ незаме-

ним для администратора, которому незачем самому знать то, *чему* учит учитель. Зато всякому администратору известно, *как* надо учить: так, чтобы учитель управлял классом, как дирижер оркестром.

Вот вам механизм возникновения показной активности, процветающей сегодня в школе. Самая благодатная почва для этого — до предела урезанный курс литературы. При существующем положении дел у словесника на многие шедевры русской классики остаются уже не часы — минуты. Вот почему в «изучении», а точнее — «при прохождении» этого предмета практически отвергнуто требование самых элементарных знаний. Ни учителю, ни тем более ученику чаще всего и в голову не приходит задаться вопросом, *зачем* именно этот писатель (а не другой), как раз в это (а не другое) время создает данное (а не иное) произведение.

Вместо этого любая произвольно взятая из любого текста цитата или деталь («Заветный вензель О да Е» из пушкинского романа, или звон ключей из «Вишневого сада», или плакат «Берегите хлеб!» из школьной столовой) становится поводом для нравоучительной беседы.

Все примеры взяты из последней книги Е. Н. Ильина «Рождение урока», изданной «Педагогикой» в 1986 году. Надо отдать должное ее автору, он открыто признает, что на его уроке «литература иной раз внешне отсутствует даже как повод», поскольку «литературное, а тем более теоретико-литературное знание *в чистом* (выделено автором.— *А. Г.*) виде (даже при умелой, виртуозной подаче) далеко не всех школьников волнует и увлекает».

Не пугайтесь, читатель, жупела «чистого» да еще и «теоретико-литературного» знания. Так именуется всего-навсего стремление читать книги, чтобы (пользуясь словами Власа Дорошевича) «думать, разбирать, понимать». Боже, ученика упаси от того, чтобы читать скучные книги, довольно с него и отдельных «светоносных» страниц. Рассказывая об опыте работы на уроках литературы учителя Е. Н. Ильина, журнал «Огонек» так излагает методический принцип «сотрудничества» учителя и ученика, применительно к преподаванию литературы: «Это и есть формула урока литературы. Поднять страстно перст, указать на него, на себя, на другого, на третьего. Стой, остановись, задумайся и ты, и он, и все! Подумаем, как живем, что делаем...» Прервем страстный монолог учителя, чтобы спросить его: «А при чем тут литература, книга?»

«Огонек» представляет класс Е. Н. Ильина как «самый маленький театр» Ленинграда. Но не менее резонно было бы назвать его еще и «самым маленьким молитвенным домом». Ибо все, что происходит в этом классе больше походит не на учение, не на представление, а на молитвенное радение. «Но ведь мы не показываем себя, правда? Мы себя передаем»,— говорит учитель ученикам.

Все верно. Ироничное снисхождение к школьной игре, ставшее нормой для обычного старшеклассника, в педагогических экспериментальных классах Е. Н. Ильина подменяется экзальтацией. При этом учитель, провозглашая уважение к личности ученика, на самом деле унижает его. Здесь действует прием, как мне кажется, запрещенный. Взрослый не имеет права злоупотреблять доверием подростка, не имеет права самоутверждаться за счет заигрывания с начинающим жить и потому не достаточно критичным к себе человеком.

Вместо того, чтобы дать ученику реальную возможность добраться до подлинных ценностей литературы и настоящих сложностей жизни, ему предлагают ограничиться эмоциональным восприятием отдельных «светоносных» страниц.

Но где же критерий выбора таких страниц? Как «светоносное» отличить от «мракобесного»? Можно ли надеяться, что «драгоценной» окажется страница Чернышевского, скажем, а не Леонтьева? Не приведет ли «указующий перст» добродетельного педагога, ничтоже сумнящеся утверждающего, что «без него нет школы», куда-нибудь... не туда?

Куда заводит метод «указующих перстов» вместо книг, замечено в письме канадских русистов, помещенном в том же «Огоньке» за две недели до появления материала об Е. Н. Ильине: «Из многочисленных бесед с обычными выпускниками школ и ПТУ мы с глубоким изумлением и тревогой поняли, что средний канадский выпускник знает советскую и русскую литературу и вообще культурное наследие России лучше, чем ваши учащиеся. У многих низкий общий культурный уровень — отсюда „панки“, „металлисты“. У всех друзей СССР это вызывает сильную тревогу и беспокойство, ведь молодежь — завтрашний день страны, это важнее любых экономических проблем. Мы желаем вам процветания, а оно невозможно без людей образованных, культурных, обладающих развитым интеллектом».

Не сгущают ли наши заокеанские доброжелатели краски? Можно ли устанавливать прямую связь между уровнем литературной образованности и интеллектом? Но ведь это латинское слово и означает «разумение», «понимание», «постижение». А этому-то и обязан учить словесник на уроке литературы.

Практика, однако, ориентирует учителя и ученика не на разумение и постижение, а на обязательное толкование классического литературного наследия. Увы, эта ориентация пришла к нам еще из школы дореволюционных времен. Ограниченность, примитивность — ее превосходно высмеял еще Влас Дорошевич.

«— Что хотел сказать поэт в „Птичке божией“? (...).

— Вкладывая песнь о птичке божией в уста кочевых и неоседлых цыган, поэт тем самым хотел изобличить перед нами низкий уровень этих цыган... Похвала же птичке за ее праздность и ничегонеделание была бы немыслима в устах такого просвещенного человека, каким, бесспорно, является поэт».

Принцип обязательного толкования, казалось бы навечно дискредитированный, и по сей день господствует в преподавании отечественной словесности.

«Автор хотел в образе Христа воплотить символ нового мира»,— прочтете вы в учебнике о Блоке.

«Поэт хочет, чтобы молодое поколение поняло величие народного труда»,— это уже о Некрасове.

«Поэт не хочет оставаться в прошлом...» — вы догадываетесь, о ком это? А еще: «Поэт вовсе не желает причинить боли другим, он страдает, говорит о своей боли...» Неужели не догадались? Это Есенин в интерпретации школьного учебника.

Привычка к шаблону, «мыслебоязнь» и сегодня господствуют там, где следует, как писал Дорошевич, учить «думать, разбирать, понимать».

Но разве абсолютный произвол толкований, возникший в противовес навязываемой прежде обязательности, лучше? Разве «мыслебоязнь» не оборотная сторона словоблудия какой-нибудь «Памяти»?

Действительно, восприятие литературы должно быть эмоциональным. Но эмоция без разумения лишь провоцирует ученический инфантилизм. И на уроке словесника Ильина или его последователей повторяется ситуация, блестяще описанная когда-то Агнией Львовной Барто:

> Мы рычали и мычали,
> По-собачьи лаяли,
> Не слыхали замечаний
> Анны Николаевны.
>
> А она сказала строго:
> — Что за шум такой у вас?
> Я детей видала много —
> Таких вижу в первый раз.
>
> Мы сказали ей в ответ:
> — Никаких детей тут нет!
> Мы не Пети и не Вовы —
> Мы собаки и коровы!
>
> (...)
>
> А она в ответ: — Да что вы?
> Ладно, если вы коровы,
> Я тогда — пастух.
> И прошу иметь в виду:
> Я домой коров веду.

Мудрая Анна Николаевна умело вышла из ситуации так называемого педагогического конфликта. Своих детей она до дома довела. Но приведут ли тем же путем сторонники «педагогики сотрудничества» своих учеников к храму литературы, воздвигнутому писателями?

Вопрос этот вовсе не риторический. Дело в том, что почти одновременно с «Огоньком», представившим программный монолог Е. Н. Ильина, вышел и программный номер «Учительской газеты» с коллективным манифестом педагогов-экспериментаторов, посвященным демократизации школы. Один из его основных тезисов — необходимость утверждения в школе «молодежной философии». Поясняется это так: «диалектико-материалистическая философия в молодежном, романтическом возвышенном изложении».

Признаюсь: смутно могу представить себе «романтическое изложение» философии. Неужто при помощи «указующего перста»? По всему видать — так, ибо далее следует: «Мы должны открыть дорогу всем формам игры, рождающимся сегодня в работе тысяч педагогов».

Со многим из предложенного экспериментаторами можно согласиться, с этим тезисом — никак нельзя. Игра игре рознь!

От игры учебной надо бы отличать игру развлекательную, от игры деловой — игру от безделья, от игры честной — игру жульническую. Надо признать, что есть вещи, с которыми вообще нельзя играть.

И если уж считаем мы педагогику наукой, нельзя играть в педагогические открытия.

4

В первый день прошлого учебного года, когда не успел я еще посмотреть ни «Смену», ни «Комсомольскую правду», на самый первый урок явились ко мне проверяющие. И, странное дело, никто — ни хозяева, ни гости не были огорчены тем, что он, вроде бы, и не удался. Никто не успел «настроить» учеников перед появлением «гостей»...

Не состоялось и обсуждение урока. И вот это уже примета по прежним временам странная. Как же без «оценки за урок»? Как же без «оргвыводов»?

Все прежние школьные игры строились на незыблемой уверенности в том, что правильно спланированный урок или «мероприятие» не может не получиться: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда».

Вероятно, это единственный пока практически ощутимый результат идущей школьной реформы: взамен стремления поставить очередную «галочку», «плюс», «минус» или «отметку», появляется же-

ление подумать о том, что не все может и не все должно оцениваться. Появляется понимание того, что оценке предшествует осмысление.

Накануне начала прошедшего учебного года были опубликованы «Тезисы» Министерства просвещения к учительскому съезду, интервью с новыми руководителями и даже варианты новых учебных планов «школы будущего». Но ни уже вошедшие в педагогический оборот идеи, ни те, которые продолжают выдвигаться, сами по себе педагогическими массами не овладевают и в практические свершения не превращаются. И тут нельзя обольщаться.

Полвека назад А. С. Макаренко на этот счет предупреждал: «Прекрасные педагогические идеи сплошь и рядом прикрывали полную научную пустоту, кое-как замещаемую совершенно домашними и совершенно дикими средствами. И в последнем итоге топ давался вовсе не школой, а семьей, улицей, переменой между уроками, вообще всеми теми минутами, когда нет возле нас педагога».

Перечитывая сегодня Макаренко, мы начинаем видеть школьную реформу последних трех лет в подлинном ее историческом масштабе. Она не есть новая реформа 80-х годов. Более того — она и не может рассматриваться как продолжение не доведенной до конца школьной реформы 60-х. Реформа эта возвращает нас к школьной ситуации середины тридцатых, когда предстояло обобщить опыт первых двух десятилетий существования советской школы и проверить сложившиеся к тому времени педагогические концепции. Тогда не удалось ни то, ни другое. Под лозунгом борьбы с «лженаукой педологией» были разгромлены и педагогическая наука, и созданная еще при А. В. Луначарском школьная система.

Начав школьную реформу прежде всех экономических и социальных преобразований, без основательной теоретической подготовки, без ясности в том, что Макаренко называл «вопросом о нормах», мы столкнулись с необходимостью оглянуться на самые первые годы и даже дни существования нашей школы.

А. В. Луначарский в своих «Октябрьских воспоминаниях» воссоздал свой разговор с Лениным в коридоре Смольного. И две фразы Ленина, приводимые здесь, кажутся мне заслуживающими особого внимания.

«Ясно,— говорил Ленин,— что очень многое придется совсем перевернуть, перекроить, пустить по новым путям...» А далее предупреждал, что, по его мнению, «со всеми реформами нужно быть очень осторожным».

Удалось ли пустить развитие системы образования в нашей стране по новым путям? Семьдесят лет назад мы разрушили старую сословную и кастовую школу — классических гимназий для привилегированных и реальных училищ для всех прочих. Неужели для того, чтобы получить систему специализированных школ с «уклонами» и профтехучилищ?

Семьдесят лет назад от нашей школы был отлучен батюшка-законоучитель с крестом на шее и незыблемым своим катехизисом. Неужели затем, чтобы воспитать «учителя-духовника» с «указующим перстом»?

Семьдесят лет назад был изъят из школьного употребления пресловутый страшный «Кондуит», а вместе с тем пришел конец и вполне безобидным играм в «Швамбранию». Неужели затем, чтобы взамен создать «комиссии по профилактике правонарушений» и противостоящую им стихию жестоких игр, «которых не должно быть»?

И не потому ли скромны успехи нашей школы, что взамен «осторожного обращения с реформами» периодически начиналась игра в реформы?

Дальше играть в реформы нельзя.

Нельзя ожидать чудес от кадровых перестановок в педагогических ведомствах, в управлении Академии педагогических наук и ее институтах. Как показывает опыт, все силы самого талантливого руководителя уходят на борьбу с собственным аппаратом, если этот аппарат консервативен, страшится обновления, годами и десятилетиями подбирал для себя людей прежде всего покладистых, осторожных, верноподданных командно-административного метода управления.

Нельзя надеяться и на реорганизацию управленческих и научных звеньев: пока педагогическая наука существует для Академии (а не наоборот), пока школа работает для школьного руководства (а не наоборот), всякого рода «конторы» будут что есть силы тянуть на себя одеяло ассигнований, стараясь получше выглядеть в глазах руководства и совершенно не заботясь о реальном деле.

Нельзя думать, что без включения всей системы образования в стране (от яслей до аспирантуры) в общую систему культурного строительства можно добиться каких-либо решительных сдвигов. Еще год назад В. Шубкину, выступавшему в передаче Ленинградского телевидения «Общественное мнение» о проекте школьного устава, показалось утопичным предложение телезрителя Леонова о роспуске Минпроса.

Но вот сначала в маленькой Эстонии, а затем и во всей огромной стране объединяют три просвещенческих ведомства. И, может быть, не покажется теперь утопией слияние с новым Госкомитетом старых Министерства культуры и Госкомиздата? О реальности такой меры свидетельствует не только опыт нашей страны в 20-е годы, но и здравый смысл: те, кто будет тратить деньги на образование, обязательно должны знать откуда и как эти деньги взялись — и руководитель ведомства, и учитель, и родитель, и ребенок. Ибо как же иначе понимать нам сегодня завет Макаренко: «Хозрасчет — лучший воспитатель?»

Нельзя, наконец, рассчитывать на успех школьной реформы без серьезной опоры на законы биологической и социальной природы человека. Приспособление старой формы обучения к растущим требованиям технологической цивилизации приводит к тому, что угрожающе растет «зазор» между периодом физического и социального созревания каждого нового поколения. И пока мы не научимся учить и воспитывать таким образом, чтобы завершать образование вместе с физическим развитием, трудно надеяться на массовое воспитание гармонических личностей. В этой связи нас должен привлечь опыт тех, кто пробует не растягивать среднее образование на одиннадцать лет, а завершать его за девять.

Пять перечисленных мною «нельзя» в решении судеб школьной реформы вызывают к жизни и пять «надо».

Надо понять, что способности ученика вызываются не благими намерениями учителя, а общественными потребностями. И если мы всерьез озабочены тем, чтобы, отдавая по способности, получать по труду, следует позаботиться и о социальных гарантиях соответствия требований школы потребностям общества.

Нужна социальная защита семьи, в которой растут дети. Ведь по статистике ежедневно каждая мать у нас уделяет ребенку в среднем 17 минут. Мало! Но надо еще понять, из чего слагаются эти среднестатистические минуты. Ведь на одну маму-учительницу, оставившую школу и сидящую со своим ребенком весь день, должно приходиться около полусотни мам, вообще не уделяющих времени детям. И самое тревожное обстоятельство: труднее всего молодым мамам, тогда, когда они больше всего нужны своим детям (от 2-х до 5-ти). Думается, государство должно гарантировать помощь семье в виде сокращения рабочего времени матери, безвозмездных пособий и долговременных кредитов — пропорционально количеству детей в семье, развернуть сеть психолого-педагогических консультаций (по типу теперешних женских), родительских школ и курсов. Одновременно с расширением прав родителей участвовать в управлении дошкольным и школьным предприятием образования (может быть, в виде конкурсного избрания общественным советом администраторов и учителей сроком на три — пять лет) должно быть и расширение ответственности родителей. Ответственности не столько перед учительским педсоветом, сколько перед обществом, представляемым все тем же общественным советом.

Нужна социальная защита школы, предполагающая полную юридическую и финансовую самостоятельность ее от кого бы то ни было, кроме того же общественного совета. Высшей инстанцией, разрешающей все практические конфликты в школе, по-видимому, должны стать школьные советы, а не районные отделы образования в том их виде, в каком они существуют ныне — формально как отделы исполкомов, фактически подчиненные своему главку. Школьные общественные советы могут отвечать за свои действия только перед депутатскими комиссиями районных Советов. Никто, кроме общественных органов, избираемых прямо и свободно из людей, действительно заинтересованных в школьном деле, не должен решать судьбу ученика и учителя.

Нужна социальная защита учителя, обеспечивающая для него свободу выбора тех средств, которые он считает нужным, применительно к каждой педагогической ситуации. Учитель сам должен решать, как и сколько в данном случае изучать данную тему. Он должен отвечать за знания каждого своего ученика, но соответственно и получать не «почасовую», а «подушную» плату. Причем плату такую, чтобы доходы педагога высшей квалификации не равнялись доходам начинающего надомника-кустаря. Это предполагает изменение всей системы финансирования школы, ибо предстоит подсчитать, во сколько обходится обучение одного ученика в оптимальных условиях (пятнадцать учеников в классе, не более двух классов на учителя, ведущего цикл из нескольких родственных предметов). А подсчитав, финансировать школу не из остатков бюджетных средств местных Советов, а в соответствии с реальными потребностями «учения с научением». Кроме того, следует, конечно, прислушаться к Макаренко, писавшему: «Так как для учителя очень сокращены возможности какой бы то ни было карьеры, движения по службе, повышения и так далее, то необходимо разработать систему пятилетних или трехлетних прибавок с таким расчетом, чтобы учитель, проработавший, скажем, 15—20 лет... получал жалованье, превышающее жалованье новичка раза в три». Следует позаботиться и о пенсионном обеспечении учителей.

Нужна социальная защита ученика. С одной стороны, надо подумать о расширении его правоспособности: уже в двенадцать лет, вероятно, подросток должен получать первый свой паспорт, приобретая тем самым право на неприкосновенность личности, на посильный труд. С другой стороны, уже в этот момент (а не с четырнадцати лет, как ныне) должна

наступать и частичная правовая ответственность подростка. И с каждым годом, вместе с расширением его прав, должны соответственно расширяться и обязанности. Вплоть до момента полного совершеннолетия, который должен быть приурочен к завершению среднего образования. Паспорт — последний и главный документ, удостоверяющий личность,— следовало бы торжественно вручать выпускнику вместе с аттестатом зрелости.

Все нынешние споры так или иначе сводятся к вопросу: быть или не быть среднему образованию всеобщим и обязательным? Тут сталкиваются два подхода. Одни говорят о безнравственности принуждения. Другие — о том, что нельзя отказываться от своих же социальных завоеваний.

И те, и другие правы. Но а то же время оба взгляда исходят из концепции администрирования применительно к образованию. Аргументы сторонников и противников всеобуча не отрицают друг друга, а дополняют. Нужно только отказаться от взгляда на систему образования как на часть Административной Системы. И тогда выяснится, что принуждение безнравственно только в том случае, если оно исходит от школы и не подкреплено общественными потребностями. Иное дело — подкрепленная социальной практикой потребность в образовании.

Право на образование у нас гарантировано, но никак не подкреплено обязанностями, вытекающими из общественного обихода. А ведь общество, предоставляя гражданину права и свободы, должно учить и умелому с ними обращению. Демократизация предполагает не только все возрастающее *участие* народа в управлении государством, но и совершенствующееся *умение* распоряжаться властью. Речь идет о введении образовательного ценза. Может быть, следует подумать об ограничении избирательных прав тех, кто сознательно не желает завершить среднее образование.

* * *

В одной из антиутопий Станислав Лем изображает кошмарный мир, в котором не бывает вчерашних газет: они испаряются вместе с той бумагой, на которой напечатаны. Это, по Лему, признак нравственной патологии.

Заканчивая эти заметки, я с опаской поглядываю на кипу старых газет на моем столе... Что, если эти газетные листы со всем, что выплеснулось на них за годы, уже испарилось из сознания читателей? Что, если от множества правильных и хороших слов не прибудет дел?

Но нет, то в одной, то в другой школе после той или иной газетной или журнальной статьи начинается брожение. И вот уже на перемене в учительской, на педсовете или даже на уроке в классе взамен привычной школьной игры начинается спор: серьезный, злой, иногда не вполне корректный, но очень нам нужный.

И появляются крохотные эксперименты на уроке, и крупные эксперименты в больших школах. О самом масштабном эксперименте из всех, какие идут в стране, нельзя не сказать особо.

Вот уже два года в Ленинском районе Ленинграда нет больше плановых проверок, заставляющих трепетать учителей и учеников... В одной школе учителя сами определяют время, отводимое на изучение той или иной темы. В другой введено свободное посещение уроков старшеклассниками, день свободного расписания. В третьей — специализация в старших классах. В пяти школах района одновременно введена пятидневка. Во всех школах создаются советы с участием родителей и учеников, а одновременно и открываются экзамены, ставшие своеобразным вариантом «госприемки» школьной «продукции». За ходом преобразований в Ленинском районе следят журналисты, учителя, родители, ученики...

Успех этого эксперимента, точно так же как и успехи множества маленьких экспериментов, зависит от того, насколько заинтересованы в его результате все, кто причастны к делам школы. Что окажется плодотворным, что — ненужным, покажет время. Но уже сейчас ясно: школьные преобразования только начались.

И поэтому я не тороплюсь убирать со стола старые газеты...



ПИСАТЕЛЬ, ЧИТАТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ НА ИСХОДЕ ДВАДЦАТОГО ВЕКА

Перед нами — два читательских письма. Остротой постановки насущнейших ныне проблем литературно-общественной жизни они не могли не заинтересовать редакцию. Мы собирались ответить их авторам, как обычно отвечаем на подобные письма. Но потом подумали: во-первых, ответы представляют интерес не только для двух человек. Во-вторых, к нашему диалогу с читателями полезно и даже необходимо привлечь сведущих и заинтересованных лиц. Поэтому в разговоре, состоявшемся в стенах «Невы», мы пригласили принять участие, помимо члена редколлегии В. В. Кавторина, кандидата филологических наук И. Н. Сухих из Ленинградского университета, писателя и историка Я. А. Гордина, критика А. Н. Пикача и исследователя истории литературы и театра доктора филологических наук А. А. Нинова.

МЫ И ПОЭЗИЯ

— Я не люблю стихов. Они оставляют меня равнодушной,— сказала мне моя двенадцатилетняя дочка, когда я старался заставить ее взять в руки сборник стихов.

Ее ответ был уникальным в том смысле, что сколько я ни разговаривал с разными людьми и в разных компаниях о поэзии, трезвый или немного нарушив указ, больше никто подобных мыслей не высказывал. Мне кажется, это потому, что взрослый человек хорошо знает, что поэзию у нас нельзя просто любить или не любить. Поэзия у нас стала общественным явлением. Вот поэт революции Маяковский. Можно ли сказать: «Я не люблю Маяковского»? Для миллионов моих сограждан подобная фраза будет звучать кощунственно:

— Может, ты и революции не любишь?

Помню, я детстве я спорил с папой, доказывая ему, что Есенин хороший поэт. Не понимал, что папа, у которого с тридцатых годов уши были заткнуты словами о чуждости нашему обществу его поэзии, ее просто не слышит. И только когда прочел я отцу стихи Есенина о Ленине, как мне сейчас кажется, наиболее слабые и путаные, отец, помолчав, неуверенно сказал:

— Ну, вот это неплохо.

Сейчас я думаю, что неуверенность эта, которую я и сейчас, когда отца уже нет, слышу, была следствием многолетнего вбивания в голову мыслей, что главное в поэзии не те ощущения, которые она в тебе вызывает, а что-то другое. То ли преданность кому-то, то ли принадлежность к чему-то, то ли одобрительный отклик на происходящие в обществе перемены.

А можно ли было сразу после постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» сказать:

— Я люблю стихи Ахматовой.

За подобные слова советские граждане, убежденные Андреем Александровичем Ждановым, что а то время, как они строят социализм, Ахматова то и дело блудит и кается, могли запросто мозолистой рукой по физиономии надавать.

Или: «Я люблю Пастернака»,— после того, как большинство наших писателей столь блестяще проявило себя, поучаствовав в его травле? Тоже чревато. Хоть «Доктор Живаго» и проза, но оказалось, что этот «чуждый советскому строю писатель» и стихи тоже пишет какие-то не наши. Так тогда говорили. А вот сейчас говорят по-другому. Но когда говорили верно? Сейчас. А почему не тогда?

Ясно, что все люди не могут понимать поэзию Пастернака. Даже наоборот. К несчастью, ее могут понимать далеко не все. Но участвовать в общественном явлении хотят очень многие. Где вы найдете в газете заявление типа: «Я работ этого физика не читал, но считаю, что физик он плохой»?

А с поэтами и писателями подобное происходит сплошь и рядом. Тому, что про них говорят, мы верим безоговорочно. А поверив, и сами начинаем орать. Причем зло так орем. Раздраженно.

Все ли в порядке в нашем отношении к литературе и к поэзии, в частности? Для чего они существуют в нашем обществе? Помогают ли они нашему обществу стать чище и добрее или нет? Мне кажется, что в нашем отношении к литературе есть что-то порочное, что-то такое, что нейтрализует ее воздействие. Мы любим ее, «но странною любовью». Во всяком случае, мне кажется, что нам надо серьезно задуматься.

У Владислава Ходасевича есть замечательная статья, которая называется «Кровавая пища». В ней он прослеживает судьбы русских писателей и поэтов, начиная от Тредьяковского (непонятно, почему он не вспомнил сожженного протопопа Аввакума? Наверное, просто забыл) и кончая Гумилевым. Если бы он писал эту статью сейчас, то список можно было бы существенно продолжить. Даже непонятно, какую фамилию называть первой. Может, Ахматову, написавшую про себя «...муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне»? Или погибших в сталинских застенках Осипа Мандельштама, Николая Клюева, Сергея Клычкова, Бориса Пильняка, Исаака Бабеля, Павла Васильева? Или на первое место надо поставить Варлама Шаламова, потому что, несмотря на страшную судьбу родственников Анны Ахматовой, сама она все-таки была на свободе, а Мандельштам и Пильняк, хоть и погибли, но мучились сравнительно недолго... Шаламов же провел в лагерях и ссылках добрых лет двадцать. А Борис Леонидович Пастернак? Но он же даже не сидел? Стоп! Это нас с вами Александр Галич имел в виду, когда писал: «...до чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели!».

Наверное, фамилий вообще называть не надо. Всех все равно не назовешь, а называя кого-то, тем самым даешь понять, что отдаешь предпочтение перед остальными. Читатель и сам может вставить в этот список много дорогих сердцу и любимых фамилий.

Но вернемся к Ходасевичу. Посмотрим, что же он пишет.

«...Конечно, мы знаем изгнание Данте, нищету Камоэнса, плаху Андрея Шенье и многое другое — но до такого изничтожения писателей, не мытьем, так катаньем, как в России, все-таки не доходили нигде. И, однако же, это не к стыду нашему, а может быть, даже к гордости. Это потому, что ни одна литература (говорю в общем) не была так пророчественна, как русская. Если не каждый русский писатель — пророк в полном смысле слова (как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский), то нечто от пророка есть в каждом, живет по праву наследства и преемственности в каждом, ибо пророчествен самый дух русской литературы. И вот поэтому — древний, неколебимый закон, неизбежная борьба пророка с его народом, в русской истории, так часто и так явственно проявляется. ...Дело пророков — пророчествовать, дело народов — побивать их камнями. ...Когда же он, наконец, побит,— его имя, и слово, и славу поколение избивателей завещает новому поколению, с новыми покаянными словами: „Смотрите, дети, как он велик! Увы нам, мы побили его камнями!“. И дети отвечают: „Да, он был велик воистину, и мы удивляемся вашей слепоте и вашей жестокости. Уж мы-то его не побили бы“. А сами меж тем побивают идущих следом. Так совершается и пишется история литературы.

Несколько лет тому назад, высказывая впервые эти мысли, я думал, что основная причина здесь именно в неизбежном *столкновении* пророка с народом, писателя с обществом, с близкими. Этой причины не отрицаю и теперь, но думаю, что она не единственная, даже не главная. Может быть, столкновение есть лишь неизбежный повод, возникающий из гораздо более глубокой причины. Кажется, что народ *должен* побивать, чтобы затем „причислять к лику“ и приобщаться к откровению побитого...»

Интересный вывод, правда? Так вот, приобщаемся ли мы? Оправданы ли все эти жертвы? Когда я прочел статью Ходасевича, то сначала страшно загордился за нашу литературу, потом за общество, которое эту литературу создало... Но сейчас вот впал в некий пессимизм и думаю, что происходит у нас не приобщение к мощам побитого пророка, а скорее притягивание мертвого пророка к себе за ноги.

Вот Пушкин, что мы в нем любим? Красоту его поэзии или то, что он «милость к падшим призывал»? Или, может, нам нравится его биография, то, что у него была красавица жена? Недавно было сто пятьдесят лет со дня его гибели. А в 37-м было сто лет. Прочтя «Исчезновение» Юрия Трифонова, я узнал, что на вечере в Большом театре докладчик закончил тогда свою речь словами: «Книги Пушкина накаляют любовь к великому Сталину».

Любовь к поэзии, оказывается, прекрасно совмещалась с обилием репрессий и физическим уничтожением людей. И выходит, дело не в призыве милости к падшим. Интересно, что именно в 37-м в тексте стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», выбитом на памятнике Пушкину в Москве, по ходатайству Академии наук СССР и Союза писателей, были восстановлены наиболее свободолюбивые строчки, в свое время переделанные Жуковским... И в этом же году писатели во главе со Ставским подписывают коллективное письмо с одобрением казни жертв сталинского террора (как рассказал в своих мемуарах Каверин, Пастернак, сколько ему ни заламывали руки, однако, не подписался). А Мандельштам в этом же году готовился к смерти. Тут что-то не так! Александр Сергеевич, наверное, и Мандельштама к груди прижал бы, и с казненными встал бы рядом. Вспомните, как он царю сказал, что, будь он в Петербурге 14 декабря, непременно вышел бы на Сенатскую площадь.

И если мы любим пушкинскую поэзию, то почему так равнодушны к изданию его наследников в XX веке? Изданный одиннадцатимиллионным тиражом, трехтомник Пушкина стоит теперь в каждом доме. Думаю, не купили его только те, кто просто не ходит в книжные магазины. Казалось бы, начни мы его читать, придут понимание и любовь к его поэзии, а там и желание появится узнать, кто «лиру взял из ослабевших рук»... Но с наследниками Пушкина в XX веке получается чтото наоборот. Чем крупнее наследник, тем меньше у него тираж.

Вот Мандельштам. Хочу поделиться своими мыслями о нем. Начну издалека, с прозы. И не с его, а с айтматовской. Когда прочел «Плаху», мне в голову пришли противоречивые мысли. Нет, я не о достоинствах и слабостях — тут, как говорится, возможны разные мнения. Я о другом. Как вы помните, в романе проходимец Базарбай крадет у волчицы волчат, та страшно мучается, крадет у положительного Бостона ребенка, отец убивает проходимца Базарбая. Случай дикий, хотя кто-то из читателей наверняка скажет, что человек может быть хуже собаки. А хуже волка?

Но давайте немного пофантазируем. Предположим, что лет через сто физиологи выучатся читать в мозгах, и тогда вдруг окажется, что «братья наши меньшие» так же, как мы, рассуждают, любят и переживают, и только из-за того, что у них вместо кисти с пятью пальцами копытце или лапка, не могут они создавать того же, что и мы, да еще вынуждены терпеть с нашей стороны издевательства, разные ам-ам и пиф-паф. И тогда этот роман будет читаться совсем по-иному. Он окажется пророческим. И потомки наши скажут, что в XX веке жил человек, который предвидел, что «братья наши меньшие» имеют такую же душу, и в своих произведениях писал об этом!

Нечто подобное, как мне кажется, происходит сейчас с Мандельштамом. Сколько мы и нам говорили о том, что этот крупный поэт оказался в стороне, не отразил ни коллективизации, ни индустриализации, ни формирования советского человека!.. Но вот сейчас, через пятьдесят лет после его гибели, в нашем обществе что-то стало происходить. Такое впечатление, что стала меняться мораль и общество начинает смотреть на свое прошлое с точки зрения этой новой морали. Мы начинаем понимать, что убивать себе подобных, какими бы высокими словами это ни оправдывалось, нельзя. И теперь, когда смотришь на коллективизацию, то сразу видишь миллионы загубленных жизней, а когда смотришь на индустриализацию, то видишь обвиненных во вредительстве и репрессированных инженеров (интеллигенцию, которой так остро не хватает нашему обществу), а при взгляде на советского человека, сформировавшегося к 37-му году, поражает, как единодушно, за небольшим исключением, стал он одобрять то, что в этом году происходило. И вот — кто же мог эту новую мораль предвидеть, кто мог быть ее носителем? Конечно, писатели или поэты — пророки общества. Давайте посмотрим на наших пророков. Кто же из них тогда, в тридцатые годы, когда все это происходило, написал об этом? Почти никто и ничего. И тогда выясняется, что Осип Эмильевич Мандельштам, с его строчками

> Мы живем, под собою не чуя страны.
> Наши речи за десять шагов не слышны.
> Только слышно кремлевского горца,
> Душегубца и мужикоборца,—

стоит на первом месте. Спорить тут бессмысленно. Все споры в нашем обществе, как мне кажется, оттого, что у части общества поменялась мораль, а у части нет.

Вот я сегодня прежде, чем сесть за пишущую машинку, зашел в книжный магазин и открыл лежащий на прилавке сборник «Крылатая книга» Феликса Чуева. И прочел:

> Запомнилось так ясно и так чисто —
> и замполит с кулечком монпансье,
> И за победу тост, и за Отчизну,
> и тост еще, когда вставали все.
>
> Такая святость в душу мне вошла,
> такая сила наполняла душу,
> как будто я поклялся у стола,
> в клятвы той вовеки не нарушу.

72-го года стихи. «Тост еще, когда вставали все»,— это, очевидно, про Сталина. Можно было бы понять такие стихи, датируемые 45-м или 53-м годом. Но святость, вошедшая в душу при произнесении имени Сталина и сохранившаяся до 72-го года, несмотря на информацию о массовых репрессиях, позволяет сделать однозначный вывод: очевидно, это Феликсу Чуеву нравится.

Но вернемся к Мандельштаму. Как обстоят дела с возможностью его почитать? Его сборник, изданный в серии «Библиотека поэта» в 1973 году тиражом в пятнадцать тысяч и переизданный в 1979 году тиражом в десять тысяч, нынче стал такой редкостью...

Нет, странно, право, звучит высказанное на страницах «Советской культуры» С. Аверинцевым утверждение, что он встречал много «молодых людей, знающих Мандельштама и не знающих Пушкина,— а потому, конечно, не знающих и Мандельштама: у вещей отнимается их основа и точка отсчета, они лишаются смысла и связи». Охотно верю, что знать Мандельштама и не знать Пушкина — плохо, хотя это намного лучше, чем не

знать ни того, ни другого. Но где он нашел таких молодых людей в наше время, когда человек, желающий познакомиться с Мандельштамом, чаще всего просто не может этого сделать?

Еще пример: в 1985 году издательство «Художественная литература» выпустило двухтомник Пастернака. Тираж — сто тысяч.

«Гений поэзии XX века»,— сказал о нем на съезде писателей Андрей Вознесенский. Интересно, А. К. Толстой — гений поэзии XIX века? Да нет, наверное. Остроумный поэт, автор нескольких хороших стихотворений. А сколько раз издавался! А Я. Полонский, сборник которого сейчас лежит у меня на столе? Тоже, наверное, не гений. Но умный, милый поэт, тонкий лирик... Но почему же мы, так безошибочно издавая хороших поэтов давно минувших дней огромными тиражами (сборник Полонского издан тиражом пятьсот тысяч), так же безошибочно издаем собственных гениев тиражом как можно меньшим? И магазины наши завалены при этом сборниками поэтов, которые никто не берет. В чем же дело? Неужели в бесхозяйственности? Нет, в безнравственности!

Передо мной на столе лежит тридцать третий номер «Огонька» за 1986 год с дискуссией за круглым столом о книгах. Читаю предложения некоторых участников, и оторопь берет.

С. Лесневский, литературный критик: «...Собрания сочинений Андрея Белого, В. Хлебникова, Б. Пастернака, разумеется, не залежались бы на полках наших книжных магазинов, да и могли бы составить существенную часть советского книжного экспорта».

Значит, издать и продать за границу. Пророков сделать поставщиками валюты. Может, так и надо? Самое смешное и грустное, что с произведениями некоторых авторов примерно так и происходит. И ничего противоестественного С. Лесневский в своем предложении не видит. Скорее наоборот. А как уверенно назвал фамилии! Наверное, читал всех троих. Критик все-таки.

Вообще, самое грустное с нашими пророками происходит именно тогда, когда мы начинаем их узнавать. Мы превращаем пророка в дефицит и источник валюты. Это страшно. Ведь пророка можно читать украдкой, зная, что за это можно лишиться многого, как минимум материального благополучия, или его книгу надо покупать в магазине, зная, что все общество с легкостью делает то же самое! Но когда пророка покупают у спекулянта за пятьдесят рублей или достают по блату, он перестает быть пророком и превращается в средство помещения капитала. И он в этом не виноват. Что-то во всех нас есть такое, что нейтрализует нравственный заряд, содержащийся в книгах, которые мы читаем.

В вышеупомянутой дискуссии за круглым столом С. Лесневский произнес еще одну замечательную фразу: «...Видится, например, и магазин коммерческой книги, где любое дефицитное издание вы сумели бы приобрести по реально установившейся цене». Блестящая мысль. Интересно, что она неплохо воплощается в дело. Захожу недавно в «Старую книгу» и вижу, что перед продавщицей лежат два лениздатовских сборника Ахматовой 1976 года издания. Пораженный, спрашиваю, в чем дело. Оказалось, книга теперь стоит двадцать пять рублей.

И выходит, что если мы, воспитанные на красоте пушкинской поэзии, и слышим красоту поэзии нынешней, то, наверное, считаем, что всем слышать ее не надо.

Остается предположить, что, наверное, сама личность Александра Сергеевича притягивает нас к нему. Но и это еще под вопросом.

Хочу поделиться мыслями, которые вызвал у меня Вечер памяти А. С. Пушкина в Большом театре Союза ССР, посвященный стопятидесятилетию со дня его гибели. Собственно, не весь вечер, а одно выступление — поэта Бориса Олейника. Дело в том, что взгляды, им высказанные, как бы суммируют взгляды существенной части нашего общества на литературу и поэзию. Поэтому и хочется вступить в дружескую дискуссию. Но сперва процитирую: «...бытует расхожая формула: мол, поэт должен быть чуть ли не в постоянной оппозиции. Если за таковую принять мелкие обиды некоторых ординарных стихотворцев на то, что их не признают за Пушкиных, то — да, они были, есть и пребудут — в постоянной оппозиции ко всему талантливому. Что же касается Пушкина, то он просто не мог быть в оппозиции, поскольку за ним стоял народ. ...Если же Пушкин и шел не в ногу с обществом, то только потому, что в своем ясновидении обгонял на столетия рядом идущих. ...Но это исключительно прерогатива лишь таких национальных величин, как Пушкин, Шевченко, Мицкевич, Петефи да еще немногих. И уж никак не просто стихотворцев, пусть даже неплохих и разных, иные из которых то и дело меняют ногу в неоднократных попытках с ходу взять заветную вершину Парнаса...»

Подобные мысли, как мне кажется, просто опасны. Назван ограниченный круг великих поэтов, живших в XIX веке. А в XX веке поэты что — утеряли эту способность? А наши великие — Мандельштам, Пастернак, Ахматова? Сдается мне, и они шли впереди общества. А оно нещадно пинало их ногами. Может, нам надо завести такой принцип: как появляется поэт или писатель, которого мы все

пинаем, так ясно — он идет впереди. Тогда надо прекращать его пинать и начинать внимательно слушать. Впрочем, послушаем Бориса Олейника дальше: «...а иные, не утолив амбиций быть занесенными в список штатных единиц истории, даже оставляли берега родной Отчизны. ...Да и то сказать: истинные поэты никогда, даже при самых сложных обстоятельствах не пускались в бега. Ни Маяковский, ни Блок, ни Есенин, ни Пастернак, ни Твардовский, ни Ахматова, ибо они всегда осознавали себя живой частицей народа...»

«Не утолив амбиций» — это, наверное, и про нынешнего нобелевского лауреата по литературе Иосифа Бродского? Поразительная судьба! В юности ученик Анны Ахматовой. «Собирайте все его черновики»,— говорила она. В шестидесятые годы по злому умыслу осужденный за тунеядство и не по своей воле покинувший Советский Союз. «Не утолив амбиций...» Ну, ладно! Объяснять Б. Олейнику, что эмиграция 70-х была очень сложным и отнюдь не однородным явлением, в мою задачу не входит. Но что за тезис «истинные поэты никогда, даже при самых сложных обстоятельствах не пускались в бега»? Иван Алексеевич Бунин разве не истинный поэт? А Георгий Иванов? А Саша Черный? А Владислав Ходасевич? Марина Цветаева?

Когда прочитал речь Бориса Олейника, подумал, что у него обостренное или, точнее, своеобразное чувство патриотизма, и он в полемическом запале аргументы, подобные моим, просто не воспринимает. Но когда взял журнал «Вопросы литературы» № 3 за 1987 год, то расстроился. Оказывается, в киевских книжных магазинах иногда лежат по шесть сборников Бориса Олейника одновременно. И не раскупаются. Допускаю, что читатели просто не доросли до его поэзии. Но как ему удалось за короткое время шесть сборников-то издать? Ахматовой и Пастернаку, которых он гордо назвал, подобное и не снилось.

Вообще, мне кажется, что когда то один, то другой поэт начинает на страницах «Литературной газеты» жаловаться на снижение интереса к поэзии, то они не очень хорошо понимают ситуацию с читателями. Пишущие машинки — вот истинные враги поэтов, чьи сборники лежат нераспроданными в магазине! Мне как-то в руки попал сборник Мандельштама, отпечатанный на машинке в 38-м году. Может, ему место в музее. Да и в любое время у каждого любителя поэзии рано или поздно накапливаются папки со стихами Набокова, Ходасевича, Гумилева, Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Белого, Волошина, Бродского и так далее и тому подобное. Все это постоянно переписывается, перепечатывается, переснимается, переплетается, дарится, продается, учится наизусть, читается: про себя и вслух, наедине и в дружеской компании, любимой женщине и при первом знакомстве, жене, когда с ней миришься, и детям, когда они подрастают.

И любитель поэзии, «одурманенный» вышеперечисленными фамилиями, уже не воспринимает того, что продается в магазине. А стоит какому-нибудь неофиту захотеть прикоснуться к поэзии, как тут же появляется любитель поэзии со стажем и сует ему в руки на тонкой бумаге напечатанный, чтоб больше экземпляров получилось, какой-нибудь ахматовский «Реквием» или гумилевский «Огненный Столп». И погиб человек, пропал навеки для сборников, продающихся в магазине! Разве только, услышав лихорадочный выкрик — Кушнер, Ахмадулина или Жигулин, рванется к прилавку, сунет чек продавщице и убежит со свертком под мышкой. А вот если бы выжечь всю «набоковщину» каленым железом, ну тогда, конечно, дело другое. Но пойдут ли на это, не знаю. Время уже не то.

Самое, может, подходящее время задуматься: так ли мы любим поэзию, как надо?

Борис ЛИПИН

ОТКУДА БЕРЕТСЯ СЕРАЯ ЛИТЕРАТУРА?

Вопрос этот, поставленный в начале прошлого года на страницах «Литературной газеты» и вынесенный в заголовок статьи Т. Ивановой, не сходит со страниц периодической печати. Прямо-таки о болезненной его остроте говорит в первом номере журнала «Знамя» за этот год Ст. Рассадин. «Вторичность, эклектика, эпигонство» — представляются достаточно выявленными симптомами болезни. Обескураживающие факты, которыми оперируют авторы, подтверждая свои рассуждения, более чем убедительны. И все-таки внимательное прочтение и вышеназванных, и многих других статей оставляет чувство неудовлетворенности, порождает ощущение, что нечто главное постоянно остается за строкой. Этим главным, с моей точки зрения, является отсутствие социологического анализа того, что происходит с нашей литературой и, в частности, с поэзией, на протяжении нескольких уже десятилетий.

Серость, безликость, «эпигонизация» поэтического творчества как массовое явление, кажущаяся утрата критериев художественности, видимо, не только лите-

ратурно-критическая, но и социологическая проблема.

И если критика ныне «сбивается» на публицистику, почему бы не «сбиться» ей еще раз и не подняться, наконец, до уровня социологического анализа проблемы.

Мне представляется, что тезисно схема этого анализа могла бы принять следующий вид:

1. Ни одна страна ни на каком этапе своего развития не давала миру такой блестящей плеяды поэтов, как Россия начала нашего века.

2. В области культуры царизм был свергнут задолго до февраля семнадцатого года. Это существеннейший признак неизбежности и закономерности его краха. Но тогда на какой пьедестал мы должны поставить наших творцов?! Притом — с самой прозаической утилитарно-практической точки зрения.

3. Всю эту плеяду поэтов я бы назвал поэтической академией не только национального, но и мирового масштаба. В ее президиум я бы зачислил: Блока, Ахматову, Мандельштама, Пастернака, Цветаеву. (А какие еще имена рядом!)

4. После революции культура и, в частности, поэзия продолжали играть свою революционную роль. Надо подчеркнуть, что и президиум, да и академия в подавляющем своем большинстве, приняли революцию как свою.

5. В 20-е годы «бьющий весенним половодьем демократизм народных масс» начинает поставлять в литературу новые кадры. Иногда с феноменальной эффективностью (А. Платонов, «Сокровенный человек», 1926; Н. Заболоцкий, «Столбцы», 1929). Идет борьба старого и нового, сталкиваются и две культуры: культура русской передовой интеллигенции и зарождающаяся культура победившего народа. Столкновения этого не могло не произойти, потому что любая революция в отрицании отрицания всегда уходит дальше реальных возможностей.

6. К 30-му году (14 апреля застрелился Маяковский, но не только поэтому я поминаю 30-й год) новая культура, захлебывающаяся энтузиазмом созидания и восхищения мудростью своих вождей, при активнейшей их поддержке, полностью и, как ей казалось, окончательно победила. Победа эта оформляется на I съезде писателей.

Что к этому моменту происходит с президиумом нашей литературной академии? Блока не стало в 21-м. Ахматова с 22-го по 40-й не издает ни одной книги. Мандельштам — 28-й год — последняя книга, в 38-м погибает. Пастернак — с 31-го по 43-й ни одной новой книги. И так далее, с гибелью в 41-м Цветаевой, с исключением из членов СП Ахматовой и Пастернака.

Для того, чтобы представить себе, кто победил, если это не до конца ясно, полезно, как видим, посмотреть на тех, кто побежден, припомнив заодно и судьбу других наших академиков (Гумилева, Ходасевич, Заболоцкий...).

> За гремучую доблесть грядущих веков,
> За высокое племя людей
> Я лишился и чаши на пире отцов,
> И веселья, и чести своей...

Подумать только! Это написано в марте 31-го года. Реквием по российской словесности и пророческое провидение судьбы! А ведь до сих пор нет-нет и вычитаешь: «не понял до конца», «не нашел себя в новых условиях», «не осознал...». По Николаю I Пушкин и Лермонтов тоже «не осознали», и с ними обошлись не лучше, чем с нашими академиками. Только вот почему-то никак не припомнить кого-либо из тех 30—40-х годов, кто *все* понял и *все* осознал.

7. Вот тогда-то (в 30—40-е) и начинает складываться эпоха «серости», тщательно отрабатывается методологический и методический аппарат насаждения бездарности. «Выверяется» тематика победившего социализма, его положительные герои, мажорно-оптимистическая ее тональность, фанфаронство, необходимость ежедневно, каждой строкой доказывать: я свой, свой в квадрате, свой в кубе, самый сознательный, самый передовой, самый моральный, самый, самый, самый... А какой формируется издательский аппарат! А какой корпус погромщиков, именующих себя критиками!

Можно, оглянувшись, сказать: плохие литераторы, плохие критики, плохие издатели и редакторы. Нет. Нельзя этого говорить. Это была замечательная, может быть, по тем временам лучшая в мире машина, сознающая свою цель и умеющая ее достигать. Четверть века ее бесперебойной работы не могли не дать своих плодов.

8. Далее все уже хорошо знакомо и свежо в памяти. Всплеск конца 50-х — начала 60-х годов, а потом тихое сползание новыми методами к тому же, к серости. Хотя здесь не все, разумеется, уже так просто, ибо в этот же период в полный голос заговорили «молчальники» Тарковский и Самойлов, а рядом — Окуджава и Высоцкий, Рубцов, Ахмадулина, Кушнер. Наверно, можно назвать и кого-то еще. Но это *мои* поэты, и я говорю прежде всего о них. И для последних тридцати лет это вовсе не мало. Но рядом с этим — ширящийся, набирающий мощь и заглушающий эти голоса поток серости.

Вот по такой примерно схеме я начал бы анализ проблемы «откуда берется серая литература», насытив этот социально-исторический фон примерами высочайшей доблести одних и поражающей низости других.

Тут, пожалуй, самое время вспомнить

еще один вопрос, поставленный Т. Ивановой в «ЛГ». «Виноваты ли писатели, что серые книги выходят в изобилии?» — спрашивает она и отвечает: «Право, не виноваты». Виноваты, с ее точки зрения, издатели.

Действительно, если все свалить на издательское дело, а еще лучше на эпоху, то автор ни в чем не виноват. В конце концов он выдавал то, что от него требовали или что пропускали в печать. Любые отклонения пресекались, а жить было надо. При этом предполагается, что он все же оставался честным человеком и что-то писал «в стол». Стоит прогнать негодяев-редакторов, он вытащит из стола свои шедевры и обогатит ими нашу литературу. Судя по тому, что творится сейчас в нашей периодике, момент этот наступил. Но думаю, многие из нас достаточно хорошо представляют, что лежало и лежит, и в чьих столах. В остальных же — серые мышки грызут серые рукописи, аналогичные уже опубликованным. Почему? Да потому, что нельзя год за годом и десятилетиями продавать перо и душу и оставаться при этом творцом.

Да, литераторы наши почти шесть десятилетий существуют в шварцевской ситуации. Помните, как у него один министр, понимающий коллегу с полуслова, говорит об их общем противнике: «надо его или ку или у». А вот черная шутка одного ленинградского писателя. В разговоре об А. Кушнере он заявил: «что тут рассусоливать? Его надо убить, издать в большой серии „Библиотеки поэта“ и изучать. А то мы так и не узнаем, что он классик».

Короче — нет у нас условий для рождения больших поэтов. Откуда же они тогда берутся — большие? Очень просто — они играют, как это и было всегда с подлинными творцами, в свои игры, зная, на что идут и какую цену придется за это заплатить, а на знамени их написано: честь и совесть.

Неудобные это люди для редакторов и для тех, кто на один, два, три этажа их выше. А неудобных людей не только принято держать в тени. Иногда им надо, как известно, грозить пальцем. И тут высовываются уваровские уши. То Вл. Бушин в двух номерах журнала «Москва» пытается опорочить Булата Окуджаву, то П. Ульяшов порочит в «Правде» Александра Кушнера, то Т. Глушкова, потеряв чувство меры, честит Беллу Ахмадулину. Неймется погромщикам и сейчас. «Наш современник» прямо-таки названием своим напоминает — жив курилка! — и предоставляет свои страницы то В. Васильеву, то В. Кожинову, договаривающимся просто до удивительных вещей.

Так уж получается, что лучшие из лучших всегда у нас в чем-то виноваты. Не в том ли, что не способны писать «серость»? Куда же отнести тогда тех, кого Т. Иванова причисляет к невиноватым? Скорее всего их надо отнести к «неписателям». И если бы наша литература за последние 60 лет не утратила критериев художественности, такими бы они и считались — натурализованными графоманами. (Вот бы где ввести госприемку — в Союзе писателей.)

Слишком для многих это обернулось бы подлинным крахом. Делать, однако, что-то надо. Почему бы, скажем, не порассуждать на такую вполне невинную тему: «не в том ли суть перестройки, что мы все обязаны очнуться, взять себя в руки и вспомнить свои основные права?..» (Т. Иванова).

Конечно, призывами к совести кому-то, видимо, можно помочь перестроиться. Однако психологическая механика здесь слишком сложна. Ведь речь идет о перестройке общественного сознания, а оно, как известно, при относительной самостоятельности определяется все-таки общественным бытием. Призывами здесь делу не поможешь, нужна серьезная экономическая и политическая перестройка. Она уже началась. Но необходимо, понятно и идеологически перестроенное прямое воздействие на общественное сознание, исходя опять же из классического понимания того, что идея, овладев массами, становится материальной силой и сразу сегодня вооружает здоровую часть общества.

Чтобы работа эта была плодотворной, надо достаточно четко представлять себе ряд моментов:

1. Какова цель психологической перестройки? Точнее — модель, структура того сознания, которое представляется нам необходимым.

2. Что представляет собой то сознание, которое необходимо перестраивать? Кто является социальным носителем этого, не устраивающего нас, сознания?

3. Каковы социальные корни явления, ставшего тормозом общественного развития?

Понятно, кратко ответить на эти вопросы нельзя. Но, решившись порассуждать, я бы обратил внимание на следующее.

В 1928 году в Союзе насчитывалось 77,8 % крестьян, в 39-м — 49,8 %, в 75-м — 17,1 % («Социология и современность», М., 1977, т. I). Сейчас что-то около 12 %. Куда они делись — крестьяне? Если они пришли на завод, статистика зачисляет их в рабочие. Если получили специальное или высшее образование — в служащие, которых почему-то кое-кто отождествляет еще и с интеллигенцией. Социологический мой опыт показывает, что едва ли это правомерно. Мне представляется, что полноценным членом новой для него социальной группы мигрант становится лишь в третьем поколении. До того я склонен считать его «деклассиро-

ванным» элементом, то есть человеком, утратившим корневые связи со старой социальной группой и не обретшим еще их в новой. Это категория людей, не имеющих устойчивых социальных ценностей, а потому подверженная любым влияниям. Социально эта категория чрезвычайно разнородна. В ней могут оказаться и академик Рядно (Дудинцев, «Белые одежды»), и последний бомж. Это — вся совокупность деидеологизированных элементов. Выяснить типичные черты этой социальной группы было бы очень важно, потому что именно здесь «участники сопротивления» будут черпать свои силы.

Таким образом, социальные корни явления я вижу в раскрестьянивании, в затрудненности, стихийности адаптации к городскому образу жизни, в длительности процесса освоения подлинных социальных ценностей (при том, что к ним еще и не всех допускают), а социальным носителем явления полагаю «деклассантов», в той трактовке, которая дана этому понятию выше.

Этот вывод, кроме того, означает, во-первых, что далеко не всем надо перестраиваться, многим просто не надо мешать работать и ответственно делать свое дело; во-вторых, что общество наше имеет здоровое ядро, которому вполне по силам намеченная перестройка. Подъем, который переживает страна, дает тому достаточно примеров.

Какой же в связи с вышесказанным представляется идеальная модель перестроившегося сознания?

Возможно, в идеале мы должны были бы получить следующее:

1. «„Квантом“ масштабов футурологического мышления каждого человека ныне должен быть масштаб Земли в целом». (Академик Б. Раушенбах в «ЛГ».) Хорошо и подробно об этом: Аурелио Печчеи, «Человеческие качества».

2. Философия перестроившегося человека — это гуманистическая философия, базирующаяся на понимании того, что высшей ценностью нашего социального бытия является жизнь, а право на жизнь — высшее человеческое право. Следовательно, прямое или косвенное покушение на жизнь или здоровье человека должно рассматриваться как самое тяжкое преступление.

3. Существенным элементом новой философии должно быть понимание самоценности личности, осознание ответственности за саморазвитие как главный атрибут смысла жизни — ответственности за социальную реализацию заложенных в нас природных потенций.

Вот, по-моему, какова идеальная модель психологической перестройки. Для литературы, литературоведения и критики здесь непочатый край работы. И первое, что надо сделать,— это вернуть народу его литературную академию, изжить фарисейское дозирование культуры.

Сегодняшние литературные события возвращают многих из нас ко времени конца 50 — начала 60-х годов, заставляя сравнивать, искать параллели.

Вот, однако, что странно. Вспоминая этот период, с ностальгической настойчивостью опять и опять твердят о «поэтическом буме» (в том числе и Ст. Рассадин в своей статье). А «поэтический бум» увязывают прежде всего с торжеством «эстрадной поэзии», стало быть, в первую очередь с именами Окуджавы, Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной и Рождественского. Свидетельство тому, кстати говоря, и небезызвестная публикация в «Огоньке», подчеркивающая особую роль нынешних 50-летних (отнесем по необходимости к ним и Б. Окуджаву) в русском общепоэтическом процессе.

С моей точки зрения, все намного сложнее и с чисто практической и, тем более, с социологической точки зрения.

Да, в начавшемся тогда культурном перевороте литература играла особую роль, авангардную роль, которую она всегда и должна играть в культурном процессе. Однако речь здесь вовсе не шла о первостепенной роли молодой поэзии. На поднимаемом черноземном пласте это была всего лишь зеленая травка. Не будем забывать, что были еще живы Н. Заболоцкий, Б. Пастернак, А. Ахматова, И. Сельвинский, что вышли из подполья и бесстрашно пошли по рукам перепечатанные на машинке О. Мандельштам, М. Цветаева, К. Бальмонт, А. Белый, М. Волошин, Н. Гумилев и другие. Вернулись и прозаики (и какие прозаики!) — И. Бабель, А. Платонов, М. Булгаков.

Десятки имен, которые нельзя было не освоить, если уж осознал себя человеком, дала нам западная литература: Вийон — Бодлер — Апполинер, Хемингуэй — Фицджеральд — Сэлинджер, Моэм — Моруа — Сартр, Кафка — Ремарк — Бель, Мачадо — Лорка — Альберти и так далее и тому подобное.

А еще было открытие французского импрессионизма, итальянского неореализма, философии экзистенциализма, новых психологии и социологии. Из многообразия этих влияний и складывался культурный переворот, породивший необратимые эстетические и этические явления, которые не в силах был уже задушить никакой период застоя.

Возникло новое социальное движение. Кто-то приобщался к нему, превращая внешнее преображение в преображение внутреннее, рождая ветер, а кто-то подхватывался этим ветром, как «мусор», и отставал от него, занесенный в тихие уголки, чтобы остаться там навсегда. Больше всего «мусора» нес с собой как раз ветер «эстрадной поэзии», требовавший минимума душевных сил и максимума экзальтации. И — будем честны — тем, кто серьезно осваивал новый культурный пласт, некогда было гоняться за «эстрадниками», а тем, кто за ними гонялся, некогда было осваивать новый культурный пласт. Эти последние в новом своем обличии сейчас осваивают разновидности рок-музыки.

И когда я слышу о кризисе поэзии и еще раз перечитываю прямо-таки страшные слова Ст. Рассадина («вторичность, эклектика, эпигонство — они-то и есть эстетический аналог безвременья, его застойный стиль, обернутый глазами назад»), я невольно думаю — о чем это? Какое это имеет отношение к поэзии? Или были в России времена, когда истинная поэзия торжествовала над эпигонством? Или мы забыли, с кем конкурировали, и небезуспешно, Бенедиктов, Северянин, Асадов?

Стоит ли драматизировать ситуацию?

Давайте подойдем к поэтическим полкам не писателя и поэта, не литературоведа и критика, а к полкам домашней библиотеки истинного ценителя поэзии. Много ли животворящих членов СП обнаружим мы на них? Сколько ни считай, а трех-четырех рук хватит. Остальных-то вроде бы как и не было и, добавим, не будет. Зато есть другие. Сколько их? Три, четыре сотни? Классика — наша и зарубежная. О каком кризисе можно говорить, когда вот они — живее всех живых — Пастернак, Мандельштам, Заболоцкий, Ахматова, Цветаева — современники, которых предстоит еще открывать огромному кругу наших читателей, в том числе молодым, правда, если им опять не помешают это сделать наши издательства.

Не в кризисе дело, не поэзия больна — и не такое видела она на своем веку, а сама постановка литературного дела, которое именно сейчас, в период перестройки, не может удовлетворить нормального человека.

«Серость» способна воспроизводить только себя. Подлинный талант независим. Другое дело, каким образом «серость» захватила в литературном деле командные высоты, почему именно она определяет «кому быть живым и хвалимым, кто должен быть мертв и хулим...». В этом-то вопросе и должен быть наведен порядок. Трудно это сделать? Да, очень. Потому что «серость» организованна, воинственна и агрессивна — это условия ее выживания и воспроизводства. Однако направления борьбы с нею достаточно ясны.

Во-первых, необходимо лишить ее возможности экономического господства, а именно: диктат производителя макулатуры заменить диктатом потребителя литературы, как это сделано во всем мире.

Во-вторых, нужна принципиально новая пропаганда лучшего, что есть и в классической, и в современной поэзии. Нужна, если хотите, депрофессионализация литературоведения и критики, необходим их поворот к самому широкому читателю. Кто же из понимающих будет спорить с утверждением, что поэзия — чудо? Почему же забываем мы о том, как неимоверно труден путь к этому пониманию?

А. ПРОХВАТИЛОВ,
социолог,
кандидат экономических наук

Владимир КАВТОРИН:

Я думаю, то, что мы собрались за «круглым столом», чтобы обсудить читательские письма, нынче никого удивить не может. За последние год-полтора мы привыкли, что вполне незаметный прежде отдел редакционной почты во многих журналах стал едва ли не самым интересным. Зачастую именно с него начинаем мы чтение свежего номера.

Но все же мне хотелось бы сказать пару слов о том, чем привлекли редакцию «Невы» письма Б. Липина и А. Прохватилова. Вовсе, разумеется, не бесспорностью и взвешенностью высказываемых в них суждений. Я, например, не могу разделить взгляда социолога А. Прохватилова на литературную борьбу конца двадцатых — начала тридцатых годов как на столкновение «культуры русской передовой интеллигенции» и «зарождающейся культуры победившего народа». Столкновение совсем иных сил отразила, по-моему, эта борьба! Да и в некоторых других случаях авторы писем обнаруживают, увы, поверхностно-дилетантский подход к серьезным явлениям.

Но! Проигрывая профессионалам в основательности и взвешенности суждений, они, по-моему, явно опережают их в широте и свободе мышления, благодаря которой прорываются к самым главным, сущностным вопросам, поставленным в повестку дня самим ходом сегодняшнего развития литературы, да и общественной жизни в целом. Если позволите, я бы выделил некоторые из них.

«Так ли, как надо, мы любим поэзию?» — спрашивает Б. Липин. Не разладилось ли нечто в самой глубине, в самом механизме взаимодействия, взаимовлияния, диалога литературы и общества?

Если разладилось, то когда и почему? Каковы исторические причины этого разлада? Что именно мешало (и что мешает) нормальному развитию этого диалога?

«Что-то во всех нас есть такое, что нейтрализует нравственный заряд, содержащийся в книгах, которые мы читаем...» Это несомненно так, но что именно? Вос-

ходит ли это «что-то» к тем же причинам, что породили и разлад в диалоге писателя и общества, или же мы сталкиваемся здесь с принципиально иным явлением?

Что и когда позволило потоку «серой» литературы набрать столь ощутимую мощь? Достаточно ли для борьбы с ним простого улучшения издательской и журнальной деятельности или же здесь действительно необходима глубокая перестройка всех механизмов литературной жизни, на чем настаивают читатели?

Должен оговориться, что, выделяя именно эти вопросы, я, разумеется, ни в коей мере не хотел бы как-то ограничить тех, кто в лежащих на нашем «круглом столе» письмах разглядел проблемы иные, быть может, более важные... Прошу!

Игорь СУХИХ:

Начну с цитаты. Поэт и критик Л. Озерова открыл свою брошюру о поэзии середины 60-х годов наглядной картинкой: «человек любит читать стихи. Пристрастился к поэзии. Вот он пришел в книжный магазин. Что нового?.. Собрание сочинений Блока в восьми томах... Пятитомник Асеева, Каролина Павлова и Тициан Табидзе в Большой серии „Библиотеки поэта". Новые книги Щипачева и Сельвинского, Шефнера и Белинского, Винокурова и Ваншенкина, Вас. Федорова и Гордейчева, Тушновой и Семынина... Любитель поэзии выбирает книгу по своему вкусу, на свой страх и риск». А чтобы показать, что выбор «любителя» часто бывает несправедлив, далее следовал «Разговор книгопродавца с поэтом» образца 1966 года. Читатель сетовал в книжном магазине на отсутствие хорошей поэзии, книгопродавец ссылался на издателей, а оказавшийся поблизости поэт просил снять с полки нераспроданные еще «Стихотворения и трагедии» И. Анненского (1959) и «Стихотворения» Н. Заболоцкого (1957). Мораль: прекрасная поэзия может не расходиться.

И на первый взгляд сегодня отношения между поэтом, книгопродавцем и читателем похожи на 1966 год. На прилавках множество поэтических сборников, а читатель жалуется, что купить нечего. Издательства сокращают тиражи, а возмущенные стихотворцы (статьи такого рода появлялись в прошлом году в «Литературной России») ссылаются на плохую пропаганду поэзии и на низкий читательский вкус.

Однако по сути ситуация сегодня иная. Читателя современного, мне кажется, не надо учить, открывать ему глаза... Пришедшие в редакцию «Невы» письма — тому доказательство. Круг читателей поэзии в целом, конечно, меньше, чем почитателей телевизора, детективов или даже серьезной прозы. Но это, по моим наблюдениям, очень квалифицированная и хорошо знающая, чего ей нужно, аудитория. Я бы даже рискнул утверждать, что практически ничего из публикующейся интересной поэзии не остается незамеченным (другой вопрос, все ли интересное находит дорогу к печатному станку).

Ситуация с лежащим десять лет на прилавке сборником Заболоцкого сегодня просто невообразима! Причем это касается не только всегда дефицитных изданий русской классики, поэзии Ахматовой, Пастернака... Даже первая или вторая поэтическая книжка каким-то непонятным образом (когда еще появятся критические статьи?) может стать предметом напряженного читательского интереса.

И в то же время поэзия расходится с трудом — это тоже правда. Почему? Сама наша жизнь ставит своеобразный социологический эксперимент. Можно было бы провести интересное исследование под названием «Две витрины».

В Ленинградском Доме книги, недалеко от редакции, где мы сейчас беседуем, есть отдел поэзии, один из самых крупных в городе, а может, и в стране. Достаточно взглянуть на десятки, сотни нераспроданных книг — тонких брошюрок, почтенных однотомных и даже двухтомных «избранных»,— чтобы стать пессимистом и потребовать сокращения тиражей. Но ведь мы читаем не поэзию вообще, а книги отдельных *поэтов*. Еще ближе, на Мойке, есть другой магазин — книгообмена, где поэтические сборники Тарковского, Окуджавы, М. Петровых обменивают на самые ходовые детективные «боевики».

Вот эти две витрины и есть картина современной поэзии. Как и во многих других областях, читатель ищет одно, а ему предлагают совершенно другое (причем в это «читатель» входят и сами поэты: А. Кушнер писал как-то, что на многие книги товарищей по перу не делают заказы даже в Лавке писателей). Если бы каким-то образом мгновенно превратить залежавшиеся в Доме книги поэтические сборники в те, которые ищут и обменивают на Мойке, магазин в один день выполнил месячный или даже квартальный план.

В такой непростой ситуации критика поэзии (я ее люблю и много читаю) все-таки часто предъявляет «гамбургский счет» не по адресу. О ком в последние годы писали наиболее строго? О Ю. Кузнецове, Кушнере, Вознесенском, Мориц, Ахмадулиной... Поэты, к которым можно относиться по-разному. Но не признавать, что каждый из них имеет свое лицо и своего читателя, кажется, нельзя.

Однако рядом, подобно «теневой экономике», существует «теневая поэзия». Она бурно издается, кем-то рецензируется, бывает, даже награждается, оседает на прилавках и... продолжает издаваться. Серьезная критика поэзии присматривается к ней редко (только недавняя статья Ст. Рассадина в «Знамени» обнадеживает). В свое время меня поразил вышедший в библиотеке «Огонька» под редакцией прежнего редактора журнала А. Сафронова сборник стихов А. Маркова. Вот «кварты» (авторское обозначение жанра) из этой книги: «Ему залезли в рот оглоблей и говорят, что он озлоблен», «Пусть лезут выше обезьяны,— видней срамные их изъяны». На таком же уровне — и большинство других, более длинных стихотворений. Готовясь к сегодняшнему разговору, я заглянул в каталог университетской библиотеки. Оказывается, А. Я. Марков издал тридцать шесть книг, в том числе несколько «избранных» (в последнее, двухтомное, входят и «кварты»). Больше, чем Чухонцев, Кушнер и Ахмадулина вместе взятые!

Так что — отвечая на вопрос, заданный Кавториным,— я не вижу разлада между современной поэзией и читателем. Читатель с этой поэзией скорее разлучен, причем по обстоятельствам анеэстетическим.

Недавно на одной из лекций С. С. Аверинцеву задали вопрос: «почему лишь теперь вспомнили нашу культуру начала века и 20-х годов?» Он ответил: «вот с такими формулировками я не могу согласиться. Я бы переформулировал вопрос: почему лишь теперь разрешили вслух вспомнить? Или: поблагодарим за то, что разрешили вслух вспомнить. Все время были люди, которые помнили. Другое дело, насколько их при этом выслушивали».

Но так обстоит дело и с поэзией более поздней, со всей литературой. Ведь только сегодня нам разрешили прочесть «старых новых» Смелякова, Слуцкого, Окуджаву, Ю. Домбровского... Слишком много шло у поэтов «в стол». А свободное место заполняла «серая» (скорее — просто «никакая») литература. Соревновательность талантов подменялась должностной (издательской) иерархией.

Существуют, конечно, и серьезные общественные причины, которые «нейтрализуют нравственный заряд». Духовная сосредоточенность, особенно необходимая для восприятия искусства — редкий гость в сегодняшней нашей жизни. Нервная очередь или переполненный вагон метро — не самое лучшее место для чтения стихов.

И все же, повторю, многочисленный, преданный и требовательный читатель поэзии, мне кажется, существует. Загляните хотя бы в первый номер «Литературного обозрения» за этот год. Как тонко «читатель и почитатель Окуджавы» (так он представился) Р. Чайковский пишет о «своем» поэте, как пристально он следит за критикой, как профессионально спорит с ней, надеясь видеть «профессиональную точность, выверенность и убедительность оценок».

Как же облегчить такому читателю (всем нам) путь к нужной книге, чтобы больше времени тратить не на «доставание», а на само чтение? Не говорю о глобальных планах перестройки издательского дела, хозрасчете, кооперативных издательствах... Есть вещи более простые и очевидные.

В прошлом году на основании мнений читателей «Книжное обозрение» опубликовало список книг, пользующихся наибольшим спросом. В него в основном попали авторы, произведения которых получили в последнее время большой общественный резонанс — Рыбаков, Бек, Платонов, Дудинцев... Книгам этим будет дана «зеленая улица». Они издаются вне очереди и большими тиражами. Но из поэтов в этом списке значится лишь А. Т. Твардовский. А если бы провести специальный опрос среди любителей поэзии? Сразу бы стало ясно, «кто есть кто», чьи книги прежде всего ждет читатель.

Если же говорить о поэзии начала XX века, о советской классике, наиболее простым и безболезненным решением было бы издание хрестоматии максимально большим тиражом. Такая книга может в значительной степени утолить читательский голод и нанести серьезный удар «черному рынку». Только строиться она должна, в отличие от соответствующего тома «Библиотеки всемирной литературы», с учетом реальной издательской ситуации. Если в такой книге не окажется (или окажется очень немного) стихов В. Маяковского или С. Есенина, это будет лишь признанием того факта, что их сочинения *уже вошли* почти в каждый дом. Свободная подписка на Маяковского уже проведена, вскоре будет объявлена она и на Есенина. До Ахматовой же или Мандельштама дело дойдет еще не скоро.

Подъем, расцвет поэзии, как и искусства вообще, нельзя декретировать. Создать же для него условия, облегчить путь настоящей поэзии к читателю возможно и необходимо.

Яков ГОРДИН:

Собственно, оба читательские письма, сильные простотой и искренностью, толкуют об одном — крушении критериев. Проблема многоаспектна. Я попробую рассмотреть один из аспектов.

В отличие от, например, экономики, литература — явление, так сказать, природное, естественное. Экономика управляема — с учетом, разумеется, ее собственных законов. Тут можно пробовать различные модели.

Культура вообще и литература в

частности не терпят никакого моделирования. Как и природа.

Сегодняшняя сбитость критериев происходит оттого, что литературе давно уже навязывают *неорганичное* существование. Ее жестко включили в административную систему. Литература воспринимается уже не как явление человеческой природы, а как некое учреждение — с иерархией, основанной на мнимой функциональности. Отсюда — искаженное самосознание писателя. Отсюда — искажение взаимоотношений триады: писатель — издатель — читатель. Именно то, что справедливо, ужасает Б. Липина и А. Прохватилова.

Пушкинское: «цель поэзии — поэзия» — не проповедь искусства для искусства, а высокое понимание автономии литературы. И автономия эта есть залог ее подлинного, а не вынужденного единения с жизнью общества и каждого человека. Литература может оказывать мощное раскрепощающее влияние на человеческую душу, только существуя по собственным *органичным законам*.

По самой своей сути «призыв ударников в литературу» был трагической ошибкой. «Призыв в литературу» может звучать «с небес», а не с трибун.

Б. Липин умно и кстати вспомнил о Пушкине, о его сегодняшней судьбе. Это превосходный пример того, как самому органичному человеку нашей культуры навязывают предельно неорганичное существование. Грохот юбилея 1937 года, конечно же, был не случаен. Сталину было глубоко наплевать на Пушкина, как и на всю остальную классику. Пушкинский юбилей, рейд «Челюскина», дрейф папанинцев — нужны были кумиры, система отвлекающих маневров. Не случаен и истерический культ Пушкина в 70-е годы.

Пушкина теперь полагается обожать, в это очень удобно. Обожать можно, не читая. И, тем более, не думая. Относительно обожания Ахматовой, Пастернака, Мандельштама никаких установок нет. Их надо читать. Чтение это дает пищу для размышления и душевной работы. А вот это удобно не всегда и не для всех.

То, что именно Пушкин выбран в короли массовой культуры по отделению поэзии, то, что его семейная жизнь — святыня для него! — выбрана сырьем для вульгарных спекуляций, то, что его личность и общественная позиция корыстно перетолковываются в зависимости от плоской конъюнктуры, свидетельствует об искажении представлений в литературе-учреждении. Разумеется, это — одна сторона проблемы. Есть и другая — спрос стимулирует предложение.

Помните?

...Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу,
И сердцу девы нет закона.
Таков поэт: как Аквилон,
Что хочет, то и носит он —
Орлу подобно, он летает
И, не спросясь ни у кого,
Как Дездемона избирает
Кумир для сердца своего.

Пушкин был не только великим поэтом, но и великим мыслителем. Он знал — объективные условия существования литературы в обществе есть, но они столь глубоки и особенны, что обнажать их и воздействовать на них — безумие.

Распорядители нашей литературы, клянясь в любви к Пушкину, не желали и не желают слушать его. Я говорю не о грубом командовании, но о принципиальном непонимании природы поэзии. «Мы в легионы боевые связали ласточек...» Ласточки от этого вырождаются.

Поэзия, как и вообще культура, нуждается в свободе развития. Я имею в виду не политическую безответственность, но возможность жить по собственным, только поэзии свойственным законам. Хотя это отнюдь не всегда легко и приятно. Свобода быть любимым и популярным и свобода быть непонятым и отвергнутым — равновелики по значению. В условиях органичного существования поэзия — смертельный риск. «Строчки с кровью убивают...» Разного рода творческие подстраховки, любой искусственный режим благоприятствования так же опасны для литературы, как и грубое давление. Литература должна жить *естественной жизнью*.

Кому быть живым и хвалимым,
Кто должен быть мертв и хулим,
Известно у нас подхалимам
Сиятельным только одним.

Суть здесь не в том, что происходит административная несправедливость, а в том, что «сиятельные подхалимы» присваивают себе знание, которое никому принадлежать не может — ни персонам, ни группировкам.

Все это имеет прямое отношение к популярному нынче вопросу — «откуда берется серая литература?» Берется-то она оттуда же, откуда и всегда бралась. Тут нет никаких роковых тайн. Серая литература берется из серого сознания и серым сознанием востребуется. Но вот что любопытно — ни в прошлом веке, ни в первой трети века нашего не было *проблемы* серой литературы, хотя сама она имелась. Но она находилась *вне* настоящей литературы и потому никого особенно не тревожила. Хочешь — читай, не хочешь — не читай. Естественная ситуация.

В последние же десятилетия, когда литература-учреждение властно консолидировала всю письменную «художественную» культуру, любая имитация литературы оказалась включена в подлинный процесс. И повела себя агрессивно, ибо это непременное условие выживания в чуждой среде. Это все равно, что проглотить живую крысу. Она начинает пожирать проглотившего изнутри. Неприятный образ? А если представить себе близко к реальности муки затравленного Зощенко, загнанного в смерть Пастернака, оставленного без куска хлеба Платонова, задыхавшихся без читателя Марию Петровых и Тарковского — приятная картина? Травлю Зощенко, кстати, начал не Жданов, а писатель Вишневский. Так же, как травил он при помощи политических обвинений Булгакова и Мейерхольда...

Значит ли все это, что в естественной жизни поэзии наличествуют иные и безусловные критерии? Нет, разумеется. И здесь должна быть своя свободная игра. Различные группы людей с различным не уровнем даже, а типом сознания имеют право на *свою* поэзию, *свою* литературу. Николай Бестужев, честнейший человек, считал, что Бенедиктов умнее Пушкина при равных достоинствах стиха.

Формирование критериев, как и все остальное, должно происходить *естественно*. Вот в чем суть. Различные группы читателей должны иметь возможность свободно поддерживать — морально и экономически — *своего* писателя. А уж какого... Каждый читатель — в нормальной ситуации — имеет того писателя, которого заслуживает.

Связь между писателем и читателем осуществляется все же при помощи типографского станка, а не пишущей машинки. Но даже самые «передовые» сегодня издательства, с самыми разумными руководителями и достойными редакторами запрограммированы на литературу-учреждение, а не на литературу-стихию. Они вынуждены издавать многое из того, что издавать не хотели бы. Они работают а общей для всего процесса ситуации «назначенных писателей», в условиях мистифицированного писательского и читательского сознания. И никуда им пока еще от этого не деться.

Возвращение к органике, к естественному — что вовсе не означает безоблачности! — течению литературы возможно сегодня только через кооперативные писательские издательства, не регламентирующие литературный процесс, не навязывающие ему свои требования, но ориентированные на его требования. Об этом уже не раз писали. Тогда и критерии появятся — сколь точные, столь и разнообразные,— тогда постепенно возникнет не просто оформленный в словах, но закрепленный в сознании механизм извлечения уроков из трагедии литературы, о чем справедливо печется А. Прохватилов.

Я говорю, разумеется, не о «метафизическом» уровне проблематики и не пытаюсь охватить весь комплекс бытовых проблем. Я исключил из рассмотрения, например, вопрос о физическом и экономическом терроризировании литературы, ибо здесь не о чем дискутировать. Вряд ли кто-либо станет утверждать, что писателей, которые не нравятся сиюминутным власть имущим, нужно убивать или отправлять в лагеря. А ежели такие монстры и найдутся, то их все равно не убедить.

И кооперативные издательства — не панацея. Но это наиболее радикальный вариант *начала*. Начала возвращения литературы к ее нормальному состоянию.

Нам говорят — нет полиграфической базы. Оставьте это кооператорам. Они найдут. Бумаги нет? А вы не издавайте в очередной раз собрание сочинений пламенного сталиниста В. Кочетова, книги которого и так имеются в огромном количестве. Это же Монблан бумаги. И так далее... Стоит всерьез захотеть.

И еще — литература создается писателями и читателями сообща. И если читатели хотят перемен, они должны бороться за них с той же мерой ответственности, что и писатели. Как это делают Б. Липин и А. Прохватилов.

Анатолий ПИКАЧ:

Давайте уясним, в каком смысле есть нужда бороться с серой литературой? Всегда были и будут дарования сильные и рядом — скромные, по отмеченные подлинностью. Их тоже надо ценить. Есть и вовсе бледные, но с искренним голосом. Их впору жалеть. Всегда были и пародийные тени — бессмертный граф Хвостов.

В чем новизна ситуации? В былом — сотенные тиражи, а мы живем по законам массовых чисел. С революцией хлынула неслыханная масса жаждущих слова. И она с неслыханным же размахом тиражируется. Дело не в том, что, наряду с выдающимися произведениями, в литературу и искусство хлынула масса серости — слабого во все времена было больше, но в таком потоке оно утопило подлинное.

Бороться с бледным дарованием не нужно. А вот укрощать лавину надо. Бороться с серой литературой, захватившей власть в издательском аппарате и породившей конъюнктуру, нужно безотлагательно. Как раз сегодня.

Нужно выиграть тяжкий бой с «диктатом троечников». Частично обновить кадры и целиком перестроить издательский механизм, регулирующий отношения писателя и читателя, породивший разлад в этих отношениях. Не выправив механизма, мы с этим разладом не покончим. Но, выправив его, мы не покончим с раз-

ладом автоматически, ибо искривление, им порожденное, ушло в толщу общественной психологии.

Придется с обеих сторон заново учиться здоровому контакту. Прежде всего надо в целом вернуть доверие к литературе как хлебу пасущному. Здесь сразу же возникнут новые проблемы. Удовлетворить естественный читательский спрос, но не плестись у него в хвосте, без насилия и диктата наращивая его духовный потенциал.

Но как это сделать? Вот уже не только Пикуль, но и Пастернак выйдет миллионным тиражом. И все? Издатели свое дело сделали, и вот тут начинается самое сложное в отношениях писателя и читателя.

Сейчас интерес, к примеру, к имени Пастернака для большинства носит характер престижной манифестации. Оно, как и ряд других воскрешаемых имен, эмблематично. Так плохо или хорошо в таком случае — миллионный тираж? Замечательно! Пусть девять десятых читателей уйдет в отсев разочарованных, но стихи станут доступны за пределами читательской элиты, к которой относятся и авторы обсуждаемых нами писем. Обретение стотысячного читателя — это неслыханное «хождение в народ» и вхождение в народ, о чем мечтал Пастернак.

Ведь Пастернак «элитарен» не по культурному цензу, а по особому типу мировосприятия, «поэтического глаза». Читателю высочайшей квалификации он может оказаться довольно далек. И тогда Горький предпочтет Пастернаку Ходасевича, Набоков ироничесни низведет его до бенедиктовщины, а блистательный знаток поэзии Лидия Гинзбург так и не возьмет в толк, почему именно «Сестру мою жизнь» считают вершинной книгой поэта...

Зато я встречал немало читателей «из низов» — да я и сам по генезису оттуда,— которым он оказывался органично родственным по мироощущению. Это лишь один пример, но каждому поэту предстоит долгая ассимиляция в читательской толще. Это и есть органичное и естественное состояние литературы, о котором хорошо говорил сейчас Яков Гордин.

Пока же у наших читателей эйфорический праздник воскрешения запретных имен, «голосование списком» поэтической академии. Дело понятное на данный момент, но из списка невзначай выпадает Есенин. Пастернак в знак протеста покинул бы академию. Невзначай выпадает Маяковский. Цветаева бы покинула академию.

«Голосование списком» — это тоже диктат, но не госкомиздатовский, а общественный. Если я скажу о своем неограниченном пристрастии к Пастернаку и более отчужденной уважительности к Цветаевой или Гумилеву, то я нарушу этику общего списка.

Со мной можно спорить, как и с Тыняновым, который Ходасевича ставил много ниже Пастернака. Когда начнется дифференциация внутри списка, начнутся наши споры, начнется самое интересное. Пока же мы отброшены далеко назад от тыняновских времен. Пока идет борьба за список, наши споры были бы двусмысленны. Пока есть враги всего списка, есть голосование «за» — «всем списком». Это необходимо, но это отодвигает времена глубинного взаимоотношения с миром поэзии.

По этой же причине произошла и «политизация» критики. И это я тоже воспринимаю двояко. Хорошо, что такую критику впервые бурно читают. Надо сперва насытить голод по политическому мышлению, очищенному от фальши и шелухи. Я вспоминаю наивный спор поры моей юности о «физиках» и «лириках». Я его переиначил и перефразировал после для себя в спор — «биологи» и «лирики», а теперь можно было бы — «историки» и «лирики», «экономисты» и «лирики». Культура многоукладна. Она не только в эстетическом и художественном воспитании. Контакт с читателем налаживается прежде всего в сфере более массового интереса, и хорошо, что история и экономика наконец-то попали в сферу этого интереса. Пусть читают в первую очередь экономиста Шмелева, хотя ему хочется, чтобы его и как прозаика заметили и приветили.

Но первый интерес затмевает собой второй, а «политическая» критика художественную, хотя именно она должна помочь читательской ассимиляции «поэтической академии». Напечатала «Аврора» обширную подборку М. Кузмина, а рядом тонкое эссе о нем Е. Невзглядовой. Вот так и надо делать. Единичные случаи массовый читатель не заметит. Он будет по-прежнему там, где ломаются копья. Но новый жанр разговора с ним, если он утвердится как «рубрика», как область чтения, обязательно со временем заметит.

Есть и другие области чтения, где разлад с читателем накапливался десятилетиями, но, как ни парадоксально, обострился... при нынешних благотворных переменах. Хорошо, что все читают «Детей Арбата», «Белые одежды», «Доктора Живаго». Но разве достойны внимания лишь центральные издания? Согласен с критиком В. Гусевым — кто же заметит в журнале с десятитысячным тиражом «Подъем» любопытный роман «некоего» Афанасьева? Целая плеяда прозаиков и поэтов потоплена в лавине посредственной литературы.

Читатель привыкает думать, что их нет. Так получилось и с авторами наших писем. Срабатывает «двоичная» логика — есть поэтические гении серебряного века поэзии, которые потрясали их еще в машинописных списках, и есть печатная макулатура. Вот отпечатаем машинописные тексты в типографии — и больше ничего не нужно. Грустно все это...

Я тоже думаю, что поэзии серебряного века самая захватывающая жизнь в читательском сознании только предстоит. Радуюсь этому, хочу содействовать, это надежный духовный корм на будущее. Но есть и сегодняшние строки. Без них тоже нельзя. Не хочу Пастернаком придавливать будущее. Он этого не хотел бы. Он бы искал свое продолжение.

У нас образовался опасный разрыв. Новая культурная почва, культурный слой накапливается десятилетием и более, но он столько же времени не накапливался. Молодая — никакая уже не молодая — поэзия задыхается и может задохнуться без читателя. Ее третируют при приеме в Союз, волынят при издании, коверкают, шлифуют, стригут «под полубокс»... Но и в таком урезанном виде изданная, она известна лишь в собственной среде, не доходя до читателя.

В Ленинградской писательской организации четыре сотни человек. Добрая их часть — квалифицированные читатели, заполняющие каждый год заказные карточки на книги будущего года. Где-то и не вклиниться — так все испещрено. А вот на карточках достойных внимания поэтов новой плеяды — ни одной, редко одна, две пометки. Выходит, для знатоков поэзии прошлого и некоторых моих сегодняшних собеседников современная поэзия оборвалась где-то на поколении Вознесенского и Кушнера, Рубцова и Бродского... Книга при заказе не набирает минимума голосов, и я, который пишу об этом поколении, остаюсь в своей домашней библиотечной «клавиатуре» без нужных мне в постоянном обиходе хороших или чем-то любопытных книг, скажем, Поздняева и Ермолаевой, Жданова и Парщикова, Русакова и Лапшина. Слава богу, случай повернул меня лицом к этой плеяде, к живому контакту с ней — есть дарственные книги тех, с кем знаком, знаешь поэта за узким островком книги. А так и я не знал бы, где в бесконечном мутном потоке печатного стихотворства захлебывается настоящий голос, чем он сейчас мучается.

В разладе читателя и его сверстника-поэта что-то должно измениться на самой глубине, но опять все начинается с издательской практики, хотя не ею кончается. Суть не только в том, чтобы извлекать на свет достойное, уже написанное. Только утвердившись в читательском сознании, поэт раскрепощается до конца на будущее, а не скисает. Это так же необходимо, как свет для выработки хлорофилла. Это дает новый масштаб литературному процессу, а на его гребне — наиболее масштабные и непредугаданные фигуры. Сейчас же для многих лучшие десятилетия уходят в гулкую пустоту без отзыва.

Я думаю, что за годы застойной спячки у многих из нас угас «условный рефлекс» на целые сферы чтения. Помню, как любил в молодости, на рубеже пятидесятых — шестидесятых, ходить в отдел политической и философской литературы Дома книги. Был такой рефлекс, но гас и гас, пока я вообще не перестал заглядывать в этот отдел — покупать там нечего. Сейчас пишут о большом проценте брошюрной, политической макулатуры, на которой можно было бы экономить бумагу для стоящих книг. Но и политическая книга узнáет спрос, если в ней забьется пульс нынешней журнальной публицистики. Как издатели погасили рефлекс, так могут помочь ему снова явиться. Однако нужно время на вторичную выработку.

Но могут возникнуть условия (и желательно, чтобы возникли), когда массовый читатель узнáет и полюбит среднее и молодое поколение в прозе и в поэзии, гуманитарной науке, публицистике, критике: ведь ему подхватывать связующую нить из золотого и серебряного литературных веков и передавать дальше. А сегодня в разладе с читателем этим поколениям, мягко говоря, нелегко.

Александр НИНОВ:

С большим интересом я читаю и слушаю, особенно в последние годы, суждения наших читателей, людей самых разных профессий, не безразличных к тому, что происходит в литературе и в жизни, и имеющих свое мнение по самым злободневным проблемам. Каждый новый номер «Огонька», например, я начинаю с просмотра писем читателей — одного из наиболее живых и неожиданных отделов этого журнала. Хорошо, что «Огонек» печатает не стандартные, не приглаженные письма, как это еще сплошь и рядом бывает во многих изданиях, а делает достоянием гласности мнения очень искренние, откровенные, парадоксальные, порою резкие, когда люди без утайки выкладывают, что у них «на уме».

Некоторые из читательских писем приводят иногда в содрогание — такие в них вдруг открываются застойный дух, конформизм, политическое «стародумство», доказывающие лишний раз, что догматизм «наверху», в привычных нам литературно-идеологических сферах (например, во многих публикациях «Советской России» или «Нашего современника»), опирается на косность мысли «внизу», в достаточно широкой толще потребителей печатного слова, воспитанных соответствующим образом и не умеющих, не

желающих думать. Читать такие письма, тем не менее, тоже интересно и, может быть, особенно поучительно. Они обнажают характерные изъяны мышления, типичные заблуждения и предрассудки, бытующие в современных умах и домах, и выражают их обычно гораздо отчетливее и нагляднее, чем иные статьи, развивающие те же самые взгляды, но только в уклончивой и прикрытой форме. Вот уж действительно: «дома новы, но предрассудки стары. Порадуйтесь, не истребят ни годы их, ни моды, ни пожары...»

И как много а то же время появляется сейчас писем воистину замечательных, остроумных, сердитых, задевающих за живое, точно формулирующих важнейшие общественные проблемы, поставленные перестройкой! Это и есть настоящий голос общественности, голос думающего народа, который выстрадал обновление и полон решимости довести революционный процесс перемен до конца.

Как же судят в наши дни читатели о литературе?

Письма Б. Липина и А. Прохватилова отражают, мне кажется, характерные умонастроения, существующие в интеллигентной читательской среде, не удовлетворенной ни уровнем современной литературы, ни тем, как мы осваиваем ее прежние, ставшие более доступными ценности. Что же нужно, чтобы положение изменилось?

По мнению социолога А. Прохватилова, нужно, во-первых, лишить издателей экономической возможности навязывать читателям макулатуру, установить «диктат потребителя», и, во-вторых, нужна «депрофессионализация литературоведения и критики», их поворот к «самому широкому читателю».

Первый пункт можно с оговоркой принять. С оговоркой — чтобы не стать жертвой «диктата» того самого потребителя, который воспитан на серой литературе и способен поглощать ее в огромных количествах. Вместо «диктата», мне кажется, необходимо расширить возможности выбора. Выбора, учитывающего огромное разнообразие читательских интересоа в нашей стране и саособного, а саою очередь, актиано влиять на них...

Что же касается второго пункта, то я бы решительно его оспорил. Не «депрофессионализация литературоведения и критики» нам нужна — по этой дорожке мы и так зашли достаточно далеко, считая почему-то, что профессионализм — помеха делу. Нам необходимы, напротив, более высокое качество профессионализма, более осноаательная историческая, теоретическая и эстетическая компетентность, чтобы ответить на те вопросы, которые поставил перед художественной литературой сегодняшний и, безусловно, поставит завтрашний день. Без этого условия поворот к «самому широкому читателю» едва ли окажется возможным.

Мне понятны тревоги и горечь Б. Липина, пораженного тем, что «народ» с удручающим постоянством сначала побивает камнями своих «пророков» (или, скажем, лучших писателей и поэтов), а потом, со временем, приобщает их к «лику святых» и начинает на них молиться... Нет ли здесь вечного, мирового закона, подтверждденного, к несчастью, и нашей собственной литературой, пережившей так много трагедий и в XIX и в XX веках, включая семьдесят послеоктябрьских лет?

Трудно ответить кратко на поставленный, давний и очень сложный вопрос. Задолго до В. Ходасевича впечатляющий мартиролог русской литературы при русском самодержавии был составлен А. И. Герценом. Не о том ли размышлял и И. А. Бунин в своей «Деревне», столкнув в диалоге Кузьму Красова и Балашкина:

«— Боже милостивый! Пушкина убили, Лермонтова убили, Писарева утопили, Рылеева удавили... Достоевского к расстрелу таскали, Гоголя с ума свели... А Шевченко? А Полежаев? Скажешь,— правительство виновато? Да ведь по холопу и барин, по Сеньке и шапка. Ох, да есть ли еще такая страна в мире, такой народ, будь он трижды проклят?

Треаожно теребя пугоаицы длиннополого сюртука, то застегиваясь, то расстегиваясь, хмурясь и ухмыляясь, смущенный Кузьма сказал в ответ:

— Такой народ! Величайший народ, а не „такой“, позвольте вам заметить.

— Не смей призы раздавать! — опять крикнул Балашкин.

— Нет-с, посмею! Ведь писатели-то эти — дети этого самого народа!»

Мученическая, жертвенная судьба художника в обществе более всего характерна для авторитарных, феодальных и полуфеодальных социальных структур, а в XX веке для политических диктатур фашистского и полуфашистского типа. И наши затравленные при жизни поэты, о которых с болью душевной пишет Б. Липин, прошли свой путь на Голгофу не по злой воле народа, а из-за подавления демократии в строящемся социалистическом обществе. И, как мы убедились на практике, без демократии и гарантированных человеческих прав подлинный социализм невозможен...

Новый скорбный свиток писателей-мучеников, от Гумилева до Ахматовой и Пастернака, доказывает совсем не то, что в истории все остается без перемен или возвращается на круги своя. И разве народ виноват в гонениях на своих писателей? Не вернее ли сказать, что народ вместе с ними и через них претерпел великую национальную беду, а их имена есть самая прочная память о всеобщей народной трагедии.

Пытаясь понять механизм конфликта, сталкивающего художника с обществом, Е. И. Замятин откровенно написал в 1931 году И. В. Сталину:

«Я ни в какой мере не хочу изображать из себя оскорбленную невинность. Я знаю, что в первые 3—4 года после революции среди прочего, написанного мною, были вещи, которые могли дать повод для нападок. Я знаю, что у меня есть очень неудобная привычка говорить не то, что в данный момент выгодно, а то, что мне кажется правдой. В частности, я никогда не скрывал своего отношения к литературному раболепству, прислуживанию и перекрашиванию: я считал — и продолжаю считать — что это одинаково унижает как писателя, так и революцию».

Писатель, а силу тех или иных причин, всегда может дать повод для нападок. Такие поводы после Октября 1917 года давали и Горький, и Бунин, и Гумилев, и Ахматова, и Цветаева, и Мандельштам, и Есенин. Незачем изображать дело таким образом, что все крупнейшие русские поэты начала XX века «в подавляющем своем большинстве приняли революцию как свою». Так можно говорить лишь при недостатке исторических знаний и отсутствии литературного профессионализма. На самом деле спектр отношения поэзии к революции был очень непростым и пестрым: от полного приятия (Маяковский) до решительного отрицания, характерного для молодой Цветаевой или зрелого Бунина.

Однако нападки и литературные споры в печати — это одно, а невозможность писать, не говоря о физическом уничтожении пишущего — нечто совсем другое. «Для меня как для писателя,— утверждал в том же письме Замятин,— именно смертным приговором является лишение возможности писать, а обстоятельства сложились так, что продолжать свою работу я не могу, потому что никакое творчестао немыслимо, если приходится работать в атмосфере систематической, год от году все усиливающейся травли».

И разве не то же самое в разные годы своей жизни вынуждены были претерпеть Б. Пильняк, М. Булгаков, А. Платонов, О. Мандельштам, Б. Лившиц, А. Ахматова, М. Зощенко, Б. Пастернак, И. Бродский и многие другие?

Мы с большим опозданием пересматриваем теперь собственную политическую историю и историю советской литературы, освобождаясь от худших сторон сталинизма, заменившего с конца 1920-х годов демократические методы идейной и литературной полемики кулачным правом организованного общественного гонения или прямой физической распраав. Бесповоротный отказ от подобной практики — первое серьезное завоевание гласности и перестройки.

Превосходный фильм Ч. Абуладзе «Покаяние» обозначил собою целый этап нового общественного сознания — полное признание допущенных в прошлом несправедливостей и решимость покончить с ними.

Следующий шаг от покаяния — исследование, полная и исчерпывающая констатация фактов и их анализ, отказ от всякого мифотворчества, способность видеть явления и лица прошлого без тени идеализации, такими, каковы они были а действительности. Этот последний шаг — самый трудный, и нашей литературе, нашей общественно-исторической мысли предстоит его сделать.

Владимир КАВТОРИН:

Мне кажется, что наш разговор не нуждается в подведении итогов. Хотел бы только высказать свое мнение по одному из затронутых здесь вопросов.

Но вначале, если позволите, небольшая цитата:

«Горько пошутим: странная история случилась с литературной историей. Оказывается, кроме явной, видимой, существовала и „теневая“ история. Одну составили те произведения, на основе которых выстроена ныне существующая „История“, другую — произведения, которые постепенно вынимались из „запасников“...»

Это — из статьи известного филолога А. Бочарова «Покушение на миражи» («Вопросы литературы», 1988, № 1). Статьи, по-моему, чрезвычайно интересной. Пытаясь наметить «реальные этапы... большого и сложного пути» соаетской литературы, историк ее впервые отказывается здесь и от чисто условных границ («литература 20-х», «30-х» и так далее) и от дат тех или иных постаноалений и прочих «руководящих указаний», ищет более важные, действительно определяющие вехи. «Во всяком случае,— пишет А. Бочаров,— для меня ясно, что начало тридцатых годов и середина пятидесятых означают реальные вехи движения, реальные рубежи. Выделяю я еще рубеж середины шестидесятых годов, когда, по меткой реплике Ю. Буртина, началась „идеологическая передвижка“ назад от XX съезда...»

Знаменательный вывод! И не только потому, что высокая наука вполне совпадает в нем с «простодушным» читательским мнением (письмом А. Прохаатилова)... Соападение как раз ничуть и не удивляет — значимость названных вех в истории нашей литературы очевидна.

Но, признавая именно эти вехи важнейшими, не следует ли сделать следующий

логический шаг — признать, что несмотря на все попытки управлять литературой, воспрещая ей одно и поощряя ее за другое, несмотря даже на все потери, понесенные ею вследствие этих попыток, она двигалась все же не предуказанною, а органично присущею ей дорогой, запечатлевая в себе *реальный* исторический путь народа со всеми случавшимися на нем героическими взлетами, трагическими изломами и тяжкими драмами попятных движений?

В самом деле: разве не отшелушилось нашей памятью почти все, что создавалось в ответ на очередной призыв к воспеванию и воспитанию? Отшелушилось. И еще отшелушится. По самой простой причине: это не литература. А с другой стороны, сколько бы ни лежали под спудом «Чевенгур», «Погорельщина», «Жизнь и судьба», «Реквием», движение самой жизни со всей неизбежностью вывело эти вещи на свет божий и определило их место в народном сознании. И это закономерно, ибо родились-то они органично, из потребности познать свое время и в нем — человека.

Так не пора ли признать, что сама идея литературы, как-то помимо жизни направляемой и управляемой, по сути своей утопична?

Не пора ли признать, что даже в тех — не столь уж, кстати, и редких! — случаях, когда литературу призывали к решению органично присущей ей задачи правдивого отображения народной жизни, это не приводило к добру. Во-первых, подлинная литература так и так лишь этим была и занята, призыв для нее «не звучал», а для литературы «серой», ремесленной подобная задача все равно оказывалась не по зубам, ибо она способна отражать не жизнь, а лишь чьи-то иллюзии. А во-вторых... Вся «хитрость» тут в том, что, ставя подобную задачу, мы обычно наперед знаем, в чем именно должна состоять «правдивость» такого отображения, и заранее готовимся «не пущать» все, что не будет соответствовать нашему «знанию», а уж под какой маркой — «очернительства» или, скажем, «мелкого бытокопательства» — дело десятое. Вот и получается, что в глазах «ставящих задачу» серая, ремесленная литература, не способная к познанию жизни, но зато охотно откликающаяся на призывы, всегда в выигрыше.

Хотите доказательств? Пожалуйста! За 1981—1985 годы было осуществлено тридцать два издания произведений Г. Маркова (суммарный тираж — четыре миллиона экземпляров), но М. Булгаков издавался за это время только шестнадцать раз (1,3 миллиона), а произведения О. Мандельштама не издавались ни разу - не хватало бумаги.

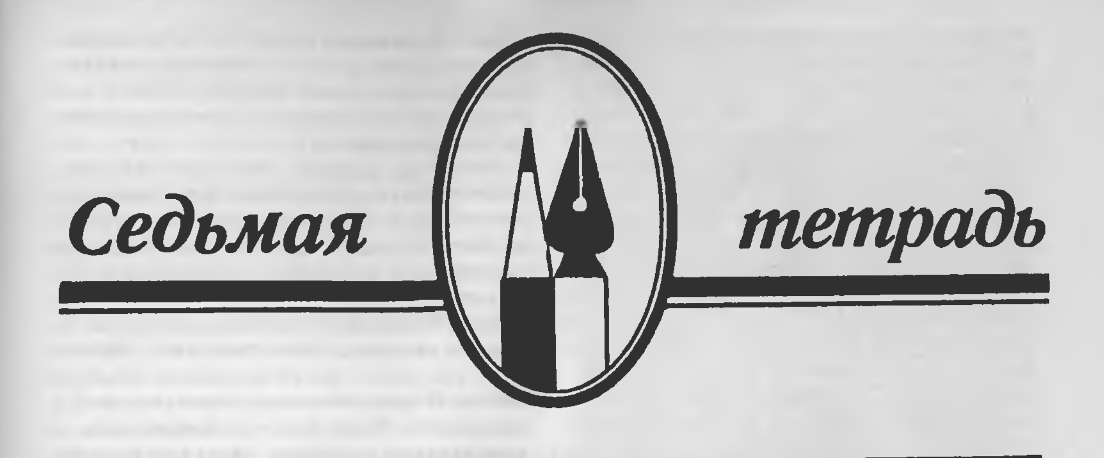
Но... Не призываю ли я отдать литературу на откуп чьему-то индивидуалистическому своеволию? Ничуть! Хотя и согласен я с Яковом Аркадьевичем, что литература не терпит никакого моделирования, но тем не менее уверен, что «кумир для сердца своего» подлинный художник избирает не так уж беззаконно. Выбор, мне кажется, предопределен самой природою творчества... Впрочем, тут я лучше процитирую философа Юрия Давыдова: «задача заключается вовсе не в том, чтобы „найти себя", а в том, чтобы в „себе" найти „Другого", нечто гораздо более высокое, чем ты сам, как бы ни пытался ты „расширить" свое сознание до „космического". Сделать же это можно, только прорываясь в прямых поступках к „вот этому" другому, „вот этим" другим, только „даря" им себя, только „растворясь" в них, но именно поэтому „собирая" себя в личность. Таков... путь подлинного искусства, каждый раз заново обретающего себя, „раздаривая" себя людям. И в этом заключается его истинная демократичность, превращающая его в исконного врага авторитаризма и тоталитарности».

Вот почему «кумиром» поэта всегда оказывается его народ! И это же позволяет обществу, вглядываясь в «магический кристалл» литературы, по-новому видеть себя и понимать, корректировать свой путь.

Природа взаимоотношений общества и литературы диалогична. Диалог же возможен только тогда, когда обе стороны хорошо знают, *что* можно услышать, о *чем* можно спросить друг друга. Вот почему так важно отказаться от ложных, утопических представлений о литературном процессе как о чем-то, поддающемся прямому управлению, и признать, что литература способна воспитывать человека, лишь познавая его.

И еще об одном: что может послужить «началом возвращения литературы к ее нормальному состоянию»? Широкое изучение читательского спроса, как полагает Игорь Николаевич Сухих? Кооперативные издательства писателей, как считает Яков Аркадьевич Гордин? Или, скажем, «расширение журнальной деятельности», издание при журналах «книжных серий, адресованных своей аудитории», как предлагают в «Дружбе народов» (№ 3, 1988) социологи Лев Гудков и Борис Дубин? А может, стоит попробовать и то, и другое, и третье, дав возможность самой литературной жизни отобрать то, что *ей* надо?

Мне кажется, ставить точку в затеянном нами разговоре пока преждевременно. Лучше пригласить к активному участию в нем тех, по чьей инициативе он и начался,— наших читателей.



По случаю юбилея

Дивное искусство танца!

Когда из глубины зрительного зала следишь с затаенным дыханием за совершенными движениями артистов балета, сливающимися в некое непостижимое единство, именуемое спектаклем, чудо преображения нисходит на тебя, и ты словно растворяешься в этом торжестве искусства и становишься участником великого праздника. И все вокруг делается его принадлежностью: и раззолоченная лепнина плафона, и хрустальный блеск притушенных люстр, в призрачные сумерки зала, и вся живая тишина театра, этого громадного многоликого существа с единой и трепетной душой...

Давайте сходим на балет! Давайте соприкоснемся с таинствами его!

Но прежде прослушаем монолог одного из его чародеев — Аллы Яковлевны Шелест и, глядя на фотографические образы корифеев, представим путь этого искусства, который вот уже два с половиной века торит прославленная школа русского балета — Ленинградское хореографическое училище имени А. Я. Вагановой.

Алла ШЕЛЕСТ

СОПРИЧАСТНОСТЬ

Хореографическое училище готовит артистов балета всех категорий для профессиональных театров. Ленинградское училище имени А. Я. Вагановой — первое в стране учебное заведение такого рода. Двести пятьдесят лет оно в авангарде искусства балета, буквально каждое десятилетие воспитывает талантливых артистов мирового признания. И, размышляя над темой для статьи, я пришла к выводу, что писать мемуары, перечислять дорогих мне педагогов, еще раз утверждать огромное значение хореографического училища в жизни балетной актрисы я, пожалуй, не стану.

Школа рождает балерину, чья духовная жизнь срастается со сценической жизнью ее героинь, ибо балет — искусство, требующее абсолютной духовности. Думаю, что в период рационалистического техницизма современного танцевального искусства стоит поговорить о духовности в балете, поскольку именно она, духовность, определяет понятие искусства и причастности к нему.

Школа живет во времени. Теряя одни качества, приобретая другие, она всегда у истоков профессионализма, от которого в значительной степени зависит состояние балетного искусства.

Восемнадцать лет занятий в классе Агриппины Яковлевны Вагановой — в школе, затем в театре — помогли мне оценить уникальность системы ее хореографического обучения. Без сомнения, тот факт, что она дала советскому балету плеяду индивидуальностей, подтверждает сказанное. Подобное, на мой взгляд, могло произойти только при очень высоком профессионализме. Этот профессионализм раскрепощает актерское самочувствие на сцене. Помогает отвлечься от сосредоточенности на технике исполнения, войти в особое эмоциональное состояние, с которого и начинается творчество.

Ведь творчество — это минуты предельного нервного напряжения, эмоционального подъема, концентрация воли, интеллекта, интуиции. В такие минуты живешь в совершенно особой сфере,



Агриппина Яковлевна Ваганова, 1899 год

создаешь нечто живое. При этом надо помнить, что главное на сцене — создание духовной атмосферы, когда техника всего лишь невидимый для зрителя инструмент в руках художника. Об этом приходится говорить, ибо духовная сущность актера проявляется в творческом акте.

До настоящего времени в балете, как нигде, преобладает традиция непосредственной преемственности. Отсюда внешне процесс работы над спектаклем выглядит просто: выучиваешь текст, показанный либо предыдущими исполнителями спектакля, либо репетитором (в меньшей степени), либо самим балетмейстером при сочинении нового балета. Затем репетируешь его — и можно, кажется, выходить на сцену. Но это не так. Процесс работы над спектаклем — это цепочка размышлений, выявление своего отношения к предлагаемому материалу, индивидуальная концепция роли. Я приходила в балетный зал к репетитору, зная, чего я хочу. Затем, занимаясь технической отработкой танцевальных движений, начинала поиски пластических интонаций, которые помогли бы мне выявить свой взгляд, свое, опосредованное через танец, мироощущение.

Темп работы над спектаклем колеблется и зависит от многих причин. Скажем, партию Авроры из «Спящей красавицы» я готовила три месяца совершенно самостоятельно, а фею Сирени из того же балета по непредвиденным обстоятельствам пришлось выучить за один вечер и на следующий день танцевать. Тот, кто хоть немного знаком с балетным миром, поймет, насколько сложной оказалась моя задача с феей Сирени. Театральная жизнь изредка предлагает подобный форс-мажор, но он рассчитан на хорошую профессиональную школу.

Наиболее важное значение для процесса работы приобретают факторы художественные: стиль хореографии, структура балета, индивидуальные особенности танцующего и, главное, тема. Можно запомнить балет чисто визуально, не участвуя в танцах, и помнить всегда (в основном, спектакли классические). Можно роль танцевать долго и забыть, уйдя со сцены. Порой концепция роли рождается спонтанно. Иной раз — в длительных и утомительных поисках пластического решения. Но так или иначе от исполнителя каждый раз заново требуются координация технических приемов, образное переосмысление танцевальных элементов, подчинение их драматургическим задачам балета.

Как тут не вспомнить добрым словом школу! Неоправданные трудности занятий в классе (с позиции учащихся) превращаются в радостный мир танца на сцене. Память зрительная (смотри во все глаза!) и память мышечная (учи, учи, учи!) — все это сливается в памяти юного ума в один процесс — творчество.

Школа хранит в своем репертуаре отрывки из классических балетов, концертные номера, спектакли. В мою бытность там ими были «Андалузская свадьба» Н. Анисимовой, «Фадетта» и «Катерина» Л. Лавровского. Ныне — школьные спектакли «Щелкунчик» В. Вайнонена, «Шопениана» М. Фокина. Что касается концертной программы — она постоянно пополняется за счет свежих номеров (непосредственный контакт с балетмейстером — как это важно!). Обширный репертуар помогает ученикам раскрыть свои возможности, «причаститься» к театральной условности, а педагогам — выпестовать наиболее одаренных воспитанников. И вот, танцевальные движения, которые в классе требуется «правильно» выполнять, на сцене непостижимым образом обретают магическую силу: они превращаются в танец, наполняются настроением, передают смысл происходящего. Танцуя — осмысляешь. Отсюда следующий шаг — создание образа.

Театральный репертуар балерины складывается из различных спектаклей. Это балеты классические, имеющие вековую сценическую традицию. Спектакли советских хореографов, ставшие для современного зрителя классикой. Затем современные, чья сценическая жизнь во власти будущего. Любой балетный образ этих спектаклей живет своей жизнью, и воспроизвести эту жизнь помогают пластические интонации, свойственные конкретному персонажу, конкретному спектаклю. При каждом повороте сюжета возникают новые пластические интонации. И если балерина обладает индивидуальностью, она почувствует интонационный строй спектакля и сможет найти в нем себя. Ведь актриса, одаренная пластическим талантом и аналитическим умом, не столько нуждается в репетиторах, сколько в хорошей школе и единомышленнике-балетмейстере. Чем она талантливей, тем точнее найденные ею пластические интонации, а значит — достовернее и естественнее жизнь образа, одухотвореннее танец.

В поисках пластических интонаций невольно обращаешься к искусствам, сопричастным к балету (ведь мы их в школе изучали!). По-видимому, иначе невозможно выйти за пределы узкобалетной схемы спектакля и, значит, подняться на уровень искусства. Сказать, что данный творческий поиск имеет точный адрес, я не могу. Здесь надо полагаться на интуицию и обстоятельства, касающиеся изучаемого материала. Например, «Лебединое озеро». Суть пластической интонационности партии Одетты-Одиллии родилась для меня из слияния музыки Чайковского и хореографии Петипа-Иванова. Она в свойствах души русской Терпсихоры, определяется кантиленной поступью.

Сложность трактовки Одетты-Одиллии возникает из внутренней антитезы образа. Одетта — тайна, Одиллия тоже. Одетта существо заколдованное, Одиллия — сама колдовство. В итоге — единство контрастных начал. Далее: чистота чувств, духовная высота, скромность, нежная красота, умение открыто идти навстречу большому чувству — вот пластические интонации Одетты. Одиллия противопоставляется ей светским великолепием, неординарностью, волей, чарующей красотой, таинственностью. В таком двойном образе угадывается парадоксальность романтического истолкования жизни: в образе Одетты — материализация духовной сущности человека, в образе Одиллии — метафора материальности его природы.

Романтический стиль балета трудно решать только интеллектом. Нужно пережить каждый миг музыкального движения, что в свою очередь требует эмоциональных затрат. Пластическая длительность хореографии должна быть духовно наполнена и эмоционально пережита танцовщицей. Тогда возможно слияние с музыкой. Тогда возможно чудо балета — хореографии.

«Лебединое озеро» мне представляется чисто русским романтическим балетом. Отсюда пластическая композиция спектакля, неторопливое и взволнованное повествование, значительность. Это гимн духовности. Вероятно, поэтому для меня кульминация балета — в его последней картине, психологическом и духовном взлете.

Но бывают случаи, когда высокая музыка соединяется со столь же высокой литературой. Возникает синтез, обусловливающий жизнь нового, достаточно са-



Галина Уланова и Татьяна Вечеслова, 40-е годы



Алла Осипенко в балете «Лебединое озеро», 60-е годы

мостоятельного произведения. Поэтому в поисках пластических интонаций образа невольно ищешь опору не только в музыке, но и в литературе.

Так произошло у меня с «Ромео и Джульеттой».

Чтобы увидеть «свою» Джульетту, я читала вслух трагедию Шекспира, играла на рояле музыку Прокофьева и нашла, как мне представляется, единственно верное для себя решение. Моя Джульетта — олицетворение шекспировской эпохи Ренессанса. Она — человек решительных действий, свободолюбия, некоторой экспансии и, конечно, интеллекта.

Я стремилась подчеркнуть в юной героине непокорный нрав, свойственный всему роду Капулетти. Задача оказалась трудной, поскольку гениальная музыка Прокофьева жестко диктует образ, а у него Джульетта скорее лиричная, нежели волевая. Например, танцуя сцену встречи с Ромео на балконе, не помышляешь о героизме: музыка окутана флером романтической приподнятости и полетности чувств. Но читая Шекспира, все время убеждаешься в своенравии, воле Джульетты, мыслящей не по возрасту зрело.

И все же музыка помогала мне постичь героиню именно Шекспира. Скажем, у него в последней картине Джульетта, после бурного монолога, спокойно и решительно произносит: «Пора кончать». У Прокофьева в идентичной картине — контрастное сочетание невероятной силы музыкального взрыва и последующей сценической тишины. Помню, как в сцене смерти Джульетты меня поразили три музыкальных аккорда. Они диктовали. Они зримо рисовали смерть героини, и уже никак невозможно было «умереть» раньше, либо позже.

Гений композитора щедро рисует время. Музыка строится на контрастных противопоставлениях действенных конфликтов и образных хврактеристик. В этом единство решений трагедии Шекспира и музыки Прокофьева.

Я сознательно подчеркивала шекспировские интонации в танцах Лавровского, выстраивала единую линию развития образа. Мяе удалось поставить свою Джульетту в центр спектакля, потому что в моем представлении она во многом самостоятельно решала свою судьбу. В этом ее величие и трагедия. В этом и Шекспир и Прокофьев...

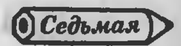
Или — «Бахчисарайский фонтан».

Пушкин дает четкое и точное определение образа Заремы: «краса гарема». В сравнительно небольшом отрезке времени стремительность развивающихся событий возбудили в молодой грузинке противоречивые чувства. Заданная компактность требует в решении роли психологической насыщенности, пластического разнообразия интонаций. И вот, в поисках интонаций моей героини я вновь обратилась к литературному первоисточнику.

Как певица, разучивая роль, находит аерное музыкальное произношение, так и я в произносимом вслух тексте поэмы находила определенные интонации «моей» Заремы. Буквально воспринятая изначально строка «аромат ночей роскошного Востока» в итоге обобщилась в пластическую жизнь образа. И пришла

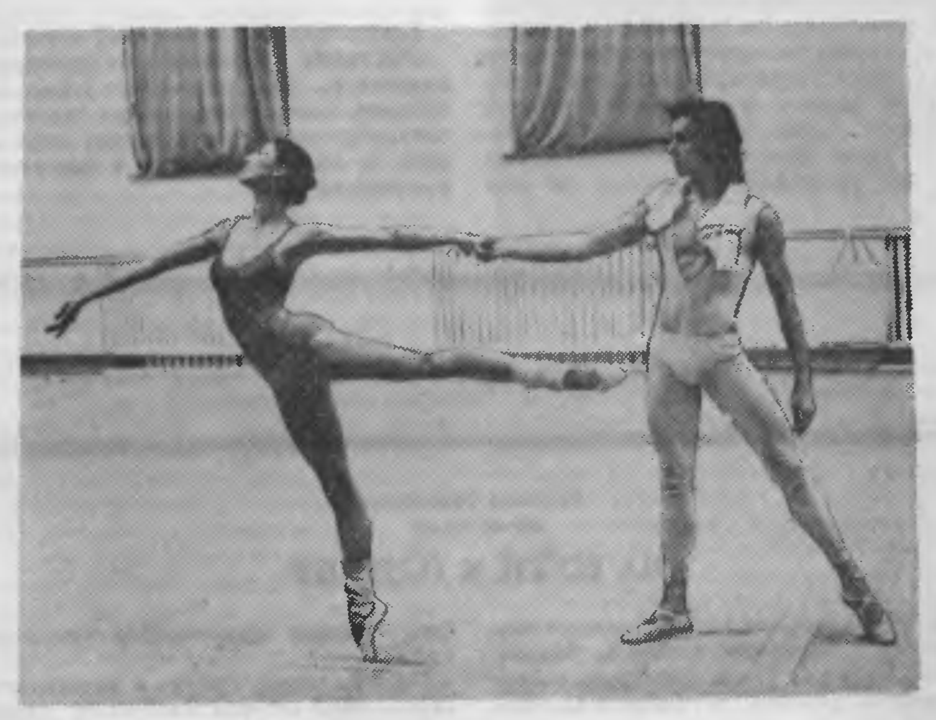


Алла Шелест в балете «Каменный цветок», 50-е годы



я к этому интуитивно, стремясь понять мою героиню, поверить ей и оправдать. Да, она любила Гирея, любила самозабвенно. Она жила его любовью, он был смыслом ее жизни. Великое чувство любви привело ее в комнату соперницы Марии, но «невинной деве не понятен язык мучительных страстей». Отсюда совершенно различный пластический, интонационный строй образов при единстве их хореографического решения. У Пушкина Зарема прямо говорит Марии: «...кинжалом я владею, я близ Кавказа рождена». И, значит, исход диалога предрешен.

идол». Логика подсказывала, что надо искать пластические мотивы в скульптурах Родена. Так я и поступила. И вот, в трудной и напряженной работе интуитивно выстраивался психологический рисунок дуэта. Неисчерпаемый мотив искусства — тема любви — трактуется в «Вечном идоле» как мудрость чувства в сочетании со всепоглощающей страстью. Два начала смыкаются в замкнутый круг фатальной неизбежности извечных взаимоотношений мужчины и женщины. Светлый трагизм единства двух начал приобретает духовный смысл бытия...



Алтынай Асылмуратова на репетиции, 80-е годы

Не стоит забывать о духе пушкинской поэзии. Отриньте поэтическую духовность спектакля — и перед вами останется банальная история безответной любви. К таким размышлениям я пришла позднее, уже на сравнительном анализе других работ. Разучивая любую роль «Бахчисарайского фонтана», будь то темпераментная Зарема или элегантная Мария, хан Гирей или вовсе отсутствующий в поэме Вацлав, в первую очередь надо помнить о духовной сопричастности танца к поэзии. Тогдв можно говорить об искусстве.

И еще, пожалуй, не менее важное, чем литература и музыка. Это живопись, скульптура, вообще изобразительное искусство. Не раз я находила пластические интонации именно в них.

Вдохновленный творением Родена балетмейстер Якобсон создал для меня хореографическую миниатюру «Вечный

Наша сценическая жизнь начинается с обучения в хореографическом училище. С первых шагов, буквально с первого выхода на сцену возникает чувство ответственности и долга. С возрастом оно увеличивается. Увеличивается и волнение, доходящее порой до страха. Но лишь переступишь границу кулисы, выйдешь на сцену — все исчезает. Даже к боли становишься нечувствительной — так сильны концентрация воли и психологическое переключение на сценическое действие.

Практика сценической жизни вырабатывает у актрисы не только необходимость контроля танцевального текста, но и контроля восприятия его зрителем. Как бы тщательно ни была отрепетирована роль, без такого двойного контроля искусство хореографии невозможно. Необходимо заставить себя проникнуть в психологию создаваемого образа, прочувствовать и воспроизвести ее пластическими сред-

ствами так, чтобы зритель поверил. И тогда он эмоционально откликнется.

Анализируя свое сценическое творчество и творчество других балерин, я утвердилась в неоспоримом, но часто забываемом: чтобы вызвать сопереживание зрителя, необходимо прежде всего самой верить в то, что делаешь на сцене. Иначе невозможно быть искренней. И в этом школа в помощь. Искренность за пределами технического мастерства оставит зрителя равнодушным, так как искренность балерины — это прежде всего искренность ее танца. Она рождается при технической уверенности исполнения трудного, но обязательно выразительного текста. Уверенность приходит при умении управлять своим мышечным аппаратом, а оно в свою очередь закладывается школой в детстве. Танцы детские, потом отроческие, затем «балетная» юность, которую венчает выпускной Спектакль. Он итог и начало. Итог школьного обучения, начало сценической жизни. Цепочка длинная, растянутая на десятилетия. И очень, очень редко кому удается сократить ее без ущерба для хореографического искусства.

После одной из репетиций во время подготовки выпускного спектакля «Катерина», где я должна была танцевать заглавную роль, Лавровский спросил меня, как я работаю над ролью. Тогда я промолчала. Сейчас, наверное, ответила бы так: источник творчества для меня — жизнь во всех ее проявлениях. Ведь сцена — зеркало реальности.

Благословенная школа моей юности!

Она учила преодолевать творческую инертность, боль физических травм, жестокость детских обид во имя страстной сопричастности к поэтическому миру балета, во имя бесконечного и радостного проявления себя.

Спорт. Спорт. Спорт

Владимир ФЕДОРОВ,
мастер спорта

НА ПУТИ К ОЛИМПУ

Неумолимо летит время. Давно ли весь мир с волнением следил за увлекательной дуэлью Гарри Каспарова с Анатолием Карповым, а наверняка уже растут новые чемпионы, идущие им на смену.

Кто же они?

Пока это загадка; хотя, впрочем, одного из них Каспаров назвал будущим шахматным королем, полагая, что у него есть «задатки чемпиона мира». Возможно, его предсказание окажется столь же пророческим, как мнение Михаила Ботвинника о двенадцатилетнем Каспарове.

Имя этого ленинградского школьника — Гата Камский — лишь недавно вспыхнуло на шахматном небосклоне. Он очень талантлив, но станет ли он светилом, пронесется ли метеором подобно гениальному американцу Полу Морфи, оставит ли яркий след в шахматной истории — покажет будущее. Однако мальчик сто́ит того, чтобы уже сейчас рассказать о нем подробнее.

Малыш научился читать, когда ему было два года; в четыре — начал самостоятельно заниматься русским языком, математикой, играть на рояле; в шесть — свободно исполнял с листа и на слух сложные музыкальные произведения.

Бывает, талант искрит в поколениях: Гата — внук актеров Татарского драматического театра в Оренбурге и Казани. Сценический псевдоним его деда Гаты Абдулловича Сабирова — «Камский» — стал фамилией его детей. А имя Гата получил в честь деда.

Казалось, и мальчик посвятит себя служению искусству — станет музыкантом. Отец его, Рустам Гатович, поменял квартиру в Новокузнецке на комнату в Ленинграде, где сын мог бы учиться музыке у известных педагогов.

Однако иную дорогу готовила ему судьба; она словно подстраивала ситуацию. Приехав в Ленинград, Гата с отцом однажды зашли в Московский парк Победы. И здесь он впервые увидел шахматистов, игравших за столиками и прямо на скамейках. Не так уж много понял он тогда в странных, почему-то взволновавших его танцах шахматных фигурок. Но они очаровали мальчика, и оторваться от этого волшебства Гата не мог.

Вскоре в доме появились шахматы, и все остальное (даже музыка) отошло на второй план.



Одаренного мальчика заметили, развили его способности: многие ленинградские шахматисты и тренеры помогли Гате...

А жизнь шла своим чередом. Пока сверстники гоняли во дворе футбольный мяч, гуляли, слонялись по улицам, Гата Камский по пять-шесть часов в день постигал тайны мудрой игры, не замечая, как бежит время. Впрочем, и спорт отнюдь не был забыт. Отец воспитывал Гату поистине в спартанском духе: ежедневные тренировки, зарядка, бег, гимнастика. Во дворе их дома на набережной Фонтанки удалось поставить столы для настольного тенниса, и Гата играл с окрестными ребятишками. Мальчик невысокого роста и на вид далеко не богатырского сложения, но внешность обманчива: он очень крепок и вынослив.

Способности семилетнего Гаты не ограничивались одними шахматами: в течение четырех часов учителя принимали у него экзамены по различным предметам и разрешили начать учебу сразу с третьего класса. Сейчас Гата учится уже в девятом классе, вместе с ребятами на два года старше его.

Главная черта характера необыкновенно серьезного, вдумчивого мальчика — удивительное трудолюбие. Гата умеет правильно распределять свое время, отделять существенное от второстепенного. А мечтает об одном — достичь высочайшего шахматного мастерства!

И вот первые успехи: в 1984 году завоеван первый разряд, в десять лет на полтора очка перевыполнена норма кандидата в мастера спорта. Удачным был и 1986-й: Камский победил в двух сильных по составу участников соревнованиях — на Всесоюзном шахматном фестивале в Вильянди, оставив позади много мастеров, и в Ленинградском турнире памяти мастера В. А. Васильева. 1987 год Камский начал выдающимся достижением: в январском чемпионате СССР среди юношей, проходившем в литовском городе Капсукасе, двенадцатилетний Гата завоевал золотую медаль, опередив ребят значительно старше его. В этом возрасте такого же успеха добивался лишь Гарри Каспаров.

А вскоре в Клайпеде состоялся матч из шести партий между Гатой Камским и четырнадцатилетним рижанином Алексеем Шировым. Победитель получал право выступить в чемпионате мира среди кадетов (младших юношей) в Австрии. Так уж случилось, что Гата приехал в Клайпеду с опозданием и прямо с вокзала побежал на матч; в результате проиграл первую партию. Шахматисты знают, какой это психологический удар — поражение на старте, а тут еще дистанция столь коротка. В такой ситуации мог бы дрогнуть и шахматист более опытный. Однако ленинградец сумел собраться: после ничьей в следующей встрече он в отличном стиле выиграл три партии подряд, что означало и досрочную победу в матче (шестого поединка не потребовалось). Путевка в Инсбрук завоевана!

За единоборством в Клайпеде последовал финал чемпионата Ленинграда уже среди взрослых. В составе участников были сильнейшие шахматисты города: гроссмейстер Марк Тайманов, чемпионы Ленинграда разных лет, международные мастера.

Юный дебютант не оробел в столь именитой компании, скорее наоборот: включился в состязание с еще большим азартом, жаждой борьбы. Гате удалось одержать немало побед, в том числе и над Таймановым; игра мальчика в этом турнире произвела на многоопытного гроссмейстера сильное впечатление.

Камский все время шел в группе лидеров и на финишную прямую вышел вторым, вслед за будущим победителем — талантливым двадцатидвухлетним мастером Владимиром Епишиным.

Но тут произошло непредвиденное: в совершенно равном окончании юный шахматист отклонил ничью, предложенную международным мастером Вячеславом Осносом, и, продолжая упорно изыскивать возможности выигрыша, нечаянно дотронулся до своего короля. Пришлось делать ход, ведущий к потере ладьи. Это обидное поражение выбило мальчика из колеи: последовали еще три проигрыша в последних турах.

Возможно, Гата просто устал в конце изнурительной гонки, не выдержал на-



пряжения борьбы. Сбой, конечно, досадный, но не будем забывать, что впервые школьник двенадцати лет играл в мужском чемпионате Ленинграда, да еще оказался отнюдь не «мальчиком для битья», а попал в десятку сильнейших шахматистов города...

А летом Камский выступил в Австрии на чемпионате мира среди кадетов.

Любители шахмат всегда с интересом следят за соревнованиями этих ребят, ибо среди них можно открыть будущих гроссмейстеров, претендентов на корону. Не исключено, что кто-нибудь из шахматных принцев взойдет и на престол...

В Инсбруке сорок шесть юных шахматистов играли по швейцарской системе, то есть в каждом туре встречались между собой участники, имеющие равное количество очков. Соревнование стало для Камского тяжелейшим испытанием: участвовали в нем ребята на несколько лет старше Гаты, чемпионы своих стран; сражались по восемь часов в день (шестичасовой контроль плюс двухчасовое утреннее доигрывание). Сильно давил и груз ответственности: почему-то считалось, что Камский должен занять первое место. Это не позволило мальчику раскрепоститься: он волновался.

Начал турнир Гата удачно (три с половиной очка из пяти), а затем последовал обидный срыв — два поражения подряд. В оставшихся четырех встречах ленинградец набрал три очка, причем выиграл последние две партии.

А победил в чемпионате юный Стефанссон из Исландии. Любопытная деталь: эта маленькая страна, где шахматы пользуются огромной популярностью, занимает первое место в мире по числу гроссмейстеров «на душу населения».

Что можно сказать о результате Гаты Камского? Чемпионат показал: ему предстоит большая работа по шахматному и психологическому совершенствованию. Но расстраиваться не стоит: путь наверх не бывает гладким, он усеян не только розами.

О результате Гаты Камского на мировом юниорском чемпионате Каспаров сказал: «Он сыграл неудачно, но этому не следует придавать серьезного значения. Просто у него не было опыта участия в соревнованиях подобного ранга. В его возрасте и у меня бывали такого рода осечки».

Надо только, чтобы Гата извлекал уроки из неудач. Хорошо, что Камский после тяжелых испытаний в Австрии не потерял вкус к игре, анализу позиций. Возвратившись в Ленинград, он в первый же день отправился в пресс-центр международного турнира гроссмейстеров, внимательно изучал партии участников, предлагал свои ходы, идеи, варианты...

А вскоре в Ленинграде стартовал традиционный турнир памяти гроссмейстера С. А. Фурмана — мудрого шахматного учителя, много лет тренировавшего Анатолия Карпова. В соревновании этом участвовали гроссмейстер Александр Кочиев, многие сильнейшие ленинградские мастера. Гата играл смело, уверенно, как обычно бескомпромиссно. Соревнование показало, что Камский научился делать правильные выводы из неудач: если на финише чемпионата Ленинграда он потерпел четыре поражения подряд, то в турнире памяти С. А. Фурмана сумел одержать победы в заключительных четырех встречах. Он уверенно выдержал всю длинную дистанцию (семнадцать туров), причем у него было больше всех — двенадцать (!) отложенных партий.

В итоге Гата поделил второе-четвертое места с Александром Кочиевым и мастером Владимиром Ивановым, пропустив вперед лишь Владимира Епишина. Это, безусловно, большое достижение. Турнир ему удался не только в спортивном, но и в творческом плане: он изобретательно атаковал, уверенно защищался, четко действовал в эндшпилях.

Кочиев попал в партии с Камским в трудную позицию, и лишь поспешность мальчика позволила гроссмейстеру добиться ничьей. «По-моему, никто в двенадцать лет не играл так сильно, как Камский, может быть, только Каспаров. Игра Гаты мне очень понравилась»,— сказал Кочиев.

Затем Камский впервые выступил в полуфинале чемпионата СССР среди мужчин. Стартовал он уверенно, выиграв у двух гроссмейстеров, потом, правда, несколько сбавил темп и не попал в турнир первой лиги чемпионата.

Надо отметить важный итог 1987 года: Гата Камский начал играть с гроссмейстерами, и получается это у него успешно — в шести встречах он одержал три победы, две — завершил вничью, проиграл лишь одну.

Впереди у Камского большая шахматная дорога, сделаны пока лишь первые шаги. Пожелаем же одаренному юному шахматисту счастливого пути!

НАДПИСЬ НА ЧАШЕ

Знай, путник, хвалу мне поющий:
Дорогу осилит непьющий!

Александр ШКЛЯРИНСКИЙ



Воспоминания

ИЗ ЗАБЫТОГО О Л. Н. ТОЛСТОМ

Мемуарная литература о Л. Н. Толстом необозрима. Но каждая ее страница хоть что-то добавляет к облику великого писателя. Предлагаемые воспоминания появились при жизни Льва Николаевича. Они опубликованы в журнале «Родник».

Этот журнал был одним из самых замечательных изданий для детей, он выходил ежемесячно тридцать пять лет (1882—1917), название ему придумал поэт Я. П. Полонский, во главе его стояла целая династия русских педагогов — сначала мужа и жены А. Н. и Н. А., а потом детей — Н. А. и Т. А. Альмедингенов. Хорошо известно воспоминание Н. А. Альмединген «Два дня в Ясной Поляне». Посещение, о котором там идет речь, особенно примечательно: Л. Толстой принимал свою гостью буквально накануне своего ухода из Ясной Поляны. В 1906 году «Родник» был напечатан очерк Т. А. Кузминской (свояченицы Л. Н. Толстого) «Как мы жили в Ясной Поляне».

В 1908 году журнал «Родник» намеревался широко отметить восьмидесятилетие Л. Н. Толстого. Но, подчиняясь воле писателя, обратившегося, как известно, с категорической просьбой ко всем учреждениям — не устраивать никакого его юбилея, редакция опубликовала небольшую статью о нем и поместила в сентябрьском номере «Два воспоминания» его сына — Л. Л. Толстого (1869—1945): «Зимняя ночь (Из детства)» и «Сочинение о лошади (Из гимназических воспоминаний)».

«Двум воспоминаниям» Л. Л. Толстого предшествовала серия его рассказов и большая автобиографическая повесть «Яша Полянов. Воспоминания для детей из детства». В начале 1900-х годов рассказы и повесть выходили отдельным изданием.

Л. Л. ТОЛСТОЙ

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

(Из детства)

Чудная зимняя ночь в Ясной Поляне. Полная луна высоко в чистом небе заливает одетую в белую пелену снега безмолвную землю таинственным голубоватым светом. Сады и леса стоят, как очарованные, покрытые густым серебряным инеем, а на соседних к усадьбе полях лежат длинные тени. Деревня спит, и только кое-где в избах светятся тусклые красные огоньки через низкие, занесенные до краев снегом окна.

Какой-то гул стоит в морозном воздухе, и у нас в доме слышен этот ночной голос зимней ночи, если прислушаться.

Давно уже пообедали, и для нас, маленьких детей, скоро настанет пора итти в постель. Сейчас наша добрая англичанка Miss Anny позовет нас, и тогда будет кончен этот прекрасный день детства и настанет крепкий сон.

Не хочется итти спать, когда в окно светит лунная волшебная ночь...

Как хорошо было бы пройтись по лесу, по садам, вниз по старой березовой аллее, вдохнуть в себя свежего, бодрящего воздуха полной грудью. Но в поздний вечерний час это для нас, детей, недоступно. Нас пускают гулять только днем, и мы почти не знаем, что такое русская зимняя ночь, залитая лунным светом. Мы видели ее только через окна, из душных комнат, и не скоро еще мы будем такими большими, как старшие братья, которые часто выходят с папой гулять по вечерам.

Я сижу в зале у окна и предаюсь этим грустным мыслям.

В комнату входит папа̀, одетый в валяные сапоги и полушубок.

— Ты гулять? — спрашиваю я его с завистью.

— Да! Хочешь со мной?

— Мама̀ не пустит,— отвечаю я с уверенной грустью.

— Пойдем к мама, скажем ей,— бодро говорит мне папа,— мы не надолго.

И он протягивает мне руку. Я хватаюсь за нее, и мы идем к мама в гостиную, где она сидит у своего письменного стола и усердно переписывает.

— Можно ему со мной пройтись? — прямо обращается отец к мама, удивляя меня своей храбростью.— Мы не надолго! Чудесная погода!

— Ему спать пора,— строго говорит мама,— пожалуй, он простудится.

— На минутку. Пожалуйста,— говорю я умоляющим голосом.

— Разве только на минутку,— неожиданно соглашается мама,— только надо одеть его хорошенько: валенки, полушубок, башлык.

Вероятно, ей передалось мое страстное желание итти с папа на вечернюю прогулку, она почувствовала меня и не смогла отказать.

В восторге я бросаюсь в детскую одеваться.

Miss Anny была поражена необыкновенным событием и не поверила мне, когда я сказал ей, что хочу одеваться, чтобы итти гулять. Только пройдя в гостиную к мама и поговорив с ней, она поверила и стала надевать на меня мой черненький романовский полушубок, валенки, шапку и башлык. Она туго подпоясала меня красным кушаком, и я кубарем слетел вниз с лестницы в переднюю, где папа меня дожидался, разговаривая с приказчиком.

Мы вышли из дома и пошли мимо флигеля и конюшни вниз в деревню, через так называемый кислый колодезь.

Перейдя ручей, мы поднялись на пригорок, с которого видны были с одной стороны вся наша усадьба, с другой — крестьянская деревня, и пошли задами гумен по направлению к роще.

Папа смотрел на бледные в эту ночь звезды и показывал мне глазами. Оба мы были в восхищении от чудесной ночи.

— Как хорошо,— несколько раз повторял папа,— удивительно, как тихо, как светло!

Крепкий снег скрипел у нас под ногами по протоптанной зимней тропинке, и было так легко ходить, что мы не чувствовали ног под собой.

— А что такое звезды? — спросил я отца, поспевая за ним и чувствуя какое-то безотчетное волнение, охватившее меня от всей этой тайны ночной зимней природы, в которую я попал в первый раз в жизни,— там тоже живут?

— Вероятно, живут,— ответил отец.— Видишь, вот эта белая полоса среди неба — это Млечный Путь... Это все звезды, бесконечное количество звездных миров далеко, далеко от нас.

Я взглянул на бледную, тусклую ленту Млечного Пути, перебросившегося через середину неба, и мне стало жутко от сознания бесконечности, вдруг с необыкновенной ясностью проснувшегося во мне.

«Как? — подумал я.— Как это возможно, что нет конца звездам и мирам? А я-то тогда что? Что я такое в этой бесконечности? Ничто, ничтожество?»

Трудно передать словами то, что я подумал и испытал в эту минуту. Это был какой-то благоговейный трепет перед величием Творца и безотчетный страх перед моей слабостью, рядом с бесконечной силой, окружавшей меня.

Я, как умел, передал отцу мою мысль.

— Неужели нет ничему конца? — спросил я его.— Это очень страшно... Если там, за этими звездами, еще звезды, а за ними еще и еще, то, значит, какие же мы маленькие и зачем же нам жить?

Конечно, я не этими именно словами передал отцу то, что мне пришло тогда в голову. Он сейчас же понял меня и сказал:

— Вот то-то и хорошо, что мы маленькие. То и хорошо, что бесконечность впереди нас и бесконечность сзади. Это так отлично устроено Богом, чтобы мы помнили и любили Его. Все это Бог, и Бог в нас, и мы только часть бесконечности и живем в ней.

Опять я не ручаюсь за точность слов отца, но в таком духе шел у нас с ним разговор.

Мы подошли к Кондауровскому проулку и тут пошли налево мимо гумен.

— Пойдем, проведаем Осипа Наумыча,— сказал отец,— он, наверное, сегодня в своем сарайчике на гумне с ружьем зайцев караулит.

— Он нас не застрелит? — испугался я, услыхав о ружье. Отец ничего не ответил на мою трусость и пошел теперь вправо, по плохо притоптанной тропинке, к плетеному сарайчику на краю канавы, где сидел Осип Наумович.

Он был в то время одним из самых древних мужиков Ясной Поляны, и отец любил беседовать с ним. Это был крестьянин старого склада, выдержанный, добродушный, работящий, ласковый и очень не глупый. Он говорил великолепным русским крестьянским языком, часто прибаутками и пословицами и, может быть, отчасти из-за этого отец любил посещать его. Кроме того, он был страстным пчеловодом и держал у себя порядочную пасеку. Отец в то время тоже увлекался пчелами, и это была еще одна общая его точка соприкосновения с Осипом Наумовичем.

Подходя к сарайчику, издали я заметил в одной плетеной стене его высунутое дуло одноствольного ружья. Дуло было направлено на гумно, где были разбросаны какие-то ветки и солома. Это была приманка для зайцев, которых старик караулил.

— Осип Наумыч!! Ты здесь? — громко закричал папа, подходя к сараю.

— О! О! Здеся! — отозвался из сарая старческий, но еще бодрый голос.

Я заметил, как дуло ружья в плетеной стене задвигалось и ушло в сарай. Осип Наумыч, добродушно приговаривая что-то, вышел к нам навстречу.

— Лев Николаич! — сказал он, улыбаясь и двумя руками приподнимая шапку,— а я вот зайцев караулю. Сейчас пара подходила, да далеча. За канавой. Али прогуляться вышли? Месячно, светло!

— Не жалко тебе зайцев стрелять? — спросил Наумыча отец.

— Чего ж их жалеть, Лев Николаич? Ах, чего сказал? Чаго ж их жалеть-то? Он, заяц-то, самое вредное животное. Сады портит, жрет дерева всякие. Да Господь с ним! А застрелю, в Туле за шесть гривен продам. Деньги!

И Наумыч добродушно засмеялся.

— Спать бы лег,— продолжал он,— да не спится. Лежишь, лежишь на печке, ворочаешься во все стороны. Лучше тут просижу, на чистом воздухе... Слава Тебе Господи, шуба есть, шапка есть.

Осип Наумыч был тогда уже совсем седым. У него были белые, как снег, волосы, прядями падавшие из-под шапки на виски, и белая с желтизной кудрявая бородка, густо покрывавшая щеки.

— Ну, а Петр твой зайцев не стреляет? — спросил отец, вспомнив о сыне Осипа Наумыча, грамотном и умном мужике, бывшем ученике Яснополянской школы Льва Николаевича.

— Он все книжки ученые читает, не до зайцев,— ответил Осип Наумыч,— беда, как читает. Намедни дочитался до того, что сам себя не помнит! Стал всех честить, честить! Куда тебе! Я нехорош, ты нехорош, все нехороши.

— Это нехорошо,— сказал отец.

— Книжка, она завсегда так,— продолжал Наумыч,— она дух разжигает. Сколько раз я примечал. Слава Тебе Господи, сам этому не учен и не надоть... Без грамоты Господь-то видней!

Мы еще не долго постояли у сарайчика и, простившись с Наумычем, пошли домой. Отец боялся за меня, чтобы я не простудился.

Когда мы снова вышли на большую тропинку, я оглянулся на сарай Осипа Наумыча. Опять дуло ружья было просунуто через плетень, и старик, стало быть, уселся на свое место.

Ночь как будто стала еще светлее, и луна поднялась еще выше. Вокруг луны образовался большой светлый круг.

Заиндевевшие леса и сады по-прежнему стояли неподвижно, блестя бриллиантами и серебром.

Отец молча шел впереди меня,— я поспевал за ним. Я думал о старике Осипе Наумыче, о звездах на небе, о луне, о чудесной зимней ночи, о бесконечности, и мне было отлично на душе.

Бодрые и счастливые мы вернулись с отцом домой, и, хотя мама немножко поворчала на то, что мы гуляли слишком долго, эта прогулка с отцом зимней ночью в Ясной Поляне осталась для меня одним из светлых воспоминаний моего детства.

СОЧИНЕНИЕ О ЛОШАДИ

(Из гимназических воспоминаний)

Однажды в гимназии русский наш учитель и в то же время директор, Лев Иванович Поливанов, чудесный человек и великолепный педагог, о котором у меня осталось самое светлое воспоминание, задал нам на дом сочинение на тему «Лошадь». Я был тогда в третьем или четвертом классе, и вся наша семья жила в Москве, в Хамовническом переулке. Учился я довольно плохо, потому что условия для моего учения были нехорошие. Об этом я расскажу когда-нибудь отдельно.

К назначенному дню я стал спешно писать заданное сочинение и помню, что мне было трудно заполнить две необходимые страницы. Мне казалось не легким выдумать что-нибудь о лошади, в которой, я думал, нет ничего особенного. Ну, что ж? Лошадь — прекрасное домашнее животное, друг и помощник человека; лошадь — безответное, благородное создание, с которым человек часто обращается жестоко и несправедливо; без лошади людям пришлось бы круто, если бы они должны были сами делать всю ту работу, которую теперь они взвалили на бессловесных животных.

Эти мысли пришли мне в голову и я изложил их, как умел, но их было недостаточно и я был в затруднении.

Огорченный, я сидел в своей комнатке над тетрадкой и продолжал придумывать, что бы еще написать о лошади. В это время случайно зашел ко мне отец.

— Что делаешь? — спросил он своей прямой манерой.

— Пишу русское сочинение.

— О чем?

— О лошади.

— Что ж? Написал что-нибудь?



— Вот, кое-что написал, но мне не нравится и я ничего больше не придумаю.

— Ну, давай, я тебе дам несколько мыслей,— предложил отец и, когда я вскочил со стула, он сел на мое место.

Он взял в руку перо и на минуту задумался. Я положил перед ним клочок бумажки и стал ждать. Отец нагнулся к столу и быстро написал мне несколько строчек. Не успел я поблагодарить его, как он вскочил и, весело улыбнувшись мне, вышел из комнаты. Я стал разбирать написанное и, конечно, сейчас же воспользовался новым материалом.

Не помню точно тех выражений и фраз, которые написал отец. Где-нибудь в архиве Поливановской гимназии, может быть, цело мое сочинение о лошади, в котором несколько строк принадлежат моему отцу. Но у меня этого сочинения нет, и только из памяти я могу вызвать те художественные, краткие образы, которые дал Лев Николаевич о лошади всего лишь в нескольких сильных штрихах.

Вот, приблизительно, что он написал:

«Как хороша лошадь, когда она, дожидаясь хозяина, нетерпеливо бьет твердым копытом о землю, поводит черным, умным глазом и раздувает ноздри!! Как хороша лошадь, когда, вся покрытая пеной, она, после долгого бега, вернется домой и, самодовольно фыркая, мотает головой и ждет, чтобы отвели ее в теплый денник, где ее ждет свежая подстилка и душистое сено! Как прекрасна лошадь, когда она вольно несется по полю, распустив хвост и вытянув гибкую шею... Лошадь прекрасна всегда — и в движении, и в покое, и на работе, и на отдыхе!..».

Повторяю, я только приблизительно привожу те штрихи, которые дал отец своей рукой художника. Мне самому было бы теперь интересно увидать подлинные слова Льва Николаевича о лошади, которые он написал в моем гимназическом сочинении. К сожалению, сочинение это, вероятно, пропало.

Когда оно было готово, я подал его Поливанову. Он взял его вместе с другими и через несколько дней вернул уже с отметкой. Я получил четверку. Слова отца были подчеркнуты синим карандашом.

— Скажите, пожалуйста, Толстой,— обратился ко мне Поливанов,— то, что я там подчеркнул, написали ведь не вы, а Лев Николаевич?

— Да! вы угадали! — ответил я.

— Очень хорошо,— сказал Поливанов, улыбнувшись мне самодовольно, и кивнул головой.— Я поставил вам четверку.

Милый Лев Иванович недаром был знатоком литературы.

Вступительная статья, подготовка текста и публикация
Е. ПУТИЛОВОЙ

Л. ПРИГОЖИН

ШОСТАКОВИЧ, КАКИМ ОН БЫЛ

1952 год оказался трудным для меня. Единственным утешением служило то, что еще в 1950 году студентом-пятикурсником я был принят в члены Союза композиторов за кантату «Стенька Разин». Но, окончив Ленинградскую консерваторию и получив диплом, я понял, что зарабатывать на жизнь сочинением настоящей музыки невозможно: такие были времена. К тому же жить мне было негде — по окончании консерватории меня выселили из общежития. Василий Павлович Соловьев-Седой (тогда председатель Союза композиторов) старался, как мог, облегчить мне жизнь. Я знал, что он выхлопатывает мне жилье.

А пока я перебивался случайными заработками, жил где придется — то в Доме творчества, то у самого Василия Павловича. В то время я писал симфоньетту, самое светлое мое сочинение. Писал из чувства протеста, уж больно мрачно было кругом. Симфоньеттой заинтересовался Е. А. Мравинский, он дал множество дельных советов. Закончив в партитуре первую часть, я отдал ее дирижеру Н. С. Рабиновичу, ранее исполнявшему моего «Стеньку Разина», чтобы он при случае мог ее проиграть. Николай Семенович руководил тогда оркестром Ленинградского радио. Летом ему удалось выкроить минут двадцать и сыграть две части симфоньетты. Тогда я впервые услышал, как звучит оркестр, сотворенный моей рукой — без помощи учителей. Оказалось — есть интересные места...

Случилось так, что именно в это время я впервые близко познакомился с Д. Д. Шостаковичем. Познакомил нас все тот же Рабинович. О том, как это произошло, записано в моем тогдашнем дневнике:

«В июле этого года проигрывали и записывали на пленку две части моей симфоньетты. Н. С. Рабинович, дирижировавший ею, советовал мне показать симфоньетту Шостаковичу. „Я давно уже с таким удовольствием ничего не играл,— сказал он,— а то, что вас пощипывают за перья, так это в порядке вещей. Музыка-то не стандартная. Это вам вредить будет в этом смысле всегда. Покажите ее Дмитрию Дмитриевичу. Ажурность, своеобразие, острота оркестровки — это ему должно понравиться“.

Он взялся устроить встречу.

Через несколько дней он позвонил мне (я жил тогда у Соловьева-Седого): „Он согласен. Позвоните ему. Но будьте чутки, внимательны. Он ведь немножечко дикарь“...

И вот я позвонил. Мне назначили день. Это было в последних числах июля. Я поднялся по лестнице дома в Дмитровском переулке. Даже переулок носил его имя!..

— Здравствуйте, Дмитрий Дмитриевич.

— Товарищ Пригожин? Здрасьте, здрасьте, проходите, пожалуйста.

Мальчишеский глуховатый высокий тенорок, почти фальцет. Говорит отрывисто, гласных почти нет. Есть один какой-то нейтральный гласный звук, заменяющий все остальные. Примерно так: „Дрысти, дрысти, прыхыдити“.

— Николай Семенович мне говорил, что у вас есть запись вашей музыки. Но я сейчас редко бываю в городе, а сегодня у меня депутатские дела еще. Может, сумеете сыграть мне на рояле?

Я ответил, что симфоньетта вообще не очень поддается изображению на рояле в две руки, но что, конечно, попытаюсь.

— Вы как играете, по нотам?

— Могу и наизусть.

— Ну, тогда я возьму себе партитуру.

Он сел за мной в кресле. Я заиграл. Шостакович глядел в партитуру и подрыгивал в такт ногой.

Я сыграл две части и остановился. Он вдруг схватил с рояля партитуру „Разина“ и заговорил быстро:

— Ну дальше, дальше, дальше.

— Дальше еще нет, Дмит-Митрич.

— А это?

— Это другое.

Он быстро залистал ноты, открыл первую часть:

— Вот здесь у вас в одном такте хроматический ход. Он лишний. Ведь у вас во всей музыке нет хроматики, он выбивается.

Я поразился точности его наблюдения. Это было настолько верно, что я удивился, как сам об этом не подумал.

— В последнем аккорде лучше поменять местами кларнеты и гобои. Кларнеты вниз, а гобои вверх. А лучше — дайте струнным. Да, пусть будут струнные, потому что... потому что так будет лучше.

И дальше в разговоре он часто, начиная объяснять, почему хорошо бы изменить, заканчивал: „Потому что так будет лучше“. В его практике ему, видно, уже не приходилось искать причин. Он знал, чувствовал бессознательно и безошибочно, что „так будет лучше“.

Я спросил его, не переборщил ли я во второй части звучностью деревянных духовых.

— Да! Вообще, старайтесь меньше смешивать тембры. Чистые тембры — это лучше всего. Лучше всего. И самое главное — струнные. Чистые струнные. Они никогда не надоедают. А другие — надоедают. Много деревянных. Вот я раньше из-за этого не мог долго выносить медленную часть из Девятой симфонии Бетховена. Замечательная музыка — но там столько дерева, что я не мог слушать. Сейчас как-то привык... Так что струнные, струнные — это главное... А это что?

— Это кантата „Стенька Разин“.

— Ну, сыграйте.

Я сыграл. Он сказал:

— Это мне меньше нравится. Первая часть — отличная. Начало второй — тоже. А вот дальше во второй, где аллегро... Тут нет настоящего развития.

Я даже обрадовался. Если честно ругает вторую часть кантаты — значит, искренне хвалит симфоньетту! Значит, это — не вежливость гения.

— Мне нравится суровый, настоящий русский дух кантаты, настоящий русский дух, не „петушковый“. Но вторая часть — по развитию — слаба...

Что значит „петушковый“? Условно-русский, сладковатый, прикрашенный. Тогда вкусы сходятся.

— Я вот что хотел спросить, Дмитрий Дмитриевич. Я показывал, правда, одну лишь часть симфоньетты, Евгению Александровичу. Он сказал, что в смысле формы у меня неблагополучие.

— Симфоньетта? Не нахожу. Я, конечно, очень уважаю мнение Мравинского, но, по-моему, в смысле формы все в порядке. В кантате — да, верно.

— Евгений Александрович советовал мне иногда встречаться с вами для консультаций и хотел с вами поговорить об этом, но не успел. Нельзя ли бы, Дмитрий Дмитриевич, хоть изредка, если вас не затруднит, конечно?

— Это было бы, конечно, очень хорошо, н-да... очень хорошо... Но на чисто товарищеской основе. Я, знаете, оставил педагогику давно, не люблю... Да и вы достаточно зрелый музыкант, гувернер не нужен... н-да, гувернер не нужен... А просто по-товарищески — с удовольствием...».

Но одну любопытную деталь я не доверил бумаге ни тогда, ни позже, пока Дмитрий Дмитриевич был жив. Теперь расскажу.

Когда я подымался к нему по «черной» лестнице, в затемненном окне кухни, выходящем туда же, что-то мелькнуло. Я успел заметить наблюдающий за мной глаз.



Это продолжалось секунду, потом он исчез. Разумеется, при встрече я и виду не подал, но в ту минуту мне было не по себе. Это напомнило предсмертный взгляд Кириллова из «Бесов» Достоевского.

Позже, достаточно узнав Дмитрия Дмитриевича, я многое понял. Ведь уже к этому времени он успел пережить не только радости творчества и мировое признание, но и гонения, узнал такое количество предательств, измен, какое мало кому выпадало на долю. Поэтому он с подозрением относился к новым знакомствам, которые ему навязывали. Однако, будучи от природы чрезвычайно деликатным, вынужден был их терпеть. О нем говорили, что он — как актер Бестер Китон — никогда не улыбается. Это не так. В кругу людей, которым он доверял, Дмитрий Дмитриевич совершенно преображался. Моя жена, Лариса Георгиевна Пригожина (Келдыш), при наших с ним встречах обычно уходившая, «чтоб не мешать», однажды попала в такую компанию и была изумлена и совершенно очарована им. Он шутил, улыбался, рассказывал всякие любопытные истории, словом, был удивительно мил.

Но стоило появиться хоть одному человеку, ему неприятному, как он превращался в того Шостаковича, какой, к сожалению, живет в представлении многих,— человека без улыбки...

В конце августа стараниями Соловьева-Седого я квартиру все же получил.

Крыша над головой есть. Но во всем остальном — мрак, и не только у меня. Многое в искусстве и литературе, даже некоторые науки — под запретом...

В ноябре я закончил симфоньетту.

А в начале 1953-го стали исчезать знакомые люди — из университета, из литературных кругов. И в Союзе композиторов стало скверно. Создавались какие-то группы, направленные против Соловьева-Седого. Говорили, что плохо он борется с «формализмом», «космополитизмом»... Это был единственный период, когда я вел нечто вроде дневника, хотя не имел к этому особой склонности. Но иногда хотелось высказаться, а люди стали бояться не только говорить, но и слушать.

В конце января под вечер раздался звонок в дверь. Курьер из Союза.

— Вы брали творческую путевку на симфоньетту?

— А в чем дело, собственно?

— Надо срочно отчитаться. Там уже все собрались. Берите ноты, машина у подъезда.

В Союзе увидел картину: сидит мрачный Василий Павлович. А вокруг — сплоченная компания тех, что интриговали против него. Не буду называть фамилий. Прошло много времени, и некоторые из них — у кого короткая память — даже считают себя моими друзьями...

Предложили мне исполнить симфоньетту, я исполнил. И тут началось... Для начала обвинили меня в том, что я испортил замечательную русскую народную песню во второй части (нечаянно сделав мне комплимент, потому что народной песни там не было, тема была моя). Песня использовалась в финале, но они не догадались. Стали кричать, что я иду за «немецкими колбасниками». (За Бахом? За Бетховеном?) Один композитор, за которого всю жизнь инструментовали другие, заявил, что у меня плохая партитура. Соловьев-Седой пытался меня защитить: мол, Мравинскому же нравится, но на него дружно навалились:

— Брось, Вася! Зачем защищаешь? А если Мравинскому нравится, пусть за свои деньги переписывает партии и исполняет!

А самый глупый и толстый объявил:

— О чем спорим? Надо прямо сказать — это рецидив формализма...

Назавтра мне позвонил Мравинский:

— Какого черта вы показывали симфоньетту? Ведь теперь мне не сыграть ее. Будут говорить, что исполняю формалистов.

— Но, Евгений Александрович, меня просто насильно привезли.

— Н-да... Скверно.

Я перестал бывать в Союзе, отсиживался дома. Дважды в неделю ходил на курсы радиотелеграфистов, куда меня мобилизовали через военкомат. Неплохо изучил азбуку Морзе, довольно бойко работал «на ключе».

В мрачнейшем настроении стал сочинять Первую симфонию, причем начал ее с третьей части — трагической пассакалии.

Так прошел февраль...

А 2 марта... Бюллетени о состоянии здоровья Сталина... 5-го утром включил радио и услышал: «Перестало биться сердце...». И потом на других языках — немецком, французском, английском...

Через несколько дней за мной снова приехали из Союза композиторов, но уже с предельной вежливостью:

— Поедемте на траурный митинг...

Так закончилось сталинское время. Подул свежий ветерок. Люди очнулись от спячки... Возвращались оставшиеся в живых. Стало что-то меняться в литературе, в театре. К сожалению, в музыкальном искусстве изменений почти не чувствовалось, и я вынужден был зарабатывать на жизнь не композиторским трудом — поступил в Театральный институт концертмейстером и писал музыку к учебным спектаклям. Кстати, из этой музыки вышли мои песни на стихи Шекспира и Бернса, исполняемые и сегодня...

В январе 1955 года в Союзе композиторов извинились, наконец, за историю с симфоньеттой и предложили, чтобы дирижер Арвид Янсонс отрепетировал и записал ее на магнитофонную ленту. В середине января сделали запись. С нею я пошел уговаривать Соловьева-Седого, чтоб организовал мне командировку в Москву для показа. Василий Павлович опасался новых неприятностей для меня, но в конце концов командировку устроил.

В пять часов я был на секретариате. Положил партитуру перед синклитом — Хренниковым, Шапориным, Кабалевским и другими. Включили запись, прослушали. Началось обсуждение.

И опять все было вновь для меня, отвыкшего от добрых слов: «Нравится... Понравилось... Предлагаю включить в симфонический пленум на март...». Кабалевский меня поздравил, остальные тоже, симфоньетту купили и даже сразу заплатили. Наконец я мог погасить свои долги...

В марте в Большом зале Московской консерватории симфоньетта прозвучала в хорошем исполнении Константина Иванова...

Мне бы хотелось закончить эти воспоминания описанием еще одной встречи с Шостаковичем, происшедшей немного позднее, когда я уже был автором ораторий «Слово о полку Игореве» и «Вьюга» — по поэме А. Блока «Двенадцать».

Это было в Репино в 1968 году. Дмитрий Дмитриевич подошел ко мне и сказал:

— Люциан Абрамович, я слышал, что вы написали ораторию «Двенадцать» по Блоку. Очень было бы интересно послушать.

— Пожалуйста, Дмитрий Дмитриевич.

— Что, если завтра ровно в двенадцать я зайду к вам? Удобно?

Я заверил, что вполне удобно.

Назавтра ровно в полдень послышались шаги. Моя восьмилетняя дочь, завидев Шостаковича, спела ему тему марша из его Седьмой симфонии. Он очень серьезно поздоровался с ней за ручку...

Прослушав ораторию, Дмитрий Дмитриевич сказал:

— У вас ошибка. Поется кере́нки, а надо ке́ренки. «У ей ке́ренки в чулке».

— Нет, Дмитрий Дмитриевич. «У ей кере́нки есть в чулке».

— Да, верно. Но это странно. Я те времена помню мальчиком. Правильно — «Ке́ренский».

— У Маяковского тоже «Кере́нский». Может, народ так говорил?

— Возможно... Люциан Абрамович, мне одного прослушивания мало. Но подряд слушать уже не могу — устаю. А что, если бы я завтра снова пришел в это же время?

— Да пожалуйста, Дмитрий Дмитриевич!

Он уже тогда мучился болезнью ног, но не позволил помочь ему спуститься по крылечку.

— Я уже лучше хожу. Илизаров замечательный доктор. Знаете, я пригласил его на свой авторский концерт в Малый зал. Он сидел на хороших местах, и вид у него был очень довольный. После концерта я спросил: Гавриил Абрамович, каковы ваши впечатления? «Впечатления, Дмитрий Дмитриевич, у меня прекрасные. По-моему, вы замечательно поднимались по лесенке на эстраду и так же замечательно спускались».— Дмитрий Дмитриевич рассмеялся.— Он рассматривает меня как свое произведение.

Я проводил его до коттеджа.

— А это удобно — завтра в двенадцать? — снова спросил он, прощаясь.

Его щепетильность доходила до такой степени, что я иногда чувствовал неловкость...

На следующий день ровно в полдень Дмитрий Дмитриевич был у меня. По нему можно было сверять часы...

Шостакович никогда впрямую мне не помогал. Но его добрые слова и хорошее отношение всегда были дороже любой так называемой «помощи». К сожалению, встречались мы не так уж часто — жили в разных городах. И все же, думаю, у нас были отношения друзей — старшего и младшего: он мог сказать мне в глаза и неприятную правду, а так не поступают с теми, кто безразличен.

Вспоминаю, как еще довольно молодым я показывал ему что-то из ранних сочинений, кажется, Первую симфонию в клавире. Играл по неправленному экземпляру.

Прослушав первую часть, Дмитрий Дмитриевич сказал:

— Трудно и непривычно следить по нотам, в которых нет нюансов.

— Но ведь это же черновик,— возразил я,— я потом все проставлю.

— Тогда, может быть, вы и диезы, и бемоли будете расставлять потом? — спросил он почти сурово.

Этот жестокий урок я запомнил на всю жизнь и рассказываю о нем студентам, когда сталкиваюсь с подобной неряшливостью.

Я описал, конечно, не все свои встречи с Дмитрием Дмитриевичем. В последний раз я приехал к нему в Репино в начале 1975 года, зимой. Но он плохо себя чувствовал, лежал. Через его жену я передал подарок — полученную из Чехословакии грампластинку. На одной стороне были записаны его ранние фортепианные прелюдии, на другой — моя скрипичная соната № 2.

В августе того же года, находясь в Прибалтике, мы узнали о его кончине. Я посвятил его памяти «Каприччио с эпитафией» для фортепиано и камерную сонату «Солнце и камни».



Пробирная палатка

ВСЕ ЭТО БЫЛО БЫ СМЕШНО...

Как бы изумился Лев Николаевич Толстой, если бы (допустим невероятное!) прочитал сочинения абитуриентов конца XX века о своем творчестве, о «Войне и мире», об Андрее Болконском, Пьере Безухове, семье Ростовых! Впрочем, Пушкину, Лермонтову, Гоголю, другим классикам «достается» в экзаменационных произведениях ничуть не меньше, чем Толстому.

Неумение ученика начальных классов оформить свои мысли на бумаге вполне можно объяснить хотя бы крайне юным возрастом. Беспомощность поступающего в вуз вчерашнего десятиклассника в изложении того, скажем прямо, немногого, что осталось в голове от уроков литературы, объяснению поддается гораздо труднее, а уж оправданию вовсе не подлежит. Начавшаяся в стране перестройка народного образования призвана решить в числе многих проблем и больную проблему речевой грамотности, культуры, гуманитарного образования общества.

А пока из сочинения в сочинение кочуют непостижимые типичные представители, нелепые образы, дремучие суждения о произведениях, которые не только не поняты, но и зачастую не... прочитаны. Да и зачем напрягаться читать, когда к твоим услугам сериалы (слово-то какое!), изготовленные на всемогущем телевидении.

У напечатанного ниже сочинения множество авторов. Все фразы подлинные. Взяты они из разных сочинений. Мне лишь пришлось поставить их в определенном порядке. Хочу надеяться, что сочинение это потенциальные абитуриенты не воспримут как руководство к экзамену по литературе при поступлении в вузы в следующем году.

Д. П. ШУЛАЕВА,
кандидат филологических наук, доцент

Именно в Ясной Поляне произошло мое первое столкновение с великим русским писателем. Л. Толстой пишет интересно, наглядно, умело. Читая его, перед нами встают живые люди.

Пьера Безухова мы видим в гостинице Анны Шерер. Основной темой для разговоров там являются сплетни. Пьера знакомят с Элен, и он, не сознавая своего поступка, женится на ней. Женитьбу Пьера на Элен можно приравнять к поражению русских в Аустерлицком сражении.

Среди крепостных были и знатные люди, например, Андрей Болконский. Лев Толстой, как никто другой, сумел раскрыть образ Болконского. Он показал его таким, каким он есть на самом деле. Андрей — это спокойный, можно сказать флегматичный мужчина, утомленный высшим светом и своей женой. Ему хочется вырваться из окружающей среды. Долго просидеть дома он не мог. Его захлестнул героизм и патриотизм. В Аустерлицком сражении при падении снаряда рядом князь Андрей не падает на землю, он считает недостойным падать при вражеском снаряде. Он сражается с необыкновенной храбростью и теряет сознание.

Наташа разбудила мысли и чувства князя Андрея о женщине. Толстой дает ее образ на фоне леса. Наташа сумела понять те чувства, которые она выражала. Андрей понимает, что высшее счастье — это удовлетворение естественных потребностей. Большую роль в начинании новой жизни сыграл дуб. Наташа сильна в любви. Она была не в силах вынести отсрочки на целый год. Разрыв с Наташей усугубляюще подействовал на Андрея Болконского.

Во время войны с Наполеоном а войсках был такой дух, какой до этого не существовал в борьбе за родину. Дубиной назвал Толстой борьбу русского народа. Старостиха Василиса побила сотни пленных. Офицер, которого Тихон Щербатый взял в плен, оказался мертвым. Желая убить Наполеона, Пьер был захвачен в плен. Благодаря большому подъему мужиков и баб, была одержана эта великая победа.

Когда Андрей Болконский очнулся в Мытищах, прибегнул к евангелию, но душа была в ненормальном состоянии. Андрей снова встречается с Наташей, прощает ей все, страстно любит, но умирает. Борьбе за счастье народа Болконский посвятил бы свою жизнь, если бы не умер от ран.

Пьер находит применение своим силам, он женится на Наташе Ростовой. Автор показывает образы Болконского и Безухова прообразами будущих декабристов, а образ Наташи Ростовой — прообраз их жен.





НЕ ГНАТЬСЯ ЗА СЕНСАЦИЯМИ

Хочу отметить интересную статью Г. Ф. Парчевского «Преданье старины глубокой», напечатанную в 6-м номере Вашего журнала за 1987 год. Главное ее достоинство я вижу в документальности, серьезном и обстоятельном изучении литературных источников, родословий, архивных фондов. Миниатюра музея А. С. Пушкина мною никогда не воспринималась как портрет поэта в детстве, а сопровождавшая ее легенда казалась более чем сомнительной. Основательные и объективные исследования Парчевского весьма убедительны. С такой оценкой статьи согласны старые сотрудники Государственного литературного музея и Музея Л. Н. Толстого, с которыми я делилась впечатлениями. Сотрудница Литературного музея Галина Владимировна Коган, автор книги «Полотняный завод», сообщила мне: в музейных документах довоенного времени она встретила упоминание о том, что предложенная к приобретению миниатюра была за недостоверностью отклонена такими крупными специалистами, как В. Д. Бонч-Бруевич, М. Д. Беляев, М. А. Цявловский.

Парчевскому, если музей А. С. Пушкина не примет его выводов, необходимо будет создать более строгую и обоснованную систему доказательств. Но и сегодня его статья важна не только для одного частного случая, она предостерегает от коротких и легких путей в изучении вещественных памятников прошлого, от некритического восприятия легенд. К сожалению, в последние годы стали нередки публикации, которым не предшествовала исследовательская работа. Некоторые из них связаны с темой «Пушкин и Тверская губерния».

Без проверки фактов принял версию Н. В. Баранской о миниатюрном портрете А. С. Пьянов. Благодаря его книгам и альбомам версия эта получила широкое распространение. Откликом на статью Баранской 1966 года явилось приведенное а статье Парчевского сообщение старицкого краеведа Д. А. Цветкова с записью С. Мудровой-Великопольской. Пьянов высоко оценил публикацию Цветкова и ввел в свою книгу «Берег милый для меня» выписки Цветкова из дневника В. В. Черкашениновой о встрече с Пушкиным и сообщение о надписи на книге стихотворений Жуковского. Е. В. Кончин в статье «Незабываемый бал Пушкина» («Советская культура», 1 января 1988) также цитирует дневник Черкашениновой и приводит сделанные в 1930-х годах Цветковым выписки из альбома М. В. Борисовой, в том числе четверостишие.

Все эти материалы до войны хранились в Старицком краеведческом музее. Туда же, по словам М. Маковеева, были переданы материалы учителей Раменских из села Мологино («Новый мир», 1985, № 8, 9). С. Кибальник в заметке «Мнимый Пушкин» («Литературная газета», 28 мая 1986, подборка «Осторожно, сенсация!») определил пушкинские материалы, идущие от Раменских, как имитацию. Такая же тщательная проверка нужна и в отношении других пушкинских находок, появившихся в печати благодаря калининским краеведам. Даже первое знакомство с опубликованными текстами вселяет сомнение, недоверие. В дневнике Черкашениновой, например, настораживает невозможный для 1828 года оборот «пропищала пару романсов». Строки стихотворения, безоговорочно признанные Кончиным за пушкинские, построены на поэтических штампах, к которым присоединен батюшковский образ «памяти сердца», у Пушкина не встречающийся.

Непонятно, почему такое изобилие пушкинских материалов, скопившееся до войны в Старицком музее, осталось вне внимания исследователей в 1930-е годы. Ведь были же юбилей 1937 года, Всесоюзная пушкинская выставка, академическое собрание сочинений, было созвездие пушкинистов. Сведения об этих материалах стали появляться через пятьдесят лет. А может, они уже были когда-то отвергнуты, а мы теперь идем по новому кругу?

Только обращение к документам прошлого, архиву Калининской области, фонду Наркомпроса в ЦГА РСФСР, где хранятся отчеты музеев, к центральной и местной печати 1930-х годов может прояснить состав и судьбу коллекций старицкого музея и время его закрытия (Парчевский говорит о 1937—1938 годах, Кончин — о 1941-м).

Думаю, что газеты, журналы, музеи должны быть более строгими в обнародовании находок реликвий, не гнаться за сенсациями, не брать на веру легенды. У легенд свои законы существования, свои приверженцы. Поспешная и непрофессиональная публикация Маковеева в «Новом мире» стала стартовой площадкой для распространения неверных сведений в новых формах, чему не смогла противостоять даже критика «Литературной газеты»: в колхозе «Красная Итомля» Калининской области через полгода после выступлении газеты был открыт музей, и корреспондент центральной газеты повторил утверждение, что гостями Раменских были Радищев, Пушкин, Карамзин... («Известия», 2 января 1987).

Повторю еще раз: ценность статьи Парчевского для меня в развеивании миражей, в поисках исторической правды, в воспитании у нас уважения к подлинным историческим знаниям.

Е. Н. Дунаева,
заслуженный работник культуры РСФСР

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

В № 2 журнала «Нева» за 1988 год была опубликована моя статья «Загадка К. Б.». Выражаю глубокую признательность исследователям — М. Д. Эльзону, Н. М. Михайловой, И. А. Королевой, А. Л. Осповату, Р. К. Лэйну, поделившимся со мною документальными сведениями из советских и зарубежных архивов.

А. Николаев,
Москва



НАШИ АВТОРЫ

● МАКСИМОВ Виктор Григорьевич. Родился в 1942 году в Иванове. Работал слесарем, учился на филологическом факультете ЛГУ. Автор многих стихотворных книг, работает также в области поэтического перевода. За сборник «Встреча» удостоен премии Ленинградского обкома ВЛКСМ. Член СП. Живет в Ленинграде.

● БЕГЛОВ Геннадий Александрович. Родился в 1926 году в Ленинграде. Окончил Высшие режиссерские курсы в Москве. Работает кинорежиссером на киностудии «Ленфильм». Принимал участие в создании фильмов: «В огне брода нет», «Начало», «На пути в Берлин», «Мещане» и других. Публикуется впервые. Живет в Ленинграде.

● КУКЛИН Лев Валерианович. Родился в 1931 году в Новозыбкове. Окончил Ленинградский Горный институт, работал инженером-геологом. Автор нескольких десятков книг стихов и прозы, на его стихи написано около двухсот песен. Член СП. Живет в Ленинграде.

● СТРУГАЦКИЙ Аркадий Натанович. Родился в 1925 году в Батуми. Окончил Военный институт иностранных языков в Москве. Член СП. Живет в Москве.

● СТРУГАЦКИЙ Борис Натанович. Родился в 1933 году в Ленинграде. Окончил механико-математический факультет ЛГУ. Член СП. Живет в Ленинграде. Братья Стругацкие — авторы многих книг и киносценариев.

● ГОРДОН Измаил Борисович. Родился в 1922 году. Работал на Одесском судоремонтном заводе. Участник Великой Отечественной войны. Автор нескольких книг стихов. Член СП. Живет в Одессе.

● КАМИНСКИЙ Юрий Зиновьевич. Родился в 1938 году в Днепропетровске. Работал грузчиком, стропальщиком. В настоящее время работает слесарем. Печатался в журналах «Волга», «Радуга», «Смена», «Сельская молодежь». Живет в Кривом Роге.

Сдано в набор 27.05.88. Подписано к печати 14.07.88. М-31507. Формат бумаги 70×108 1/16. Бумага кн.-журн. Печать высокая. 18,2+2 вкл.=18,55 усл. печ. л. 21,0 усл.-кр. отт. 24,14+2 вкл.=24,49 уч.-изд. л. Тираж 555 000 экз. Заказ № 1417. Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 315-84-72, 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 312-70-35, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

